ISSN 0130–6545

4.1992

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

Душевные смуты воспитанника Тёрлеса

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО

Стихи

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСОН

Рассказы

ЭДВАРД БЭР

Целуй руку, которую не можешь укусить

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора,
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ — ответственный секретарь,
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы,
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ,
В. В. ЕРОФЕЕВ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА,
Т. Э. ИВАНОВА, В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ,
Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, А. С. МУЛЯРЧИК,
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

4 апрель 1992

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСОН — Рассказы (*Перевод с английского и вступление Инны Стам)* 5

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО — Стихи (*Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен)* 27

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ — Новеллы. Эссе (*Перевод с венгерского В. Середы и Ю. Гусева. Вступление В. Середы)* 35

ДЖОРДЖО МАНГАНЕЛЛИ — Эссе и «романы» (*Перевод с итальянского и вступление Наталии Ставровской)* 57

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ — Стихи. (*К 100-летию со дня рождения. Перевод с польского Натальи Астафьевой. Вступление Владимира Британишского)* 74

РОБЕРТ МУЗИЛЬ — Душевные смуты воспитанника Тёрлеса (*Роман. Перевод с немецкого и вступление С. Апта)* 82

РАДОЙ РАЛИН — Самосевки (*Афоризмы. Перевод с болгарского и вступление М. Тарасовой)* 168

К нашим нллюстрациям 172

Документальная проза

ЭДВАРД БЭР — Целуй руку, которую не можешь укусить (*Перевод с английского И. Прохоровой. Вступительная статья Н. Морозова)* 173

Публицистика

Рубеж тысячелетий

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ — Пансион мадам Гайар, или Безумие разума (Проблема тоталитаризма в конце XX века) 226

Критика

Из бесед в редакции

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, КАРЕН СТЕПАНЯН — Проза конца века: Россия и Запад (попытка прогноза) 237

Курьер «ИЛ» 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1992

В следующем номере «ИЛ»:

МИЛАН КУНДЕРА «Невыносимая легкость бытия»
Широко известная во всем мире (в том числе и по блестящей экранизации Ф. Кауфмана) книга, одно из главных литературных событий десятилетия, наконец приходит и к нашему читателю. Автор, вынужденный после событий 1968 года покинуть Чехословакию, создал произведение, которое можно назвать синтезом философского и любовного романа.

ГРЭМ ГРИН «Конец одного романа»
Героиня книги Сара Миллс неизвестно почему бросила своего возлюбленного, писателя Бендрикса. Он хочет понять, в чем тут дело,— и оказывается в странном, чуждом ему мире, где существуют такие понятия, как грех, жертва и чудо.

«Тайная жизнь САЛЬВАДОРА ДАЛИ, написанная им самим»
Продолжение начатой в прошлом году публикации фрагментов знаменитой автобиографической книги великого художника с многочисленными иллюстрациями.

На обложке — коллажи Фридриха Дюрренматта.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

При участии издательства «Известия»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 03.02.92. Подписано в печать 09.03.92. Формат 70x108¹/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 24,08.

Тираж 153 800 экз. Цена по подписке 3 р. 75 к.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16. Зак. 2573.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСОН

Рассказы

Перевод с английского Инны СТАМ

От переводчика

Имя Чарльза Джонсона пока не известно нашему читателю, а между тем этот автор уже завоевал место в ряду лучших писателей современной Америки.

Бывший преподаватель Вашингтонского университета (г. Сиэтл, штат Вашингтон), журналист, регулярно сотрудничающий в одной из ведущих газет США «Лос-Анджелес таймс», лауреат премии, присуждаемой Гильдией американских писателей, автор многочисленных критических статей, обзоров и телепередач, Чарльз Джонсон выпустил в 70—80-е годы несколько художественных произведений, которые были сразу же благосклонно встречены и читателями, и суровой американской критикой. После выхода сборника рассказов «Ученик волшебника» (1986) Ч. Джонсон, по результатам опроса, проведенного университетом Южной Каролины, вошел в десятку лучших новеллистов страны. Два рассказа из этого сборника публикуются ниже.

Большой успех имел и его роман «Переход через Атлантику» (1990), увлекательное, исполненное одновременно юмора и трагизма повествование о том, как в 1830 году американское рабовладельческое судно перевозило из Африки в Штаты несчастных, навсегда потерявших свободу людей, принадлежавших к некогда могущественному негритянскому племени. В 1991 году Чарльз Джонсон был удостоен Пулицеровской премии.

Ч. Джонсон относится к тем немногочисленным писателям «чернокожей Америки», которые, черпая материал для своего творчества в родной этнической среде, не замыкаются в ее рамках, а видят в ней отражение общечеловеческих проблем, духовных поисков, самопознания и самоопределения. Именно благодаря такому художническому и философскому подходу автора к сложной, исполненной противоречий и насилия действительности читатель с готовностью принимает и понимает героев Чарльза Джонсона, с их верованиями, преданиями, обычаями и надеждами.

Зверинец

Басня для детей

В Сиэтле среди сторожевых псов Беркли славился как один из самых лучших. Пусть не самый умный, зато надежный. Благочестивая немецкая овчарка (родом, вероятно, из Шварцвальда), весом потяжелее многих людей, с мощной грудью и черной пастью; сидел Беркли у Тилфорда на страже за стеклянной дверью «Магазина домашних любимцев», наблюдая за прохожими, семенившими по Первой авеню, удивлялся одиноким бродяжкам, частенько проводившим ночи у порога, а временами, когда в клетках позади него было тихо, он и сам клевал носом, убаюканный бульканьем пузырей воздуха в громадных аквариумах, и видел в мечтах то на редкость вкусный обед, которым он однажды полакомился, то миниатюрную пуделиху, настоящую кокетку, принадлежа-

© Charles Johnson 1984, 1983

вшую учительнице аэробики, которая жила в доме поблизости (сучкина хозяйка тоже была далеко не праведница); однако, несмотря на все свои мечтанья, Беркли никогда на посту не спал. Он относился к работе серьезно. Более того, он всегда точно знал, где он, чем занимается и почему, чего никак нельзя сказать о многих людях, вроде мистера Тилфорда,— вот уж сущее наказанье. Беркли был не в силах его понять. Порою тот обращался с животными жестоко, даже издевался над ними; для него они были не домашние любимцы, а источник дохода. И все же ни хулиганы, ни воры ни разу еще не потревожили обитателей магазина, забравшись туда через двери или окна, и Беркли, без всякого бахвальства сознававший свою силу, преданный хозяину, хотя тот и не заслуживал такой преданности, был уверен, что покой их нерушим.

Когда наступало время закрывать магазин, м-р Тилфорд, живший, как и большинство жестоких людей, один, обходил клетки, раздавая животным по жалкой горсточке еды; для Беркли он оставлял одно-единственное сухое печеньице. Сторожевой пес всякий раз надеялся, что его погладят по голове или что Тилфорд с ним поиграет — то есть, хоть как-то даст ему знать, что ценит его,— но ничего подобного не случалось. У м-ра Тилфорда были толстые очки и тонкий голос, он был упрям и вспыльчив, этот пьяница, всю жизнь сторонившийся людей; теперь, слабея в старости умом, он, случалось, клал туфли в холодильник, а однажды — при одном воспоминании об этом Беркли сжимался — во время очередного загула сунул Персидского Кота, которого не удалось продать, в миксер. В основном хозяин пил горькую и смотрел телевизор, чего Беркли тоже никак не мог понять. Он неоднократно принимал пальбу на экране за настоящую (ошибка вполне естественная, поскольку никто ему не объяснил, что некоторые видят развлечение в насилии) и начинал выть так, что стены дрожали, а Тилфорд вышвыривал его за дверь. Довольно скоро Беркли перестал надеяться на ласку; он уже не считал нужным вскакивать, когда хлопала входная дверь, а продолжал, лежа под прилавком, преспокойно выкусывать блох.

И вот наступил тот вечер; закрывать магазин было вроде бы еще рано. На этот счет Беркли до сих пор никогда не ошибался. Он потрусил в сумеречную кладовую, где стояло большинство клеток; и вдруг щелкнул челюстями. Миска его была пуста, вылизана дочиста после предыдущего кормления.

— Послушай, Беркли,— сказал Павиан, чья клетка стояла возле входа в кладовую,— что происходит? Тилфорд не раздал еды.

Беркли не особенно жаловал Павиана и обычно не удостаивал его вниманием. Павиан был изрядным пакостником: этот фигляр, лишь бы вызвать смех, то и дело лапал себя за причиндалы, бросался дерьмом или дурачился с другими животными, шут гороховый, готовый на все, только бы рассмешить Игуану, Лягушку, Попугая и Сиамского Кота, даже если для этого приходилось передразнивать м-ра Тилфорда, что Павиану удавалось прекрасно, хотя его выходки пугали Беркли, это было все равно что играть с огнем или в прямом смысле кусать руку, кормящую тебя. Но теперь и он был озадачен внезапным исчезновением Тилфорда.

— Не знаю,— сказал Беркли.— Вернется, небось.

Уцепившись за решетку, Павиан просунул морду сквозь прутья, наподобие арестантов в кино.

— Спорим?

— О чем ты болтаешь?

— *Очнись*,— сказал Павиан.— Тилфорд заболел. У дохлых гуппи в аквариуме и то бывают мордочки поздоровее. Видел когда-нибудь жертву эмболии легких? — Павиан надул щеки, потом принялся тяжело дышать, чтобы проветрить легкие, и, закатив глаза в кровяных прожилках, с воем рухнул на дно клетки.

Беркли не увидел в этом ничего забавного; он неслышно подошел к входной двери, мрачно взглянул на Павиана, потом свернулся на полу,

ожидая, что вот-вот подкатит машина Тилфорда. Мимо проезжали автомобили самых разных марок и всяческих размеров, но машина хозяина в тот субботний вечер так и не приехала. Не объявился Тилфорд и на следующее утро, и в следующий вечер, а на второй день уже не только Павиан, но все звери, птицы и рыбы в Зоомагазине трясли свои клетки и аквариумы, с воплями требуя от Беркли объяснить, в чем дело,— звучал оглушительный гомон разноязыкой речи: клекот, трели, вой, мяуканье, рев, уханье, ржанье и утробное урчанье, ибо Тилфорд собирал на продажу всех, от крошечных аллигаторов до полосатых, как зебра, рыб; образовалась целая федерация разных видов, и у каждого животного были свои собственные природные особенности (так они утверждали); на прилавках и полках во много рядов стояли клетки, обитатели которых пронзительно возглашали такое разнообразие происхождения, потребностей и мировоззрений, что Беркли, у которого голова раскалывалась, едва мог расслышать собственный голос в этом гаме.

— Терпение! — начал он.— Поверьте мне, он вернется!

— Да брось ты,— прошипела одна из трех змей.— Павиан говорит, Тилфорд *умер*. Весь вопрос в том, что нам теперь *делать?*

Беркли горящими глазами посмотрел на входную дверь. Его пустой желудок урчал, словно канализационная труба. Огромным усилием он попытался привести свои запутанные мысли в порядок.

— Если мы сумеем продержаться...

— *Мы хотим есть*! — крикнула Лягушка.— Пока Тилфорд вернется, мы умрем с голоду!

Во время всей этой суматохи, криков, хлопанья крыльями (от которого повсюду, как конфетти, летали перья) и гневного шлепанья плавниками (отчего пол был залит водой), Павиан просто сидел, исподтишка наблюдая за всеми, и потирал подбородок, точно мудрец. Он дождался паузы и снова просунул морду сквозь прутья. Голос у него был спокойный, с выверенными интонациями, как у опытного адвоката в суде.

— Беркли! Только подожди, не злись, но мне кажется, выход тут лишь один, это же очевидно.

— Какой?

— Выпусти нас,— сказал Павиан.— Открой клетки.

— Нет!

— У нас создалась кризисная ситуация.— Павиан вздохнул, как пожилая, усталая от жизни ящерица, словно такое решение досталось ему нелегко.— Необходима смелость, радикальные решения. Ты в ответе за нас, пока не вернется Тилфорд. Это значит, что ты обязан нас кормить, но ты же с этим не справишься, верно? Единственный из нас, у кого есть руки, это *я*. Видишь ли, у каждого здесь свой талант, свои уникальные возможности. Если ты нас выпустишь, мы их объединим. Я же могу *вскрыть* пакеты с едой!

— Сумеешь? — Сторожевой пес сглотнул слюну.

— Ну да.— Павиан быстро и ловко пошевелил пальцами рук, потом ног.— Только кто-то должен поднять щеколду на моей клетке. Я не могу до нее дотянуться. Пес, я прошу тебя, будь демократичен! Держать нас взаперти — это фашизм!

Нестройным хором звери стали требовать свободы; они подхватили призыв Павиана: «Самоопределение!» Но вся натура Беркли восставала против этого клича, против хаоса, который непременно начнется, если такое количество разных, не склонных к добрососедству созданий выпустить из клеток, дать им полную волю в этом магазине с низким потолком, где даже ему трудно бывало повернуться среди прилавков, загончиков, витрин со всякой всячиной и тяжеленных булькающих аквариумов. Ясное дело, тут рукой подать до любой беды, но если он не выпустит их, они умрут медленной голодной смертью. И потом, он не хотел, чтобы его называли фашистом. Все-таки непорядочно со стороны Павиана так

говорить, позорить его перед остальными. Против такого обвинения и защититься невозможно. Вопреки собственному здравому смыслу, сторожевой пес поднялся на задние лапы и, страстно надеясь, что поступает правильно, открыл зубами щеколду. Мгновение Павиан сидел неподвижно. Он шумно вздохнул и уставился на открытую дверь. Потом, осторожно ступая, вышел, выпрямился в полный рост, потер костлявые руки, сплясал короткий танец и начал распахивать остальные клетки одну за другой.

Беркли съежился.

— И Тарантула тоже?

Павиан холодно взглянул на него через плечо.

— Тебе надо познакомиться с ним поближе, Беркли. Не будь таким расистом.

Беркли отпрянул от Тарантула, создания, сделанного по заказу Ангела Ада, но так и не востребованного им, а тот неуклюже выполз из клетки — не столько насекомое, мелькнуло у Беркли, сколько Чума на ножках. (Будь справедлив! — укорил он себя.— Он хороший, я хороший, мы все хорошие.) Он беспомощно наблюдал, как Павиан разбил стекло над муравейником, выпустил на волю птиц, после чего вся компания, вдохновленная перспективой общего светлого будущего, побежала, поползла, поскакала, полетела, зашлепала и засеменила, скребя когтями пол, в кладовую кормиться. Все, кроме нелюдимой морщинистой Черепахи; ее Павиан не выпустил из клетки, да она, собственно, и не желала освобождаться — даже цапнула его за лапу, когда он попытался отпереть ей дверцу. Никто не стал задавать вопросы. За год до того Черепаха убежала и с неделю прожила на воле, а потом сама почему-то вернулась со странно затуманенным взором, будто она видела конец света или же то, что́ этот свет ожидает. Целый год она не разговаривала. Сжавшись в своем панцире, почти не принимая пищи, обитала Черепаха в Зоомагазине, но едва ли можно было сказать, что она участвовала в его общей жизни, и даже сторожевой пес посматривал на нее искоса. Сам Беркли уже утратил всякий аппетит. Совершенно измученный, он заставил себя подойти к входной двери и, когда мимо прошла женщина, отчаянно залаял, надеясь, что она остановится, но, увидев за стеклом табличку, на которой со стороны Беркли можно было прочесть «ОТЫРКАЗ», она быстро пошла дальше. Беркли поджал хвост и медленно двинулся в кладовую, надеясь, что все обойдется, но зрелище, представшее его взору, было отнюдь не для миролюбивой сторожевой собаки.

Верный своему слову, Павиан распатронил пакеты и коробки с едой, но животные, которых Тилфорд всегда держал в отдельных клетках, обнаружили, что теперь, когда все они сбились в кучу в тесной комнате и приступили к еде, аппетит у них явно поубавился, ибо каждому пришлось трапезничать рядом с созданиями, чьи гастрономические наклонности разительно отличались от его собственных. Птицы нашли застольные манеры и вкусы рептилий, считавших яйцо деликатесом, отвратительными и в ужасе сторонились их; по мнению рептилий, гордившихся своей холодной кровью и разработавших сложную теорию прекрасного, в основе которой лежала эстетика чешуйчатости, тепло, исходящее от млекопитающих, было неприятно до тошноты, и они отказывались есть рядом с ними, хотя млекопитающие это только приветствовали: во главе с Павианом они презирали всякого, кто настолько инороден, что вылупляется из яйца, и объявляли, что такие создания стоят на нижних ступенях эволюционной лестницы; они пожирали все — птичий корм, печенье для собак и даже тонюсенькие облатки, предназначенные для рыб.

— Не трогайте облатки! — потребовал Беркли.— Рыбам тоже надо есть! Они ведь не могут выйти из аквариумов!

Застигнутый псом врасплох, Павиан мгновение задумчиво смотрел на зажатые в кулаке облатки, потом затолкал их себе в рот.

— Это их трудности.

В самом нутре у Беркли послышалось ворчание, оно медленно нараста-

ло, и когда наконец вырвалось наружу, раздался оглушительный рык, столь устрашающий, что Павиан подскочил фута на четыре, а то и на пять. Он швырнул облатки в Беркли.

— Ладно, ладно, отдай им! Но запомни одно, пес: ты ведь тоже млекопитающее. Вставать на сторону чужих противоестественно.

Сторожевой пес презрительно отвернулся, дрожа от ярости. Он осторожно подобрал зубами облатки, поднес их к огромным, в человеческий рост аквариумам и бросил плававшим там гуппи, морским конькам и медузам, чье тело пульсировало, словно сердце. Из глубины к нему подплыла со слегка изумленным выражением Золотая Рыбка, голос и плавники ее дрожали.

— Что у нас, черт возьми, происходит? Где мистер Тилфорд?

Беркли весь напрягся, стараясь, чтобы ответ прозвучал спокойно.

— Уехал.

— Навсегда? — спросила Золотая Рыбка.— Беркли, мы ведь слышали, что́ тут говорили другие. Они уморят нас голодом...

— Нет,— сказал он.— Я буду вас защищать.

У Золотой Рыбки вырвался пузырек облегчения, но потом в глазах вновь появилось выражение паники.

— А что, если Тилфорд так никогда и не вернется?

Сторожевой пес повесил голову. Это предположение наводило такой ужас, что не хотелось его и обсуждать. Утешая больше себя, чем Золотую Рыбку, он сказал:

— Это же его Зоомагазин. Он должен вернуться.

— Но что, если он и *вправду* умер, как утверждает Павиан? — Немигающие, лишенные век глаза Золотой Рыбки поймали взгляд Беркли и уже не отпускали его.— Тогда это уже наш Зоомагазин, правда?

— Ешь свой обед.

— Беркли, погоди,— крикнула Золотая Рыбка.

Но сторожевой пес уже разволновался не на шутку. Он понуро возвратился к входной двери. Подобно освещенному луной волку на горной вершине, который изображен на кинозаставке компании «Уорнер бразерс» — а Беркли и впрямь походил на этого волка,— он закинул назад голову и издал долгий жалобный вой; его разрывало от боли при мысли о том, что, если Тилфорд умер или плюет на их трудности, если никто не придет им на помощь, все они тоже умрут. Правда, Беркли усвоил у Тилфорда довольно много с той поры, как тот муштровал его еще щенком; однако, хотя пес и имел некоторое представление о дисциплине и справедливости, он вряд ли мог поддержать мир и порядок в Зоомагазине, а самое главное — разве ему по силам добывать для зверей пропитание, как это делал старик Тилфорд? Пес никогда не считал себя вождем, а нелюбовь к принятию решений относил за счет своей редкой способности объективно смотреть на вещи. В герои вроде Старика Рыжего или легендарного Геллерта он не годился; он ткнул зубами себе в ребра, проверяя, сколько он потерял в весе от этих треволнений. Десять фунтов? Двадцать? Черными лапами он прикрыл глаза и тихонько поскулил, чувствуя, что самообладание изменяет ему, а в животе, словно мягкий белый слизняк, шевелился страх. Потом он набрал полную грудь воздуха, а с ним и новой решимости. Не может быть, что хозяин умер. Пусть Павиан твердит что угодно, но это неправда. Тилфорд просто задержался где-то по делам. И вернется он в полной уверенности, что все в Зоомагазине так, как было, когда он уходил. Возможно, жизнь здесь идет даже еще ровнее, чем прежде,— как те швейцарские часы, которые хозяин завел, и они себе тикают и тикают. Сторожевой пес сжал челюсти так, что они хрустнули, но он все равно стискивал их. Глаза его сузились. Никакой напасти никогда не проникало в «Магазин домашних любимцев» снаружи. Он за этим следил. Никакая напасть, мысленно поклялся он себе, не разрушит его изнутри.

Но не мог же он поспеть всюду одновременно. Положение ухудшалось

день ото дня. Там и сям, чудилось Беркли, возникают трещины, а потом и разломы, даже в самых неожиданных местах. Под ногами, как ловушки, то и дело попадались лужи и конусообразные кучки. Кругом носились заразные мухи. Затем появились и черви. Хомяки погрызли электропроводку в задней комнате. Лягушка подцепила болезнь детородных органов. Рыбы, самые безобидные создания из всех, вызвали скрытое общее недовольство, требуя круглосуточной охраны и заявляя, что в борьбе за еду они в особенно невыгодных условиях, так как ограничены пределами аквариума, а они, между тем, принадлежат к древнейшему роду; все виды жизни вышли из моря, утверждали они, остальной живой мир в долгу перед ними.

Вдобавок вспыхнули старые кровные обиды и распри — вы бы наверняка решили, что они давным-давно похоронены, ан нет. Сиамский Кот стал как-то странно поглядывать на Беркли и выскакивал прочь, когда тот входил в комнату. Беркли не обращал на это внимания, надеясь, что Кот опомнится. Вышло, однако, не так: стоило Беркли отвернуться, как Кот вспрыгнул на Крольчиху, и в результате насилия можно было ждать нового создания — Колика — с прыгучими ногами кролика и длинными кошачьими усами; такого в Зоомагазине еще не видели. Крольчиха все это перенесла плохо. Сначала она постоянно шмыгала носом, и не без причины: изнасилование, что и говорить,— вещь препоганая; но уж очень она ушла в свои переживания, горе и боль затопили ее целиком, и она не видела из них выхода, будто ребенок, заблудившийся в темном лесу; вскоре она начала призывать женские особи всех видов перестать сожительствовать с представителями противоположного пола. Беркли держался в стороне, опасаясь встревать, поскольку Крольчиха заявила, что не его это собачье дело и что он такая же дрянь, как и все остальные. Он взывал к разуму зверей; от недосыпа глаза у него жгло, под ними висели мешки; когда на эти воззвания никто не откликнулся, он призвал к воздержанию в еде.

— Запасы наполовину съедены,— сказал он Павиану на пятый день.— Если мы не введем пайки, нам грозит голод.

— Да еды всегда полно.

Что-то в этой фразе не понравилось Беркли.

— Где же?

Усмехаясь, Павиан указал глазами на аквариум с рыбами.

— Только посмей подойти к золотым рыбкам!

Припертый к стене, Павиан лишь с ненавистью уставился на Беркли, а тот скрежетал зубами, внезапно охваченный неукротимым желанием вцепиться в эту обезьяну; но он ведь знал, что в конечном счете имеет в Зоомагазине преимущество перед всеми — власть. Другими словами, зубы покрупнее прочих. Хоть и горько ему было в этом признаться, но его единственный шанс сохранить заведенный порядок, его единственный козырь, если он и впрямь хотел удержать их всех на плаву, состоял в том, что он тут главнее всех. Они его боялись. Как ни странно, истинный вес его моральных ценностей и взглядов целиком определялся тем, что у него самые мощные лапы, на сей счет у пса уже не существовало сомнений. Эта мысль не давала ему покоя. Идеалы идеалами, но все в конце концов решают те, у кого длиннее клыки и когти. И тем не менее, от дерзости Павиана у Беркли подкашивались лапы.

— Пес,— сказал Павиан, скребя под мышкой,— тебе надо хоть *когда-нибудь* поспать.

И Беркли уснул. После того как он часами стоял на страже в кладовой, или же пытался утешить Крольчиху, которая теперь твердила, что прервет беременность и не будет никакого колика, а он умолял ее изменить решение, или успокаивал птиц, забившихся стаей в угол в попытке противостоять, говорили они, угрожающим поползновениям рептилий, или поливал разными препаратами Лягушку, чья болезнь уже перекинулась на Игуану,— после всего этого Беркли, как и следовало ожидать, заснул-таки возле входной двери. Он спал жадно, мечтая о лучших днях. Он дергался и глухо

взлаивал во сне, и снилось ему, что клеится он к маленькой пуделихе, живущей на этой же улице, и так это прекрасно — просто неземное блаженство, и так она замечательно движется вместе с ним; снилось ему щенячье детство, когда самой трудной задачей было вспомнить, где он закопал подачки со стола Тилфорда, или сообразить, как улизнуть от мамы, которая рассказывала ему, что у всех собак потому холодные носы, что они прибежали на Ковчег позже остальных и пришлось им путешествовать, сидя возле поручней. Один сюжет переходил в другой, как то обычно бывает во сне, приобретая все большую четкость; и вдруг, уже в полудреме, он ясно увидел последнюю сцену: возвратился-таки хозяин. Великолепно одетый, в котелке и с тростью, трезвый, ласково улыбающийся своему сторожевому псу (в этом Беркли был уверен) Тилфорд распахнул дверь «Магазина домашних любимцев», одновременно налетел порыв ветра, и вспыхнуло сверхъестественное сияние, которое озарило всю комнату, рассеяло малейшую тень и всем этим сварам, междоусобицам и спорам по поводу интерпретаций и мутаций положило предел. Никто не смел и двинуться. Все стояли, оцепенев, как рыбы во льду или как птица, попавшая во встречный воздушный поток, а бесцветное сияние, лившееся из-за спины хозяина, так слепило, что размывало их контуры, стирало драгоценные особенности, и каждый словно сам становился лучиком одного и того же древнего света, заключенным каким-то образом в форму, и это заключение-в-форму было само по себе страшно нелепым, возмутительным, если подумать хорошенько, ибо несло страдания, означало отделение от других форм, создавало иллюзию особости, но и это кончилось, как сон внутри собачьего сна, и остались лишь пес да хозяин. Нагнувшись, он погладил Беркли по голове. И наконец произнес, как Бог, шепнувший Самуилу: *Молодец*. Только об этом Беркли всегда и мечтал. Он снова глухо гавкнул, всхрапнул, точно боров, и почесался во сне; он слышал, как хозяин прошептал: *был совет* — весьма странное высказывание, даже для Тилфорда, даже во сне. Уши Беркли встали торчком; *был совет,* снова произнес Тилфорд. Хозяин, видно, употребил не то время, мелькнуло в голове у Беркли, на самом деле он хотел сказать: «А теперь соберем совет» или что-нибудь вроде того, осмысленное и подходящее, но внезапно пес проснулся — Попугай хлопал крыльями и кричал Беркли в самое ухо.

— Пистолет! — вопил Попугай.— Он у Павиана.

Слезящимися, мутными от сна глазами Беркли обвел магазин. Все вокруг качалось и кружилось в клубах дыма от пожара, вспыхнувшего в кладовой. Беркли задыхался. И что еще хуже, он совершенно забыл про пистолет «смит и вессон», купленный Тилфордом, когда владельцы зоомагазинов в Сиэтле начали страдать от воров, излюбленным занятием которых стала кража экзотических птиц. Теперь он был в руках у Павиана. По задней лапе Беркли побежала струйка. Павиан держал пистолет, опершись на прилавок между кассой и витриной с пластмассовыми ошейниками для собак, и щерился во весь свой желтозубый рот — ни дать ни взять генерал, которому Конгресс только что дал добро на тактику выжженной земли.

— Хватай пистолет! — крикнул Попугай.— Ты же обещал защитить нас, Беркли!

Несколько тягучих мгновений пес стоял, дрожа, увязая в дерьме; его легкие обжигала гнилостная вонь, и все-таки он никак не мог полностью проснуться, ему казалось, что он досматривает сон, шерсть была еще влажной, потому что ему снилась пуделиха, и он взмок. Но пистолет... Равновесие сил нарушилось. Его обманули. Надежд никаких, если только он не отберет оружие. Он пошел в обход прилавка, опустив голову и ворча, вернее, стараясь издать подобающий случаю рык; он подполз к кассе, в груди у него стучало, он сжался перед прыжком, рванулся, убеждая себя, что страшный взрыв из пламени и дыма похож на телевизионную пальбу: ему ободрало бок так, что стали видны ребра, глотку забило зубами; его

отшвырнуло назад, к клетке с Черепахой, как пустую шкуру. Он лежал неподвижно. Ног он теперь не чувствовал. Темно-красная кровь, что течет в глубинах тела, потоком струилась из его бока на пол, с каждым ударом сердца все сильнее, он лежал слегка подергиваясь и лишь в эту минуту осознавая, что все проспал. Пламя уже давно лизало пол. В темном, отключенном от сети аквариуме брюхом вверх плавали рыбы. Женские особи разорвали Сиамского Кота на куски. Пятнистые ящерицы сосредоточенно высасывали из яиц крошечных птенчиков канареек. И среди жутких развалин «Магазина домашних любимцев» вольно бродил Тарантул, переваливаясь через трупы Лягушки и Игуаны. Беркли услышал, как где-то под ним шевельнулась древняя Черепаха, прочищая замшелое от долгого молчания горло. Дым ел глаза; псу хотелось поделиться своей мечтой, прежде чем пламя доберется до них.

— Мы же могли выстоять, у нас столько общего — Господи Боже, мы же ведь *все* животные.

— Именно,— мрачно произнесла Черепаха, сверкнув глазами, словно фарами, и панцирь, точно пещера, отозвался глубоким эхом.— Именно.

Китай

Если один победит в бою тысячу человек, а другой лишь самого себя, то этот второй и есть величайший победитель.

Дхаммапада

Для Ивлин первые сложности с Рудольфом, ее мужем, пришлись на самое начала марта, когда в один промозглый и тоскливый вечер, типичный для Сиэтла в это время года, Рудольф, плотно поужинав свиными ножками с картофельным пюре, пожаловался на одышку; возможно, то была аллергия на одну из приправ или же на ранние полевые цветы, пробивавшиеся окрест. Она предложила пойти куда-нибудь скоротать вечер, хотя бы в кино. Рудольфу было пятьдесят четыре года, он тридцать три года проработал почтальоном и страдал высоким давлением, эмфиземой, плоскостопием да вдобавок, говаривала Ивлин своей приятельнице Шелбердин Льюис, еще и застарелой ракобоязнью. Чем старше он становился, тем труднее с ним было жить. Он требовал, чтобы она не солила еду, чтобы вела их «линкольн-континенталь» на черепашьей скорости, а в церкви, во время проповеди преподобного Уильяма Меррилла, ни в коем случае не поглаживала его по бедру, потому что все, даже секс или громкий смех, вполне серьезно утверждал Рудольф, может вызвать остановку сердца.

Поэтому в тот субботний вечер она решила, что им стоит пойти посмотреть вполне безобидный фильм, умеренно смешную комедию — критик в «Сиэтл таймс» писал, что на ней можно лишь фыркнуть разок-другой; в сумраке полупустого зала у Рудольфа, щепоть за щепотью бросавшего в рот воздушную кукурузу, от незатейливого юмора слипались глаза. Подошвы Ивлин накрепко приклеились к залитому чем-то липким полу. Мужчина, сидевший в заднем ряду, беспрестанно смеялся в самых неподходящих местах. Она придерживала на коленях картонный стакан с кукурузой, хотя терпеть не могла эту несоленую дрянь, в рот ее не брала, и только вздыхала, когда Рудольф в поисках стакана шарил ладонями по ее телу.

Она смотрела картину очень внимательно, но время от времени ее глаза словно бы подергивались туманом, перед ними вспыхивали белые пятна. На нее иногда находила такая слепота. Нервные волокна ее глаз разрушались, сетчатка расползалась, как папиросная бумага. И тогда разноцветный мир перед нею застилала слева мутная белизна, как если бы в череде кадров вдруг появлялась пустая рамка,— неожиданно и страшно. Ей было ясно, что когда-нибудь эта снежная пелена на ее глазах так и не растает. Вечная зима: глаза у нее растрескались, вроде ее палки для ходьбы.

Она пыталась удержать расплывавшуюся картину, терпеливо ожидая, пока растает пелена, и прислушиваясь к фильму, которого не видела. В своей немощи она утешалась лишь тем, что у Рудольфа здоровье еще хуже.

Во время фильма он то и дело задремывал, сползал с кресла (тогда она толкала его локтем в бок или щипала за ногу), потом вдруг совершенно проснулся и сел прямо: картина кончилась, и начался рекламный ролик «Фильм будущей недели». Какой-то боевик, моргая, решила Ивлин, и к тому же полная ерунда. Сюжет держался на теме мести, но даже этим едва ли можно было объяснить ту неистовую ярость, с какой китайские или японские актеры (одних от других она отличить не могла) молотили в воздухе руками и ногами, сражались одновременно с пятьюдесятью статистами в диковинных одеяниях и подлетали на двадцать футов над землей, совершенно пренебрегая законами тяготения. У Рудольфа отвисла челюсть.

— Неужели люди и вправду способны на такое? — Он не сводил глаз с экрана и разговаривал с ней правым углом рта.— Могут прыгать на такую высоту?

— Это же *кино,*— вздохнула Ивлин.— *Плохое* к тому же.

Он кивнул, потом опять спросил:

— Но все-таки — могут?

— Ох, Рудольф, ради бога! — Она встала, собираясь уйти, ее сиденье, звонко щелкнув, откинулось к спинке.— Они же на *батуте*! Даже видно — вон, в углу! Глаза только раскрой!

Он и впрямь увидел, как только Ивлин повернула ему голову к левому нижнему углу экрана, и ей показалось, что муж разочарован — точно так же Рудольф выглядел, когда доктор Гайли сказал ему, что у него развилась экстрасистолическая реакция, едва слышный жалобный звук, когда сердце расслабляется. Рудольф не произнес больше ни слова до конца ролика, потом встал — сзади к брюкам прилипла жвачка,— натянул с помощью Ивлин тяжелое пальто и пошел за ней по длинному, устланному ковровой дорожкой проходу к двери кинотеатра «Коронет», на стоянку, к машине. Он не проронил ни слова и по дороге домой, а она болтала без умолку, повторяя, что нельзя ему сегодня допоздна копошиться в подвальной мастерской, потому что завтра вечером им надо быть на службе в церкви.

Рудольф, однако, в церковь не пошел. После обеда он пожаловался на легкую пульсирующую боль в груди, которая всегда возникала очень кстати, стоило их баптистской Церкви Горы Сион объявить об очередном бдении; Ивлин пошла одна и сидела рядом с подругой Шелбердин, косметичкой. Шелбердин шел сорок второй год, Ивлин — пятьдесят третий. В тот вечер на Ивлин были белоснежные перчатки, лечебные чулки цвета загара — у нее отекали щиколотки — и белое платье, выгодно оттенявшее ее коричневую кожу, красивейшего цвета кедрового ореха, говаривал, бывало, Рудольф, когда он тридцать пять лет назад ухаживал за нею в Южной Каролине. Но тогда Ивлин надевала на свидания клетчатую юбку и подходящий по тону жакет. Со своими черными, как смоль, волосами, прихваченными сзади простым деревянным гребнем, она точь-в-точь походила на потрясающей красоты натурщицу с полотна Эндрю Уайета [1] «Ярмарка». Рудольф, помнится, носил черные деловые костюмы, черные галстуки, модные туфли с черными носами и белые перчатки, поскольку он был главным сборщиком пожертвований — именно из-за этого она его и приметила. Он и еще трое юношей, все в черном, как священники (или дрозды), левая рука за спиной, чуть ниже пояса, несли в правой по серебряному блюду для пожертвований; они шли почти строевым шагом по четырем проходам: солдаты воинства Христова, подумалось ей, гордость их негритянской общины, и, чтобы привлечь его внимание, она вместо белого конверта или монет положила на блюдо Рудольфа записку со словами: «У тебя красивая улыбка». При тогдашней ее неискушенности, считала мать

[1] Эндрю Уайет (род. в 1917) — известный современный американский художник. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Ивлин, весьма опасно было заигрывать с таким горячим парнем, как Рудольф Ли Джексон; какие у него были красивые, острые, белые зубы — настоящий тигр. Улыбка у него неотразимая, говорили кругом, впрочем, как у всех парней в семье Джексонов, неотразимая улыбка и прекрасные волосы — стоило ему разок провести по ним пальцами, и во всем блеске вздымались черные волны, напомаженные сладко пахнущим брильянтином «Муррейс».

И уж конечно, Рудольф был отнюдь не дурак. Во всяком случае, не полный дурак. Пока прихожане тянулись из маленькой белой церкви, он делал вид, будто ничего особенного не произошло. Он, младший сын, стоял между родителями и спокойно слушал старика дьякона Адкока, который сказал про него: «Ого, как возмужал»; это была неправда. Рудольф был самым хилым среди сыновей Джексонов — бледное, не отрывающее глаз от книги одухотворенное дитя, появившееся на свет, когда родителям было уже далеко за сорок. Его братья гоняли в футбол, потом ушли служить на флот; Рудольф не мыслил жизни без Священного Писания, его сочли непригодным для военной службы, и он надеялся поступить в теологический институт Муди в Чикаго, если удастся наскрести денег. Ивлин понимала, что Рудольф и не глядя чувствует ее, что он отлично знает, где именно стоит она с сестрой Дебби в гуще прихожан и ждет, пока отец подкатит свою «десото» — гордость всей семьи — к церковным ступеням. Когда толпа поредела, Рудольф направился к ней неторопливой походкой священника, представился и развернул ее записку.

— Ты писала? — спросил он.— Знаешь, не годится так шутить с деньгами Божьими.

— А я люблю шутить,— сказала она.

— Любишь, значит, да?

Он никогда не смотрел людям прямо в глаза. Она догадалась, что женщины внушают ему страх. Вернее сказать, они пробуждали в Рудольфе бурные чувства, которые несказанно пугали его. Для удовольствия он пользовался собственными причиндалами, это было ясно как Божий день. Он устремил взгляд куда-то левее ее лица.

— Ты ведь дочка Джо Монтгомери, да?

— Может быть,— поддразнивая его, ответила она.

Он сунул записку в карман и стал ковырять землю носком ботинка.

— И чего же вы, мисс Шутница, добиваетесь своими играми во время сбора пожертвований?

Он отвел глаза; она помолчала и, выждав, когда он вновь метнет в нее свой ускользающий взгляд, нежнейшим, едва слышным голоском произнесла:

— *Тебя.*

Впереди, за кафедрой, преподобный Меррилл, дородный и осанистый, завершал проповедь. Ивлин слегка наклонила голову, улыбаясь своим воспоминаниям; ее рука скользнула влево, чтобы ласково погладить ногу Рудольфа; тут она вспомнила, что рядом сидит Шелбердин, и оперлась рукой о спинку сиденья перед собою. Она помолилась за здравие Рудольфа, но больше за свое собственное, обороняясь от ужасного видения: теперь, когда их бездетная жизнь пронеслась, словно птица, она вернется однажды домой и увидит Рудольфа — как увидела в свое время отца — в пустом доме на полу, животом вверх, рука неловко подвернута под спину — наверное, при падении,— другая судорожно прижата к груди. Рудольф начал киснуть еще с той поры, как его не приняли в теологический институт Муди. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году они переехали в Сиэтл — неподалеку квартировала часть, где служил его брат Илай, утверждавший, что на предприятия компании «Боинг» берут и негров. Но Рудольфа они не взяли. Еще до того, как ему удалось устроиться почтальоном, его начали донимать почки. Стоило ему наклониться вперед, и у него кружилась голова. Печень, сердце, легкие — все постепенно выходило из строя, зато

рос живот. Однако самые большие огорчения доставляло ему то, что он сам величал Проблемой. Всякий раз, когда она при нем раздевалась, член его съеживался едва ли не до размеров карандашной резинки. А еще, когда Ивлин, разговаривая с ним, привычно касалась его руки. Неужто она тому виною? Она, конечно, знала, что смотреть на нее теперь — удовольствие маленькое. Ее сгубила любовь к сладкому, слишком много конфетных оберток освободила она от содержимого. При взгляде на Ивлин ни один мужчина не станет задыхаться от страсти, не набросится на нее и не потащит, одетую, к диван-кровати, как некогда делал Рудольф; но ведь и от секса приходится с возрастом отказываться, правда? Тем более что это занятие ей и раньше не очень-то нравилось. Мужу, вдобавок, хотелось оральных сношений, которые Ивлин — пускай она женщина темная и неразвитая — считала противными и негигиеничными, совсем не для рта. Из-под своей весенней шляпки она глядела мимо кафедры проповедника, мимо черных и коричневых лиц хористов, на прекрасного в страданиях своих белого бородатого плотника, прибитого к кресту, и в его неподвластном времени образе черпала утешение: значит, страдания неизбежны, утрата жизненных сил неотвратима, даже, быть может, благотворна, и ей нужно готовить себя к тому, что однажды, открыв дверь спальни, она увидит, что Рудольф лежит, утонув лицом в тарелке с овсяной кашей. Он умрет первым, она это нутром чуяла.

И вот после службы, спустившись вместе с Шелбердин в ярко освещенный зал в цокольном этаже церкви, Ивлин выпила чашку кофе без кофеина, съела кусочек пирога с мясом и отправилась домой, собираясь рассказать мужу, как прелестно пели в тот день сестры Гриффин и как снизошла благодать на их соседа Рода Кеннера, и готовясь выслушать, если понадобится, опасения Рудольфа, что шишка у него на плече — это зловещий признак чего-то скверного. Вышло, однако, иначе: во всем их маленьком домике с двускатной крышей Ивлин, кроме кота по кличке мистер Миллер, не нашла ни души. Она заглянула в спальню мужа. Рудольфа не было и там. От неестественной тишины в доме Ивлин стало не по себе, и она, превозмогая боль, спустилась по всем двадцати ступенькам-мучительницам в подвальный этаж и заглянула в его мастерскую, где в беспорядке валялись инструменты, доски и чертежи, по которым муж прежде мастерил книжные полки и шкафчики. Рудольфа не было и здесь. Перепугавшись не на шутку, Ивлин обзвонила восемь больниц Сиэтла, но Рудольф Ли Джексон в них не числился. После восьмого звонка часы в виде топорщившейся лучами звезды, стоявшие в гостиной, показывали уже половину первого. Она повесила трубку и ощутила знакомую боль в животе. Опять расстройство — наверное, из-за пирога с мясом. Она поспешила в ванную, подняла юбку, спустила трусы до самых щиколоток, но дверь оставила нараспашку — поступок совершенно немыслимый, будь Рудольф дома. Вообще говоря, была своя приятность в том, что он не путается под ногами, отчасти словно бы уже и умер. Но вот уж этого Ивлин никак не хотела, не хотела она и засыпать, когда прилегла, опершись спиной на высокие комковатые подушки, однако задремала, клюя носом, как вдруг ее массивное тело почему-то сдвинулось от стены к краю кровати.

— Ивлин,— произнес Рудольф,— ты только взгляни.

Она поморгала, разгоняя сон, и покосилась на обложку журнала под названием «В мире кун-фу», которым Рудольф размахивал у нее перед носом. На обложке раскорячился мужчина, один кулак он сунул чуть ли не под мышку, а другой ввинчивал Ивлин прямо в нос.

— Рудольф!

Она отмахнулась от журнала, потом перевела глаза на тумбочку, заваленную бог знает чем, и вгляделась в циферблат электрических часов, стоявших возле пластмассового от «Макдоналдса» стакана с водой, свечи от геморроя и сентиментальных романов издательства «Арлекин».

— Уже утро!

Тут она разъярилась. Во всяком случае, постаралась себя распалить.

— Где тебя носило?

Муж вздохнул, хрипло, с присвистом. Он скатал журнал в трубочку и, отвечая, пристукивал им по ладони.

— Помнишь, мы видели рекламу фильма? Ну, того, который назывался «Пятерня смерти». Я только что посмотрел его и еще один, называется «Точное попадание».

— Замечательно,— Ивлин поджала губы.— Я названиваю в больницы, а ты себе смотришь два гонконгских фильма подряд.

— Послушай,— сказал Рудольф,— ты, видно, не понимаешь.— Казалось, что в тот миг он и сам ничего не понимал.— Это была премьера фильма в Сиэтле. Северо-запад прямо-таки кишит бойцами кун-фу. Видимо, потому, что здесь столько выходцев из Азии. Перед началом картины четыре ученика из гуаня в Чайна-тауне вышли на сцену...

— Откуда-откуда? — переспросила Ивлин.

— Из гуаня — это место, где изучают воинские искусства, зал для медитации.— Он смотрел на нее, но на самом деле, поняла Ивлин, видел нечто удивительное, недоступное ей.— Они устроили показательные выступления, чтобы привлечь желающих в секции. Разбивали ладонью доски и кирпичи, представляешь, Ивлин? А еще делали всякие упражнения — «ката» [1], «кумитэ» [2] и...— Он снова замолчал, чтобы перевести дух.— В жизни не видал подобной красоты. А припоздал я потому, что хотелось поговорить с ними после фильма.

Глотнув, чтобы успокоиться, таблетку валиума, Ивлин недоверчиво молчала.

— Я записался в группу,— сказал он.

Леденящим взглядом она посмотрела на Рудольфа, на его журнал и произнесла голосом, к которому прибегала пять лет назад, когда ему вздумалось провести отпуск в Верхней Вольте, а до того — когда он собрался вложить деньги в английский автомобиль, который, она точно знала, им не по карману.

— Рудольф, тебе уже пятьдесят *четыре* года.

— Я знаю.

— Ты ведь не Мохаммед Али.

— Я знаю,— сказал он.

— И не Брюс Ли. Хочешь стать Брюсом Ли? Знаешь, где он сейчас, Рудольф? В могиле — в могиле, здесь, на городском кладбище, похоронен на Кэпитал-хилл.

Рудольф немного ссутулился. Он стал молча раздеваться, повернув к ней заплывшую жиром спину; не снимая рубахи, он натянул пижамные штаны, чтобы не выставлять на обозрение свой тощий зад и ноги. Подобрав журнал, он произнес:

— Прости, если заставил тебя волноваться.

И, сердито отдуваясь, пошел наверх в свою спальню. Ивлин выключила лампу-грибок, стоявшую возле кровати. Она лежала на боку и слушала: вот он медленно взбирается по ступенькам, вот заскрипела под ним кровать — его спальня находилась как раз над ее головой,— но не слышно было, чтобы он выключил свет. Время от времени, когда он ворочался в постели, доносился скрип пружин. Читает этот дурацкий журнал, догадалась она; потом, устав прислушиваться, она препоручила этого несносного человека воле божией. Так и не убрав с колен том «Поющих в терновнике», Ивлин вновь забылась тяжелым сном.

Наутро за завтраком при малейшем упоминании об уроках кун-фу на Рудольфа нападал столбняк. Перед уходом на работу он, как всегда, поцеловал ее в лоб и просто сказал, что, наверное, придет поздно. Подыматься по лестнице к нему в спальню было для Ивлин сущим мучением,

[1] Комплекс упражнений *(япон.)*.

[2] Спортивная схватка *(япон.)*.

но она все же вскарабкалась туда, отдуваясь на каждой ступеньке, потом села на кровать мужа и стала разглядывать журнал «В мире кун-фу». Там были статьи о ведении боя голыми руками, неконтрастные фотографии мужчин свирепого вида, в странных одеяниях, притчи о достославных наставниках дзэн-буддизма, интервью с неким Берни Бернхаймом, который начал изучать каратэ в возрасте пятидесяти семи лет, а в шестьдесят один стал «черным поясом»; страница за страницей рекламировались самые экзотические виды восточного оружия: нунчаки, сюрикэн, трезубцы сай, палки тонфа, посохи бо; всевозможные спортивные сумки, деревянный тренажерный манекен «мук-джонг», напоминающий человеческую фигуру, и гантели. Рудольф все это обвел кружками. С задней обложки он вырезал бланк заказа. Общая стоимость того, что он обвел — Ивлин подсчитала мгновенно, округляя цифры,— составила восемьсот долларов.

Две минуты спустя она уже говорила по телефону с Шелбердин.

— Оставь, ему это скоро наскучит,— сказала подруга.— Ты же мне сама говорила, что у него Дефор...мизация Пояснично-Крестовского Отдела.

От подступивших рыданий у Ивлин заложило нос.

— Зачем он со мной такое вытворяет? Ведь это из-за меня, как ты считаешь?

— Это из-за Проблемы,— сказала Шелбердин.— Он хочет вернуть мужскую силу. Артур перед смертью проделывал то же самое. Кто-то на заводе сказал ему, что сила может вернуться, если он регулярно будет делать спринтерские рывки на двадцать ярдов. Когда он в очередной раз бежал вокруг озера, у него начались судороги.

Ивлин почувствовала, как что-то дрогнуло у нее в груди.

— Как по-твоему, он себе не навредит, а?

— Конечно, нет.

— Ты считаешь, он навредит *мне*?

Подруга успокоила Ивлин, заверив, что все мужчины начинают фокусничать в этом возрасте: Климактерический Кризис. А ей-то всегда казалось, ответила Ивлин, что Кризис начинается лет в сорок, на что Шелбердин заметила:

— Не хочу никого обидеть, голубушка, но Рудольф всегда слегка отставал в развитии.

Ивлин спорить не стала. Пусть он сам переболеет всем этим, она подождет; пусть победит Матушка-Природа, и, как всякий здравый человек, он уступит естественному распаду тела, признает жестокую истину, что тлен неизбежен; облегчение приносила только мысль о том, что угасаешь *вместе* с кем-то еще,— так утешалась каждая негритянская супружеская пара, когда, старея, они чувствовали, что жизнь идет к концу, и не сопротивлялись.

Вначале ее терпение было вознаграждено. После первого урока Рудольф приполз домой скрюченный, едва держась на ногах, в страхе, что он в себе что-то надорвал. Он дотащился до тахты и рухнул вниз лицом; лечь на тахту с ногами у него не хватило сил. Ивлин помогла ему переодеться в пижаму и принялась втирать мазь в мышцы его спины. Она еще никогда не видела, чтобы муж был настолько близок к слезам.

— Я *не умею* отжиматься,— простонал он.— И садиться из положения лежа не умею. Я такой весь деревянный, не справляюсь с собственным телом.— Он поднял голову, жалобно глядя снизу вверх умоляющими глазами.— Позвони доктору Гайли. Запиши меня на четверг, ладно?

— Хорошо, милый,— Ивлин прикрыла рукой свой улыбающийся рот.— Не стоит так себя насиловать.

При этих словах он сел; торс его был обнажен, живот большим пузырем вываливался из пижамных штанов.

— Да в этом-то весь смысл. По-китайски «гунг-фу» означает «тяжелая работа». Ивлин,— он понизил голос,— мне кажется, я еще ни разу в жизни не делал тяжелой работы. Во всяком случае, такой, как эта, которая

требует, чтобы я вложил в нее все, тело и душу, дух и плоть. Я всегда чувствовал...— Он опустил глаза, темные руки висели между колен.— До сих пор у меня не было возможности отдаться чему-либо целиком. Жизнь мне такого не позволяла. Никогда не требовалось выкладываться полностью. Понимаешь, о чем я говорю? Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, на все хватало частицы меня. И каждый раз, когда завершалась очередная работа, меня не покидало ощущение, что еще так *много* осталось невостребованным. Я и в церкви испытываю подобное.— Он снова лег и теперь бормотал в диванную подушку.— Иногда и с тобой у меня бывает такое же чувство.

Ее рука замерла у него на плече. Она была не уверена, что правильно все расслышала, так глухо звучал его голос.

— Что я не востребовала тебя целиком?

Рудольф кивнул, потирая костяшку на правой руке: в гуане он ободрал с нее кожу о боксерскую грушу.

— Всегда оставалась еще какая-то часть меня. Ты никогда не пыталась потратить меня всего, взять целиком. Быть может, это тебе и не по силам. Но мне временами кажется, будто эта невостребованная часть — непрожитая часть — *портится,* будто и рак возникает, оттого что часть эта валяется, как фрукты в саду на земле, и гниет.— Рудольф покачал головой: он наговорил лишнего, это ясно; возможно, даже выразился не совсем точно, не сумел передать того, что его терзало. Едва владея одеревеневшим телом, он встал.— Не проси меня прекратить тренировки.— Он сдвинул брови.— Если я брошу тренироваться, я умру.

Ивлин навинтила крышечку на флакон с мазью. Она протянула руку, Рудольф взял ее руку в свою. Кисть у него разбухла, словно подошедшее тесто, жилы набрякли. Однажды, отправившись за покупками на городской рынок, она увидела в витрине лавки, где продавались всевозможные приспособления для фокусов и колдовства, надутые исполинские полиэтиленовые перчатки, теперь его рука казалась ничуть не меньше. Ее бы — да Лону Чейни, игравшему чудовищ; самое подходящее применение. Голос Ивлин смятенно дрогнул.

— Я позвоню доктору Гайли утром.

Ивлин знала — или ей казалось, что она знает,— в чем его беда. Он никак не мог примириться с непоследовательностью окружающего мира. Многим, даже в Южной Каролине, Рудольф казался чересчур серьезным. Именно эта особенность, как ни странно, и привлекала ее, это обыкновение Рудольфа внимать, наморщив лоб, всеми фибрами тела и души, когда в Ходжисе их священник, чтобы блеснуть эрудицией, цитировал в проповеди Марка Аврелия: «Живите так, как боги живут»; или потом, в Сиэтле, он всякий раз волновался, когда преподобный Меррилл читал из Екклесиаста (глава 9, стих 10): «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Но в действительности-то, Ивлин точно знала, Меррилл это говорил не всерьез. Ничто в мире нельзя воспринимать так серьезно; именно *поэтому* мир наш и есть таков, каков он есть. И потом, всем прихожанам Горы Сион было известно, что у преподобного Меррилла слабость к светлокожим мулаткам-хористкам и к джину, да при этом он еще вечно стонет, что его жалованья не хватает на семейные нужды. Поддакивая возвышенным банальностям — библейским речениям, с немыслимой серьезностью требующим едва ли не сверхчеловеческих усилий в выполнении долга и в самоотвержении,— люди относятся к себе снисходительно и лишь отшучиваются, когда, сбиваясь с пути истинного, предаются праздности, зависти или другим смертным грехам. Эта исконная неспособность человека поверять свои поступки высшим идеалом и делает жизнь столь восхитительно *человечной*. Люди от природы снисходительны к себе. Все, кроме ее Рудольфа.

Разумеется, он жаловался редко. Не в его характере было сетовать, когда вместо «богов» он обнаруживал жалкие обломки. А он как думал? — размышляла Ивлин. Человек порочен — она ему уже тысячу раз говори-

ла,— а если и не порочен, то безнадежно слаб. Все кончается неудачей, прямо закон какой-то. Но зато можно посмеяться вволю, и влюбленные прижимаются друг к другу возле обрыва; а еще есть романы — чудесные сказки о том, как все должно быть,— и обещания идеальной жизни в загробном мире. Он, ее Рудольф, бывало, сидел и слушал, когда она все это ему втолковывала, и кивал, понимая, что он со своей ненасытной жаждой совершенства — здесь и сейчас, немедленно,— составляет в лучшем случае меньшинство. Он не выказывал недовольства, но иногда Ивлин ловила в его глазах особое выражение, некий затаенный мучительный вопрос: *И это всё?* Она заметила этот вопрос после первого выкидыша, потом после второго; заметила его же, когда Рудольф перестал штудировать объявления о найме и удовольствовался должностью почтальона как наиболее достойным для себя поприщем в этом корыстном мире. После того как Рудольфу исполнилось сорок, это выражение неизменно брезжило в глубине его глаз, и уже ни щедро расхваленный роман, объявленный книгой месяца, ни полнометражный фильм или молитвенное собрание, ни что-нибудь вкусное, специально для него приготовленное, не могли изгладить это выражение. Таким, во всяком случае, Рудольф был до того, как посмотрел этот паршивенький фильм о боевых искусствах. В фильме, по мнению Ивлин, было что-то непонятное и опасное, она учуяла в нем нечто, способное погубить, доконать ее. Что именно, она сказать не могла, но Рудольфа своего она знала лучше, чем он сам. Он убедится, что его новое увлечение — ошибка, пустая трата времени, и обязательно — тут она не сомневалась — исправится.

Потекли недели, потом месяцы; Ивлин выжидала, надеясь, что муж вот-вот выбросит флаг капитуляции. Ничего подобного. Он стал еще хуже, чем раньше. Он сам готовил себе еду, называл те сытные пряные блюда, что она ему стряпала, «чересчур кислой» пищей, ел одни сырые овощи, водоросли, орехи и фрукты, чтобы в теле было «больше щелочи», а по воскресеньям не ел ничего. В калифорнийском магазине он заказал книги о какой-то борьбе у-шу, а когда из спортивного магазина Долан в Нью-Джерси прибыло ему наложенным платежом снаряжение, он заказал еще; оцепенев от ужаса, Ивлин читала список: подвески для растяжки ног, снаряды для отработки ударов, «макивара», надувные щиты, эспандеры для кистей рук, деревянные мечи «боккэн», перчатки без пальцев, зеркало в полный рост (Господи помилуй!), чтобы следить за движениями и исправлять осанку, а также защитные приспособления. Однако для правильного использования шлема и перчаток, заявил Рудольф, ему требуется спарринг-партнер, то есть противник, дабы помочь ему освоить интуитивный выбор «стратегии боя», как «следовать потоку» и «заполнять пустоту» между собой и соперником, как своими движениями создавать отрицательное пространство, в котором тот будет нейтрализован.

— Знаешь что,— сварливо сказала Ивлин,— если тебе нужна боксерская груша, то *меня* от этого уволь.

Он сидел напротив нее за столиком в кухне и делал упражнения на динамическое напряжение, а она читала новый журнал под названием «Селф».

— Я тебе говорил, что означает черный пояс? — спросил он.

— Говорил.

— Шифу[1] Чан не пользуется поясами в присвоении разряда. Их ввели семьдесят лет назад, а то западные спортсмены очень уж волновались, им ведь нужны указатели, вехи и всякое такое.

— Ты уже говорил,— сказала Ивлин.

— Первоначально человек получал только белый пояс. Он олицетворял невинность. Девственность.— Лицо у него было невероятно серьезное, как у священника.— Чем больше человек занимался, тем больше пояс

---

[1] Наставник *(китайск.)*.

темнел, пачкался и превращался в коричневый. Потом в черный. Тогда ты был уже мастером. А если работа продолжалась и дальше, то пояс изнашивался, нитки протирались, и пояс снова приобретал беловатый оттенок.

— Рудольф, я это уже слышала! — Ивлин подхватила журнал и унесла к себе в спальню. Оттуда, укрыв ноги одеялами, она крикнула: — Боксерской грушей для тебя я *не буду!*

И вот он стал приводить приятелей из своего гуаня, приятелей, с которыми она не желала знаться. Что-то в них было такое, что вызывало у нее недоверие и тревогу. Некоторые устраивали показательные бои прямо на улице. Молодые. Они носили безрукавки с круглым воротом и куртки мотоциклистов. Выхлебав на веранде целые ящики пива «рейнир», они бросали сплющенные пустые банки в соседний двор, к Роду Кеннеру. Двое из Рудольфовых новых друзей, Трак и Туко, вместе весили четверть тонны. Когда они приходили, Ивлин припрятывала под подушкой скалку, хотя и понимала, что они способны сжевать и скалку, и ее самое. Впрочем, другие приятели Рудольфа учились в Вашингтонском университете. Трак, вьетнамец, всего два года как поселившийся в Америке, собирался по окончании спортивного курса поступить в Полицейскую академию; Туко же, пуэрториканец, участвовал в драках с тех пор, как впервые сложил пальцы в кулачок; зато изысканный молодой человек по имени Андреа, голубой пояс, учился в университете, на факультете драматического искусства. Он проходил подготовку в гуане не столько, утверждал он, в целях самозащиты, сколько чтобы самому разобраться, как надо двигаться на сцене — как, например, убедительно взорваться гневом и в порыве чувств перемахнуть комнату из угла в угол. Мужу они нравились, как с ужасом осознала Ивлин. А он нравился им. Их разделяли деньги, воспитание и вера, но что-то, чего она и определить не могла, объединяло их в те вечера на веранде, после тренировки, в единое целое. Рудольфа они называли «Старший Брат» или же менее почтительно — «папка».

Шифу Рудольфа, складный, невысокого роста паренек по имени Дуглас Чан, которому, прикинула Ивлин, было не больше восемнадцати, восседал, как Далай-лама, в их крошечной кухоньке, словно он там хозяин, и пил ее чай, куда Рудольф добавлял корейского женьшеня. Муж спешил поднести спичку, как только Чан собирался закурить сигарету, будто перед ним был президент Картер, явившийся посетить простого человека. Он посоветовал Рудольфу заняться тай-цзи[1], «мягкими» видами борьбы ци[2] и еще чем-то под названием дао[3]. Кроме того, он велел ему изучить три физических закона Ньютона и применять их к собственному телу во время поединков кумитэ. Особенно запомнились ей у Чана его напульсники — одновременно и украшение, и оружие, состоящее из трех полосок черной кожи, утыканных до блеска отполированными шипами; похожие носил Стив Ривз в фильме про Геркулеса, который она смотрела. Голосом, который казался ей девичьим, он рассуждал о приемах выдавливания глаз и разрывания паха, об упражнениях, которые он называл «смертельное касание замедленного действия» и «дим-мак», причем с той же непринужденностью, с какой они с Шелбердин толковали о выгодных покупках в магазине товаров по сниженным ценам. А потом друзья надевали спортивные костюмы — мальчишеского вида шифу, похожий на неотесанного младшего брата Магараджи, знаменитого и почитаемого гуру, и ее неуклюжий муж; они выходили на задний двор, сметали с лужайки легкую алюминиевую мебель и полчаса колошматили друг друга. Точнее, именно Рудольфу доставались подсечки, мелькавшие быстрее мысли кулаки и удары ступней со всего маху, отчего с его тела неделями не сходила багровая синева. Разумному человеку одного раза бы хватило, чтобы скоренько отправиться в Шведскую больницу. Рудольф, никогда глубоким умом не отличавшийся, продолжал тре-

---

[1] Одно из магистральных направлений у-шу.
[2] Биоэнергия *(китайск.)*.
[3] Одно из основополагающих понятий философии даосизма *(китайск.)*.

нироваться и после ухода шифу Чана: все выпрыгивал на поверхность из ямы в четыре фута глубиною, которую он вырыл возле сетчатой изгороди.

Грызя рассыпчатое печенье из супермаркета — она теперь без конца что-то грызла,— Ивлин до сумерек сидела у кухонного окна и наблюдала за ним, потом вынесла на подносе мазь, банку холодного пива и спиртовой раствор для растирания. Она считала, что все это ему понадобится. Тем не менее Рудольф, лежавший на заднем дворе под раскидистым кедром, вежливо отказался от подношений, отодвинул их в сторону и сам натерся «те-да-цзю», «вином, побивающим железо», от которого несло, как из распахнутых дверей опийного заводика в знойный день. Тем не менее это древнее снадобье не только мгновенно залечивало его раны (утверждал Рудольф), но еще и предотвращало развитие артрита. Ее так и подмывало влить этого зелья ему в уши, чтобы посмотреть, лечит ли оно мозговые травмы, но судя по всему, кое-что шло ему все же на пользу. Осмотрев Рудольфа, доктор Гайли дал о нем очень благоприятный отзыв; он сказал, что его мышечный тонус, или как это там называется, повысился. Сердечно-сосудистая система наладилась. Эрекции у него стали выдающиеся — в полном смысле слова, хотя в последнее время он явно утратил интерес к сексу. Даже Ивлин, несмотря на сумеречный свет гаснущего дня, видела, как изменился торс Рудольфа, потягивавшегося в эту минуту: мускулы блестящими шарами перекатывались у него по плечам, змейками бежали по животу. Язык его нового, развивавшегося на глазах тела ускользал от нее. Таким Рудольф бывал не всегда. После холодного душа и сна мышцы его снова немного съеживались. И только после тренировок, особенно с гирями, мускулы его взбухали, как подошедшее тесто, вытесняя из памяти образ такого знакомого ей мягкого Рудольфова тела. Эта новая плоть принимала очертания, напоминавшие силуэты на медицинских таблицах,— таким должно быть тело по замыслу Божьему. Поблескивающие от пота мышцы казались твердыми, словно гири, которыми он орудовал — вверх-вниз, как насос, упорно и безжалостно. В красоте этих мышц было что-то глубоко трагическое, ибо она была бренна. Она исчезнет вместе с миром. Ты уродина, говорили Ивлин его новые мышцы, старая уродина. От его самоистязаний ей становилось плохо. Она боялась его твердых, холодных гирь. Ненавидела их. И одновременно желала их. В них была некая монашеская красота. Она думала: «*Он занимается этим, чтобы мне досадить*». Она спрашивала себя: быть сильным — каково это? Неужели умный цинизм — взять хоть ту же комедию — всего лишь порождение отвислых животов, слабых нервов, плохой осанки? Единственной защитой Ивлин против тупых железяк, вставших между ними — она имела в виду и гири, и его приятелей,— был ее язвительный язык южанки:

— Они же все гомики, правда?

Рудольф посмотрел на нее как во сне. После тренировок, говорил он, у него возникает такое чувство, будто он сливается с окружающим миром. Лицо его было бездумным, глаза словно застлало дымом. В этом блаженном состоянии (говорил муж) он видит все, но не судит и не оценивает. Раз нет оценок, нет и различий. Раз нет различий, нет и желания. Раз нет желания...

Он улыбнулся ей уголком рта.

— Кто?

— Эти, из твоего гуаня.— Ивлин скрестила руки на груди.— Я где-то читала, что культуристы в большинстве «голубые».

Он не стал ей отвечать.

— Если они не «голубые», так, может, и мне начать заниматься? Тебе же это пошло на пользу, верно? — Голос ее зазвенел.— Я хочу сказать, ты же сам это говорил, а? Что, вы с приятелями лучше всех прочих?

Рудольф опустил голову; сделал глубокий вдох. В последнее время он именно так реагировал на ее речи: спокойно прочищал легкие.

— Следует делать то, что тебе *необходимо,* Ивлин. Не нужно делать то, что делают другие.

Он встал, коснулся руками пальцев ног, потом в резком наклоне дотронулся лбом до распрямленных коленей — Ивлин раньше полагала, что это физически невыполнимо и вдобавок слегка непристойно.

Было истинной му́кой наблюдать за ним каждый вечер после ужина. Он бродил по дому со свинчатками на ногах, силился отжиматься, опираясь на запястья и кончики пальцев, и пока она сидела у телевизора, пытаясь смотреть сериал «Семья Джефферсон», стоял перед мерцающим экраном в боевой готовности, выбрасывая кулак всякий раз, когда менялась сцена или кадр,— отрабатывал быстроту реакции. Смотреть телевизор в такой обстановке уже не было никакой радости — она предпочла бы, чтобы он уснул в кресле подле нее, как прежде. Но что по-настоящему пугало Ивлин, так это его «ничегонеделание». Когда он сидел, скрестив ноги, вросший в их крыльцо в позе полного лотоса, а на коленях у него, свернувшись калачиком, блаженствовал мистер Миллер,— ну ни дать ни взять Бодисатва среди комнатных растений, которые она выставила на солнце. При взгляде на него думалось, что он мертв. От всего этого разило самогипнозом. По мнению Ивлин, он слишком редко дышал — всего три вдоха в минуту, утверждал он. На нем было спортивное кимоно в пятнах засохшей крови и пота; загрубелые руки лежали на коленях, указательный палец на каждой прижат к большому, глаза плотно зажмурены.

Пошел восьмой месяц его тренировок в гуане; как-то, когда он сидел недвижимо, она, стоя рядом, разглядывала его и дивилась тем отчетливым изменениям, которые произошли с его телом: взамен симпатичного жирка явилась суровая твердость мышц, внушающая трепет способность замирать в одной позе, а ведь прежде Рудольф и пяти минут не мог просидеть в церкви, не ерзая на стуле. Теперь он по сорок пять минут в день проводил в позе дза-дзэн, на коленях или пятках,— пятнадцать, когда просыпался, пятнадцать (по его словам) на работе в отделе корреспонденции, во время обеденного перерыва, пятнадцать перед сном. Он считал, что это самосозерцание (до чего же она ненавидела его вычурный язык!) родственно обязательным паузам в музыке, называл его «покоем, подготовляющим к действию и звуку». Раньше он никогда по-настоящему не дышал, заявлял он. Ни разу. Так, чтобы до самого донышка. Никогда не дышал и не очищал себя полностью, как теперь, когда он воображал, что сидит на дне озера Вашингтон; он, Рудольф Ли Джексон, в центре вселенной; ибо если вселенная бесконечна, то любая точка, в которой он находится, и будет ее центром — он будет меняться и передвигаться вместе с ним. Эта идея, Ивлин не сомневалась, родилась в мозгу Дугласа Чана. Ни один уважающий себя негритянский священник до такого бы не додумался. Рудольф говорил ей, что во время медитации на дне озера учится управлять своим сознанием и сосредоточиваться на чем-то одном: каждая мысль, каждое чувство, овладевшее им, виделось ему слабым, невесомым пузыриком, который можно бесстрастно исследовать со всех сторон; после чего он отпускал пузырик, и тот тихо всплывал на поверхность, и вскоре — по мере того, как водоворот самосозерцания затягивал его все глубже, в Пустоту,— исчезал даже его собственный образ на дне озера.

Ивлин подавила вскрик.

Может, и она стала для Рудольфа таким пузыриком, от которого надо отделиться? Ивлин сидела на крыльце в выбеленном дождями кресле и, подперев подбородок сжатой в кулак левой рукой, зорко наблюдала за мужем. Она щелкнула пальцами правой руки у него под носом. Никакой реакции. Костяшками пальцев постучала ему по лбу. Никакой реакции. (Обманщик, подумала она.) Еще целых пять минут он сидел и дышал, сидел и дышал, потом медленно открыл глаза, будто спал не меньше, чем Рип Ван Винкль[1].

— Темно,— изумленно произнес он.

[1] Герой одноименного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783 1859), проспавший много лет и проснувшийся в другую эпоху.

Когда он начинал погружение в себя, сумерки только спускались. Ивлин поняла и еще кое-что новенькое: он живет во времени не так, как она, даже тут у них уже не было общего. Для него, отметила она, ход вещей замедлился; наверное, она казалась ему теперь женщиной, на полной скорости летевшей во времени вперед. Ивлин спросила:

— Что ты видишь, когда погружаешься туда?

Рудольф потер глаза.

— Ничего.

— Тогда *зачем* ты это делаешь? Мир же — вот он, здесь!

Пожалуй, он не находил ответа, оттого что вопрос казался ему бессмысленным. Он исподлобья, как ребенок, взглянул ей в лицо.

— Иногда небытие несет мир и покой. Пустота полна. Теперь я ее не боюсь.

— Ты опорожняешь себя от всего решительно? — спросила она.— И от меня тоже?

— Да.

Ивлин в отчаянии прикрыла лицо рукой. У нее вырвался всхлип. Рудольф мгновенно вскочил — мистер Миллер полетел кубарем,— потом резко плюхнулся на ягодицы; поза лотоса перекрывала подачу крови в нижнюю часть его тела — тем больше ее поступало в мозг, утверждал Рудольф,— и обычно проходило несколько секунд, прежде чем он мог встать. Он дотянулся до ее руки, взял ее в свою и погладил.

— Что я сделал?

— В том-то и беда,— рыдая, проговорила Ивлин,— я ведь не знаю, что́ ты делаешь.— Подняв подол купального халата, она высморкалась, потом посмотрела на него невидящими глазами, из которых потоком струились слезы.— Да ты и сам не знаешь. И зачем только ты посмотрел тот фильм! Меня тошнит от твоих гирь и тренировок — тошнит, слышишь? Рудольф, я хочу, чтобы ты опять был таким, как раньше: *больным*.

Не успела Ивлин это произнести, как уже пожалела о сказанном. Однако ничего страшного не произошло. Она видела, что у Рудольфа нет никаких желаний; всё, включая и Ивлин, приводило его в восхищение, однако в представлении Рудольфа перед ним были лишь бесплотные тени, мелькающие в призрачном сюжете. Он стал покладистее, терпеливее, но утратил то, что, по ее мнению, свойственно нормальным людям: слабость, страх, чувство вины, неуверенность в себе — то самое, что придавало окружающему вещественность и подвигало людей на поступки. Она *очень* хотела, чтобы он ее пожелал. Впрочем, нет, не хотела. Во всяком случая, не сношений через рот. Ивлин уже и впрямь не знала, чего ей хочется. У нее возникло ощущение, что она вот-вот растворится в воздухе под его взором.

— Рудольф, если ты «пуст», как ты выражаешься, то, в таком случае, ты не знаешь, кто — или что — беседует с тобой. Если б ты сказал, что молишься, я бы поняла. Тогда бы с тобой беседовал Бог. Но так...— Она четыре, пять раз стукнула себя кулаком по бедру.— Это, знаешь ли, вполне может быть *нечистая* сила. Нечистая сила ведь *существует,* Рудольф. Это может быть и сам Дьявол.

Мгновение Рудольф размышлял. Грудь его опускалась после очередного вздоха.

— Ивлин, это, наверно, покажется странным, но я не верю в Дьявола.

Ивлин судорожно глотнула. Вот до чего дошло.

— Или в Бога — если только мы сами не боги.

Она видела, что он тщательно подбирает слова, опасаясь обидеть ее ненароком. С тех пор как он начал заниматься в гуане и изучать способы смертельного боя, он всячески избегал пользоваться ее собственным излюбленным оружием: колкими, язвительными замечаниями, глубоко ранящими человеческое достоинство. О, ну просто святой да и только. Временами ее так и подмывало стукнуть его хорошенько.

— Все сущее, чем бы оно ни было, просто *существует,*— сказал он.—

Вот и все, что я знаю. Вместо того, чтобы терзать себя вопросами, злое оно или доброе, Дьявол или Бог, я просто хочу пребывать в покое, работать над собой и как можно меньше вмешиваться в ход вещей. Ивлин,— внезапно спросил он,— да как вообще могут добро и зло существовать одновременно? — На лбу у него собрались морщины, он закусил губу.— По-твоему, так говорить грешно, да?

— По-моему, странно! Рудольф, ты ведь рос не в Китае,— сказала она.— В Китае нечем дышать! Я сама сегодня видела в программе новостей. Они там жгут торфяной уголь, это все подымается в воздух и превращается в кислотный дождь. Они там носят маски, вроде тех, что мы купили, когда было извержение горы Сент-Хеленс. Господи помилуй, они же все ездят на велосипедах! И мечтают о том, что у нас уже есть.— Ивлин услышала, как на свою забранную сеткой веранду вышел Род Кеннер, вероятно, собрался послушать, сидя в кресле-качалке, о чем тут у них речь. Она слегка понизила голос.— Ты вырос в Ходжесе, штат Южная Каролина, так же, как и я, и ходил в настоящую приличную церковь для цветных. Если б ты хоть *съездил* в Китай, я, может, тебя и поняла бы.

— Значит, я могу быть только тем, кем был? — Он задал вопрос очень тихо, но голос его дрожал.— Только тем, кем был в Ходжесе?

— Ну, не можешь ты стать китайцем.

— Я и не хочу стать китайцем.— При этих словах Рудольф улыбнулся и покачал головой. Поскольку она все равно не понимала, а он устал разговаривать, Рудольф отступил от нее на несколько футов и снова потянулся, вечно он потягивался.— Я хочу быть всего лишь тем, кем *могу* быть, то есть не величайшим в мире бойцом, а только тем бойцом, каким могу стать именно *я*. Господь свидетель, очень вероятно, что в субботу на соревнованиях меня изобьют до полусмерти.— И добавил, не ожидая ответа: — Дуг спросил меня, не хочу ли я выступить в состязаниях с полным контактом; там будет кое-кто из нашего гуаня. Придется выступить. И я выступлю.

— Тебя убьют — ты же это понимаешь, Рудольф.— Она вонзила в халат ногти и пустила в него последнюю стрелу: — Сам знаешь, силой ты никогда не отличался. Полгода назад ты мне банку с огурцами не мог открыть.

Казалось, он просто не слышит.

— Я купил тебе билет.— Он распахнул забранную сеткой дверь, ожидая, пока она войдет в дом.— Мне будет легче вести бой, если в зале будешь ты.

Почти всю неделю она по утрам ходила к Шелбердин, а вечером в церковь, на службы преподобного Меррилла, очищая уста молитвой и сидя перед амвоном в полном одиночестве,— только бы не слышать бормотанье Рудольфа, когда он в затхлом подвале без устали качал пресс на низкой скамье, по полчаса скакал в заднем дворе через веревочку или вел бой с тенью, готовясь к поединку, который неминуемо надвигался, и все из-за его новых мышц. Она вышла замуж за идиота, это стало ясно как день, и если он полагает, что она станет сидеть себе на скамейке в зале «Кингдоум», пока такая же тупая тварь будет вышибать у него остатки мозгов — их, небось, и с чайную ложку уже не наберется,— то он ошибается. Какое это «совершенство» углядел он в нашем мире? А ведь он об этом твердит. Нищета, безработица, двадцать один ребенок умирает от недоедания и голода каждую минуту изо дня в день, из года в год; более двух десятков детей были убиты в Атланте; в мире существует шестьдесят тысяч единиц ядерного оружия — вот ужас-то, а ведь совсем рядом с Сиэтлом находятся предприятия «Боинга»; в Белом доме сидят крайне правые республиканцы: вполне *достаточное* основание, подумала Ивлин, для «негативного отношения к жизни», как выразился бы Рудольф. Просто грешно усматривать гармонию в земном аде, и, поддавшись приступу досады и злости, она стала молиться, чтобы Господь волею своей вывихнул ему

плечо или еще что-нибудь ему слегка повредил, только бы смирить его, вернуть домой и напомнить ему, что забота о теле есть суета, оскорбление каждого библейского стиха. Но в отличие от Рудольфа Ивлин не умела подолгу сосредоточиваться на чем-то одном. Несколько секунд размышлений — и мысли ее бежали дальше. Ее беспокойный ум не знал угомону, и в конце концов, когда она в субботу утром проснулась на тахте у Шелбердин, перед ее мысленным взором неотвязно маячила одна и та же картина: Рудольф, мертвый, лежит перед сотнями равнодушных зрителей, а фельдшеры изо всех сил давят ему на грудную клетку, ломая ребра, в тщетной попытке вернуть его к жизни.

Из дома Шелбердин она вызвала себе такси и к полудню, под непрерывным дождем, который так нравится жителям северо-запада, приехала к «Кингдоуму». Все уже кончилось, думала Ивлин, складывая зонтик и подымаясь по винтовой лестнице к своему месту. Она слышала крики одобрения, свист, голос с азиатским акцентом, объявлявший что-то в микрофон. Соревнования начались в десять, значит, прошло вполне достаточно времени для того, чтобы ее муж — «белый пояс» — уже лежал в травматологическом отделении больницы Харборвью, но ей надо было увидеть все самой. Поначалу, пробившись сквозь толпу к своему месту, она только слышала — ум ее напрягся в поисках слова, затем оно вспомнилось — «киай», или «крики духа», взлетавшие с огромного поля стадиона, много криков, потому что состязания шли одновременно на трех аренах. Очень похоже на цирк. А пахнет как в раздевалке для спортсменов. Вот стоят двое мальчиков, касаясь друг друга пальцами ног, и вдруг от резкого пинка один из соперников отлетает на пятнадцать футов. Там два мускулистых, без жиринки «черных пояса» женского пола непрерывно двигаются в едином изысканном танце, похожем на балет и на партию в шахматы. У них какое-то особое чувство, у этих женщин — она это сразу заметила,— ощущение пространства и своего места в нем. (Ивлин мгновенно возненавидела их.) А в самом дальнем круге она увидела, вернее, почувствовала Рудольфа, самого старого здесь; выступая в соответствующей возрастной группе, он получил в соперники тоже «белый пояс» — но не юношу, который мог бы его изувечить; противником его был пожилой седеющий мужчина, вероятно, всего на несколько лет моложе Рудольфа, но поединок тем не менее шел всерьез.

Но усевшись на свое место, Ивлин не узнала его, не узнала собственного мужа. Зал был устроен так, что шум толпы взвихривался к потолку, потом устремлялся вниз, и когда водопад голосов обрушивался на нее, она испытывала нечто похожее на то, что ощущала в церкви во время службы, слушая, как взмывают и опускаются голоса поющих. Этот шум действовал на нее, она уже иначе наблюдала за Рудольфом. «Кто эти люди?» — думала она. Ивлин затаила дыхание: не рассчитав дистанции до соперника, ее муж сделал шаг в сторону и тут же получил круговой удар ногой сбоку, произведенный с большим шумом — она слышала, как хлопнула, словно пистолетный выстрел, ткань одежды на мужнином противнике, когда тот применил свой прием. Она наклонилась вперед, судорожно сжимая лежащий у нее на коленях огромный ридикюль; Рудольф пришел в себя и отступил из гибельной зоны в нейтральную, там он стал в боевую позу, широко раздвинув ноги, и переменил стратегию. Это был совсем не тот мужчина, с которым она спала двадцать лет. Не тот Рудольф-ипохондрик, которому необходимо было отдохнуть и облить запястья холодной водой после того, как он пройдет от крыльца до забора, чтобы взять «Сиэтл таймс», принесенную почтальоном. Она не узнавала его, возможно, никогда и не знала, а теперь никогда и не узнает, ибо мужчина на арене, мужчина, залитый по́том, вставший на носок одной ноги, чтобы нанести в полете удар другою,— неужели он настолько глуп, что по-прежнему думает, будто может летать? — этот мужчина переживет ее; здоровый и сильный, он будет стоять, положив руку на ее надгробный камень, и подумает о ней одним

мысленным пузыриком. И это ничего, твердила она, не в силах остановить рыдания, это ничего, что Рудольф вернется домой от ее свежей могилы, очистит ее спальню от всяких коробочек с пилюлями и дешевых книжек, распахнет окна, выветривая ее кислый, гнилостный запах, потом разложит на полу вещи другой женщины, моложе ее, поставит их там, где дерево потемнело под ее цветным телевизором, под ее фаянсовым ночным горшком, под ее древней швейной машинкой. И тут вдруг Ивлин вскочила, сама не зная почему, и многочисленные зрители внезапно встали и принялась хлопать, и Ивлин тоже захлопала. Какое-то мгновение она с силой сдвигала ладони, обтянутые перчатками, чисто инстинктивно, потом зрение ее прояснилось, и кратковременная сетчаточная слепота отступила; и тогда перед ней, как в кадре, взлетел на двадцать футов над землей ее собственный муж, который безупречным ударом ноги сразил соперника и тем исторг у судьи-японца вскрик «Иппон!» — очко, чистая победа! — и борьба в самом дальнем круге, в ней самой и, может быть, во всем мире окончилась.

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО

Перевод с испанского НАТАЛЬИ ВАНХАНЕН

От переводчика

В Испании принято делить литературу на поколения — например, девяносто восьмого, двадцать седьмого годов. Между тем, литература — дело вечное, так ли уж важны в таком случае конкретный год, даже десятилетие? И все же у представителей одного поколения всегда есть общность. Она в биографии. В понимающем переглядывании: «Мы-то с вами помним...» Да, и помнят разное, и пережили каждый по-своему, но хранится в памяти нечто единое, называемое «в наше время».

Хосе Агустин Гойтисоло относится к поэтическому поколению пятидесятых. Он вошел в литературу одновременно с Хайме Хилем де Бьедмой, Кабальеро Бональдом, Хосе Вальверде и другими, непохожими друг на друга поэтами. Но одно у них было общим: все они — дети войны, у всех юность пришлась на годы окрепшего, мы бы выразились, «развито́го» франкизма, поразительно смахивающего на наш застой. То же безудержное бахвальство по радио, те же цензурные кляпы и недоверие к интеллигенции, те же хитрые подмены в литературе: не то что до современников — до классиков-то не доберешься, так засыпаны они шелухой готовых — и обязательных! — толкований, так густо покрыты любезной системе позолотой. Но вот, из глубин безвременья, пробиваются живые человеческие голоса, и голос Хосе Гойтисоло — среди них.

Поэт родился в Барселоне в 1928 году, в семье, которой суждено было стать знаменитой: два его брата, Хуан и Луис Гойтисоло,— ныне крупные прозаики, хорошо известные и в нашей стране. Поэт получил юридическое образование в мадридском университете. Много переводил, в том числе, из русских поэтов, Сергея Есенина.

Мрачное время — мрачные песни. Первый сборник стихов Хосе Гойтисоло «Возвращение» (1955) — книга о смерти; отпевание, плач по отлетевшей душе. И все же, как в сумрачном храме, нет-нет да и пробьется внутрь сквозь высокое окно запыленный солнечный луч. Этот луч будет расти, расширяться в следующих книгах, но и тема ухода, отрешенности, ностальгии останется, только всякий раз будет звучать по-новому. Тут и печаль об ушедшем детстве, и расставание с любовью, и прощание с родиной. Родина и любовь в испанской поэзии, как и в русской, часто синонимы или, во всяком случае, стоят в нераздельной близости. Родина может быть отнята у человека разными способами. Самый явный из них — изгнание. Самый простой и самый массовый — отлучение. Достаточно тем, кто наверху, объявить себя единственными полномочными представителями страны и народа, и цель достигнута. Остальные не в счет. Сквозная тема книги «Конец прощания» — вынужденное прощание с отнятой, узурпированной самозванцами отчизной. И эта же книга самим фактом своего существования утверждает обратное — у хранителя языка родину отнять невозможно. В нашем столетии мы в этом неоднократно убеждались. А поэт именно хранитель. Он возвращает опошленным официозом, скомпрометированным ложью, замусоленным бытом словам их изначальный смысл. «Их протирают, как стекло, и в этом наше ремесло»,— писал о словах русских поэт Давид Самойлов. В поисках незамутненности речи Гойтисоло обращается к самому чистому источнику — народной поэзии и пишет удивительную для современности книгу «Шаги охотника», близкую к народным испанским песням — коплам, сегидильям, непосредственным по интонации, легким и глубоким одновременно. Вроде бы незамысловатые, они поражают точнейшим попаданием слова в цель. Их герои: девушка, спешащая на свидание, бредущий полем охотник, орлица над суровым сухим нагорьем в стихотворении, где настойчивый рефрен «орлица, орлица» словно новый широкий взмах крыльев, уносящий нас все выше в небо.

Поэт много думает о времени: и о мгновении, которое во что бы то ни стало надо успеть остановить прежде, чем оно остановит тебя, и о том, чего уже не вернуть — не потому ли так щемит сердце при виде пожелтевших фотографий и стертой патефонной пластинки? Есть у него и интерес к истории. Каждое «историческое» стихотворение Хосе Гойтисоло — маленький, отжатый до одной страницы роман, действующие лица которого нередко тоже тоскуют о своем былом. Это и римлянин, оплакивающий гибель империи, и король, забывший о всемогуществе и странствующий в нищенских отрепьях в поисках

вчерашнего дня. Так рождается в поэзии Гойтисоло некий plusquamperfect, прошедшее в прошедшем, вереница отражающих друг друга зеркал. Его нищий король, давший название одному из сборников («Нищий король», 1988), вглядывается во мглу, высматривая неведомое, а может, несуществующее или прошедшее. Этот герой близок автору. Однажды в разговоре, когда речь шла о разных людях, получавших те или иные определения, Гойтисоло спросили: «А кто вы сам? Кем вы себя считаете?» — «Кто я? — удивился поэт.— Ну конечно нищий король!»

«Иностранная литература» уже представляла Хосе Гойтисоло нашим читателям.[1]

В предлагаемую подборку вошли стихотворения из разных книг поэта, написанных в различные периоды жизни, но, думается, во всех них есть некий характерный для него сплав традиции и современности и узнаваемость голоса.

Только и всего

Тополя шептались.
На душе мертво.
В марте мы расстались,
только и всего.

Давняя улыбка,
взгляд. Ни у кого
глаз таких не встретить.
Только и всего.

Дни тоски и гнева.
Света твоего
луч с ночного неба.
Только и всего.

За огонь высокий,
за тепло его —
в сердце эти строки.
Только и всего.

Запах дождя

Под ветром влажным и вялым
забыл твой голос и слезы,
былое пало провалом,
осыпалось цветом розы.

Не сыщешь прежних времянок,
ни клумбы, ни грядки тощей,
ни шепчущей спозаранок
вскружившей голову рощи.

Лишь веет воздухом вялым,
дождем, заброшенным садом,
разлука находит шквалом,
да чайки кричат с надсадом.

---

[1] См. «ИЛ», 1975, № 11; 1982, № 3. *(Прим. ред.)*

Болеро

Если тебе случится —
        такое со мною бывало —
весь день говорить о людях,
        которых давно не стало,
о призрачных переулках,
        газовом свете улиц,
предрассветных прогулках,
        конках, что не вернулись,
если, фальшивя пылко,
        поешь, пьянеешь мгновенно,
чуть что — и лезешь в бутылку,
        чуть что — и лезешь на стену,
на этой скользкой дороге
        не мешкай — она опасна! —
проси врачей о подмоге,
        иначе в один прекрасный,
ужасный момент, измотан,
        за стойкою бара, в сквере,
в постели, холодным потом
        пропитанной, до потери
сознанья примешься думать,
        думать, думать, и в этом,
поверь, достаточно мрака —
        увидишь, что неприкаян
и одинок, как собака,
        и предал тебя хозяин.

* * *

Дни тревоги, бессонный час,
колокола из тьмы.

Наши книги живут без нас,
где их забыли мы?

Спи. В тиши не считай утрат.
К нам не придут сюда.

А пробудишься, спросишь: брат,
есть ли черней беда?

В лихие годы

Как богач, над добром дрожащий в лихие годы,
ищет угол, куда бы его припрятать,
я решил:
— Лежи до лучших времен.

И зарыл поглубже свои надежды
и планы.
        Дождь прошел,
и где теперь это место?

Смутное время

На улице как тогда,
да только совсем не так.

Проплыли бредом года —
все двадцать сошли во мрак.

Не я ли колокол тот,
Гудящий издалека?

Та тень, что разбег берет,
скользнув из-под каблука?

Напрасные «я — не я?».
Спроси у небытия.

Голос — эхо

Стукнешь ночью в глухую дверь —
стены гудят в ответ.

Пес добычу несет в зубах,
стоит напасть на след.

А окликнешь тех, кого нет,
голос —
эхо в горах.

Возвращение Рутилия [1]

Потомок знатного рода,
ты возвращаешься в свой край,
с болью в сердце наблюдая его закат.
На всем пути, тут и там, тебе попадаются люди,
бегущие от солнца, чтобы обрести царствие небесное,
схоронясь в пещерах. Ну не бред ли
спасаться от зла, отвергая радость и свет?

Когда великое здание пошатнулось,
в трещинах его стен ты разглядел их, этих крыс,
ткущих саван для разума.
С каждым днем все меньше желающих умереть за Империю
и все больше жаждущих спасти свою жалкую душу.
Горькое возвращение: умереть в родном доме
в окружении варваров.

---

[1] Рутилий Клавдий Намациан — римский поэт, по рождению галл, префект Рима в 416 г. После разорения Рима возвратился на родину, которую в то время опустошали вестготы. Написал поэму о своем возвращении. *(Прим. перев.)*

Женщины прошлого

В приморских курзалах, в кафе,
откинувшись на спинки плетеных кресел,
растянувшись на ласковом бархате шезлонгов,
с сигаретами — о, как дерзко, как пряно! —
в платьях приглушенных тонов
или где-нибудь там, в потайных закоулках дома,
охорашиваясь у зеркала,
пудрясь, подкрашивая губы,
женщины прошлого — такие нездешние! —
казались не от мира сего.
Но когда они угощали нас леденцами
или подставляли профиль фотографу,
все мы, все поголовно, догадывались, что это ненадолго
и скоро кончится,
что красивая киноленте не может крутиться вечно,
а бесценная жемчужина,
таимая в сборках декольте
или между колен,
однажды обернется галантерейной дешевкой,
что они, в сущности, совсем как мы:
те же заботы и скука,
грусть и желания.

О, раз так, стоит ли корчить из себя богинь,
к чему
эти беспредметные вздохи,
эта немыслимая белизна одиноко парящей руки
с влажно сверкающим ноготком,
если от всего карнавала
останется десяток выцветших литографий
и груда шляпных коробок, набитых желтыми фото,
из которых нет-нет да и выскользнет надтреснутая
патефонная пластинка.

Дом, которого нет

Говорят, это тоска, ностальгия.
Тоска по чему? — удивляется он.—
По жизни, расколотой надвое?
Заросшему саду? Смутным и страшным
годам? Брюкам мышиного цвета?
Только в детстве помнится ему праздник,
краткий и быстролетный.
Иногда во сне хочется продлить его
надолго, может быть, навсегда.
Так нерадивый ученик, знай, мечтает о чем-то,
уставившись в угол.

Вечный страх потерять тех, кого любишь,
создал вот здесь, рядом,
неприметную дверцу,
открывающуюся внутрь,
но и за ней оказалась
лишь зябкая пустота,

эхо, говорящее его же словами,
веющее полузабытым испугом.

Он переходит из вчера в завтра,
словно одолевает крутой перевал,
воскрешая хижины и замки,
сметенные войной и ветрами,
забывая и путая дни,
в надежде остановить время раньше,
чем оно остановит его.
О нелепый, заблудший,
нищий король! Озноб ночной непогоды
пробегает по твоей спине,
а ты все идешь и идешь от бездны к бездне,
высматривая во тьме далекий свет дома,
которого нет!

Рядом с нами

В комнате
за стеною,
в комнате,
полной мною
до недавнего дня,
меж былых переборок,
книжек и книжных полок,
строя, смеясь,
звеня,
радость,
любовь, ладошка,
вправду, не понарошку,
ластясь,
лучась,
блестя,
просто живет
и только,
не погрустив нисколько,
девочка, день,
дитя.

Из книги «Шаги охотника»

* * *

Над дебрями ежевики —
орлица.
Над рощами и лесами —
орлица.
Над далями и холмами —
орлица.
Над скалами и над нами —
орлица.
Над высью, где снег искрится,—
орлица.

Над тучами выше снега —
орлица.
И там, где кончилось небо,—
орлица,
одна
орлица.

* * *

К закату склонилось солнце:
стрелок, постучи в оконце.

Куда собралась ты к ночи?
Где к милому путь короче.

А злой язычок соседок?
Пусть судят своих наседок.

Как быть с людскою молвою?
Она порастет травою.

Не слушай молвы и сплетен —
а лишь тополиный ветер.

* * *

Стрелок, уснувший в поле
на комьях глины,
взгляни, как я умею
взбивать перины.

Стрелок, уснувший в поле,
укрывшись еле,
пойдем со мной, узнаешь,
как спать в постели.

Стрелок, скитаясь в поле,
ты пьешь из лужи,
но могут эти губы
поить не хуже.

* * *

Красавица девушка,
гроздь винограда,
все грозди не срезать,
да все и не надо.

Ведь лучшие
грозди
укрылись от взгляда.

Красавица девушка,
ветка и завязь,
все лучшие ягоды
птицам достались.

И знает
хозяин едва ли,
что лучшее птицы склевали.

Красавица девушка,
гроздь винограда —
ты вольная воля
и этому рада.

И, верно,
по вольным законам
любовь достается влюбленным.

* * *

Слетают с веток листья,
как птицы на поля.
Взгляни на эти вишни
и тополя.

Вот красный вслед за желтым
вспорхнул, исчез.
Взгляни на сад притихший,
взгляни на лес.

Под осень эта стая
желта, красна.
Назад вернется к маю —
когда весна.

■

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ

Новеллы. Эссе

Перевод с венгерского.
Вступление В. СЕРЕДЫ

Если позволить себе небольшое преувеличение, можно, пожалуй, сказать, что последние десять-пятнадцать лет венгерские читатели, интересующиеся современной отечественной словесностью, провели в «борьбе» с Эстерхази.

«Петер, давай поборемся?» — помнится, именно так озаглавил в начале 80-х годов писатель Иштван Галл свое знаменательное эссе, в котором с явной симпатией и не менее явным мировоззренческим неприятием пытался осмыслить творчество нового литературного поколения и прежде всего Петера Эстерхази, его наиболее яркого, вызывающе нестандартного представителя.

Книги этого автора, владеющего родным языком, как мало кто из его предшественников, точнее, творящего свой, индивидуальный, предельно нагруженный смыслами вариант языка, порождали в критике — особенно после появления в 1979 году его ироничного «Производственного романа» — самое разное отношение: от восторгов до раздражения и тоскливого недоумения.

С тех пор полемика вокруг Эстерхази, кажется, улеглась, хотя в костер споров в 80-е годы им были подброшены еще и другие поленья — всякий раз удивляющие новой формой романы «Краткая Венгерская Порнография», «Возчики», «Вспомогательные глаголы сердца» и другие, объединенные затем под одной обложкой в увесистом томе «Введение в художественную литературу». Феномен Эстерхази, никак не укладывающийся ни в берега реализма, ни в русло психологизма, ни в гротеск и абсурд, усилиями филологов, имеющих вкус к семиотике и структурализму, обрел объяснение — в данном случае весьма приблизительное — в понятии «постмодернизм».

Тексты Петера Эстерхази, намеренно неоднозначные, фрагментарные, изобилующие внутренними цитатами, уводящие, как многим казалось, от реальности в мир словесной игры, постепенно сформировали своего читателя, и сегодня, когда на вступительных экзаменах по литературе венгерским абитуриентам предлагают сочинение на свободную тему, они чаще всего выбирают из произведений современных авторов «Производственный роман» Эстерхази.

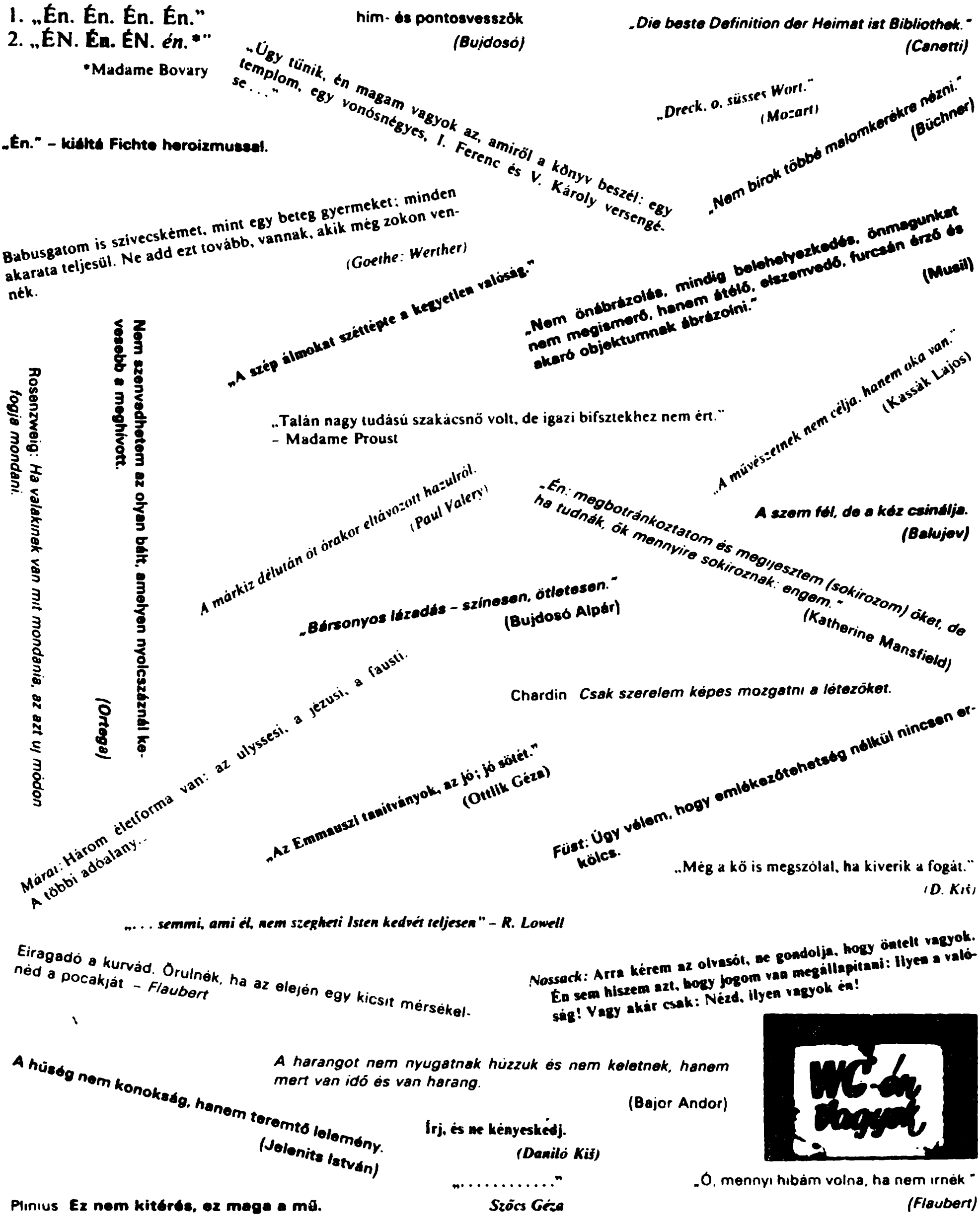
Чем это можно объяснить? Скорее всего тем простым обстоятельством, что в творчестве этого прозаика, пожалуй, наиболее полно проявилась тенденция, столь характерная для нового поколения писателей,— стремление к достижению духовной независимости, к освобождению литературы, и не только от политической злобы дня, но и от власти литературных условностей.

В одной из последних книг Эстерхази («Книга Грабала», 1990), где автор повествует о себе в третьем лице, на этот счет есть весьма выразительное и исчерпывающее признание: «Писатель относился к числу тех авторов, которые, делая выбор между жизнью и литературой, не задумываясь выбирают литературу, ибо считают и даже верят, что это и есть их жизнь. Факты реальности не являются фактами литературы. Но правда реальности является правдой литературы. Так

говорил он и нисколько этого не стыдился. И даже — чуть было не забыл сказать — ничуть этим не гордился».

Сегодня Петера Эстерхази знают не только в Венгрии. Небезызвестен он и европейской читательской публике — книги этого сорокадвухлетнего автора изданы более чем на десяти языках. Недавно на русском языке — в сборнике «Посвящение. Из новой венгерской прозы» (М., «Радуга», 1990) — опубликована повесть «Фанчико и Пинта», которой он дебютировал в 1976 году.

Подборка новелл и эссе в этом номере «Иностранной литературы» пусть будет еще одним — разумеется, предварительным и неполным — «введением» в Эстерхази.



Текстуальный «пейзаж» Петера Эстерхази.

(Графические материалы, использованные в данной публикации, взяты из книги «Введение в художественную литературу».)

Вечер трудного дня [1]

Для того, чтобы молодое поколение могло выполнить стоящие перед ним великие задачи, оно должно воспитываться настойчивым, энергичным, смелым, не отступать перед трудностями, бесстрашно вставать на борьбу с ними и уметь их преодолевать.

Андрей Александрович Жданов

Немало нас, кто убежден: умно едва ли жизнь продолжать не так, как начинали.

Иштван Ваш

Четырнадцатого апреля 1950 года [2] (± эпсилон [3]) была пятница, солнце взошло в 4 ч. 59 мин., с запада на Восточную Европу двигалась зона дождей, накануне выпало осадков: в Мишкольце — 8 мм, в Ниредьхазе, Матрахазе, Дебрецене, Сентготхарде [4] 6 мм, в столице [5] — 55,

— в Надькёрёше уже высаживали в грунт огурцы; в том году под хлопком у нас было занято 10,5 тыс. хольдов [6] земли, к 1954 году эту площадь планировалось увеличить до 100 тыс. хольдов,

— славно двинулись в рост зеленя в области Дьёр; однако на 119-м километре все еще оставались в поле забытые с прошлого года сухие кукурузные будылки,

— по всей Европе славилось высокое качество венгерского табака,

— есть хлеб — будет и песня, как гласит русская пословица [7],

— мы твердо решили более никогда не грешить, избегать всего, что может сбить с пути истинного, и сделать родину нашу счастливой и сильной, превратить ее в страну развитой индустрии и цветущего земледелия, страну мирную и могущественную, страну, где повсюду кипит стройка и все служит благу трудового народа,

— жизнь текла весело и безоблачно, каждый был уверен в завтрашнем дне, работа спорилась под руками, давильная бригада Гёнци шла голова в голову с давильной бригадой тов. Поцы [8],

— в Советском Союзе опять снизили цены на основные лекарства,

— бурными, продолжительными аплодисментами встречен был на торжественном заседании [9] доклад товарища Мартона Хорвата [10], после доклада состоялся праздничный концерт; столичный симфонический оркестр под управлением Андраша Короди [11] исполнил Праздничную увертюру Будашкина, затем товарищ Тамаш Майор [12] продекламировал стихотворение Маяковского «Разговор с товарищем Лениным»,

— уже развернулась борьба за выполнение первой пятилетки, генерал-лейтенант Петер Габор был назначен главой Управления госбезопасности, завод Манфреда Вайса [13] получил имя Матяша Ракоши [14];

© Esterházy Peter, 1986.

[1] **Леннон и Маккартни, «A hard day's night».** *(Прим. автора. Примечания автора даны полужирным шрифтом, примечания переводчика — светлым.)*

[2] **День рождения П. Э.**

[3] **Цитаты из газет того дня (± несколько дней).**
Эпсилон — математическое понятие, означающее пределы отклонения от точного значения, в которых справедливость этого значения сохраняется.

[4] Сентготхард — село неподалеку от г. Сомбатхей на западе Венгрии. Не путать с перевалом Сент-Готард в Альпах.

[5] **Столица Венгрии называется Будапешт; очень живописный город.**

[6] Хольд — единица площади в Венгрии, равная 0,432 га.

[7] Этими словами начинается произведение члена Союза писателей СССР Л. И. Брежнева «Целина». Ссылки автор не дает: видимо, слова эти он берет прямо из подсознания.

[8] **Интересно, что давит давильная бригада? Думаю, этого нам никогда уже не узнать.**

[9] Торжественное заседание, как мы установили, было посвящено 80-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, который родился 21 апреля. То есть «эпсилон» автора оказывается довольно вместительным.

[10] Мартон Хорват (1906—1987) — писатель, публицист, литературовед; после 1945 г. много лет был главным редактором газеты «Сабад неп» (орган ЦК венгерских коммунистов) и вообще играл заметную роль в руководстве культурной политикой страны. Ясно, выступить с докладом на торжественном заседании по случаю круглого юбилея Ленина случайному человеку не поручили бы.

[11] Андраш Короди — тоже не случайный человек: после 1945 г. был главным дирижером Оперного театра в Будапеште.

[12] Тамаш Майор,— уж совсем не случайное имя: в течение многих лет был членом ЦК ВСРП, с 1945 по 1962 г. руководил Национальным театром в Будапеште. Известный актер и режиссер.

[13] Манфред Вайс (1857—1922) — промышленник, один из крупнейших деятелей венгерской финансовой олигархии, основатель международного семейного концерна. После 1945 г. его предприятия в Венгрии были национализированы. Ныне заводы, о которых идет речь, называются просто Чепельский металлургический комбинат. Интересно, будут ли наследники М. Вайса, если таковые живы, требовать возвращения их собственности?

[14] **Тогдашний король Венгрии, ученик Сталина, самый лучший в данной стране.**

но председатель Президиума республики, Арпад Сакашич [15], еще не ушел в отставку, и его, по всему судя, еще не посадили в тюрьму, хотя оставалось до этого совсем немного,

— на Дунае в разгаре было половодье: выше Будапешта река поднималась, ниже — спадала, уровень воды в Вене был 239 см, в Братиславе — 278 см, в Гёню — 198 см,

— все шире распространялось демократическое кино, в «Штудио» шел фильм «Сталинградская битва» в двух сериях (показ продлен на две недели), в «Сабадшаг» и «Уйлаки» — «Партийный билет»; к 1 Мая обещали пустить в прокат чрезвычайно веселую и увлекательную советскую кинокомедию «Кубанские казаки»,

— в этот день кто-то забыл в 5-м автобусе сумку и кожаные туфли,

— предлагала свои услуги (стирка и глажка белья, уборка квартиры) Илуш с ул. Доб; ощущалась нехватка девушек-служанок с хорошими рекомендациями; семейство Надаш [16] (ул. Пожони, 12) искало приходящую домработницу, занятость — целый день, обращаться с 7 до 9 вечера,

— на трамвайных остановках, смешавшись с толпой, дежурили добровольцы, следившие за чистотой; если ты бросал на землю использованный билет или другой мусор, они делали предупреждение, заставляли поднять брошенное и проводили с тобой беседу, объясняя правила соблюдения чистоты в городе,

— люди пользовались — те, кто пользовался,— мозольной жидкостью «Антикорс», цена — 3.80,

— лавка Гросса (ул. Йожефа, 23) приобрела партию ртути, к Лантошу в этот день поступили Бодлер, Жеральди и много другой французской литературы; мастерская Фогеля принимала заказы на люстры, предлагалось средство от зоба — йодистая поваренная соль; если не хотите, чтобы ваши руки пахли луком, вымойте их теплой водой, предварительно размешав в ней несколько капель нашатырного спирта,

— отель «Британия» теперь назывался гостиницей «Мир», отель «Империал» — гостиницей «Свобода» [17],

— *почти даром* можно было приобрести первоклассный чешский шланг для винного насоса, длина — 10 м, цвет — красный, диаметр — полтора дюйма; покупайте, не стесняйтесь, ткани нашей фирмы «Атекс»,

— снижены цены на карамель, налетай, кому не лень, чтоб демократия стала милей,

— 24 вагона с продовольствием прибыли в этот день на Центральный рынок,

— победитель велосипедных гонок, посвященных Дню освобождения, стал обладателем специального приза товарища Михая Фаркаша [18], министерство внутренних дел приняло решение создать собственный спортивный центр; мы весело махали

[15] Арпад Сакашич (1888—1965) — видный деятель венгерского рабочего движения, один из руководителей Социал-демократической партии Венгрии. После освобождения Венгрии и слияния партий коммунистов и социал-демократов занимал ведущие посты в ВНР. 8 мая 1950 г., то есть менее чем через месяц после рождения П. Э., вынужден был уйти в отставку — разумеется, «по состоянию здоровья»,— а вскоре после этого арестован. В 1956 г. полностью реабилитирован.

[16] Автор делает здесь краткое примечание: «**П. Н., Библия**». Поясним, в чем тут дело. Обнаружив это объявление в газете за апрель 1950 г., П. Э. с удивлением узнал, что оно принадлежало родителям будущего писателя, его друга и единомышленника Петера Надаша (одна из последних книг его называется «Библия»).

[17] В газетной заметке, сообщающей об этих переименованиях, говорится, что Управление гостиниц и предприятий общепита «планирует также изменение иностранных названий других гостиниц».

[18] **В 1948—1953 гг.— министр обороны, потом исключен из партии и посажен в тюрьму. Выйдя из заключения, подрабатывал в издательстве. (Внутренний рецензент. Коллега.)**

букетами цветов, приветствуя правительственные трибуны, да здравствует Ракоши! да здравствует Ворошилов! [19]; в Таджикистан пришла весна,

— объявлен был футбольный чемпионат на кубок Польши, тамошняя национальная футбольная лига готовилась к чемпионату как к такому празднику, какого еще не бывало в Польше,

— Геллерту в Праге забили гол аж с 54 метров,

— Михай Эстергоми дал интервью, в котором оценивал ближайшие перспективы довольно мрачно: после Парижа он находится не в лучшей форме, что в конце концов и естественно, но, несмотря ни на что, надеется на победу, хотя Ижоф — очень сильный противник,

— питательный крем для кожи «Токалон»: усталое лицо в минуту станет свежим,

— быть среди лучших в труде и спорте — такую цель поставил перед собой Ласло Баблена, молодой футболист из шалготарьянской команды «Штольня» (друзья ласково кличут его Бревном),

— у Савы [20] с Газового завода случилось отслоение хрящевой ткани; «Фебус» решили укрепить новым игроком из юношеской команды; «Джойнт» занял в первой группе III класса на чемпионате БФЛ девятое место: в двадцати матчах одержал восемь побед, трижды сыграл вничью, девять раз проиграл, соотношение забитых и пропущенных мячей — 49:51,

— уже составлена была команда по спортивной гимнастике, направляющаяся в Советский Союз,

— приехавший к нам на гастроли великолепный Сергей Образцов [21] сказал в интервью, что весна в Венгрии в полном разгаре,

— Венгрия предстала нам юной, развивающейся, цветущей страной,

— и если прежде мы мотали головами под мелодию «Скажи ей, как я обожаю пештских девушек», то теперь публика слушала увертюру к опере Эркеля «Ласло Хуняди» и Первую симфонию Чайковского,

— нам открылась истинная суть одурманенного кока-колой, дергающегося в ритме буги-вуги отребья,

— в нашей литературе, хотя и не без трудностей, брали верх позитивные элементы; ушла в прошлое буржуазная литература вроде сочинений господина Мараи [22] да эпигонов Бабича [23] из кружка «Молодой месяц» [24], навсегда остались в прошлом литературный аристократизм и, сказал бы я, фетишизм качества; чрезмерное внимание к художественному уровню уже не препятствовало становлению новой, пролетарской литературы (к которой в общем-то имел некоторые претензии и сам требовательный Йожеф Реваи [25]); новые писатели своей духовной головой пробивали буржуазный панцирь прелой прошлогодней листвы, а Йожеф Дарваш [26] меж тем объяснял, что необходимо для верного понимания партийности в литературе,

[19] Ворошилов возглавлял советскую делегацию, которая прибыла в Будапешт на празднование пятилетия освобождения Венгрии (4 апреля 1950 г.). В состав делегации входили такие достойные люди, как М. А. Суслов и писатель Олесь Гончар.

[20] Геллерт, Эстергоми, Ижоф, Баблена, Сава — знаменитые в те времена спортсмены; «Штольня», «Фебус», «Джойнт» — не менее знаменитые венгерские (кроме «Джойнта», вероятно) команды. Более подробных сведений о них, даже допросив П. Э., добыть не удалось.

[21] **Из письма: «Уважаемый (...), хочу добавить лишь: Сергею Образцову я обязан тем, что прожил эпоху Ракоши с чистой совестью (если это важно!) и почти счастливо. Дело в том, что по его инициативе у нас появились любительские кукольные театры, и в одном из них нашли прибежище многие прекрасные представители авангардистского искусства: Дежё Корниш, Эндре Рожда, Бела Веселски — и ваш покорный слуга. Мы делали кукол, оформляли спектакли; благодаря Эндре Рожде у нас рот не закрывался от хохота. Образцов был человек мудрый, гуманный и уже тогда — старик. Его наверняка уже нет в живых; известий о его кончине я не видел; надеюсь, умер он естественной смертью».**

[22] Шандор Мараи (1900—1989) — выдающийся прозаик, публицист; в 30-х годах входил в число самых известных венгерских писателей. С 1948 г. жил в эмиграции (Швейцария, Италия, США). До недавнего времени произведения Мараи в Венгрии не издавались: писатель категорически заявил, пока на его родине у власти находятся коммунисты, ни одной его строчки здесь не появится. В последние два года книги его выпускаются венгерскими издательствами одна за другой.

[23] Михай Бабич (1883—1941) — один из крупнейших венгерских писателей первой половины XX века, много сделавший для обновления венгерской литературы.

[24] «Молодой месяц» («Уйхольд», 1946—1948) — литературно-критический журнал, пытавшийся развивать традиции довоенной венгерской литературы; видимо, по этой причине был закрыт властями.

[25] **В те времена — полновластный хозяин в сфере искусства и литературы; да не явится он мне даже в страшном сне.**
Добавим, что И. Реваи (1898—1959) был неплохим критиком и публицистом. В 30-х — 40-х годах находился в эмиграции в СССР, но тут мало себя проявил.

[26] **Кажется, председатель Союза писателей?**
П. Э. ошибся совсем немного: Й. Дарваш (1912—1973) стал председателем Союза венгерских писателей несколько месяцев спустя, а в апреле, выступая на писательском активе (из этого выступления П. Э. берет, почти дословно, многие пассажи, касающиеся литературы), он, очевидно, готовился к этой роли.

— даже постороннему было ясно: развитие наших писателей немыслимо без глубокой и искренней самокритики... Прав Реваи: все теперь зависит от них самих!!! [27]

— вырос новый читательский лагерь, теперь венгерскому писателю было для кого творить; в ускорении развития нашей литературы роль первопроходца играла советская литература, которая воспитывала в равной мере писателей и читателей; политический курс нашей народной демократии преграждал путь враждебным литературным направлениям (в том числе тому, которое произрастало из одного корня с «клиническим» реализмом американской литературы и которое наша прогрессивная критика разоблачала как порнографию, как человеконенавистническую, насквозь прогнившую псевдолитературу; одним из ее представителей был, например, Ласло Немет [28]),

— ничто не было нам так чуждо, как грубый натурализм: он оскорблял и оскорбляет наш народ, он недостоин его высокой культуры, его безгранично развитого художественного вкуса; ценность для нас представляли не выкрутасы самоцельного острословия, а ясность и четкость мысли; ведь мы были не объевшиеся буржуа, которым хочется щекотки, а сознательные труженики, жаждущие познать мир; писатель стремился не украшать, а созидать,

— как заметил Олесь Гончар, высочайшая красота — красота верности,

— искусство было необходимо нам, как свет в глубине шахт; мы жадно поглощали все, чего нас лишали столетиями; за несколько недель или месяцев мы хотели восполнить вопиющую несправедливость истории; хмель восторга захлестывал наши сердца! Наши парады и демонстрации были воплощением дисциплинированности, высокой сознательности, спаянности руководства и рядовых тружеников... бурлящий людской поток, воздетые руки со знаменами и плакатами, десятки тысяч улыбок, блестящих от счастья глаз, громовые раскаты приветственных лозунгов и криков воодушевления, радость женщин и детей в венках — это была благодарность *всего* народа [29],

— случалось, нас не устраивала судьба или характер героя какой-нибудь новой книги; мы их обсуждали, и автор затем вправе был учесть или не учесть советы, выполнить или не выполнить высказанные пожелания [30],

— мы поглощали книги, как лакомства; на сцене мы узнавали себя в образах, созданных Ференцем Ладани, который умел во всем богатстве представить новый, коммунистический тип человека (вдохновенно изображая, например, рабочего-стахановца, который в начале пьесы борется в одиночку, а затем обретает все больше сторонников, или с огромной убеждающей силой показывая несгибаемого большевика, чья воля крепнет от сознания, что за ним стоит рабочий класс, стоит Партия, которая

[27] Следует уточнить: эта реплика Реваи была адресована «народным писателям» (течение в литературе, возникшее в 30-е годы и ориентирующееся главным образом на крестьянство), которые подверглись разгромной критике в конце 40-х — начале 50-х годов. (Одним из видных представителей этого течения был и Й. Дарваш, но он вовремя осудил идейную «ущербность» этого направления.) Реплике Реваи предшествуют слова: «Народные писатели... впали в грех неверности своему народу. Они или оппортунистически приспосабливались, или усваивали близкие фашизму принципы».

[28] Ласло Немет (1901—1975) — замечательный венгерский прозаик, драматург, публицист, один из самых крупных представителей движения «народных писателей».

[29] Строки, посвященные празднованию 4 апреля, П. Э. взял из статьи М. Хорвата «После праздника» («Сабад неп», 9 апреля 1950 г.).

[30] Этот абзац — точная цитата из интервью, данного О. Гончаром газете «Сабад неп» (9 апреля 1950 г.).

«объединяет меня с теми, чьих имен я никогда не узнаю»:)!,

— это было *непростое* время,

— Горький сказал: нет ничего более святого, чем жизнь (написано на Капри) [31],

— мы были молоды, и страна была молода, и страна эта были мы, мы хотели все сразу, хотели все лучше, все как можно лучше... нас терзал голод — голод жизни и голод свободы,

— в Ленинграде была издана карта растительности европейской части СССР; «Красная звезда» напечатала сообщение, что председатель колхоза «Заря» Александр Тернов с огромным успехом прочел лекцию в Свердловском сельскохозяйственном институте; мы с радостью смотрели в будущее, и сердца наши бились сильнее, когда мы думали о будущем,

— за несколько дней до того был ратифицирован советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи,

— президиум Международного союза юристов прислал товарищу Матяшу Ракоши телеграмму, в ней он выражал благодарность и восхищение тем достойным удивления вкладом, который товарищ Ракоши вместе со всем венгерским народом — то есть с нами! — внес в дело расцвета Венгрии, в дело Мира,

— началась подготовка к празднованию восьмидесятилетнего юбилея Ленина, великого вождя всех трудящихся (полет мысли его рассекал небеса действительности),

— наши успехи были бесспорны, мы с гордостью смотрели на нашу жизнь, в которой не было места заботам и страху; однако товарищ Сталин [32] учил нас, что нельзя успокаиваться на достигнутом, почивать на лаврах; там, где отсутствуют большевистская бескомпромиссность и самокритика, движение вперед замирает и наступает неизбежное загнивание; товарищ Сталин учил быть непримиримыми к недостаткам и требовательными в труде [33],

— при всем том были у нас отдельные недостатки, были трудности; ведь и самое яркое солнце отбрасывает тени; свежий, живой дух марксистской идеологии в известной мере был скован негибкостью догматического мышления, схематизмом и вульгарным социологизмом; даже сам Сталин не был застрахован от ошибок: например, в нем не было той скромности, что характеризовала его великого предшественника, Ленина,

— расходы на оборону составляли у нас 20% национального дохода, и даже Эрне Герё [34] с неодобрением отнесся к необоснованным претензиям министра обороны Михая Фаркаша; правда, при этом мы противопоставили свою могучую волю к миру темным махинациям авантюристов и подстрекателей с американской дьявольской кухни; наглые происки американской разведки встретили у нас достойный отпор;

[31] Может быть, Горький действительно говорил нечто в этом роде (найти источник нам не удалось), а может, П. Э. сам сочинил эти слова за пролетарского классика.

[32] **Учитель Матяша Ракоши. «Наташа приблизилась и, смело глядя ему в глаза, сказала: «Можно вас поцеловать, товарищ Сталин? За все, за все, что вы сделали для нашего народа». Сталин, немного смущенный неожиданным вопросом, развел руками». Конец. (Павленко. «Падение Берлина»)**

[33] Почти дословная цитата из статьи некоего Борисова «Смелая критика и самокритика — источник силы большевистской партии», опубликованной в «Непсабадшаг».

[34] **Еще один полновластный хозяин, повелитель жизни и смерти — если еще оставались жизнь и смерть.**

Э. Герё — ближайший сподвижник Ракоши. По некоторым свидетельствам, по-венгерски говорил с сильным русским акцентом.

подлые прислужники империализма получили хороший урок и едва унесли ноги; а тех, кто не оставит своих жалких попыток помешать нам, мы не задумываясь вышвырнем отсюда, мы-то уж сумеем отбить у них всякую охоту совать свиное рыло в наш социалистический огород,

— президент Трумэн в одном из посланий к конгрессу вынужден был признать, что пять миллионов американских семей ютятся в трущобах,

— успехи Советского Союза и других социалистических стран обладали огромной притягательной силой и, подобно восходящему солнцу, освещали другим народам тот правильный путь, идя по которому... в общем, ясно; империалисты рубят сук, на котором сидят, и если наемные писаки из «Нью-Йорк таймс» все-таки продолжают твердить свое, то это лишь доказывает, что они как огня боятся мирного сосуществования, ибо прекрасно знают: капитализм не выдержит соревнования с социализмом; за кого вообще принимают нас эти господа! и это в то время, когда вокруг неудержимым, бурным потоком взбухает трудовая инициатива масс; кто не способен понять это сегодня, будет вынужден понять завтра,

— Эндре Хамваш, епископ Чанадский, заявил: «Люди хотят мира»,

— за сокрытие оружия были осуждены несколько кулаков,

— товарищ Гро, видать, совсем растерял у себя в Чепеле пролетарскую бдительность и в результате спасовал перед «профессионализмом», попал под влияние классового врага [35],

— Кальман Якаб, крестьянин-единоличник, владелец пятидесяти хольдов земли, отдал часть своего надела сельхозкооперативу, а потом, с досады, что кооперативное хозяйство успешно развивается, подсыпал отравы в обед производственной бригаде, за что рабочий суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения с конфискацией земли и последующим запретом возвращаться в родную деревню; приговор признан окончательным,

— был введен новый порядок взимания продналога: сдаче теперь подлежали, кроме прежних видов продукции, картофель (сорта «гюльбаба», «роза», «элла», «желтая», «крюгер», «вольтман»), живой скот, птица, яйцо; а поскольку правительство народной республики обнародовало это решение заблаговременно, то наше трудовое крестьянство получило возможность подготовиться к посеву достаточного количества дополнительных культур; крестьянин-единоличник Карой Ласло (шесть хольдов земли) из Чопака, ознакомившись с постановлением, заявил: «Это очень справедливый [36] указ: кто ведет хозяйство рачительно, без труда его выполнит»; о справедливости этой меры свидетельствовало и то, что постановление особые требования предъявляло к деревенским эксплуататорам — кулакам; зато хлеборобы, добросовестно выполнившие

[35] Типичная для тех времен история. Речь идет об идеологическом (разумеется, с оргвыводами) погроме, устроенном руководством компартии в министерстве народного образования. Товарищ Гро — чепельский рабочий, выдвинутый с производства парторгом в министерство.

[36] Справедливость требует, чтобы мы шли за справедливыми, а необходимость — чтобы за самыми сильными. Право без силы — беспомощно, сила без справедливости — деспотична. Бессильной правовой системе люди подчиняться не станут, ибо среди них всегда найдутся недобрые; неправое же насилие они лишь осудят морально. Таким образом, надо объединить силу и справедливость, а для этого сделать справедливость сильной или силу — справедливой. Справедливость — вещь спорная, сила же очевидна и бесспорна. В конце концов способа придать справедливости силу так и не нашлось, ибо сила сопротивлялась, заявляя, что она и без того справедлива. А поскольку добиться, чтобы то, что справедливо, одновременно было сильным, не удалось, то люди сделали вид, будто то, что сильно, обязательно и справедливо.

обязательства по сдаче сельхозпродуктов — обязательства, которые были законом нашей народной демократии и одновременно патриотическим долгом каждого гражданина Народной Венгрии,— получали право по большим праздникам производить помол зерна сверх положенной подушной нормы,

— широкое распространение получил почин комсомолки Лидии Корабельниковой, которая взяла обязательство один день в месяц работать за счет сбереженного материала; в Кладно за 24 часа произвели 10 плавок, в Храбеке — 8; товарищ Стриховка установил новый рекорд, снизив время одной плавки до пяти часов [37],

— успешно разворачивались весенние сельскохозяйственные работы в Менде, однако там забыли, что враг не дремлет: хорошие показатели вскружили голову сельским руководителям, они стали покровительствовать вчерашним кулакам, без внимания оставляли враждебную агитацию клерикальной реакции,

— в дер. Шокоропатка расхитители дров, подстрекаемые местным священником, подожгли принадлежащие селу лесные угодья; в Дебрецене учитель закона божьего задал детям учить стихотворение «Примас-невольник», а один ученик, попавший под его влияние, пытался раздавать одноклассникам приглашения на исповедь, в которых среди вопросов о прегрешениях последним стоял такой: «Дружишь ли ты с детьми рабочих?»; три девочки, попавшие в когти к попам, на праздничной линейке вышли из строя и заявили, что они на демонстрацию не пойдут; когда члены партии объяснили девочкам, на какой путь они ступили, те поняли свое заблуждение и сознались, чья это работа,

— бесспорно, мы допускали ошибки; если бы мы взялись утверждать, что ничего такого не было, это была бы ложь; значения ошибок мы вовсе не хотим преуменьшать; постоянные победы [38] на фронте труда, мира, свободы подчас порождали зазнайство; досадные перегибы, (например, насчет того, что рукоятка пожарного багра не должна быть такой короткой) лили воду на мельницу классового врага, потому как тут и середняк скажет, что у него багор тоже не всегда такой, как надо; а хлебороб Тамаш Ленарт решительно заявил: мы верим, Партия нам желает добра, мы еще ни разу не пожалели, что шли за Партией, мы справедливые приговоры очень даже одобряем, своих кулаков мы знаем как облупленных, мы знаем, что черного кобеля не отмоешь добела, а этот нынешний шум с багром только сбивает нас с панталыку,

— самоуверенность привела к ослаблению бдительности, этой весной возникли проблемы со снабжением, потому что — как указал Эрне Герё — из-за массовых вражеских махинаций с тарифами и нормами слишком быстро росла зарплата и так далее; что касается исполнения, то тут бывали ошибки, но генеральная линия была верной,

[37] **О, как трудно дается этот текст!.. Лидия Корабельникова, надо думать,— Героиня Будней. Бедняжка, как-то она поживает сейчас? Куда делось своеволие ее пышных, непокорных волос, блеск очей, угрюмая, темная сила мускулистых ног, куда? О чем рассказывает она своим внукам? О том, что в Кладно — десять, а в Храбеке — восемь? Был ли у нее роман с товарищем Стриховкой? Или товарищ Стриховка не из того теста замешан? Тогда — из какого? Или он все же не выдержал, сдался, и Лидия, эта отчаянная, смелая, неотразимая женщина, прокатилась по нему, смяв и отбросив... как водится?.. Во всяком случае, тот факт, что был в истории некто, снизивший время плавки до пяти (!) часов, и поныне приводит — надо думать — в трепет европейское сердце.**

[38] **«Я рано постиг истину, что победа с точки зрения бесконечности — это победа, а с точки зрения конечного бытия — страдание».** *Киркегор.*

— мы любили [39] Матяша Ракоши, мы просто не могли, если бы даже захотели, освободиться от обаяния его личности, от неотразимости его аргументов; за простыми, непосредственными словами мы ощущали его человечность и теплоту, он открывал в нашем сердце отдушину для надежды (и мы одолели-таки начальные трудности, которые отчасти связаны были с консервативным образом мысли, отчасти же с действительными ошибками, порожденными недостатком опыта, и, преодолев их, мы, можно сказать, заставили мир ахнуть: свиноводческая программа! весь народ триумфально строит социализм! — этот триумф, конечно, вовсе не значит, что мы успокоились, впали в эйфорию и почиваем на лаврах, нам нет нужды обманывать себя, скрывать свои трудности, пусть первым бросит в нас камень тот, кому трудности совсем неведомы (взять хоть безработицу), да, наш триумф не равнозначен минутной вспышке хмельного восторга, это — длительный, исторический триумф, он — залог честных трудовых, полных творческого поиска, хотя и нелегких будней,

— свобода принесла новую жизнь и женщинам, они стали уважаемыми, равноправными членами общества; мягкими, даже как бы чуть-чуть ленивыми шагами расхаживают они по двору машинно-тракторной станции, по шумным цехам, меж прядильных станков, со строгим выражением на милых личиках склоняются над пробирками в научных лабораториях, женщины расцветают на глазах, лукавый, будоражащий апрельский ветер сгоняет все горести с их лба; красота — всегда гармония; ключ к тайне — найти в себе скрытую красоту и умело, ненавязчиво подчеркнуть ее; но теперь подлинную сущность женщины составляет не телесная красота, не лицо и ноги, а работа; *в эпоху строительства социализма каждая женщина красива* [40], она привлекательнее своих товарок лишь в той мере, в какой лучше других делает свое дело на рабочем месте, у токарного станка или за письменным столом,

— иные обслуживали сразу по *шесть* станков; а Маргит Адам на пункте сбора табака в Мезёкёвешде стала одновременно и ударницей, и новатором,

— будущие мамочки в этот день еще больше отяжелели, они тревожно и радостно прислушивались к живому грузу под сердцем; живот с черным пушком блестел натянутой кожей, груди казались огромными и забавно неодинаковыми, соски и круги вокруг них обрели шершавость и необычный коричневый цвет, живой была каждая частичка тела, живой и тяжелой, живой и тяжелой,

— и когда пополудни они вдруг вскрикнули, крик возник где-то в глубине, он поднимался медленно, похожий более на урчанье, потом неожиданно перерос в неистовый визг, даже в хрип, и потрясенные папочки поняли: час настал,

— и украдкой хлебнув скверной палинки, они горячей ладонью провели по своему осунувшемуся

[39] **«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий». Цитата из Библии, Первое послание Святого Апостола Павла к Коринфянам, 13,1.**

[40] **Mesdames! Думайте об этом, идя к избирательным урнам.**

лицу, поправили очки и, спохватившись, бросились из дома, чтобы вбить гвоздь в печную трубу и намотать на него несколько волосков с левого виска женушки,

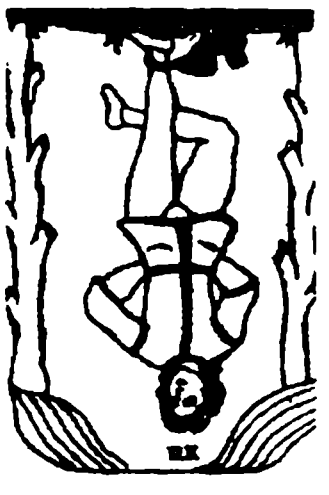
— и потом, когда боли у мамочек усилились и терпеть их уже не было никакой мочи, папочки с покаянным видом склонились над женами, пускай колотят их изо всех сил, чтобы вся боль на них сошла,

— и 14 апреля отверстие матки должным образом раскрылось, и оболочка плода лопнула, и отошли околоплодные воды, и солнце в тот день зашло в 18 ч. 02 мин.,

— помоги нам, блаженная Богоматерь-родительница! И, чтобы облегчить роды, были закрыты все двери и окна, заткнуты дольками чеснока замочные скважины, и зажжены свечи, и все в доме кричали, шумели, жгли стружки с креста, кропили комнаты святой водой, и в доме были развязаны все узлы до единого, и открыты все замки, и выдвинуты все ящики, и соседки ключом давили себе пах,

— и мамочки кричали от боли, всюду был стон и вопль, и бесплодные женщины с завистливыми лицами, склонившись над мамочками, шипели злобно: «Ничего, барыня, поверещите, коли тогда было хорошо!»,

— и наступил черед потуг и судорог, которые были уже не так болезненны, заставляя мамочек напрягаться, и брюшной пресс, участвуя в сокращении мышц матки, существенно помогал выталкиванию плода,



— и когда покрытая волосиками макушка плода показалась в растворе наружных губ, бесплодные женщины, стыдясь за себя, положили свою вечно прохладную руку на скользкий от пота лоб мамочек и горячо зашептали: «Милая, только спокойно, деточка, потерпи, скоро кончится: вот он уже, сердечко мое, вот он, сейчас»,

— надо же, *словно срёшь*, думали мамочки,

— и головка, что показалась в растворе влагалища, пряталась обратно, но в конце концов вышла целиком, «лады, барыня, баба ты что надо», и затем обильно пошли околоплодные воды, и самое трудное было позади,

— и спустя полчаса все было кончено,

— и казалось мамочкам, что живот, словно некий плазменный шар, невесомо парит, качаясь туда-сюда, и свисает набок, он сейчас просторен и пуст!

— пуст, пуст, пуст, пуст,

— и мокрые от пота, обессиленные, ослабевшие от потери крови, мамочки ощутили озноб,

— кровь,

— и голова откинута назад, и на милом лице стоическое терпение, словно они еще ждут чего-то, и за большими двустворчатыми окнами ночь, на выметенном и отшлифованном ветром небе сияют чистые звезды, и далекие зарницы, вспыхивая на

мгновение, подмешивают в это сияние чуть-чуть пепла, и ветерок несет запах приправ и камня, где-то на соседней улице прошуршал по мокрой мостовой автомобиль, прошуршал и утих, и следом за ним из непостижимой дали донеслись, нарушая тишь, непонятные крики,

— и потом всем своим весом упала на них тишина, в которой небосвод и звезда... [41],

— в доме культуры имени Матяша Ракоши открылась албанская выставка; производственные показатели магнитогорских плавильщиков внушали уверенность в завтрашнем дне; началась конкретная, в более решительной, чем до сих пор, форме разъяснительная работа среди беднейших крестьян и середняков,

— мы же, мы имели возможность узнать, что бюстгальтеры модели «Тинейджер» сравнимы с другими разве что дешевизной, но по качеству им равных нет [42].

[41] Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя.

[42] P. S. Образцов жив! Только что у него побывали Маппет-шоу, Бреки и другие.

Перевод Ю. Гусева

Место, где мы находимся

— чеховская новелла —

Города наши большей частью стоят на речных берегах, у скрещенья торговых путей, где сплавлялись груженные житом суда и норовистые плоты и где берегом гнали большие стада гуртоправы, хотя, может быть, дело решило совсем не это, а минутная блажь какого-нибудь вельможи, перстом своим указавшего место, где мы теперь и находимся.

Жил да был в нашем городе некий потрепанный господин: некий *тусклый* мужчина. Только не надо тотчас себе представлять какого-то оборванца с болтающимися на одной нитке пуговицами, этакого социалистического клошара, который, устроившись под любимым мостом, проклинает себя за то, что к дюлайской копченой колбаске украл сдобный калач — они же друг друга *не переваривают*. Ситуация вовсе не столь романтична, не столь плоха и не столь хороша: ситуация просто *дана*. Бедный N. (Ибо так звали тусклого господина.) В этот день, как обычно, он спешил домой из присутствия, где полчища злонамеренных посетителей желали лишь одного: чем-нибудь ему досадить. Раздраженные чувства, которые он к ним питал, не выплескивались, однако же, через край, он скорее *побаивался* клиентов, стараясь дела их улаживать с почтительной ненавистью и, конечно, уж никогда не посмел бы топать в гневе ногами и рявкать на граждан, так сказать, злоупотребляя бесспорной властью, либо просто играть с ними в кошки-мышки, что нередко себе позволяли его коллеги; во время обеденного перерыва он молча, без комментариев слушал хвастливые, но доподлинные, как было ему известно, истории — о женщине, которую коллеги гоняли вокруг стола, заставляя ее гоготать по-гусиному, или о том бедолаге, которого без конца посылали «наверх» за печатью, ибо, как это ни прискорбно, новая печать аннулировала предыдущую, между тем как одна печать — еще не печать. «И как только разорвать этот круг»,— сокрушались, посмеиваясь, товарищи по столу.

Ему были знакомы все закоулки бюрократических коридоров, анатомия всей *системы,* о которой его коллеги, молодые и энергичные, говорили, что ее вовсе нет, а есть только они, что свобода, простор, возможности и все-все здесь зависит от них, от их благожелательности, ну а в том, что они только блага всегда желали, никто усомниться не мог, за вычетом разве

отдельных случаев, да и то не трагических, *по большому-то счету,* а скорее забавных; но все это господина N не интересовало, и он уплетал свой суп, склонившись к тарелке.

Мы, однако, ошиблись бы, усмотрев в господине N человека разочарованного и неудовлетворенного, во всем видящего только плохое; правда, службой своей он был недоволен, но могла быть и хуже, говорил себе он, хотя все же был не настолько глуп, чтобы *это* считать утешением; среди знакомых он слыл человеком сравнительно образованным, читал французов и русских, романы Флобера, Тургенева, слышал даже о Джойсе, и «Дублинцев» считал книгой талантливой; по справедливости говоря, вкусы его были довольно консервативны, но, бог мой, у кого же они не консервативны, если уж разобраться?! Он любил мелодичную музыку и рассказы с эффектной концовкой, слушал Дитриха Букстехуде и в узком кругу признавался, что Барток для него темный лес. Разумеется, Барток гений, но все-таки, все-таки... Тем паче сомнительными представлялись ему писатели-современники, от чего он испытывал даже некое утешение. Ну, уж эти! говорил он с оттенком пренебрежения, будто речь шла о футболистах. Правда, время от времени он нехотя уступал чему-то необъяснимому, что было в произведениях этих новых авторов, и сердце его как будто охватывал трепет, до слуха словно бы долетали звуки, пусть для него неродные, но насквозь его пронимавшие, в любом случае *близкие,* и все это ему представлялось немного безвкусным, лишенным изящества, чего мы вполне обоснованно ждем от искусства,— тем не менее остается фактом, что ни с кем из других сочинителей не завязывались у него отношения столь причудливые. Однако же, поразмыслив, он приходил к заключению, что дело лишь в том, что авторы современных произведений *живы,* что они и сейчас, в сию пору, дышат, плачут, едят, занимаются, извините, любовью, и это нас трогает, опьяняет, побуждает нас к снисхождению, потому что нам кажется, будто это нас возвышает.

N не был совсем уж трусом, не был бесповоротно запуган, иначе разве осмел бы он передразнивать своего патрона! «Милостисдарь, несомненно-с, всенепременно-с», шептал он, отвешивая поклоны, и все падали со смеху, «ну, ты, брат, прямо в точку попал, прах его побери», хлопали господина N по спине коллеги, и, надо сказать, этот маленький сольный номер требовал некоторой смелости; N знал, что барышня-машинистка находится в том безрадостном положении, что вынуждена докладывать о подобных вещах, как знал он и то, что его начальник гораздо сильней, необузданней и безжалостней, нежели в силу необходимости то выказывает, иначе он и начальником не был бы. После таких забав N обычно подходил к машинистке. «Вы меня хоть немного любите?!», наклонялся он к ней. «Люблю», отвечала девушка, быстро чмокая его в щеку. «Вот и славно», кивал N, «хотя ведь вы лжете, я знаю». Ответом было молчание.

Итак, он спешил домой из присутствия скорей по привычке, чем в надежде на то, что дома, быть может, лучше; брак его был таким же, как и у всех нас, целесообразным союзом, который нас чуточку раздражает, но в той же степени и удобен. По городу гуляли уже колючие осенние ветры, он же никогда почему-то не поспевал за меняющимися временами года, а посему постоянно мерз в эту пору, дрожа в своем ветхом плаще и нимало не утешаясь той мыслью, что зато в марте... легко догадаться [1].

Сколько народу! со злостью подумал он, и в душе его возникало желание излить желчь на каждого лично, включая и самого себя, ибо он точно такой же, как все остальные, у которых, поди, точно так же, по поводу и без повода, урчит желудок, продолжал он брюзжать, но, прислушавшись, смог убедиться лишь относительно собственного живота. Было холодно, и он думал о том, как же плохо ему, как все плохо, все-все, и зубы-то у него плохие, и коронка совсем расшаталась, и с печенкой что-то

[1] Март, месяц революционных праздников, в последние десятилетия был временем проведения молодежных акций протеста против существовавшего в Венгрии режима. (*Прим. перев.*)

не то, и колени пошаливают, *да весь организм не годится ни к черту!* — едва не вскричал он, а если и есть что хорошее, то это настолько, настолько ничтожно.

И вот, в огорчении стоя у перехода, в ожидании, пока сменит свой цвет светофор,— и кто только это придумал! гоняют, как скот все равно, он заметил вдруг, что с другой, противоположной, стороны улицы на него пристально смотрит девушка. Это не вывело N из его кислого состояния, подобное, с тем или иным исходом, случалось с ним, но это, как говорится, passé [1]; однако девушка неожиданно показала ему язык, смеясь ли, кокетничая ли, кто знает,— людской поток подхватил ее, и они потеряли друг друга из вида. Переправившись, он остановился, ища девушку, вон она, там исчезла, сверкнув волосами на солнце. «За безопасность леди я могу поручиться, сказал храбрый индеец», процитировал N про себя.

Потоптавшись на тротуаре, он медленно двинулся дальше... как внезапно все это произошло! как непредвиденно... Ни с того ни с сего... показать язык... Как все здесь загадочно и разнообразно, размышлял он, неспешно прогуливаясь, как богато и широко. Да взять хоть вот эту ничтожную улицу!.. Голова у него слегка закружилась. И все это принадлежит мне, как же не закружиться голове от захватывающей этой мысли... я богат и великодушен, что бы там ни было. И жизнь, которую он всегда только хаял, вдруг представилась ему возвышенной и чудесной, наполненной светом и такой же просторной, как в тех самых французских и русских романах.

Да, бывают такие вот знаменательные и редкостные моменты, когда мы о нашем городе думаем: это наш город. Наш, и, стало быть, мы его любим, независимо от наших намерений. Любим, но — как же часто — *не культивируем*. Как же часто проносимся сломя голову по враждебным улицам вдоль перекопанных мостовых, где под началом мерзавцев прорабов бьют баклуши неряшливые работяги, и ежели у кого из них от случайной натуги брызнет из носу кровь, то прохожие — то есть мы — с искаженными лицами уже злорадно показывают на него пальцами. Как же часто мы слышим, что в телефонах у нас что-то своеобразно пощелкивает, сразу и не поймешь, включено *оно* или нет, молодые, приятной наружности и циничные парни толкутся на улицах и сидят в кафе, где потягивают из высоких бокалов цветные соки, и женщины ходят согбенные от авосек, и грызут озабоченно ногти мужья. (Одна только детвора весела, наше вечное будущее, особенно если в телепрограмме для школьников идет увлекательный сериал «про историю», как они носятся, раскрасневшись от счастья, какой поднимают гвалт, «во, потрясную опять показали *фальсификацию!*», горланят они друг другу. Несмышленыши, думают, это жанр такой.)

Ну да, впрочем, не всегда же бывают такие дни. Дни, они то такие, то этакие.

А когда выпадают такие, мы не можем найти себе места. В наши дни вошло в моду писать о том, что мир наш немножко абсурден, что он нынче *малость невыносим,* но *так ли уж* справедливо иметь при этом в виду лишь плачевное состояние нью-йоркского метрополитена или невиданный рост преступности где-то у *них,* о нет: мир и здесь стал немножко абсурдным, и у нас он, конечно же, малость невыносим. Только пусть не сочтут это за политические нападки; политика — это... такая... такая штуковина (пользуясь словом классика нашего Яноша Араня), которую, в принципе, можно даже хвалить. Ругать тоже. (Ни то ни другое ни к чему особенному не приводит, однако остережемся манкировать: без наших похвал государственные мужи начинают впадать в меланхолию, вешать голову и в расстроенных чувствах слоняться из комнаты в кухню, из кухни в гостиную, заражая своим минором парламент и прочие важные форумы, отчего принимаемые решения и законы, выторговываемые пропорции прав и цепей становятся такими... хилыми, такими *неизлечимыми;* чрезмерное же захваливание, напротив, делает оных мужей надменными, и они начинают

---

[1] Прошлое *(франц.)*.

дымить сигарами, вся квартира в дыму, что опять же *не привлекает*.) Но как бы то ни было, город наш все хорошеет, открываются новые универмаги и книжные магазины, все многорядней становятся автострады и многочисленней автостоянки, все больше устраивается танцевальных конкурсов, и уровень их все растет, отовсюду доносятся звуки «диско», даже из самых мрачных и подозрительных тесных каморок, и телевизоры нынче у всех приличные, и адаптеры, слава богу, не дефицит, и с ремонтом бытовой техники все, можно сказать, в порядке. *Однако* не будем довольными и недовольными, с таким же успехом мы могли бы и малость недоедать, и мужчины с насупленными бровями могли бы нахальным тоном приглашать нас к себе раз в неделю, да еще, как назло, в тот час, когда нас не оторвать от телека, словом, все могло бы быть и плачевней, и ветер, треплющий наши волосы, не навевал бы нам никаких романтических ассоциаций... напротив, мы зябко поеживались бы в старой своей дубленке. В старой своей дубленке мы зябко поеживаемся и теперь, сознавая, правда, что, по всей видимости, на будущий год нам удастся ее поменять на новую; не сказать, чтобы это нас так уж радовало.

Впрочем, мы несколько отвлеклись. N зашел в один из столь характерных для нашего города, *не слишком роскошных* магазинов самообслуживания, купил бутылочку красного и позвонил жене, сообщив, что спешит домой, что купил бутылочку красного, которую они разопьют нынче вечером. Голос жены так и затрепетал от радости, но и это не вывело N из душевного равновесия.

Он прошелся вдоль берега, где когда-то гоняли большие стада гуртоправы; погода... погода вообще-то не слишком благоприятствовала прогулке, но все-таки временами из-за туч показывалось солнце и светило, хотя и не жарко, зато ослепительно; проходя мимо нежившейся под лучами пожилой дамы, он, не зная зачем, поместил между солнцем и дамой ладонь, тень которой скользнула по лицу женщины.

Пожилая дама возмущенно вскочила, уставилась гневно на N, затем подхватилась и молча засеменила прочь, словно вспугнутая с насиженного гнезда птица. N ощутил непонятный страх; но вот странный же выпал день, он и этому готов был радоваться: как же много всего, ликования и испуга, вмещает его никудышное, терзаемое изжогой и подозрительным скрипом в суставах тело, и как *быстро* все это сменяется.

Жена встретила его в полной готовности, жаркая и благоухающая; они быстро распили вино; думать о чем-либо постороннем N был не в состоянии, он испытывал то благодарность к жене за то, что она молчала, то ненависть, потому что не спрашивала ни о чем... вот он, черт побери, современный брак, официальный, но не законный, где задушевность вытеснена привычкой, а искренность — беззастенчивостью!

Жена N ударилась в слезы, мол, чего ему нужно, зачем он морочит ей голову, она уже не знает, на что и *рассчитывать*, и так далее. Он же рассчитывал поскорее нырнуть с ней в постель и потому поспешил ее успокоить; любовь получилась не столь удачной, как ему хотелось, но, кажется, все было лучше и дольше обычного, хотя N и сбивался с ритма... Они молча лежали в широкой кровати, и когда жена вдруг спросила его «ты счастлив?», он ответил ей «счастлив».

Между тем он чувствовал все что угодно, но только не это. И стал размышлять о том, что же оно такое, несчастье, ибо уверен был, что солгал жене, а раз он не может назвать это счастьем, значит, это несчастье... И, размышляя, в конце концов пришел к мысли, что несчастье — всего лишь слово.

Возбужденный, вскочил он с постели и подошел к окну, внизу темнели кроны деревьев, от проходящего мимо автобуса в окне дребезжали стекла, на город спустилась густая ночь, на выметенном и отшлифованном ветром небе сияли чистые звезды, и дальние зарницы, вспыхивая на мгновенье, подмешивали в это сияние чуть-чуть пепла, и ветерок доносил запах

приправ и камня; тусклый мужчина стоял у окна и с жаркой надеждой в сердце все повторял: «но ведь это всего лишь слово, всего лишь слово, всего-навсего слово».

Перевод В. СЕРЕДЫ

Знамя

Да, бесконечную тонкость нашего дела, свободного от лукавых двусмысленностей, легче всего увидеть из ситуации с нами, знаменами. Давайте оттуда и посмотрим.

Что ни говори, есть во мне в должной мере и чувствительность и сдержанность — ибо (к примеру), хоть я иной раз и начинаю размышлять над тем, какой кронштейн для меня как для знамени предпочтительнее, и хоть я и понимаю (условимся, что лицом мы обращены к улице, иначе запутаемся в два счета), что левый (или правый? уж и не знаю) кронштейн для меня безусловно лучше, потому что он чуть-чуть шире или, вернее, просторнее и когда я опускаюсь в него, то не трусь о железную кромку и с нее не сыплется вниз, как тяжелый дождь, ржавчина,— тем не менее (с другой стороны) я отнюдь не возвожу эти соображения в абсолют: в конце концов, мое древко — всего лишь сухое дерево, так что, нун заг шон [1], пускай мне будет чуть тесновато, Бог с ним, я — вещь сговорчивая.

Начнем танцевать из угла: дело в том, что, когда нет праздника — а бывает, что нет,— меня убирают в угол, вернее, в щель между стеной и шкафом, где я и пребываю, закутанное в самоё себя; состояние это словно бы ставит мою суть как знамени под вопрос, и получается, что существую я периодами; думаю, впрочем, все мы так существуем, сознаем это или нет. Способности к формальной логике мне, слава богу, не занимать, так что когда меня вынули из-за шкафа, хотя никакого праздника не было, я сразу сообразило, чем это может обернуться, и не ударилось в панику, но в течение нескольких секунд так называемой неопределенности продолжало со скромным достоинством выгорать и пылиться.

За окном шел дождь. Или светило солнце. Во всяком случае, была погода. В дверь постучала мадам Эржебет, консьержка, и попросила знамя. Не разбираясь (очень уж сильно) в женщинах, я могу лишь повторить то, что слышало от своего хозяина (термин неточный: как-никак я — собственность государства).

— Ух ты, вот это буфера!..

И хозяин отдал меня, причем как-то так, что я, наверное, выглядело неким символом, ибо супруга хозяина покраснела; мадам Эржебет с чувством собственного достоинства схватила меня за древко, и я, вероятно, вполне могло бы заметить ее вызывающе-кокетливый взгляд, брошенный на хозяина, глаза их как бы совершенно случайно углубились друг в друга... но в тот момент я занято было своими переживаниями: грубоватая, но ласкающе теплая женская рука обхватила меня, и я вдруг ощутило, что тоже ей не вполне безразлично; время от времени в ладони ее беспокойно подергивалась какая-то мышца; не будь я выше всего этого, я даже сказало бы, что она (рука) дрожит; мои взъерошившиеся было задоринки удовлетворенно прижались ко мне (отчего, естественно, перестали быть таковыми).

Меня унесли стирать. И здесь я этак небрежно — но вы слышите, конечно, этот грохот, грохот истории! — опускаю целый период, чтобы сразу перейти к вещам актуальным. Прошлое мое — чисто: мое древко хватали только чистые руки, а если оно все же оставляет следы, то я отношу это исключительно на счет скверной краски. Впрочем, все это так, между прочим; пойдем дальше.

То ли большое количество порошка (кстати, он вовсе не на пользу

© Esterházy Péter, 1977.

[1] Подумаешь, какое дело *(нем.)*

моему цвету), то ли изматывающее вращение центрифуги тому виной, но я впало в такую задумчивость, что очнулось лишь от энергичных движений, когда меня вставляли в кронштейн, и, расправившись, тут же склонилось вперед, развеваясь гордо, слегка покровительственно и в то же время рутинно. Неприятные ощущения, сопровождавшие мое водворение в кронштейн, говорили о том, что во время стирки мадам Эржебет, видно, меня подменила. К тому же теперь я развевалось (гордо и проч.) с левой стороны общего балкона. Справа, замечу, ржавело пустое гнездо моего напарника; до меня доносились голоса моих (теперь уже бывших) хозяев.

— Да пусть они хоть лопнут, а я все равно выставлю свою голубку в категории «стандарт».

— Ладно, ладно, не заводись. Ты лучший голубятник в округе. Восемь по горизонтали. Слушай: немецкий поденщик, умер в 1832 году. Это кто? Гёте?

— Бедняга! [1]— рычит в ответ мой бывший хозяин, голубятник, и вдруг вне себя кидается на балкон. (Тут-то я и вижу, что он вне себя.) Я участливо овеваю его. От этого физиономия у него делается красной: неплохо, должно быть, мы выглядим с ним вдвоем.

— Слышишь, мать! Это же мафия. Они там, в клубе, давно под меня копают. Не дают выйти в «стандарте» с голубкой, а теперь еще красное знамя забрали.

— Да не забрали. Эта гусыня все на свете перепутала. А вообще — какая разница?

— Много ты понимаешь в политике. Наверное, сосед тоже их человек.

И тут началось то, что я передаю в подробностях без особой радости. (Возможно, всего лишь безветрие, но скорее все-таки грусть причина тому, что я так безвольно обвисло.)

Мой бывший хозяин учиняет нынешнему скандал, дескать, как смеет нынешний мой хозяин присваивать чужое, и я вполне понимаю нынешнего хозяина, который реагирует на это весьма резко, но его интонация и то сдержанное злорадство, что прячется в его словах (само тоже будучи словом), позволяют догадываться, что здесь с новой силой вспыхнула застарелая вражда, которая, кстати сказать (об этом тоже можно было бы говорить долго), берет начало от какой-то давней подмены коврика перед дверью; бывший мой хозяин пока что не вспоминает про коврик, аргументы его пока что основываются на том, что если люди идут справа, то должны в первую очередь увидеть меня, на что теперешний мой хозяин справедливо замечает, что люди ведь могут идти и слева... господи, они наверняка пойдут слева, потому как улица наша представляет собой тупик, и принимается хохотать во все горло; тут мой бывший хозяин теряет голову и орет, что господин сосед, всем известно, фашист, а потому красное знамя ему ни к чему вовсе; тогда почему другое к чему? парирует, не дав оппоненту закончить, нынешний мой хозяин, и тут он не может сдержаться и деликатно напоминает, что бывший мой хозяин коврик подменил перед дверью.

Возможно, кому-то покажется странным, что я столь ко всему чувствительно, но не забудем: знамя — не просто цветной кусок ткани. Что скрывать, я ведь интеллигент (этот факт я констатирую без всякого высокомерия: у меня было достаточно времени, чтобы стать таковым), а потому пошлость и глупость раздражают меня и повергают в дурное настроение. (Будь я дамой в летах, я сказало бы, что это связано с чрезмерно тонкой душевной организацией плюс склонность к депрессии.)

На ветхий (общий) балкон бочком выбираются и обе супруги, презрительно мерят друг друга взглядом; но пока взгляды их беспрепятственно скользят по моему древку, отчего я чувствую, что я тоже не бесполезно, они тут же решают, что дело это — мужское, а им и так годится. Они приваливаются к перилам, соответствующие части их животов идеально заполняют пустоты чугунных завитушек, и этот факт, само не пойму

---

[1] Мир праху его! (Любезно сообщил д-р Г. Чаба Цако.) (*Прим. автора.*)

почему, воспринимается не как неприятный, а, напротив, как домашний и милый. Из окна внизу высовывается растрепанный узел волос мадам Эржебет.

— Видите? Ждет кого-то.

— Пьеро.

— Пьеро? [1] Этого кабана? — И обе смеются. Ну, это уже — моветон. (А вообще-то — как много за этим прячется! Может, тут они и на автора намекают?)

Жаль, что как раз о деле-то я рассказало мало, да и то торопливой скороговоркой. Может, читатель поймет почему. А ведь вовсе не исключено, что у меня больше не будет для этого случая, ибо, как я могу судить по срывающемуся голосу бывшего моего хозяина, вскоре его может хватить кондрашка, и тогда мое место будет занято черным знаменем.

Ах, все равно! Пока что ветер гладит и треплет мои шелковистые щеки.

Перевод Ю. ГУСЕВА

Да будем *

Эпиграф:

ДЕРИ. Писатель стремится отстаивать свое право писать о том, о чем он хочет писать.

РЕВАИ. В нашем обществе такого права он не имеет. Мы даем ему право гораздо большее: беспрепятственно писать правду, но только правду.

НЕИЗВЕСТНО КТО. Гм... не знаю, не знаю...

Допустим, мы выскажемся так: целый период, период ангажированной литературы, завершается на наших глазах. Роман в духе Сартра иссяк, соцреалистический — обнищал (с чем, похоже, он совершенно смирился), политического театра больше не существует. Отступая, подобно отливной волне, они оставили после себя на берегу некий странный предмет, поражающий своей прочностью: литературу. И вот его уже накрывает другая волна — волна декларированной неангажированности; писатели возвращаются к любовным историям, объявляют войну «идеям», расцветает культ мастерства, и никому никакого дела до смыслов объективной реальности. Искусству предлагает свои услуги новая этика творчества — этакая податливая дверь-вертушка, вращающаяся между романтикой и легким высокомерием, между риском поэзии (пренебрежительно малым) и (надежным) оплотом рассудка.

И что же? Выходит, что наша литература навеки обречена на изнуряющие ее крайности политического реализма и искусства ради искусства, этики ангажированности и эстетики пуризма, компромисса и стерильности?

© Esterházy Péter, 1988.

[1] Пьеро, Пьер — вариант имени «Петер». (*Прим. перев.*)

* Ответ на анкету, посвященную «возможностям современной интерпретации ангажированности писателя». *(Прим. автора)*

И нет у нее никакого иного выбора, нежели быть либо бедной и чистой (когда она только литература), либо мутной (когда она, кроме самой себя, стремится быть чем-то еще)? Не пора ли занять ей то место в мире, которое ей назначено? — — — — — — В БОРЬБЕ, КОТОРУЮ ТЫ ВЕДЕШЬ С МИРОМ, ОСТАВАЙСЯ НА СТОРОНЕ МИРА.— — — — Что касается ангажированности писателя, то главным его обязательством перед миром в конечном счете должна быть точность письма (разумеется, понимаемая структурно, а не в смысле риторической правильности: не о «хорошем слоге» идет речь). АНГАЖИРОВАННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ НЕ В ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЧЕМУ БЫ ТО НИ БЫЛО, А, НАПРОТИВ, В ЕГО НЕВЕРНОСТИ: ЛИТЕРАТУРА ВОЗМОЖНА ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО МИР ЕЩЕ НЕ ДОСТРОЕН.

Ну вот мы и высказались. И высказались вроде бы правильно. Ангажированность, спросили у нас, и мы попытались спокойно и основательно рассудить, как будто — — — Вот именно что как будто. Как будто никто не знает, что говорить об этом в стране, где под флагом этого слова со всеми его сотоварищами угробили стольких писателей, кого только экзистенциально, кого творчески, да так, что многим и по сей день икается,— говорить об этом у нас все равно что в доме повешенного поминать о веревке. Ибо слово так же неотделимо от его истории, как настоящее неотделимо от прошлого.

У нашего же брата иного и нет ничего, кроме слов. Потому я не очень уверен, надо ли признаваться мне в том своем ощущении, что слово сие, ангажированность, более не принадлежит ни писателям, ни литераторам даже, а исключительно только литературным администраторам (или как их еще назвать). Очевидно, оно им нужно, и я «отдаю» им его, скрепя сердце (вот она, алчность-то!), но все-таки отдаю, ибо нет и не может быть в нем нужды здесь, теперь, у меня, ангажированного реалиста.

Ангажированность, спрашивают у нас, и мы поступаем, как рафинированные гетеры с известным органом, двумя пальчиками брезгливо взяв это слово в руки, да что там в руки! пробуем его на язык, смакуем, внимательно изучаем, как будто никогда в жизни не видели ничего подобного, в лучшем случае только читали у классиков (сногсшибательные образцы в изобилии от древних греков до Морица и от Барта до Пазманя), а затем, аккуратно очистив от пены Злодейских Пятидесятых Годов, получаем в итоге нечто весьма удобное. Нечто солидное, функционирующее, не грандиозное, но зато основательное, надежно работающее и удобное.

Но позвольте, воскликну я романтически, литературе не должно стремиться к тому, чтобы быть удобной. Правда, и быть неудобной ей тоже не след. Не надо ей ни к чему стремиться. Надо быть. И тогда, уже в силу своей природы, она будет и неудобной, и прочая. Будет всем!

В заключение только и остается изречь, коротко и торжественно, словно в гимне: ДА БУДЕМ!

«слова, слова, слова... дальнейшее — молчанье»

Искусство в первую очередь желает *свободы*. Это вовсе не означает, что ему можно и должно желать *всего;* самоцензура относится к самой сути искусства. При этом под самоцензурой я разумею не ту разрушительную и нелепую процедуру, которой, где под давлением политических, где в силу экономических обстоятельств, мы занимаемся всюду в мире, а имею в виду некий древний запрет, предусматривающий, что существует сфера, куда не должно вторгаться, существует Неизречимое, существует Тайна. Без Тайны искусства не существует.

В сегодняшней литературе нас нередко смущает, что вехи самоограничения она расставляет не там, расставляет их «дальше» необходимого; не потому, что она стала смелее, эмансипированней, независимей, скорее, теперь она более *недоверчива,* подозревая, что там, где поставлен щит с надписью «Тайна», никакая еще не тайна. А ложь. Ложь и ложь без конца. И мы знаем, что для таких подозрений есть веские основания.

С упоением называем мы вещи их собственными именами. И это немало. Однако купить свободу так дешево невозможно. Плохо, ежели недоверчивость нас погубит (а самое-то плохое, что и здесь, как во многом другом, благие намерения ничего не решают), и грозный поход против лжи легко превратится в демонстрацию смелости, в псевдодеятельность, в поиски алиби. И потом: разве для этого все еще нужна смелость? (Нужна.) И еще раз потом: смелость не есть эстетическая категория. А с другой стороны, *не забудем:* мы страна маленькая...

Таким образом, в принципе мы могли бы сказать, что, естественно, «нехорошие» слова имеют в литературе право на существование и наличие их можно интерпретировать где как признак свободного творчества, где как свидетельство рабства, или, во всяком случае, писательской несвободы. Как первое — это когда именно такое слово *нужно* в каком-либо месте, а раз уж нужно, то оно там будет, чего бы это ни стоило; как второе — когда мы употребляем его в основном из-за подозрения, что его, вероятно, употреб-

---

[1] Первоначально я собирался ответить на вопросы одного молодежного ежемесячника, заданные на тему, в которой меня, вероятно, сочли знатоком: об отношениях между литературой и сквернословием. Ублажая мое тщеславие, говорили со мной почтительно, дескать, сочтем за честь и проч., но чтоб было ровно 4 страницы. Я все вымерил, строчка в строчку, и отослал, испытав даже некое удовлетворение оттого, что так здорово разъяснил все незрелому юношеству. (Относительно, напр., того, были ли у меня проблемы с нецензурными выражениями при написании «Краткой Венгерской Порнографии». Самым нецензурным в моей книге было слово «гэбист», но и с ним, как выражаются авторы вопроса, у меня проблем не было. Ну и далее все, как в тексте.)

Идет время, ответа нет. Дотошный автор с некоторой досадой берется за телефон: получили ли и, вообще, почему мне приходится самому, почему не они, с должным энтузиазмом... О, естественно, получили. Пауза. Шансы нецензурного словоупотребления идут резко в гору, но мне пока удается сдержаться. Пришлось, правда, малость подсократить, выдает телефон. Я недоумеваю. Да начальство, мол... были длинноты... Почему же вы не сказали, дражайший? Ведь я мог и не позвонить! Тогда, говорит, я сейчас зачитаю вам изменения. Какие еще изменения?! Ну, которые мы внесли. Вашу маму, любезный, вы мне зачитаете. И слушать не собираюсь. Да как вы смеете, я неделю мудохался с этим трёканым текстом, чтобы вы потом чиркали по нему, я уж сам сокращу, если нужно и если можно! на то я и существую! но чтобы по телефону?!. и, вообще, прими к сведению, что я *забираю рукопись!* со мной эти фокусы не проходят! — орал я. Как знаешь, обиженно-элегантно изрек редактор, хотя я с тобой не согласен. В каком смысле?! С чем ты можешь тут соглашаться — не соглашаться?! и я, инженер человеческих душ, рафинированная натура, начинаю долго, смешно и так грубо ругаться, как будто совсем не в гимназии ордена пиаристов получал аттестат зрелости. Вот вам краткое венгерское дополнение к теме, признаемся, весьма стыдной: «О том, почему и как посылаем мы восточноевропейского своего ближнего к его матушке. Демократия и словоупотребление». Заметим, кстати, что и этот текст, включая подстрочное примечание, никогда не родился бы без заказа, за что, в виде исключения, я никого не благодарю. Так их всех перетак. *(Прим. автора.)*

лять нельзя. Как не вспомнить здесь седовласую нашу бабушку, которая, хоть и загорала на водах, укрывшись до подбородка, но была во сто крат свободней, раскованней и смелее, чем младшие наши сестренки, жмущиеся на нудистских пляжах... Бывает, конечно, наоборот! Иными словами: не в этом дело.

Собственно говоря, непристойных слов не бывает — бывают лишь непристойные отношения! Ведь, к примеру, слова и жесты, с которыми мы встречаемся в порножурналах, в чудодейственном акте любви делаются священными. Подобные чудеса возможны и в литературе. Правда, как всякое чудо, они случаются редко, во всяком случае, реже, чем попытки их достижения. Nota bene: бывает, что непристойным тот или иной текст делает непроизнесение вульгарного слова, ибо лукавые наши усилия избежать его низводят текст до двусмысленной пошлости.

Целое, вот что важно, а не рассортировка слов на салонные и несалонные (какие теперь салоны!); свидетельствует об этом и то, что со многими, казалось бы, непристойными текстами, не стесняющимися в выражениях классиками, озорными и вместе с тем целомудренными (или не очень) народными прибаутками у нас «никаких проблем». Отметим здесь же, что в рассматриваемом аспекте венгерская речь и в сравнение не идет с языком Шекспира и языком Рабле. В ней гораздо больше *стыдливости,* подчас *фарисейской.* То есть для нас она одновременно — и *путы,* и *стимул.*

Литературный язык и в самом деле приблизился к разговорному. Однако не думаю, что литературное сквернословие может способствовать распространению бытового. Этак мы поменяли бы причину и следствие. (Один мой приятель-дошкольник посылает меня подальше, представления не имея о современной венгерской прозе.)

Хотя... Нынче нет эталона, нам не с чем сверяться. «Ругается как извозчик»,— говаривали встарь. Сегодня мы так не скажем, и вовсе не потому, что теперешние «извозчики» выражаются много пристойней. Образованный (или просто при должности) человек придавал большое значение тому, чтобы выражать свои мысли изысканно. Сегодня этого нет. Но, наверное, все же не это следует нам называть демократизацией.

Упомянутое сближение само по себе не является ни благом, ни злом, а является неизбежностью; ведь писатель у нас не стоит над читателем, не учит его уму-разуму, разъясняя где правда, он скорее товарищ в несчастье, разделяющий со своим читателем все беды-победы.

Но все же сегодняшний литератор — сознавая, стало быть, что и он «не лучше других», а такой же, как все, «рядовой обыватель»,— часто манкирует своим долгом сопротивляться (dagegen! dagegen!, восклицал Рильке), между тем со-временность вовсе не означает обязательного самоотождествления со своим временем, укорененность во времени — да, но не *услужливость.* Эти усилия идти против самоочевидных, на первый взгляд, устремлений эпохи, усилия безнадежные, даже смешные и, по всей вероятности, обреченные, далеко не всегда просматриваются в творчестве современных писателей, каковыми являемся и мы сами.

Сквернословие в наши дни — это уже не мода. Модно то, что может нас выделить. Оно было модой лет двадцать назад, когда в кругах интеллектуалов манера ругаться распространилась примерно так же, как сто лет назад среди женщин — курить и читать Спинозу. Что касается нынешней ситуации, то она много хуже.

И опять же: пугают не столько слова, сколько фразы. То бишь отсутствие оных. Слова в них не складываются, следовательно, нет мышления, следовательно, нет и формы. Между тем как от форм зависит вся жизнь, говорил Милан Фюшт [1]. В языке, который не знает эпитетов и синонимов, не знает соподчинения, и вообще: не слыхал, что бывают

[1] Милан Фюшт (1888—1967) — венгерский писатель, автор работ по эстетике. *(Прим. перев.)*

сложные предложения; в котором агрессивность и нетерпение иссушают структуру, а убожество убивает краски; который не любит себя, потому что любить себя не научен,— в таком языке похабное слово естественно. Беда в нашей грубости, во все возрастающем хамстве и ненависти, которую мы и выразить-то не можем.

Если литература желает изобразить деградацию нашего языка, она должна пользоваться стилизацией. Персонаж, прибегающий к *этим* словам так же часто, как это принято в жизни,— он же *недостоверен!* Что, впрочем, писателю (в принципе) должно быть известно.

Вслед за всеми теоретическими рассуждениями на тему (и вопреки им) не мешало бы взвесить, какое *воздействие* в сложившейся языковой ситуации — в глубочайшей языковой бесчувственности — оказывает правомерная, необходимая и т. д. и т. п. литературная грубость. Не является ли она в любом случае поражением, пусть даже и неизбежным? (Является.)

И еще: надо быть очень осмотрительным с эпатажем (разумеется, важно: кого эпатировать). Ибо, я полагаю, быть надо не эпатирующим, а *скандальным*, поскольку, как я где-то читал, и, по-видимому, это верно, эпатирующей бывает подчас нагота, скандальной же — правда. Вот к такому скандалу и надо стремиться (нам всем.)

Перевод В. СЕРЕДЫ

ДЖОРДЖО МАНГАНЕЛЛИ

Эссе и «романы»

Перевод с итальянского НАТАЛИИ СТАВРОВСКОЙ

От переводчика

«...Мне вообще не слишком интересен роман как таковой, если понимать под этим пространное повествование о правдоподобных ситуациях или событиях; он даже вызывает у меня порой скорее отвращение, чем скуку; по-моему, сегодня этот жанр пришел в такой упадок, что о возрождении не может быть и речи и остается лишь очистить место от развалин; крах его, мне кажется, имеет вполне конкретную причину. Романисты — публика серьезная, и соответствующим образом они себя ведут. Они убеждены, что в глубине повествования непременно должен быть сокрыт облагораживающий аромат какой-нибудь идеи, какого-то послания. (...)

Забывая, что литература — результат интриги, махинации, постепенно романист себя уверил, будто то, что пишет он, как-то связано с тем миром, в котором он живет; кропотливые литературоведы разъясняли ему, что роман — то зеркало, которое воспроизводит образ мира, то свидетельство о нем, то его истолкование; под действием таких инсинуаций недооценив свои возможности, писатель навязал себе губительную, отдающую идеологией задачу: не довольствуясь посланиями, стал претендовать еще и на мировоззрение. Испорченный серьезностью — своей и критиков,— он лишился светлой радости от лжи, безответственности, двоедушия, веселой наглости, которые я полагаю главными достоинствами тех, кто предается тому сплошному безобразию, что именуется «литературный труд». Убежденный, будто у него имеются идеи, будто именно в романе их и надо излагать, романист утратил искренний цинизм — перво-наперво по отношению к себе. Он предпочитает мямлить истины, в то время как его задача — декламировать пленяющую благозвучием ложь, до уровня которой должен поднимать он эти истины...»

Это выдержка из выступления Джорджо Манганелли (1922—1990) на проходившем в 1965 году в Палермо семинаре по проблемам экспериментального романа. Участвовали в семинаре члены неоавангардистской «Группы 63», в которую помимо Манганелли — в ту пору автора статей по английской и американской литературе, переводчика и консультанта издательства «Гардзанти» — входили знаменитый Умберто Эко, снискавшие впоследствии известность своими поисками в области литературной формы Эдоардо Сангуинети, Нанни Балестрини, Анджело Гульельми, Альфредо Джулиани, Ренато Барилли, Элио Пальярани, Альберто Арбазино и другие. Все они сходились в том, что «пишут словами, а не чувствами», что писатели должны сместить акцент «с психологии на лингвистику».

Итак, литература — настоящая литература, как понимает ее Джорджо Манганелли,— это непременно «ложь», мистификация, игра («писатель намекает на события, случившиеся парочку веков спустя, которые произойдут три поколения назад»). И хотя это легко оспорить, для Манганелли такой парадокс — несомненный двигатель его прозы. Играет Манганелли образами, жанрами, сюжетами, мотивами, но основное содержание всякого литературного творения для него, как и для Ролана Барта,— «приключения языка». Тексты Манганелли как бы обладают свойством самопорождения благодаря широкому и хитроумному использованию риторических фигур (преобладает среди них оксюморон), реализации метафорических и метонимических потенций слов, обыгрыванию полисемии. «Манганелли — неиссякаемый на выдумки и неповторимый виртуоз итальянского языка. Мастерство его, изысканность его письма, филологическая эрудиция, живая, прихотливая ирония не позволяют состязаться с ним, разоружают вероятных оппонентов и даже делают излишними аплодисменты. Заранее известно: на любое наше прилагательное у него найдется более блистательное, на каждый образ — более причудливый, на всякое сравнение — более чарующее, на какой угодно оборот — как минимум десяток более изящных, остроумных и приближенных к классическому образцу»,— так отзываются о Манганелли известные писатели Карло Фруттеро и Франко Лучентини.

Некоторые из книг писателя — не что иное, как длиннейшие цепочки образов, перетекающих один в другой, в конечном счете — вариации на заданную тему. «Новый комментарий» (1969) — попытка доказательства непознаваемости жизни, в книге под названием «Любовь» (1981) автор размышляет, не является ли это слово одним из множества синонимов «ничто», а «Разговор о тени и гербе, или О читателе и о писателе, полагаемых безумцами» (1982) — «общая теория литературы» по Манганелли (на «тени» и «гербы» подразделяет автор все слова). По мнению критика Доменико Порцио, рецензировать «Разговор...» столь

© 1989 Leonardo Editore s.r.l., Milano
© 1979 Rizzoli Editore, Milano

же невозможно, как написать рецензию на водопад, череду летящих облаков или пчелиный улей.

Есть у Манганелли сочинения другого рода — где он производит те или иные операции с сюжетами, отдельными мотивами. «Пиноккио: параллельная книга» (1977) — парафраза сказки, столь любимой Манганелли (Пиноккио со сменным носом — «на случаи, когда не лжет»,— стоял на его письменном столе как талисман); вглядываясь «между строк и между слов», а на самом деле зачастую вскрывая глубинные структуры, писатель выявляет то, о чем Коллоди умолчал, «предпочтя написать о другом», реализует неосуществленные комбинаторные возможности использованных мотивов, доказывает, что, по сути дела, в этой сказке, как во всякой книге (что Манганелли демонстрирует и в ряде предисловий к литературной классике и в литературоведческих эссе), содержится «тысяча возможных романов». Книги широко известные он перечитывает так, словно совершает открытия на глазах у читателя и вместе с ним; он будто отодвигает камень, чтобы посмотреть: а что под ним? При этом «золотое правило параллелиста: все произвольно, все документировано».

В «Центурии: ста крошечных романах» (1979, премия Виареджо) Манганелли проделывает операцию, обратную осуществленной в «параллельной книге», втиснув в томик сто «романов» всех возможных типов (детективный, фантастический, психологический, любовный, исторический, структуралистский, католический и др.), сжав каждый до объема одной книжной страницы. «Это — «гомеопатическая» книга,— замечает Д. Порцио,— с помощью ничтожных доз она дает читателю возможность устоять под натиском современной романистики, прививает ему иммунитет против сотни будущих бестселлеров». На сей раз вглядываться между строк, точней, «дописывать» «романы» предлагается читателю. Но это невозможно: ведь в настоящих романах значительное место занимают психологические характеристики героев, мотивировки их поступков, а Манганелли, давний враг психологизма, в «Центурии» в очередной раз демонстрирует полнейшее презрение к категории причинности... Мысли, поведение и перемены в настроении героев намеренно необъяснимы. Чаще речь идет о «человеке средних лет», чей облик от «романа» к «роману» заметно меняется; он то готовится к какой-то встрече, то, наоборот, ее не хочет, то упорно занимается каким-то делом... Есть среди героев также призраки, дракон, небесное тело, динозавр, фея, сны, бездна, крик...

Еще один вид иронической полемики Манганелли с современным литературным процессом представляет обыгрывающий моду на интертекстуальность «репортаж» «Из ада» (1985); по форме это — пародийный роман испытаний, вобравший в себя черты многих жанровых моделей и литературных форм. В первой его части автор нарочито нарушает всевозможные литературные каноны, обращает их в свою противоположность, пародирует классические образы. Так, герой-рассказчик превращается... в луну, город, толпу снабженных глазами ног — которые рассказывают о себе в первом лице единственного числа, что не слишком-то способствует обычному при чтении самоотождествлению читателя с «героем»... Не менее парадоксальна и вторая часть повествования: обрывки шаблонных, легко предсказуемых сюжетов образуют алогичное, абсурдное повествование с непредсказуемым развитием событий.

...И все же пишет Манганелли, безусловно, не одними лишь «словами», но и «чувствами». Яркое свидетельство тому — «Импровизации для пишущей машинки» (1989) — мозаичная картина итальянской жизни, составленная из газетных публикаций 70—80-х годов. Единственная книжка, которой автор — если он на сей раз говорил серьезно — дорожит, и, перечитывая ее, «х о х о ч е т».

Из книги
«ИМПРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ»

Признаюсь: мне нимало не свойствен взгляд натуралиста. В этом смысле я — законченный продукт цивилизации, которая в животных видит пищу или же своих сообщников. Мне знакома лишь неврастеническая городская живность, я не посещаю зоопарков, где агония зверья способна радовать лишь горстку малолетних — в грядущем астронавтов или благодетелей рода человеческого. У меня с животными отношения корректные, но несколько прохладные. Скажу иной раз: «Кот, привет»,— и совестно, что я назвал его на «ты»... Пес, живущий в городе,— интеллектуал: он в ладу со светофорами, дорогу переходит с полным знанием дела, уважает пешеходные дорожки. Безрассудно человеку преданный, он ступает осторожно, никогда не отдаляясь слишком от «хозяина». Я воспитан в убеждении, что псы кусаются; и хоть меня собака до сих пор ни разу не кусала и не ела, «другу», находящемуся в рабстве, я не доверяю. Его монашески смиренный взгляд побуждает меня

быть настороже. Идеалом городского пса является, наверно, ресторанный гитарист, которых я не выношу, особенно слепых.

Пес рассчитывает на мое ощущение вины — чувство, на котором зиждется цивилизация. Когда я вижу, как грызутся две собаки, мне кажется, что это политический просчет: образовали бы единый профсоюз для политической борьбы против человека! По правде говоря, меня приводят в восхищение коты; истерики и психопаты, солипсисты, задаваки, хвастуны, молчальники и ворчуны, ассимиляции они не поддаются. Обитающие в городе коты — лукавые, усидчивые, как филологи, способные пролоботрясничать всю жизнь, рассеянные, ироничные — отличаются какой-то хрупкостью и лихорадочностью поведения, о чем нельзя не сожалеть. Улицу нормально перейти не могут, впадают в панику. В городе они — как в джунглях. Подозрительный, жестокий, кот преследует мышей, пернатых, комаров. Он любит подоконники и не знает головокружений. Псам коты внушают ненависть и страх. Голубь в Риме редкость; фотогеничные и простодушные, они не представляют интереса. Встречаются и воробьи. Но с ними разве установишь плодотворные взаимоотношения?

* * *

«Вы любите собак?» — спросил меня один приятель, с которым мы на «вы». Я только что прочел статью Винченцо Консоло, и чувство долга побуждает меня быть великодушным. Мне следовало бы сказать, что я из-за собак не сплю ночей, пишу сонеты, покупаю им галеты. Но это было бы вранье. На самом деле псы меня смущают. В них есть какая-то загадка. Хотя, как было уже сказано, собаки не похожи на людей, их поведение на удивление антропоморфно. Как будто бы собака учится на человека и готовится к экзаменам на добротное и смачное перевоплощение. Сдаст их — станет обезьяной.

Жаль, что собаки склонны относиться к людям как к высшим существам. Мне доводилось видеть псов, которые с почтением взирали даже на меня. Уж это слишком! Я сожалею также, что собаки любят совершать хорошие поступки. Ни от одного кота такого не дождешься. Собака, дай ей волю, пошла бы в сестры милосердия. И все-таки им не откажешь в обаянии. В чем оно, сказать не так-то просто. Может быть, они из падших ангелов?

Есть что-то в них от пасынков судьбы, и их тщеславие мне кажется неискренним; как будто они были изгнаны из рая за сомнительные анекдоты. Собаки мне напоминают первоклассных комиков, которые разыгрывают уморительные сцены с чинным видом. Выглядят они серьезно, чуть тоскливо, и мастера отягощать нас комплексом вины. Рабы они или тайные хозяева? Лиц, предрасположенных к умеренной депрессии, О. Генри называл «людьми, которые выгуливают псов».

Пожалуй, мне понятно, в чем непростое обаяние собак и за что их невзлюбил Винченцо Консоло. Уже несколько веков, как собаки перестали быть животными в том смысле, в котором мы считаем таковыми тигров и жирафов. Собака отказалась от всех своих психологических характеристик и стала чем-то новым. Чем? Осмелюсь заявить: симптомом. Пес-животное, симпатичный шумный фантазер уже не существует; место его занял странный, не строго генетический продукт тревог, лишений, прихотей, хандры, досады цивилизованного человека.

Современная собака — порожденье нашего сознания, так же как кошмары, привидения и даже некоторые ангельские лики — дивные, но неестественные. Вот: тысячелетия собака была естественной, как воздух и цветы, сегодня же она, подобно нам самим,— искусственная выдумка, изобретение. Возможно, человек и пес — единственные существа на свете, которые достигли окончательной необратимой неестественности. Собака — наш невроз, знак того, с чем нам удается в полной мере сжиться. А интересно, символом какой болезни служим мы для пса? Той, что сделала его рабом.

* * *

— Простите,— обратился робкий человек к сотруднику патентного бюро,— я хотел бы запатентовать изобретение. Я верно выражаюсь?

Тот глянул на него рассеянно, с тоской.

— Хотите получить патент? — Наверняка из тех, которые изобретают вечный двигатель, подумал он. Вынул бланк и скорее терпеливо, чем любезно, вопросил:

— И что вы собираетесь патентовать?

— Я хотел бы...— Человек конфузился и нервничал.— Я хотел бы запатентовать корову.

— Корову? Ну и где ваша корова? — спросил патентовед — на сей раз не без тени любопытства.

— Сюда ее не приведешь,— смутился робкий визитер.— Она с пятиэтажный дом. Понимаете, я увеличил ее с помощью пантографа,— несмело улыбнулся он.

— С пятиэтажный? Бог ты мой! — всколыхнулся служащий патентного бюро.— А как же ее доят?

— На это я хочу еще один патент,— ответил посетитель покраснев.— Я скрестил жирафа и улитку. Поверьте мне, достаточно удобно.

— Жирафа и улитку? — прошептал патентовед.— И как же с дойкой?

— Видите ли, я скрестил орла, кенгуру и страуса. У орла здесь сумка... ну, для молока. Я собирался запатентовать и это,— человек зарделся.— Страус,— поспешил добавить он,— необходим для быстроты транспортировки.

— А как вы кормите свою корову? — не без раздражения спросил патентовед.— С самолетов, что ли?

— По правде говоря,— тихонько объяснил застенчивый пришелец,— на самом деле это не корова, а короверблюд. Корову я скрестил с верблюдом, и ей есть чем поживиться из горба.

— А не маловат верблюд?

— Тут, боюсь, еще один патент,— стеснительный изобретатель перешел на шепот,— я скрестил его с китом. Неплохо получилось,— кротко улыбнулся он.

— Но верблюд ведь...— прохрипел патентовед,— верблюд живет в пустыне, как же это может быть...?

— Ах, прошу прощения,— пролепетал, весь заливаясь краской, посетитель,— забыл сказать вам: кит, конечно, на колесах.

— На колесах? — прошипел патентовед.

— Ну да,— ответил робкий гость, и в голосе его впервые послышались капризные ребяческие нотки,— на павлинах...

* * *

Не знаю, как кому, а мне чудовище из озера Лох-Несс определенно симпатично. Я восхищаюсь его скромностью, этим многовековым присутствием-отсутствием, исполненной достоинства, пожалуй, архаической громадностью и тучностью и при всем при том — изысканной незримостью; хотя никто его как следует не видел, что оно огромно, нет сомнений.

Исключительно оседлое, равнодушное к престижным радио и телевидению, живет оно в своем загадочном раю и, может быть, проводит время за чтением классиков.

Мне приятно думать, что в озерном дне есть дверь, ключ от которой имеет только «Несси» (так ведь, кажется, его зовут?) и за которой открывается дорога до подземной метрополии, до тихого предместья, где обитает множество таких чудовищ — все тучные, малоподвижные, спокойные, благовоспитанные, скромные. Выгуливание собак, чтение газет, тихие беседы о душе, партия-другая в бридж — покер для лох-несских чудищ слишком агрсссивная забава.

Заметьте, что шотландское чудовище не носит юбку, чтоб ни в коем случае не выглядеть фольклорным,— это пошло. У родичей его, конечно, уровень не тот. Дед Мороз, к примеру: форменный фольклор, открытая самореклама, демагогия; олени, санки — что за лицедейство? Дьявол — бузотер, не столько дела, сколько шума; не сохранил бы я ни ведьм, ни фей, ни даже Нострадамуса — охотника до фильмов ужасов. Уж в крайнем случае, пожалуй, только йети: он хоть и неотесанный, не смыслит в винах, не умеет за столом себя вести, зато какая скромность, монастырская привычка к тишине, только отпечатки, и ни единого рукопожатия — это, прямо скажем, класс!

Я читал, что люди, лишенные фантазии и такта, в поисках свидетельств бытия чудовища собираются вести «научное» исследование Лох-Несс, и если ничего не обнаружат, это будет означать, что чудища не существует. Будто оно даст себя схватить, как курица, или подцепить, как сиг! Не забывайте: действует оно веками, появлялось неизменно лишь в единственном числе и никогда не делало попыток ни напугать, ни побрататься. Одиночество его, долголетие — намек на вечность, застенчивость и кротость меня буквально завораживают; я не думаю, что чудище не сможет уклониться от ребячески бесцеремонных зондов, но, возможно, они будут, забавляясь, транслировать неясные, двусмысленные, неправдоподобные картины: водоросли, рифы, неисправный телевизор...

Кое-кто считает, что в канун двухтысячного года чудовище, возможно, наконец заявит о себе открыто, и я пытаюсь — не без внутренней тревоги — представить, что же все-таки за существо — вечное, огромное, безмолвное — появится из двери на озерном дне.

* * *

Конечно же, иначе быть и не могло. Неудивительно, что это первыми заметили американцы — они в таких вещах, пожалуй, проницательнее всех. Я про то, что человек способен или не способен что-то делать в зависимости от того, к какому знаку зодиака он относится. Всем известно: Близнецы — наездник аховый, Овен не рожден для покера, а быть Рыбами — что прокаженным: пиши пропало.

Для меня все это очевидно, чтобы не сказать — банально. Как у всех неплохо информированных интеллектуалов, у меня есть свой астролог, и я с ним регулярно консультируюсь. Но первый мой сеанс... ребята, такого не забыть. Что мой астролог симпатичен, этого не скажешь, но дело знает, ох и знает! Сам в очках, на вид и по комплекции ни дать ни взять профессор. Сообщаю я ему — вы сами знаете — дату своего рождения и всякое такое прочее, и он ныряет в диаграммы. Бормочет, что-то помечает, перечеркивает, пишет снова. Потом выносит свой вердикт. «Вы,— заявляет,— как известно, Скорпион. Но со специфическими, крайне специфическими свойствами».

Я слушаю, и мне слегка не по себе. Сейчас начнет разочаровывать. «Вам,— говорит он сухо и отчетливо,— ни в коем случае нельзя водить сверхзвуковые самолеты». «Да?» — я немного растерялся. «Позабудьте и о гонках «формула один». Этот хлеб не ваш». Ну, думаю, любезен, ничего не скажешь. Закидываю удочку: «А как насчет челночных космических полетов?» Он лишь с досадой отмахнулся: «Даже речи быть не может. Понимаете, Луна...» И что-то там толкует эдакое... в общем, на Луну при этом положении Скорпиона лучше не летать. Вид, должно быть, у меня разочарованный, и астролог это замечает.

«А рисовать, профессор, можно?» Мгновенье поразмыслив, он дает ответ: «Совсем немного. Никаких пейзажей маслом. Попробуйте портреты пожилых аристократок, кроме вдов и вовлеченных в династические распри».

Немного выведенный из себя, осмеливаюсь я на провокацию: «А если мне придется прибегнуть к помощи наемного убийцы...» Профессор сразу: «Все зависит от того, какого знака жертва. Надеюсь, вы не захотите, чтобы

Близнецов убил Телец?» — возмущенно, как гурман, которому рекомендуют в утку с апельсинами добавить чеснока.

«А не скажете ли, чем мне заниматься можно?» Глянув на меня украдкой, астролог чуть заметно мрачновато улыбнулся: «Чем можно? Ну, к примеру, почему бы вам не написать статью об астрологии?»

Я тихо спрашиваю у него: «Профессор, а сами вы относитесь к какому знаку?» Он — братским шепотом: «Да неужели вам не ясно?» И только тут я замечаю, как этот отвратительный астролог на меня похож.

* * *

Рассуждать о тучных — мне и карты в руки. Я — толстяк. Нет, я не мню себя специалистом по дородству, я просто человек, который говорит о том, с чем он знаком не понаслышке, а из собственного опыта. К тому же до того, как раздобреть — достигнуть состояния, в котором пребываю я немалую часть жизни,— я был худым и даже тощим. На фотографиях тридцатилетней давности я выгляжу достойной имитацией червя с прорисованным скелетом. Теперь же я — подушка, пуховик, софа. Я рыхлый и обширный. В самом деле, толстый занимает больше места, но не потому, что он нахал, а вследствие естественной тенденции раздаваться вширь из-за присущей его плоти эластичности.

Мне кажется, что полнота придает мне внешнее достоинство — на которое, возможно, я лишь и могу рассчитывать. Когда я говорю, что собираюсь похудеть — все толстые грозятся, и обычно дальше дело не идет,— друзья мои пугаются, как если б я выказывал симптомы явного безумия. На фоне итальянского пейзажа я возвышаюсь горделивым монументом грузности, изменения которого Отечество не потерпело бы. Колизей не может и не должен быть квадратным, а у Миланского собора недопустимы купола, как у мечетей. Стало быть, на самом деле толстяки не вызывают подозрительности и предвзятой неприязни; расизма в отношении упитанных пока не наблюдается, и остается лишь надеяться, что в результате кризиса худоба не станет почитаться признаком лояльности, а толщина — симптомом политического и морального коварства.

Относится толстяк к себе по-разному: порой страдает и считает — не всегда безосновательно — свой нетронутый запас энергии свидетельством суровой, скудной жизни, заставившей его употреблять чрезмерно калорийные продукты. А иногда бывает рад тому, что он, как было сказано, обширен, лишен углов — прямых и острых, мягок, будто весь из мха, будто бы он — затвердевшая статуя из шерсти. Нередко он впадает в манию величия, начинает думать, что он — памятник, и, предвкушая церемонию открытия с выступлениями мэров и творцов культуры, не замечает многих неприятностей. Ходит толстый медленно, как будто бы его должны узнать и поприветствовать много именитых граждан, которых, впрочем, он заметно превосходит именитостью. На самом деле знать его никто не знает, и тем не менее он — важная персона, чему свидетельством его широкая походка, задумчивое, но не омраченное лицо и сдержанное дружелюбие.

Говорят и пишут, будто бы толстеют те, кто много лет не знал покоя, будто толстый человек обидчив, удручен, тревожен, будто бы в накопленном им жире он на самом деле хочет утонуть, исчезнуть, раствориться. Вполне возможно, что толстяк действительно стремится окутать себя мягким ласковым покровом, облачиться в неснимаемую мантию из благосклонной плоти. Он замыкается в нее, будто в берлогу, в королевские чертоги, кутается в имитирующий тело мраморный наряд. Глубоко телесный, толстяк, возможно, не ведает полетов, раскованности и рекламно-зрелищных пробежек по лугам. Одновременно кроткий и смятенный, он — из породы ханов, которые в Монголии встречались Марко Поло, мудрых таоистов, путешествующих по миру, не выходя из комнаты, задумчивых буддийских чернецов, размягчающих себя, чтоб вырваться из кабалы желаний и скорбей, и высокопоставленных духовных лиц, в своих уединенных снах говорящих на латыни.

* * *

В доме у себя я приютил три зеркала; одно на самом деле обитало здесь и раньше — в стенном шкафу, на створке; пользоваться им почти что невозможно, но оно об этом не жалеет. Второе зеркало, у входа,— обычное персидское, может быть, прошловековое, купленное в лавке, торгующей персидскими товарами и гораздо более похожей на базар, чем на магазин, где продаются антиквариат или восточные диковины; оно прикрыто грубо разукрашенными ставнями и пребывает в полутьме. Третье, в ванной, выглядит как призрачное мутно-серое стекло, лишь намекающее на лицо, в нем отраженное; оно напоминает о том, что мир в упадке, что живое эфемерно, что ночная мгла разлучит свет и краски — об извечной участи всего, что жило и живет; я назвал бы его зеркалом для привидений, но, возможно, оные боятся отражаться, чтобы вновь не обрести материальной формы и не возвратиться к изнурительному бытию.

Зеркало четвертое — круглый мажордом из ясного стекла, помогающий мне бриться; физиономию мою оно мне демонстрирует немного искаженной, увеличенной и лишь частично, и посему я отношусь к нему, как к собственному Риголетто, но без дочки, приносящей огорчения. Из моего правдивого рассказа можно сделать вывод, что зеркал я не люблю: во-первых, потому, что я не вижу никаких разумных оснований на себя смотреть, к тому же вид моей особы — толстой и стеклянной — оскорбляет мой врожденный вкус; но еще больше, вероятно, потому, что зеркало, дающее пристанище всему на свете, кроме звуков, кроме упоительного шума жизни, источает, кажется, какое-то высокомерие и горечь, негодование и холодность и выглядит графическим безмолвным подражанием смерти.

Хоть и пытались это сделать люди хитроумные и дерзкие, в большинстве своем писатели — к примеру, кроткий хроникер Алисы,— живому в зеркало входить запрещено; оно недвижно и бесплодно, как непотревоженная гладь воды в колодце, оправленная в раму парапета; равнодушное, оно изображений не удерживает, только их лишает голоса и не ведает их запаха; зеркало — обитель холода и одиночества, это наша фотография для удостоверения призрака. Мы предъявим его молча, входя в колодец тишины.

* * *

В эти дни, к досаде честных граждан, обращают на себя внимание странные неточности в освещении поездок по южным территориям государственных деятелей, представителей правительства, префектов, генералов; их перемещения действительно имеют место и, более того, похвальны, поскольку хорошо известно, что власти предержащие всегда стремились делать для бедняг южан как можно больше и вдобавок хорошо и быстро.

Приходится признать, что члены нашего правительства грешат наивностью; обуреваемые самыми благими помыслами, в приливе самоотречения готовые на все, они не замечают низости других, заговоров, злонамеренной молвы, распускаемой субъектами, достойными презрения, и подкрепляемой не давшими себе труда как следует подумать старцами с одной лишь целью: распространять сомнения в кристальной честности правителей и мгновенной действенности их усилий.

Взять хотя бы эпизод с этим — как там выражаются газеты? — ах, ну да, землетрясением, какая безответственность в подборе слов! Наша точка зрения, с которой должен согласиться каждый честный человек, такая: ничего подобного, во-первых, не происходило, ведь землетрясения подпадают под статью «нарушение спокойствия в ночное время» и, стало быть, запрещены; но даже если таковое и случилось, тут не обошлось без иностранных заговорщиков, действовавших вкупе с итальянскими сообщниками, и, ввиду необходимости приготовлений под землей, ответственность, само собой, ложится на масонов, толкователей тарота, не говоря уж о таких

сомнительных сообществах, как Флорентийская Академия делла Круска, евреи, ведьмы, а также лотерейные конторы, которых в тех районах развелось довольно много.

В конце концов все вышло к лучшему, так как правительство и партии, которые уж столько лет радеют о благоденствии отечества, допустив умеренные беспорядки среди южных зданий, темперамент коих всем известен, затем остановили их, сделали предупреждение и отстроили еще красивей, выше и удобней, так что положение в строительной промышленности Юга улучшается, к всеобщей радости, ускоренными темпами.

Были посланы палатки — в небольших количествах,— чтобы маленькие сорванцы могли играть в индейцев; ежели они куда-то не дошли, это несомненный знак того, что тамошние дети сделали свой выбор в пользу чисто итальянских игр. Как мы знаем, кое-кто из граждан, введенных в заблуждение, устремился в эти регионы с обувью, едой и одеялами и не нашел там указателей, которые бы помогли распределить поддержку. Но есть ли в ней нужда? Благодаря безукоризненному нашему правлению обуви у населения тех мест в достатке, а уровень холестерина даже превышает норму.

Продажные газетчики судачили о жертвах. Уважаемые, к некоторым темам нужно подходить серьезно. Если кто-то и погиб, то почему бы не отметить, что в будущие годы смерть им не грозит? И как не вспомнить, что в баталиях, в которых наше мудрое командование привело к победе, погибших с незапамятных времен щедро поставляли именно южные края? Партия относительного большинства [1] тронута поддержкой этого молчаливого большинства, которое не распускает лишенных оснований слухов, чувствует себя надежно защищенным и, пока у власти мы, не подведет.

* * *

У меня нет телевизора. Не знаю точно почему: я не могу сказать, что сделал мужественный выбор или подчиняюсь моральному императиву. Предполагать, в чем дело, можно, но в конце концов не так уж долго я живу с самим собой, чтобы досконально разбираться в собственной персоне. Меня не покидает ощущение, что телевизор — на самом деле остроумный человек, который, притворившись, будто он — машинка с кнопками, прибор на электронных лампах и с антеннами, пытается войти в мой дом. Я человеку этому не доверяю: он, судя по всему, болтлив, эмоционально неуравновешен, наделен сомнительными нравственными качествами, малость истеричен, то рыдает, то хохочет до упаду, но главное — что телевизор, по-моему, страдает комплексом насильственного обольщения.

Я не хочу сказать тем самым, будто телевизор обольстителен, но он не может удержаться от настойчивых, искусных, льстивых попыток соблазнить. Присутствие в квартире механического «человека», который постоянно озабочен тем, чтобы тебя прельстить, уже само способно действовать на нервы, но знать, что это обольщение — всеобщее, глобальное, без индивидуального подхода, что подмигивает он одновременно всем, просто оскорбительно. Уж так и быть, пускай соблазняют, если это сделают умело, но мысль, что искушение проводится в масштабах нации, на самом деле удручает. К тому же телевизор хочет убедить меня, будто «человек» он изумительный — сердечный, добрый, всесторонне образованный, лукавый, но не аморальный, томный, но не страстный, заботливый, однако же без посягательств на мою свободу. Он лжет. Я точно знаю: лжет. Его убогий идеал — держать меня прикованным к себе часами; наглец желает, чтобы я смеялся в тот же миг, что и миллионы прочих телеманов. Он хочет управлять моим негодованием, идеями, фантазиями, взглядами на папу, на Пертини, Арафата, на бессмертие души, на людоедство, высадку на Марс, на брошенных детей, но мало этого: он также хочет мне внушить —

---

[1] Имеются в виду христианские демократы. *(Прим. перев.)*

словечко, характерное для телевизионной психологии,— что пить я «должен» тот, а не иной аперитив. Но тут уж я не уступлю.

* * *

Сначала, как вы помните, это были даже, собственно, не нарушения связи, а незначительные неприятности, детские капризы; телефоны отказывались действовать и являли уху странный полый, металлический, ленивый звук. В ту пору они были незамысловаты и служили немудреным целям: помогали заказать продукты, занимали пары молодых и жаждущих любви людей; радиус их действия был смехотворен — считанные километры, и посему элементарны были их недуги: температурка, фарингит, отит. Тогда использовались телефоны в черном, чем-то схожие с миланскими извозчиками; эти аппараты прикреплялись намертво к стене и могли звонить в любое время дня и ночи. Были они грубоваты, но просты.

Позже телефон стал усложняться; он сменил одежду и теперь предпочитает сероватые, зеленоватые и бежеватые тона; он появляется на свет в различных формах: несносной чопорной коробки больше нет, в ходу отныне аппараты, с которыми не совестно пойти на вернисаж или на концерт Стравинского неоклассической поры. Но телефон не тот, что прежде, и по сути. Примерно полтора десятилетия назад нарушения в его работе стали делаться все более многообразными. Сперва он «отключался», что вполне логично,— так поступают все невротики. Потом придумал новую игру — «не соединяться». Делается это так: телефону сообщают номер, он дает понять, что он согласен, и протягивает нечто вроде технологической «руки», но рукопожатия отнюдь не следует; аппарат глядит на вас с угодливой улыбкой, но вы видите, что линия — другая — выскальзывает из его «руки», теряется. Так может повторяться много раз, и телефону очень весело, поскольку вы теряете терпение, номер набираете неверно, ругаетесь и признаете, что от телефона «многое зависит».

Меняясь, телефон стал путешествовать по свету; изобретена была автоматическая связь. Уловка эта создала возможности для трудноразличимых разновидностей помех: стало сложно разобраться, издевается ли телефон или, может быть, хандрит, пребывает в дисфории, в меланхолическом экстазе. «Разрыв в соединении», банальный, если разговор идет в пределах города, в тех случаях, когда он происходит через континенты, напоминает срыв воздушного гимнаста. «Разрыв в соединении», и сразу «занято» — будто бы гимнаст упал на землю. Сигналы «занято» после первой цифры (на Римском радио такое ждет вас с десяти утра) — или, если вы звоните через код, как только набран «0»,— помеха грубая и малодушная, словно кто-то громко, так, чтоб слышали за дверью, произносит: «Скажи этому типу, что меня нет дома». Иной раз телефон нас обрекает постоянно ошибаться переменным номером. Это значит, что на протяжении какого-то периода вы, набирая некий номер, попадаете совсем в иное место; как правило, такое продолжается недолго — пару дней, а потом вы начинаете с таким же постоянством попадать еще куда-то не туда. К моему невозмутимому, но суеверному приятелю часто обращаются как к «клинике», а знакомого священника, большого знатока патристики, обзывают ни за что «кинотеатром» и выясняют расписание сеансов. Неудивительно, что люди защищаются: Тэрбер излагает Случай с Человеком, Которого Считали Железнодорожным Справочным Бюро; разбуженный глубокой ночью, он преспокойно сообщал катастрофические сведения: «Ближайший поезд на Детройт отправляется в три тридцать ночи. Мадам, вы совершенно правы, график необычный, и поэтому мы к вам пришлем такси. Записываю адрес. Благодарю вас. Ровно в три».

Теперь, само собой, имеется возможность подключения, и уж не знаю кто — сыскные ли агенты или кто-нибудь еще,— дырявя провода, из телефонной сети сделал этакий салон, в котором помещается вся нация. Так или иначе, телефон с каждым днем все более смахивает на автобус. Люди то

и дело входят и выходят, оказываются в чужом жилище, друг другу создают препятствия — в чем, собственно, и заключается сущность социальной жизни. Говоришь, вдруг — звяк, и сразу ясно: кто-то подключился. Когда подобные обиды были редки, у подключения имелись и свои сторонники, но ныне оно стало до того естественным, что уже никто не обращает на него внимания. Подключившись к чьей-нибудь беседе, ты должен ждать, пока она закончится, как ждут у переезда через полотно, пока промчится поезд. Недавно — я это заметил лишь несколько звонков назад — обнаружилась помеха, в которой что-то есть метафизическое. Набравши номер, слышишь два сигнала: «свободно» и одновременно «занято». Если вникнуть — будоражащий ответ. Невероятный. Есть, однако, нет; нет, но так, как будто все же есть; есть, хоть быть не вправе; дверь распахнута, но перед нею — наглухо закрытая калитка. Или так: «Входи, сюда нельзя». Надеюсь где-нибудь прочесть компетентное суждение об этом удивительном сигнале, которым телефон нам явно хочет что-то сообщить.

Мы верили когда-то, что помехи эти временны; но Роберто Вакка, если я не ошибаюсь, нас предупреждал: система, приходящая в упадок, восстановлению не поддается. Всякая оздоровительная мера делает ее сложней и неустойчивей. Скажут: рядовое неудобство, такие уготованы любому, кто покинул рай земной. Технические неполадки! Эти люди забывают, насколько телефон воздействует на нашу психику. Определенные черты характера немыслимы у представителей цивилизации, лишенной телефона. У меня есть друг, чей голос в телефонной трубке становится неторопливым, растянутым, играет переливами, двигается к цели через отступления, отсылки, уточнения, проблески воспоминаний и цитаты в соответствии с законами риторики телефонных разговоров, для которой характерны безыскусная высокопарность и лаконичный, мужественный пафос завершения беседы. Другой знакомый мой, напротив, чувствует себя неловко, должно быть, телефон ему попался диетический, он теребит его, он крутит его так и сяк, как человек немного подгулявший вертит ключ перед замочной скважиной своей, как он надеется, двери. Но когда он все-таки садится рядом с этим неудобным телефоном, то начинает нежно причитать, как птица осенью на ветке. Он журчит, он развлекает, унижается, упрямится, воркует... Еще один, радушный мизантроп, ведет по телефону почти всю свою общественную жизнь: ему рассказывают о театрах, экзотических местах, чужих романах, зимой он наслаждается сдавленными северными голосами, летом же звонит своей подруге-шведке из Стокгольма. Таким манером он участвует в чужих банкетах, является душой дискуссий, утешает опечаленных и даже потихоньку строит куры дамам, с которыми он никогда не встретится. Многие считают, что его не существует, но я видал его вблизи.

Что сделают со всеми ними разбушевавшиеся телефоны? Исчезнут ли они, как то произошло с аэдами, когда на Итаку явился стройный белокурый парень в розовой рубашке и с портативной пишущей машинкой? В наступившей снова тишине будут двигаться безмолвно одинокие фигуры, занятые той единственной беседой, которую нельзя прервать. Беседой с теми, кто громко разговаривает сам с собой, идя по улице.

* * *

Уважаемый директор,
буду выражаться коротко и ясно: вам пишет Ромул, нет, не Ромулетто — Ромул, царь, тот самый, основавший Рим. Простите, никому уже давненько не писал; я неотесанный, невежда, и характер у меня по-прежнему такой же скверный. Сейчас решился потому, что я обеспокоен: у меня над головою кто-то роет землю, подняли ужасный грохот, все перетряхивают и, похоже, собираются мне нанести визит. Добрались уж до закусочной Порсенны, куда всегда мы ходим подкрепляться — мы с братом, да, с тем самым,

которого я уложил. Со временем на что-то смотришь проще — как-никак родня... Те, которые копают, сами этого не зная, дошли уже до остановки автобуса на Вейо — в общем, не дают житья.

Благоразумно ли они себя ведут? Я сомневаюсь. Ну хорошо, в один прекрасный день ребята эти обнаружат Ромула и Рема — пару сиволапых грубиянов и задир; но тут еще Тарквиний, Калигула, Нерон... Пока мы здесь, внизу, проводим время безобидно: в карты партия-другая, экскурсия по замкам; убить друг друга мы не можем — ведь и так мертвы, к тому же именно убиты. Рассказываем всякие истории из нашей давней жизни: хорошенького мало, хотя кое-что присочинили. Сколько остается? Два-три метра грунта, кусок стены, дверь, которую никто не открывал три тыщи лет,— а там и мы.

Если эту дверь откроют... Директор, как не волноваться! О вас мы знаем мало, вот нашли газеты, но язык непрост, а словарей мы не имеем. Как видно, Рим — большой, могущественный и красивый город — таким его описывает Юлий Цезарь,— люди там живут спокойные, с хорошим нравом, не учиняют беспорядков, малость даже церемонны, никаких ни ссор тебе, ни шума, с дамами галантны, никогда ни ограбления, ни кражи, ни единого невежливого слова, «только после вас», к тому же чистота, обслуживание образцовое, безукоризненная гигиена — так говорит Веспасиан,— высокий уровень культуры. Нет, если отворите эту дверь, поступите неосторожно. Мы — генералы, цари и императоры — народ нахальный, стесняться не привыкли, мы сквернословы, забияки, хвастуны и дебоширы, послушали б вы наши разговоры: «Эй!», «Фига с два!», «Пошел ты...», а что мы говорим о предках, написать рука не поднимается. Питаемся мы тоже по-простому, я рассказал бы, что такое «хвост по-мясницки», как едят телячьи кишки, но поверьте, эта пища, годная для Ромула и Рема, не про вас. Короче говоря, мне кажется, не надо этой встречи, пусть лучше дверь останется закрытой.

Директор, я и впрямь прикончил братца, Нерон — мамулю, а Калигула не помнит даже, скольких и кого... Поймите, нам бы не хотелось... право как-никак придумали у нас... Что-что, домашние аресты? Послушайте, оставьте эти штучки, лучше будем временами посылать друг другу весточки. Как там погода? А детишки? В школе-то латынь еще проходят?

* * *

Временами тонкую и изворотливую душу рецензента, критика, мыслителя терзает, интригует, провоцирует вопрос: то, что выходит из-под моего пера, я пишу или же пишем мы? В Италии бытует застарелая традиция: размышляя, представляться неким «мы». Есть что-то странное в таком пристрастии ко множественной форме — собирательной, «торжественной», метафизической или просто-напросто трусливой? «Мы» может относиться к папе римскому, к королю и императору, к аудитории, которую заполнил Дух Святой, к ретивым квакерам, группе жителей Ломбардии — участников любой кампании, к дикарям, которые становятся согражданами, позволяя изловить свою свободу в сеть общественного договора; но в равной мере к воплям люмпен-пролетариата, нечленораздельным стонам побежденных, наконец, к трусливому благоразумию критиков.

Прекрасно помню день, когда я, неопытный, незрелый рецензент, задался вопросом: по какой такой причине всякий раз, когда я должен обнародовать свои соображения по поводу кого угодно, вместо «я» пишу я «мы»? Хоть и склонен я к завышенной самооценке, внушить себе, что я на самом деле — «мы», я так и не сумел: не изрекал я непреложных истин, мне удалось не стать пророком, отказался я от многообещающей, однако же обременительной карьеры вождя народов, и в целом воспротивился истолкованию сокровенных вожделений страждущего человечества; я потерпел провал как «мы» великолепия; как «мы» блестящих достижений срезался на самых жалких тестах на определение склонностей; меня не приняли бы даже в запасные боги, даже в серафимы-юниоры.

Единственное мыслимое объяснение заключалось в том, что это «мы», так завораживавшее меня, было просто-напросто местоимением трусости. Есть местоимения почтения, преданности, раболепства. Употребляемое мною «мы» позволило мне осуществить остроумную, лукавую, изысканную даже операцию: в самом деле, в этом случае «мы» означало не увеличение, а, напротив, растворение; «я» разжижалось, разбавлялось, испарялось. В моем воображении — продуманно трусливом — «мы» являлось чем-то более обширным и в то же время разреженным по сравнению с «я»; было легче поразить его, но кровь при этом из него не шла. Я не был паладином, который, будучи пронзен, украсил бы свою агонию мелодичной жалобой по поводу ухода в мир иной; я был хором, коллективом, как в античной драме, навлекающим беду, но в силу многочисленности огражденным от насильственной кончины, неуязвимым даже для оружия с оптическим прицелом, короче, существом ничтожным, вечным, безымянным.

Вот правда, хоть и горькая: являясь членом профсоюза «мы», я уклонялся от ответственности, что лежит на всяком, у кого есть имя и фамилия. Кто сказал такие-то слова? Поди узнай, был один тут, да, само собой, один из нас, однако же не я, другой, совсем другой, похожий на меня лишь тем, что тоже не имеет ни фамилии, ни имени. Сегодня все осталось, как и прежде: я хоть и пишу теперь не «мы», а «я», но только потому, что знаю: во лбу я столь немногих пядей, что промахнется даже тот, кто выстрелит в меня из пистолета Дока Холлидея.

Из книги
«ЦЕНТУРИЯ: СТО КРОШЕЧНЫХ РОМАНОВ»

В настоящей книжице на небольшом пространстве уместилась занимательная и богатая библиотека; действительно, она содержит сотню нескончаемых романов, преобразованных, однако, так, что торопливому читателю покажется, будто каждый состоит лишь из немногих безыскусных строк. Тем самым эта книжка претендует на то, чтобы считаться чудом некой современной научной дисциплины, родственной риторике — недавнего изобретения местных университетов. Короче говоря, книжонка бесконечна; знакомясь с ней, читателю придется использовать уже известные ему приемы чтения и, может быть, освоить новые: приобщиться к световым эффектам, каковые делают возможным чтение меж строк, под строчками, между двумя страницами листа — где пребывают главы изысканно скабрезные, эпизоды, коим свойственны благородная жестокость и исполненный достоинства эксгибиционизм, помещенные туда из стыдливой жалости к малолетним и седоголовым. По сути дела, того, что обнаружит в этом томике внимательный читатель, достало бы на целую читательскую жизнь: там есть и обстоятельные описания грузинского жилища, где проводили свое отрочество сестры, в будущем соперницы,— сперва в неведении, а потом — в смятении; и подробно обсуждаемые в диалогах экивоки, связанные с плотью, сексом и страстями, и достопамятные превращения многострадальных душ, и мужественные прощания, и верность дамочек, инфляции, народные волнения, промельки героев с мягкой и пугающей улыбкой, погони, бегства, а за одной из гласных букв (не скажу какой), глядя искоса, можно различить и «круглый стол» по правам человека.

Ежели мне позволительно давать советы, лучший способ — правда, дорогой — читать сию книженцию, по-моему, таков: арендовать на время небоскреб, этажей в котором столько, сколько в тексте строк; посадить на каждом этаже читателя, дать в руки ему книгу и определить одну строку; по сигналу Основной Читатель начинает низвергаться с верха здания, и в момент, когда он пролетает мимо очередного этажа, сидящий у окна читатель проговаривает громко и отчетливо свою строку. Этажей должно быть непременно ровно столько, сколько строк, и не стоит путать первый с цо-

кольным, чтобы не возникло перед взрывом неловкой паузы. Данный томик также хорошо читать в какой-нибудь хибаре, затерянной в космическом пространстве, когда снаружи тьма и лучше, если абсолютный нуль.

* * *

Человек в слегка измятом голубом костюме, переходящий чуть пошатываясь через улицу со скудным освещением, на самом деле совершенно пьян и хочет только одного: дойти домой. В том, что нетрезв он, ничего особенного нет, хотя, как правило, его не очень разбирает; необычен лишь характер опьянения. Обыкновенно он становится сварлив, упрям, коварен и обидчив, напускается на тихих женщин и глядит на уличных регулировщиков с какой-то робкой наглостью. Обзывает лошадей, клевещет на собак. В подобные моменты он считает, что живет в ничтожном обществе, которое заслуживает лишь насмешки и пренебрежения. Но в этот вечер, как нередко происходит во хмелю, он вдруг прозрел: он понял, что и сам является частицей мира, достойного презрения. Он начал чувствовать свою ответственность, и в голове его приходят в столкновение обрывки сведений по поводу первородного греха, классовой борьбы, Тибета. Успеет ли пожить он новой жизнью? А то каким примером может послужить он детям, заявляясь домой на бровях? Разве же его несчастная жена заслуживает мужа, пришедшего в такой упадок? Хорошее определение, так говорят о человеке, который в недалеком будущем исправится. Вот погуляет в темноте, пока чуть-чуть не протрезвеет, и пойдет к жене, любимой и ценимой; он не из тех, кому их жены надоели только потому, что ежедневно на глазах. Тут скрежет обогнавшего его трамвая о чем-то этаком ему напоминает. О чем же? Он пытается припомнить. Боже, он ведь именно сегодня днем убил свою жену, хватив ее по голове железною задвижкой! Вопль. Человек заламывает руки, зажимает уши. Хихикает. Он хитренький. Домой он не пойдет. Или явится с повинной, или — в монастырь. Ночная свежесть приводит его в чувство. Он вспоминает, что он холост. К чему благие помыслы, коль нет жены? И можно ли убить жену, которой не имеется? Остановившись — насколько он способен,— человек пытается понять, как может у него не быть жены. У всех ведь есть! Он что, собака? Как это его жена сумела уклониться от вступления в брак? Или это он не захотел на ней жениться? Она сбежала накануне свадьбы со священником-еретиком. Но разве он — не тот священник? Значит, эта женщина бежала с ним? Или с другим? И кто бежал? «Вот шлюха!» — говорит он, весь в слезах, и с презрительной гримасой нашаривает ключ в кармане.

* * *

Этот человек — из гипса. Разумеется, он — памятник. Мог бы быть и мраморным, но городские власти решили не входить в расход. Человек не обижается: гипс — материал не то чтобы роскошный, но вполне достойный; грязь, заметная на нем, свидетельствует о нелегкой повседневной жизни — жизни благородной. Поскольку этот человек из гипса, не исключено, что у него имеется семья: благоверная из этого же вещества, установленная в парке, пара гипсовых детишек в чьем-нибудь саду или в вестибюле приюта для подкидышей. Мраморные монументы, как известно, бессемейны. Мрамор — материал красивый, с отливами, не маркий, но до того холодный! У людей из мрамора не бывает мраморных супруг — за исключением тех редких случаев, когда такой союз был заключен из династических соображений. Человек из гипса доволен тем, как он одет, и не без оснований: на нем зауженные брюки с клапанами на карманах, пиджак — как будто смятый ветром, жилет на пуговках, которым он весьма гордится, поскольку это признак определенных достижений. С правой стороны под мышку ему вложили книгу. Какую — он и знать не знает, название обращено на улицу, чтобы могли прочесть прохожие, но никто в действительности этого не делает, разве что какие-нибудь малолетние бездельники. Он

не знает ни о чем она, ни его ли это собственная книга, или же ему ее лишь одолжили. То, что он не может прочитать название, не дает ему покоя; он пытался угадать по губам детей, однако не сумел. И еще ему немножечко досадно вот что: он стоит — по правде говоря, ему известно, что среди памятников есть сидящие, но он не огорчается — на постаменте, где кое-что написано. Должно быть, имя, даты жизни. Его, как памятник, даты не интересуют, но интересует имя — ведь это имя человека, которого увековечили. Он доволен, что он — памятник, но хоть бы сообщили чей! Ну да ладно, важно быть хорошим памятником и неплохо проводить время с голубями, которые порхают рядом и садятся на него. Памятник не ведает, что тот, кому его поставили, просто вне себя от ярости. Он — и гипс! Он — и голуби! Он — и эта книга под мышкой — у него, написавшего так много книг гораздо большего объема и более значительных! Он рвет и мечет; впрочем, у него всегда характер был не сахар. С тех пор как двадцать лет тому назад его не стало, он никогда здесь не проходит. Только в ливень, притаившись в переулке, подглядывает, льстя себя надеждой, что человек из гипса развалится на части, разрушится, растает вместе с покрывающим его пометом голубей. Жаль, что никто ему не скажет, как рад быть ему памятником тот, из гипса, как довольна и его супруга — Клио, муза Истории.

* * *

Человек с весьма умеренной фантазией, любитель хорошо поесть, впервые встретил самого себя на автобусной остановке. Он сразу же себя узнал и только был приятно удивлен; он знал: подобное хоть и случается нечасто, но в принципе возможно и происходит в общем-то не так уж редко. Он не подал виду, что узнал себя, так как представлены они друг другу не были. Во второй раз повстречался он с собой на многолюдной улице, в третий — перед магазином мужской одежды. Тогда они друг другу коротко кивнули, однако не произнесли ни слова. Всякий раз он самого себя внимательно оглядывал: держался тот с достоинством, был элегантен, но почему-то выглядел печально, во всяком случае задумчиво. Лишь при пятой встрече обменялись они тихими приветствиями, он к тому же улыбнулся и заметил — так ему, по крайней мере, показалось,— что встречный на его улыбку не отреагировал. В седьмой раз случаю угодно было, чтобы толпа толкнула их друг к другу при выходе из театра. Тот с ним любезно поздоровался и сделал кое-какие замечания по поводу просмотренной комедии, которые он счел разумными; в свою очередь он высказался об актерах, и тот с отдельными суждениями согласился. С наступлением зимы их встречи участились; стало ясно, что они с самим собою обитают по соседству; сходство их привычек не казалось удивительным. Но он все больше убеждался, что у самого себя необычайно грустный вид. Однажды вечером он осмелился с собой заговорить, назвав себя «Мой друг»; разговор их был сердечен и учтив, и он спросил, нет ли у себя каких-то неприятностей, которых сам он не переживал бы, хотя такое положение ему казалось неестественным. Помолчав немного, тот признался, что влюблен — и безнадежно — в женщину, на самом деле недостойную любви, так что даже если покорит ее, обречен на нестерпимые страдания. Признание его ошеломило — он ведь не был ни в кого влюблен, и при мысли, что разрыв меж ними так велик и так глубок, в конечном счете непреодолим, буквально содрогнулся. Он попробовал отговорить себя, но тот ему ответил, что не властен над своими чувствами. С той поры он впал в глубокую тоску. Почти все время он проводит сам с собой, и кто их встретит, видит, как два приличных человека ведут негромкую беседу и как некто, чье лицо скрывает тень, то с чем-то соглашается, то что-то отрицает.

* * *

С изумлением он увидел, что на остановке дожидается автобуса снежной белизны единорог. Он был ошеломлен, поскольку посвятил единорогу

целую главу в трактате о Том, чего не существует. Тогда он был довольно компетентен в этой области и заслужил отличные оценки, профессор даже уговаривал его продолжить изыскания. Разумеется, при изучении того, чего не существует, выясняются причины, в силу коих существовать оно не может, и как именно его не существует: невероятно это, противоречиво, несовместимо, антиисторично, вневременнопространственно, рецессивно, имплозивно или что-нибудь еще. Единорог был абсолютно антиисторичен, ан вот стоит на остановке и вроде бы никто не обращает на него внимания; но чудеса на этом не кончались: единорог болтал — иначе и не скажешь — с чем-то, чего видно не было; когда автобус подошел, единорог откланялся и сел в него, «предъявив», как выражаются, свой проездной билет; и тогда стал виден василиск среднего роста в черных очках с толстенными стеклами. Василиск — животное затейливое, и несуществование его сопряжено с «избыточностью»; к тому же он, по описанию, опасен в силу тех «невероятных» свойств, которые присущи его взгляду,— наверно, потому и носит он очки. Василиск держал под мышкой сумку, и как только подходил автобус, открывал ее и доставал оттуда нечто,— уж не голову ль Медузы? — смотревшее, какой подъехал номер, и сообщавшее об этом василиску, поскольку тот в своих очках, конечно, видеть ничего не мог. Знаток Того, чего не существует, пришел в изрядное смятение: неужто он свихнулся? Вроде непохоже. Он стал прогуливаться просто так и встретил козерога, феникса и амфисбену на велосипеде; сатир спросил его, где улица Мачедонио Меллони, а человек, чья голова торчала из груди, справился, который час, и, выслушав ответ, любезно поблагодарил. Когда он начал видеть эльфов, фей и ангелов-хранителей, у него возникло ощущение, что он всегда жил в городе, где и людей-то не было, а если были — только в качестве статистов, и он задумался: а может быть, и Мир — сам Мир — относится к Тому, чего не существует?

* * *

В предыдущем воплощении этот человек был лошадью, о чем со всей определенностью свидетельствуют ныне его смех, любимая еда и обувь. Но длительное время он не беспокоился, зная, что такие состояния встречаются не так уж редко, но они непродолжительны. Друг-лунатик, бывший филин, зажил после тридцати как все, завел семью; гремучая змея стала тонким — только несколько язвительным, в память о былом,— искусствоведом. Но с годами обнаружилось, что лошадиные приметы не исчезают, а, напротив, усложняются. Он стал испытывать тревогу, даже страх, особенно когда какая-то неведомая сила приводила его в ярость, заставляла становиться на дыбы, куда-то мчаться... Он не знал, что побывал не просто лошадью, а целыми тремя подряд: первая была пришибленная кляча со впалыми боками, негодящая, угрюмо и лениво все сносившая и вскорости зачахшая; за ней последовал битюг — могучий и покорный, а ему пришла на смену лошадка скаковая, тщеславная и безрассудная, склочница и забияка, которая в разгар забега останавливалась и пускалась задавать вопросы. В общем, никакая лошадь не избавила его от ощущения провала, казалось, будто всех их, одинаково приниженных, постигла одна и та же неудача и преждевременное истощение. Человек, в котором сказывалась лошадиная природа, долго полагал, что лошадь в нем одна, пока не заподозрил, что его поступки, странные и противоречивые,— от нескольких. С тех пор, не зная передышки, он считает лошадей, которыми когда-то был, и пытается их четко разграничить. Скаковую он определил, но, приписав ей силу тягловой, счел, что это — племенной рысак, и теперь никак не может разобрать, сколько же их в нем помимо скаковой: одна, две, несколько? Лошадиные симптомы между тем не исчезают, а, наоборот, усугубляются и не дают ему житья. Чем больше он копается в себе, тем больше, кажется ему, он обнаруживает лошадей — в галопе, под дождем, на бойне, взбесившихся, избитых, объезжаемых неведомой безжалостной рукой. Он бредит, он маньячит, он беснуется, рыдает, а ежели ему случается заржать, остано-

вившись, пробует понять, какая же из лошадей — которых, он подозревает, в нем уже табун — подала свой голос через человечий его рот.

* * *

Когда едешь по дороге, нужно помнить, что среди скал и в чаще леса могут прятаться разбойники. Они не вышли ростом, неказисты, худосочны и унылы; оружия у них не водится, только деревяшки в форме ружей, похожие на детские игрушки. Никто, не состоящий в сговоре с разбойниками, не признал бы в них убийц с большой дороги; однако встреча с ними — приключение настолько романтичное, что редко кто отказывается от него, особенно когда стоит хорошая погода. Выезжают в экипажах — нападать на них удобнее, чем на машину или поезд. Отправляются обычно семьями, с детьми, прислугой. Для детей налет разбойников — что-то вроде ритуала посвящения, и тем, с кем это приключилось, есть о чем рассказывать до самой свадьбы. В самом деле, в городе никто не ходит больше в цирк или в театр, все сидя по домам толкуют о разбойниках — большей частью те, кто нападению подвергся, делятся своими впечатлениями с теми, с кем такого не случилось. Когда добропорядочное буржуазное семейство едет подвергаться нападению, оно берет с собой такую сумму денег, чтоб не выглядеть ни скупердяями, ни хвастунами, и какую-нибудь ерунду в придачу, зачастую послужившую подарком уже на многих свадьбах и ни на что не годную. Подъехав к одному из мест засады, буржуа как будто прибавляют скорость и как будто держатся настороже, рассчитывая этим как-то подбодрить разбойников, что с социальной точки зрения им представляется разумным и похвальным. Однако с некоторых пор разбойники встречаются все реже, нападений стало меньше, и, чтобы выяснить причину этого, было даже произведено расследование. Похоже, некоторые из разбойников предпочли устраивать засады в окрестностях другого, расположенного по соседству, города, где никто не ездит подвергаться нападению со свадебными подношениями. Действительно, благодаря изданиям по истории искусств у разбойников развился вкус, и они увидели, как неприглядны их жилища, полные борзых из алебастра и кукол в натуральную величину. Между городами, никогда и так друг к другу не благоволившими, возникла напряженность. Ныне город, где случается все меньше грабежей — со времени последнего прошел уж целый месяц,— раздумывает, то ли праздновать победу над разбойниками, то ли попытаться вновь привлечь их более заманчивой добычей, предложив им авторский рисунок, книгу в переплете натуральной кожи или антикварный ларь.

* * *

Один писатель пишет книгу про писателя, который пишет пару книг про двух писателей, из коих первый пишет потому, что любит правду, а второй — поскольку к оной равнодушен. Книжек эти двое написали двадцать две, и действуют в них ровно столько же писателей, иные из которых лгут, но делать это не умеют, другие лгут умеючи, третьи ищут истину, зная, что найти ее не смогут, четвертые считают, что нашли, а пятые так тоже думали, но стали сомневаться. Двадцать два писателя сочиняют в совокупности триста сорок восемь книг, где речь идет о пятистах семи писателях, поскольку в ряде книг писатель вступает в брак с писательницей, и у них рождается от трех и до семи детей, и все — писатели, кроме одного, который служит в банке, погибает в ходе ограбления, и после выясняется, что он писал талантливый роман, герой которого, писатель, приходит в банк и погибает в ходе ограбления; грабитель же на самом деле — сын писателя, который в качестве героя действует в другом романе, откуда сын-грабитель перешел по той простой причине, что сделалось ему невмоготу жить вместе со своим отцом — создатели романов о деградации буржуазии, в частности, семейной саги, где фигурирует и юный отпрыск упомянутого автора означенной семейной саги, каковой бежит из дома,

становится грабителем и в ходе ограбления убивает служащего банка — в действительности сочинителя, а также его брата, угодившего не в тот роман и с помощью протекции пытавшегося перейти в другой. Пятьсот четыре щелкопера пишут восемь тысяч два романа, в которых действует двенадцать тысяч (ровно) литераторов, создающих восемьдесят восемь тыщ томов, где на все про все один-единственный писатель, подавленный заика и маньяк, кропающий одну-единственную книжку про писателя, который пишет книгу про писателя, которую решает не дописывать, и назначает встречу этому писателю, и оного приканчивает, спровоцировав тем самым череду событий, в результате коих погибают и двенадцать тысяч, и пятьсот четыре, и двадцать два, и два, и тот единственный писатель, который добивается таким манером своей цели: выявить при помощи посредников сочинителя единственно необходимого, чей конец явился бы концом и всех писателей, включая и его — того, кто всех их сотворил.

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ

К 100-летию со дня рождения

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Сколько лет должен прожить поэт, чтобы его стихи — даже самые «крамольные» — были опубликованы? Восемьдесят? Девяносто? Казимира Иллакович прожила больше девяноста лет и скончалась в 1983 году, но ее стихи о Катыни, написанные в 1943-м, могли быть опубликованы в Польше лишь после ее смерти, да и то не сразу.

А жила она долго. Пережила восточного «деспота», который «сердился» на ее народ (Ахматова назвала этого деспота «падишахом»). Пережила свою опалу: до 1954 года ей (как и Ахматовой тогда) не разрешалось публиковать стихи. Только переводы. Она и переводила, благо языков знала много. С английского, немецкого, венгерского, румынского. Перевела она и «Анну Каренину». Этот перевод, изданный в 1953-м, переиздавался потом раз двадцать и худо-бедно, но кормил ее. Русский язык Иллакович знала в совершенстве, это один из языков ее детства.

Родилась она в Вильно. Рано осиротевшую, ее взяла на воспитание одинокая богатая помещица-полька. Поместье было близ Двинска (нынешнего Даугавпилса,, на западной окраине тогдашней Витебской губернии, на стыке латышских, литовских и белорусских земель. Здесь прошли детство и отрочество Иллакович. Она получила прекрасное домашнее образование, выезжала с приемной матерью за границу, училась в пансионах Фрайбурга и Женевы, в колледже для иностранок в Оксфорде.

Первая книга стихов вышла в 1912 году в Кракове, где Иллакович тогда училась в университете. В творчестве Иллакович 1910-х годов можно проследить смену двух художественных эпох. Например, в стихотворении «Снег», открывающем эту публикацию, где метафора «душа — снежный покров», метафора, целиком принадлежащая уходящему символизму, развернута поэтом в поразительный по точности и реалистичности зимний пейзаж, в котором чувствуется даже воздух — прозрачный и чуть морозный.

Начиная с книги «Коляды польского горя» (1917), постоянное место в ее творчестве займет религиозная лирика.

Есть в поэзии Иллакович откровение первоначального христианства, откровение действительно братской любви ко всем людям, в том числе или даже прежде всего к враждующим с нами и ненавидящим нас. Если пацифисты борются за мир без войны, то Иллакович борется за нечто еще более «невозможное»: за мир без ненависти.

«Кто спасет от них, кто им даст спасенье?» — вопрошает она в стихотворении 1914 года, говоря об уланах и драгунах русской армии, но также обо всех солдатах всех армий, обо всех гибнущих и губящих.

В стихотворении, написанном тридцать лет спустя, в канун 1944 года, так предстает вся Европа, вся земля: «гибнущая и грозящая смертью... жаждущая... за кровь братьев новой крови братьев».

Поэт XX века, Иллакович выразила ужас братоубийственной бойни обеих мировых войн этого века.

Но еще более ужасает ее гражданская война — смертельная борьба двух частей разорвавшейся надвое нации.

Дважды в жизни она оказывалась очевидцем гражданской войны. Первый раз в России, в 1917—1918. (Она жила тогда в Петрограде, работала корректором в типографии, в Петрограде вышли ее книги «Три струны» и «Коляды польского горя».)

И второй раз в Польше, в 1947—1948. Эта гражданская война как бы таилась, тлела, будто низовой пожар. Но люди — с обеих сторон — гибли.

Иллакович сострадает и тем и другим. Она рада бы погибнуть сама, сама истечь кровью «вместо них», лишь бы «не было резни между ними». «Пусть меня бы пронзили!» — восклицает она, готовая принять муку за людей, как Христос (помните рассказ Евангелия от

Иоанна о том, как «один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода»?). Она сострадает тем и другим, но и проклинает тех и других, их взаимную ненависть. Она — ни с теми, ни с другими. «Нет мне места на земле в наше время...» — этим и начинается стихотворение.

Это стихотворение 1948 года, и более раннее — «Стихи на новый 1944 год», и еще одно тех же лет — «Я уйду от земли нелюдской»,— конечно же, напомнят русскому читателю Цветаеву, цветаевские строки из цикла о Чехии 1939 года, цветаевское «В Бедламе нелюдей Отказываюсь — жить». Совпадение — не единственное, их можно найти гораздо больше.

Но не в этих совпадениях и сопоставлениях (с Цветаевой ли, с Ахматовой ли) — главное. Главное — увидеть и услышать в Иллакович ее индивидуальное, уникальное, неповторимое. С ее «шероховатостью», которую она сама подчеркивала (один из циклов лирики она так и назвала: «Шероховатые стихи»). С ее приблизительной и с годами все более приблизительной рифмой. С ее прихотливым стихом, с почти произвольно меняющимся числом слогов и ударений, с ее «сверхдлинной» иногда строкой. В публикуемых переводах именно это неповторимое, не похожее на все, к чему мы привыкли, бережно донесено.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

Стихи 1910—1920-х годов

Снег

Пала наземь моя душа́
беззащитным, пречистым снегом,
где в канавах стынет вода,
лес чернеет, простившись с небом.

Позастлала белым поля,
вот уж первый петляет заяц,
вот уж ставят на белом след
куропатки, в стайку сбиваясь.

Вот в больших сапогах батрак
топчет тропку к стогу за сеном,
вот собрался в лес дровосек
самый ранний в селе соседнем.

Белым платом на грязь дорог,
на луга легла и на пашни.
Вот уж едет груженый воз
по дороге с утра пораньше,

и прохожие сотней ног
черный шов строчат след за следом,
там — где пала моя душа
беззащитным, пречистым снегом.

Вола и осла нет в помине...

Вола и осла нет в помине,
чтоб грели они Его ныне
    от стужи...
Всех-всех на войну их забрали,
по пыльным дорогам угнали,
    по лужам.

Нет яслей, ни стен и ни крова,
приюта нигде никакого
    не стало!
Что было на топливо годным,

в костре полыхнуло походном,
пропало.

Соломы постлать бы — забрали,
горсть сена найдется едва ли,
ох, тяжко!
Младенец лежит коченея...
«...И чем же тебя я согрею,
бедняжка?!»

Невозвратное

До белого домика над рекой —
недалеко;
до леса с тропкой, от хвоинок склизкой —
тоже близко;
до сада, где малые дети играют во что-то,
добежать — в два счета!
До молодого любовника, что ждет дрожа,—
лишь два шага...

...Но до объятий матери родной
однажды была дорога и нет иной;
но до рябин, что радовали и низались в бусы,
тропинка свернулась в узел, и другой не будет...
...Но до счастья в латах, со скипетром и в короне
кто-то отважный поплыл — и не доплывет, утонет!

Река

Разбиваешь меня о камни
каждым вздохом, каждым дыханьем.
Я — бегущая вечно волна, ты — берег,
берущий меня в тиски, чтоб стихию умерить.
Ты охотишься на лугах, ты стреляешь метко и часто,
на моей груди убивая белых уток и птичье царство;
ты срубаешь ольху и дубы прадавних веков
и опускаешь на воды мои, чтобы их унесло далеко.
Ты склоняешься, запыхавшийся, грязный, жаждой
сожженный,
надо мной, а я отражаю в себе облик твой искаженный,
и — когда меня пьешь — я становлюсь
холодная, чистая, легкая такая,
а душа моя сквозь твои кровавые пальцы утекает и утекает.

Верю в чудеса

И этот, и тот, и еще другой, представители ученого люда
говорят, что нет на свете чудес... Я, однако, утверждаю иначе,
потому что со мной ежедневно случается чудо:
втоптанную в землю, в мусор, в грязные будни эти,
подымает меня божья сила и держит в руке,
как живую розу в букете.

Стихи 1940—1960-х годов

Бог — всюду

Не уйти от этого: Бог во всем и всюду,
он и в том, что к добру, но и в том, что к худу.
Он и там, где молитв ладан пахнет сладко,
но и там, где виселица, где палач и плаха.
Вот это меня и пугает, что Бог везде,
а значит, и в лжесвидетеле, и в неправом судье.
Ведь если во всем, то, стало быть, и в неправосудье,
если в святом Петре, то также в Иуде,
если в безвинно замученном немцами старом еврее,
то также и в немцах?.. Никак не уразумею.
Мечусь от Правды к Неправде, от кары к преступленью...
Бог всюду, в каждой частице его нахожу каждый день я.
Над каждым человеком руки бы я простирала,
и виновным, и невинным, и большим, и малым,
кричала бы, умоляла, остерегала строго,
чтоб, судя человека, не мучили Бога.

Бог в своем небе знает...

Разбили меня. Склеили. Взял скрипач меня в руки.
И вот, к смычку притиснутая, исторгаю резкие звуки
рядом с мелодией давней, той поистине райской,
какую играл когда-то на скрипке Павел Коханьский. [1]
Толпа не знает, хвалит звучанье, хлопает скрипачу,
но Бог в своем небе знает, что я скрежещу.

Далекая могила

Ты лежишь в земле неизвестной... Но не ты уже это, нет!
Руки — сухие пальцы сплетает скелет...
Лицо — уже не твое, в широких шрамах лиловых.
Уже не ты... И уже не любовник!
А куда ушла твоя сила? Что осталось от страсти недавней?
Превратились в каменный крест страсть и сила вместе со славой.
Слава?! Стоит ли для нее крест нести и руки кровавить?!
Слава! о, как же ты подобна бесславью!

Под плитой с чужими словами лежишь ты в земле далекой...
а когда-то здесь ветер холодил твои детские щеки;
псы ласкались к тебе у околиц, ты бежал запыхавшийся с поля,
и жгли тебя детские слезы, от которых уже не больно...
Лес упрямый стоит все так же, как в дни, когда здесь блуждал ты...
Ничего ты не выбирал. За тебя были брошены карты.
Ни от чего не отрекся. Верен был непреклонно
неписаному закону и твердой букве закона.
Никто тебя славить не смеет. Никто тебя не клянет...
А поток забвенья — унося твое имя — течет и течет...

---

[1] Павел Коханьский (1887—1934) — польский скрипач. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Стихи на новый 1944 год

Не ожесточайся жаждой мести —
не увидишь звезды вифлеемской.

Воссияет ее пламень белый,
но не для сердец окаменелых!

Хору ангелов над колыбелькой божьей
кровь твоя не отзовется дрожью.

Не коснется тебя Рождество Христово,
земля каинова, земля духа злого,

гибнущая и грозящая смертью,
без раскаянья, без милосердья,

жаждущая, с воплем о расплате,
за кровь братьев новой крови братьев.

Нет мне места...

Нет мне места на земле в наше время:
всюду зло людское сеет семя.
Мне не с этими идти и не с теми.

Все дороги ведут в бездорожье,
все-то руки скрытно держат ножик,
все уста грозят уничтожить.

Стать бы мне преградой посредине,
чтобы не было резни между ними,
и стоять... Пусть меня бы пронзили!

Пусть я кровью вместо них зальюсь, хладея,
а грядущее приходит пусть позднее...
Для меня же будет ДЕНЬ ОТДОХНОВЕНЬЯ.
1948

Запавшая могила

Болит могила, запавшая в землю могила,
как рука усохшая, из которой ушла сила.
Бурьян на ней скорбный-скорбный,
край могилы осыпавшийся, неровный.
Упал в западинку жук, неуклюжий, шершавый...
А труп лежит на подстилке из славы;
ничто у него не болит (все забыл, что было),
ни струхлевшие кости, ни руки, что война отрубила,
ни могила, запавшая могила.

Шушукаются и шепчут

Будят ночью, шушукаются и шепчут:
старушка, хромой газетчик,
ребенок, что в колыбельке утих.
Шушукаются и шепчут, аж пыль густая летит...
Рассыпается пыль по стене,
рука божья пишет светом по ней:
«Семиградских евреев в Аушвице сожгли в огне».

Liberum veto [1]

Любой ценой — но противостоять.
Кому? Зачем? И нет причин?
«Я не хочу. Он не хочет. Мы не хотим...»
Но ведь и сердце и рассудок
и — правду говоря — желудок
советуют тянуть вперед, а не назад.
«Я против!» Почему?
Ты можешь цель назвать?
«Я просто не хочу, я не хочу».

Хватит слов

Хватит слов, покаянного пыла:
все остается как было...
Укор в душе всегдашний:
«Ты должен был быть бесстрашным!»
Судишь себя опять:
«Ты должен был не лгать!»
Совесть хлещет как бич:
«Ты в помощь должен был быть!»

И опускаются руки, ничто не мило.
Все как было.

Из последних прижизненных и посмертных публикаций (1969—1989)

Матерь Божья Катынская (1943)

Над Катынским лесом — месяц, над Катынским лесом — шелест,
низошла там Матерь Божья, земля травы пред Ней стелет.
Полынь серебро свое Ей постлала,
чтобы по нему ступала.

Стала, светом осиянна, и, полу плаща расправив,
песок в нее собирает из Катынских рвов кровавых,
песок собирает, ценней серебра,
чтобы на Небо с собой забрать.

Спросил месяц светлоглавый, на что Ей песок кровавый?
Отвечала Матерь Божья: «Исцелит он мир неправый.

---

[1] Liberum veto (*лат.*, дословно: свободное вето, свободное «не позволяю») — в Польше XVII—XVIII веков право каждого депутата наложить запрет на все решения сейма (и тем самым сорвать сейм) возгласом «Не позволяю!» или «Протестую!».

Любовь погибла в Катынских рвах —
Великой Реликвией будет прах».
1943 (опубликовано в еженедельнике «Тыгодник повшехны» в 1989 г.)

Жена Лота

«Там остался куст мирта возле дома,
фиговое деревце молодое,
коромысло — у колодца...
Там осталась в будке спящая птица,
знать не знает, ей даже не снится,
что никто из людей не вернется.

Лот с детьми уже скроются вскоре...
Уж далёко... Исчезают из вида...
Мне же горе виски сдавило
и повертывает некая сила
мою голову — к Содому и Гоморре».

При дворе царя Вавилонского

Седрах, Мисах и Авденаго [1], живя в Халдее,
со стола царя Вавилонского есть ничего не хотели:
ни супы, ни мясо, никакие яства —
чтобы не осквернять.
Не пили вина в застолье,
просили воды, шпината, фасоли,
меда и молока, фиг, винограда.
А просили жестом и знаком,
потому что Седрах, Мисах и Авденаго
языка Вавилонского знать не знали.

Огорчился весьма Асфеназ, гофмаршал,
к Навуходоносору с жалобой побежавши,
жирными руками развел: «Сил моих нету:
мучаюсь с ними, царь, не едят мяса,
вина не пьют, отвергают все твои яства,
потому что они абстиненты,
вегетарианцы».
Но царь лишь рукой махнул, мол, хватит, не надо,
ибо что ему — Седрах, Мисах и Авденаго.

---

[1] О трех иудейских отроках, своих товарищах, получивших при Вавилонском дворе халдейские имена Седрах, Мисах и Авденаго, рассказывает пророк Даниил.

По-народному

Сердился ребенок на море,
зачем оно сине,
сердится деспот на мой народ,
зачем не сгинул.

Ребенок камешки по воде
мечет,
сердится деспот на мой народ,
что смел перечить.

Ребенка мать увела домой:
не бегал бы где-то.
На деспота руку Бог положил,
уже его нету.

■

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

Душевные смуты воспитанника Тёрлеса

РОМАН

Перевод с немецкого С. АПТА

От переводчика

Переводя этот маленький роман, с которым в 1906 году впервые вышел на публику двадцатишестилетний Роберт Музиль, я то и дело думал: когда он писал, когда он опубликовал это, еще был жив Лев Толстой, и «Тёрлес» хронологически почти совпадает с «Хаджи Муратом», «После бала» и «Фальшивым купоном».

Почему я не мог отделаться от этой мысли? Безусловно, не из-за каких-то туманных переводческих соображений: я и думать не думал как-то ориентироваться в языке на Толстого. Да и никаких иллюзий насчет пристрастия Музиля к Толстому у меня не было, я знал, что в круге чтения автора «Тёрлеса» Толстой не главенствовал, Музиль, как и многие на рубеже столетий, больше читал Ницше, Достоевского, Гамсуна, Гауптмана, д'Аннунцио, Метерлинка. Имя последнего он поставил под эпиграфом на первой своей печатной странице и тем самым даже как-то связал со своим собственным.

Мысль о Толстом возвращалась ко мне, наверное, просто потому, что в годы «Тёрлеса» он был жив и был самым великим из живущих — пишущих и непишущих. Одно это уже должно было что-то значить, как-то освещать всё, что осталось от той эпохи и выдержало проверку временем. «Тёрлес» выдержал, и к ассоциации с Толстым я еще вернусь.

«Тёрлеса» можно, конечно, назвать произведением автобиографическим. Музиль, как и его герой, учился в закрытом учебном заведении, находившемся в захолустье Австро-Венгрии. Было это в 1894—1897 годах.

В романе, правда, некоторые обстоятельства существенно отличаются от подлинных. Свое Эйзенштадтское военно-реальное училище Музиль позднее назвал «задницей черта», даже еще непереводимо грубее. Он имел в виду нескончаемую муштру и атмосферу одуряющей скуки. В «Тёрлесе» о муштре нет речи, и быт учебного заведения изображен снисходительно-примиренно. Да и от «русской границы» училище Музиля находилось гораздо дальше, чем то можно подумать, начав читать «Тёрлеса»,— близ городка Мериш-Вайскирхен, который теперь называется Границе (с фрикативным «г») и принадлежит к территории Чехословакии.

Но и подлинных, взятых из самой действительности черт и подробностей в романе все-таки предостаточно. Сохранились фотографии того городка: и железнодорожная станция, и водолечебница, и фундаментальное здание училища — всё налицо, и всё у Музиля описано точно.

Исследователи не пожалели сил и докопались даже до прототипов немногочисленных персонажей. В Байнеберге они узнают Рихарда фон Бойнебурга-Ленгсфельда, который летом 1900 года участвовал в подавлении боксерского восстания в Пекине, а за год до выхода «Тёрлеса» был убит в возрасте двадцати семи лет. Прототипом Райтинга считают воспитанника Райзинга, который затем поступил в Венскую военную академию и умер еще раньше, чем Бойнебург,— в 1899 году. А принц Г.— это не кто иной, как эрцгерцог Генрих, который покинул училище как раз в том 1894 году, когда Музиль туда поступил. И случай исключения из училища за воровство действительно был. И был в самом деле воспитанник по фамилии Фабини, очень похожей на Базини, и найдена его юношеская фотография, сравнив с которой описание наружности Базини, можно при желании привести еще один довод в пользу того, что все списано с натуры, все именно так и было.

Не то чтобы в это не верилось, но такое утверждение кажется плоским, неинтересным. Что значит «так все и было»? Что внешняя сторона описанной истории (фабула, место действия) соответствовала реальным фактам или была построена в соответствии с ними. Но разве роман этот — о быте и нравах закрытого учебного заведения? Разве смелость и оригинальность «Тёрлеса» в точном воспроизведении зримого, осязаемого, звучащего?

Мне довелось видеть современную австрийскую экранизацию этого романа. Вот уж где

© Robert Musil. Die Verwirrungen des Zöglings Törless. Rowohlt. 1969, Hamburg.

хватало пищи и зрению, и слуху: и дортуар, и столовая, и униформа — всё было показано на совесть, любой иллюстратор позавидовал бы, похвалил бы любой звукорежиссер радиопьесы по «Тёрлесу». Все, что давал текст для визуального, так сказать, обыгрыванья, было обыграно, особенно, конечно, шнур от занавески ночью в спальне, он так упорно, так настойчиво повисал на экране зловещей петлей... И типаж был подобран тоже очень корректно, даже удачно. Тем не менее фильм не оставлял глубокого впечатления. Он не выходил за пределы фактуры, не воспарял над единичным, он рассказывал о случае в полувоенном австро-венгерском интернате, а не о душевных смутах молодого, начинающего жизнь существа.

Если есть литературные произведения, особенно непригодные для экранизации, то первый роман Музиля «Тёрлес» и его последний, незавершенный, «Человек без свойств», я уверен, относятся к ним.

Большинство главных героев Музиля — автобиографичны. Но автобиографизм этот — внутренний. В «Человеке без свойств» главный герой, Ульрих, мечтает о «генеральном секретариате точности и души». Эти две стихии — трезвого анализа и экстатического визионерства, чуткого к скрытой, невидимой стороне событий,— владели Музилем всю жизнь, причем не поочередно, а одновременно, как бы разрывая его надвое, и, может быть, как раз из-за этого раздвоения Музиль не смог завершить главный труд своей жизни, рационально довести до конца все его линии, поставить в нем последнюю точку. В заметках Музиля к концовке «Человека без свойств» есть такая: «Общая тональность — трагедия человека, потерпевшего крушение». Автобиографический герой молодого Музиля, юный Тёрлес, только начинает жизнь, он еще не потерпел крушения, а только пережил «смятение», которое обогатило его душевным опытом, закалило, но «общая тональность» этого первого романа, от первых его до последних страниц, все-таки тоже трагическая, потому что и этот юный герой уже разрывается между светлой, но холодной стихией точности и темной, но теплой стихией души. Нарушив вдруг в одном месте временной план романа, как бы выпрыгнув из последовательного повествования в ретроспективное рассуждение, Музиль сообщает, что Тёрлес стал писателем, и связывает его писательство с приобретенным в истории с Базини опытом. Опыт этот говорит Тёрлесу, что «великое понимание вершится только наполовину в световом кругу ума, другая половина — в темных недрах естества, и это прежде всего — душевное состояние, самое острие которого мысль только увенчивает, как цветок». В этих словах — ключ к пониманию автобиографизма первого романа Музиля и к объяснению явного родства в трагической тональности между «Тёрлесом» и «Человеком без свойств».

В «Тёрлесе» проявилась и еще одна пожизненно постоянная черта этого художника, тесно связанная с таким стремлением к точности. Самым наглядным образом она проявилась здесь на страницах, где речь идет о математике, о мнимых числах. Я имею в виду связь с наукой. Младший современник Музиля (они были и лично знакомы), Элиас Канетти, сказал о нем, что не знает другого писателя, который был бы до такой степени физиком. Не следует, однако, представлять себе эту связь слишком прямолинейной, простой. Да, Музиль получил хорошее инженерное образование и даже сделал одно серьезное техническое открытие. Да, он защитил в 1908 году диссертацию об Эрнсте Махе, о том самом Махе, чье имя у многих из нас вызывает в памяти труд под названием «Материализм и эмпириокритицизм», вышедший в том же 1908 г. Но глубокую разницу между наукой и поэзией, литературой Музиль не только безошибочно чувствовал, ощущал, так сказать, душой, но и со свойственной ему любовью к анализу, к «вивисекции», как он это называл, определил, объяснил. «Поэзия не наделяет научным знанием,— читаем в его заметках.— Но поэзия пользуется научным знанием. И знанием о внутреннем мире, конечно, совершенно так же, как и о внешнем». Примечательна — и в связи с «Тёрлесом», и вообще ввиду музилевского психологизма — высказанная писателем в дневнике претензия к той науке, которая едва ли не больше всех прочих повлияла на литературу эпохи Музиля: «Резюмирую Клагеса, отчасти Фрейда, Юнга... Моя инстинктивная враждебность: потому что они псевдопоэты и не дают поэзии опираться на психологию».

Музиль не испытывал никакого желания распространять «лабораторную технику» на область морали. На эту область он пытался распространить лишь главное достоинство лабораторчой техники — непредвзятость, свободу от церковных, национально-государственных, идеологических априорных оценок, отказ от всяких догматических норм. На этом отказе основаны успехи естественных наук, и в нем же Музиль видит единственную возможность по-настоящему проникнуть в нравственный мир человека. В напечатанном в 1913 году «Фрагменте» Музиль устами фиктивного «молодого человека» обращается несомненно к себе самому: «Уже в том, чего ты хочешь, ты сам есть создание демократии. Будущее достижимо лишь через более высокую и чистую демократию... Наука — результат демократии».

Художественная смелость автора «Тёрлеса» тоже определенным образом связана с такой исследовательской, «вивисекторской» свободой от предубеждений и догм. Не надо забывать, что в годы, когда это писалось, гомоэротическая тема была если не табуирована, то, во всяком случае, находилась вне поля зрения большой, высокой литературы, пребывая вне ее чуть ли не с античных времен. И «Смерть в Венеции» Томаса Манна, и эпопея Пруста, и «Смятение чувств» Стефана Цвейга (кстати, слово Verwirrung, стоящее в заглавии этой новеллы, прямо-таки отсылает нас к «Тёрлесу»), и автобиографические книги Андре Жида — все это появилось позднее, позднее хоть и не на много лет, но как бы уже в другую эпоху — в преддверии первой мировой войны и в основном после нее.

Некоторые читатели, склонные вульгарно модернизировать смысл этого романа, поддаются соблазну прямолинейно-поверхностного сравнения тёрлесовских однокашников с гитлеровцами и толкуют роман как пророческое указание на грядущий фашизм. Так поступали, например, иные литературоведы в ГДР. А машинистка, переписывавшая русский перевод осенью 1991 года, отплевывалась и чертыхалась: гады, фашисты, читать про них противно.

В 1906 году, когда «Тёрлес» вышел, ничего подобного, разумеется, не могло прийти в голову. И если бы современная Музилю критика успела в нем разобраться, оценить его книги сразу после их выхода, при его жизни, то вряд ли бы начитанные литературоведы и неначитанная машинистка явили бы такое единодушие.

Но литературная судьба Музиля была более трудной. Писатель умер 15 апреля 1942 года в Женеве. В Швейцарию он перебрался в 1938 году, когда Австрию оккупировал Гитлер, а в Вену приехал из Берлина (где прожил несколько лет) в 1933 году, когда Гитлер стал рейхсканцлером. Все эти годы Музиль писал свою главную книгу, которую так и не кончил, и был известен, в сущности, только узкому кругу ценителей. Дата его смерти дает частичное объяснение тому, что мир почти не заметил этой потери. В 1952 году вышло первое послевоенное, самое полное по сравнению с предыдущими издание «Человека без свойств», и мир открыл Музиля словно бы заново. Новыми глазами, в которых еще стояли картины недавней войны, прочитали и «Тёрлеса», и такими же глазами, ничего не поделаешь, приходится читать его и сейчас. Только читая, надо все-таки помнить, когда это писалось.

Перечитайте «Хаджи Мурата» сегодня, после (если уже можно так сказать о ней) афганской войны, в разгар событий в Чечено-Ингушетии, в Осетии. Вы невольно начнете сопоставлять перипетии и факты повести с событиями нашего времени. А ведь Толстой рассказывал о том, что и для него было в прошлом, что относилось к эпохе Николая I.

Музиль тоже рассказал о прошлом, о пережитом, о своих счетах с ницшеанским «сверхчеловеком», с имморализмом, о трудной борьбе между плотью и душой, через которую должен, как через обязательное испытание, пройти подросток. Но, читая «Тёрлеса», мы думаем не столько о Ницше и не столько о проблемах переходного возраста, сколько о том, что в человеке доброе, светлое находится в близком соседстве со злым, темным, что, когда мнимые ценности кажутся человеку подлинными или лицемерно выдаются за таковые, это оборачивается страданием для других людей и для него самого, что единственный надежный указатель рубежа между злом и добром — это невидимый нравственный закон внутри нас самих.

На заре века и Толстой, и Музиль, повествуя о прошлом и пройденном, оказались — воспользуюсь словами поэта — «у первоисточника всего, чем будет жить столетье».

Как только мы что-нибудь выскажем, мы это удивительно обесцениваем. Мы думаем, что погрузились в бездонную глубину, а когда возвращаемся на поверхность, капля воды на бледных кончиках наших пальцев уже не похожа на море, откуда она взялась. Мы мним, что открыли замечательные сокровища, а, возвращаясь на дневной свет, приносим с собой лишь подделки под драгоценные камни и стекляшки; и все-таки сокровище по-прежнему мерцает во тьме.

Метерлинк

Маленькая станция на линии, ведущей в Россию. Бесконечно прямо уходили в обе стороны четыре параллельные рельсовые нитки между желтым гравием широкого полотна: возле каждой, как грязная тень, темная полоса, выжженная отработанным паром.

За низким, выкрашенным масляной краской станционным зданием широкая разъезженная улица поднималась к вокзалу наклонным въездом. Ее края терялись в вытоптанной кругом земле, и распознать их можно было только по двум рядам акаций, уютно стоявших с обеих сторон, с иссохшими, задушенными пылью и копотью листьями.

То ли из-за этих унылых красок, то ли из-за бледного, бессильного, утомленного дымкой света послеполуденного солнца в предметах и людях было что-то безразличное, безжизненное, механическое, словно их выхватили из сцены кукольного театра. Время от времени, через одинаковые промежутки, начальник станции выходил из своего кабинета, глядя вдаль, одинаково поворачивая голову, ждал из сторожек сигналов, которые все еще не возвещали приближения скорого поезда, надолго застрявшего на границе; одинаковым движением руки он доставал затем свои карманные часы, качал головой и исчезал снова — как приходят и уходят фигурки, возникающие на старинных башенных часах на исходе часа.

По широкой утрамбованной полосе между рельсами и зданием проха-

живалась оживленная компания молодых людей, шагая слева и справа от немолодой супружеской четы, находившейся в центре их несколько громкой беседы. Но и оживленность этой группы не была настоящей; шум веселого смеха умолкал, казалось, уже через несколько шагов, словно падал наземь, наткнувшись на упорное невидимое препятствие.

Госпожа надворная советница Тёрлес, дама лет сорока, прятала за густой вуалью грустные, слегка покрасневшие от слез глаза. Надо было прощаться. И ей было тяжело снова оставлять свое единственное дитя на такой долгий срок среди чужих людей, без возможности самой оберегать своего любимца.

Ведь городок этот находился далеко от столицы, на востоке империи, среди пустынных сухих полей.

Причина, заставлявшая госпожу Тёрлес мириться с пребыванием своего мальчика на такой далекой, неприютной чужбине, состояла в том, что в этом городе находился знаменитый интернат, который с прошлого века, когда он был построен на земле одного богоугодного фонда, так и оставили на отшибе, затем, вероятно, чтобы оградить подрастающую молодежь от пагубного влияния большого города.

Ибо здесь сыновья лучших семей страны получали образование, чтобы, покинув это заведение, поступить либо в высшую школу, либо на военную или государственную службу, и во всех этих случаях, как и для вхождения в высший свет, быть выпускником интерната в В. считалось особой рекомендацией.

Четыре года назад это заставило супругов Тёрлес уступить честолюбивому напору их мальчика и добиться его приема в училище.

Решение это стоило позднее обильных слез. Ведь с той минуты, когда за ним безвозвратно закрылась дверь заведения, маленький Тёрлес страдал от страшной, страстной тоски по дому. Ни уроки, ни игры на больших, пышных лужайках парка, ни другие развлечения, которые предоставлял интернат своим воспитанникам, не способны были занять его. Он видел все только как бы сквозь пелену, и даже среди дня ему часто бывало трудно подавить в себе упорное всхлипывание; а по вечерам он всегда засыпал в слезах.

Он писал письма домой, почти ежедневно, и жил только в этих письмах; все прочее, что он делал, казалось ему лишь призрачным, пустым времяпрепровождением, безразличными вехами, как цифры на циферблате. А когда он писал, он чувствовал в себе нечто особое, исключительное; как остров, полный чудесного солнца и красок, поднималось в нем что-то из того моря серых впечатлений, которое холодно и равнодушно теснило его со всех сторон изо дня в день. И когда он среди дня, за играми или во время уроков, думал о том, что вечером будет писать свое письмо, у него было такое чувство, будто он носит на невидимой цепочке потайной золотой ключик, которым он, когда этого никто не увидит, откроет калитку чудесного сада.

Примечательно, что в этой внезапной, изнуряющей привязанности к родителям было что-то новое и поразительное для него самого. Он прежде не подозревал о ней, он отправился в училище с радостью и добровольно, он даже засмеялся, когда его мать при первом прощании не удержалась от слез, и лишь после того как он пробыл несколько дней один и чувствовал себя относительно хорошо, это прорвалось в нем вдруг и стихийно.

Он принял это за тоску по дому, за тягу к родителям. На самом же деле тут было нечто гораздо более неопределенное и сложное. Ибо «предмета этой тоски», образа его родителей тут, собственно, вовсе не содержалось. Я имею в виду некую пластическую, не просто головную, а телесную память о любимом человеке, которая взывает ко всем чувствам и во всех чувствах сохраняется, так что неизменно ощущаешь его молчаливое и невидимое присутствие. Эта память вскоре затихла, как отголосок, который

звучит недолго. «Милых, милых родителей» — так он обычно говорил это мысленно — Тёрлес уже не мог тогда, например, воочию представить себе. А когда он делал такую попытку, вместо образа родителей в нем вспыхивала беспредельная боль, мука которой его карала и все-таки заставляла упорствовать, потому что ее жаркое пламя и жгло его, и в то же время приводило в восторг. Мысль о родителях все больше становилась для него просто поводом вызвать в себе это эгоистическое страдание, которое умыкало его в свою сладострастную гордость, как в уединенность часовни, где сотни горящих свечей и сотни иконных глаз воскуряют фимиам пытке самобичующихся...

Когда затем его «тоска по дому» ослабела и постепенно исчезла, это ее свойство стало видно довольно ясно. Ее исчезновение не повлекло за собой долгожданной удовлетворенности, а оставило в душе юного Тёрлеса пустоту. И по этой своей опустошенности, незаполненности он понял, что утратил не просто тоску, а нечто положительное, некую душевную силу, что-то такое, что увяло в нем под предлогом боли.

Но теперь это прошло, и этот источник высокого блаженства стал для него ощутим лишь благодаря тому, что иссяк.

В это время снова исчезли из его писем следы пробуждавшейся души, и место их заняли подробные описания жизни в училище и новообретенных друзей.

Сам он чувствовал себя при этом обедненным и голым, как деревце, которое после неплодоносного цветения вступает в первую зиму.

А родители его были довольны. Они любили его с большой, бездумной, животной нежностью. Каждый раз, когда у него кончались каникулы, дом ее казался советнице снова пустым и вымершим, и после каждого такого приезда она еще несколько дней со слезами на глазах ходила по комнатам, ласково дотрагиваясь до предметов, которых касались взгляд мальчика или его пальцы. И оба были готовы сложить за него голову.

Неловкая трогательность и страстная, упрямая печаль его писем причиняла им боль и приводила их в состояние напряженной чувствительности; веселое, довольное легкомыслие, следовавшее затем, вселяло радость и в них, и они его посильно поддерживали в надежде, что преодолели какой-то кризис.

Ни в том ни в другом они не узнали признака определенного психологического развития, принимая и боль, и успокоение за естественное следствие данных обстоятельств. Что то была первая, неудачная попытка молодого, предоставленного самому себе человека развернуть внутренние свои силы,— это от них ускользнуло.

. . . . . .

Тёрлес испытывал теперь большое недовольство и тщетно искал ощупью чего-то нового, что могло бы послужить опорой ему.

. . . . . .

Один эпизод этой поры был типичен для того, что готовилось тогда в Тёрлесе к дальнейшему развитию.

Однажды в училище поступил молодой князь Г., отпрыск одного из самых влиятельных, старинных и консервативных дворянских родов империи.

Все другие находили его кроткие глаза пошлыми и жеманными; над его манерой стоя выпячивать одно бедро и при разговоре медленно играть пальцами они смеялись, как над бабьей. Но особенно они издевались над тем, что в интернат его доставили не родители, а прежний его воспитатель, doctor theologiae и член монашеского ордена.

А на Тёрлеса новичок с первого взгляда произвел сильное впечатление. Может быть, тут повлияло то обстоятельство, что это был принятый при дворе принц, но во всяком случае это была другая, неведомая раньше человеческая порода.

Над ним еще, казалось, как-то витала тишина старинного замка и бла-

гочестивых занятий. При ходьбе он делал мягкие, гибкие движения, с тем немного робким стремлением сжаться, стать уже, которое связано с привычкой шагать прямой походкой через пустынные анфилады, где другой, кажется, наткнется на невидимые углы пустого пространства.

Общение с принцем стало для Тёрлеса источником тонкого психологического наслаждения. Принц заронил в нем то знание людей, которое учит узнавать и чувствовать другого по интонации, по манере брать что-то в руки, даже по тембру его молчания и осанке, с какой тот вписывается в пространство, словом, по этой мимолетной, едва ощутимой и все же единственно настоящей, полновесной манере быть чем-то душевно-человеческим, которая облекает ядро, облекает осязаемое и поддающееся обсуждению, словно оболочка остов,— узнавать и чувствовать другого так, чтобы предвосхитить его духовный облик.

Тёрлес жил это короткое время как в идиллии. Его не смущала религиозность нового друга, которая ему, Тёрлесу, вышедшему из буржуазно-вольнодумной семьи, была, в сущности, совершенно чужда. Он принимал ее без малейших сомнений, она была в его глазах даже каким-то особым преимуществом принца, ибо усиливала характер этого человека, ничуть не ехидный, как он чувствовал, да и совершенно несравнимый с его собственным.

В обществе этого принца он чувствовал себя примерно как в стоящей в стороне от дороги часовне, и потому мысль, что там ему, собственно, не место, совершенно исчезала от удовольствия глядеть на дневной свет через церковное оконце и скользить взглядом по бесполезному золоченому орнаменту, сложившемуся в душе этого человека, пока не возникнет смутный образ самой этой души,— так, словно он повторял пальцем извивы какой-то красивой, но сплетенной по странным правилам арабески.

Потом вдруг произошел разрыв между ними.

Из-за глупости, как потом должен был сказать себе Тёрлес.

Однажды они все-таки поспорили о религиозных вещах. И в этот миг уже, собственно, все кончилось. Ибо как бы независимо от Тёрлеса разум его неудержимо накинулся на принца. Обрушив на него иронию разумного человека, Тёрлес варварски развалил филигранную постройку, в которой привыкла жить эта душа, и они в гневе разошлись.

С тех пор они больше не сказали друг другу ни слова. Тёрлес, правда, смутно сознавал, что совершил нечто бессмысленное, а неясное, чисто эмоциональное знание говорило ему, что эта деревянная линейка разума совсем не вовремя разбила что-то тонкое и сладостное. Но это было нечто, находившееся, безусловно, вне его власти. Навсегда, пожалуй, осталась в нем какая-то тоска по прошлому, но он, казалось, очутился в некоем другом потоке, все больше отдалявшем его от прошлого.

А через некоторое время и принц, который чувствовал себя в интернате неважно, отчислился.

. . . . . .

Вокруг Тёрлеса сделалось совсем пусто и скучно. Но он тем временем стал старше, и половое созревание начало глухо и постепенно его захватывать. На этом отрезке своего развития он завязал несколько новых, соответствующих дружб, которые приобрели для него позднее большую важность. Например, с Байнебергом и Райтингом, с Моте́ и Гофмайером, именно с теми молодыми людьми, в чьем обществе он провожал сегодня на поезд родителей.

Как ни странно, это были как раз самые скверные из его сверстников, правда, одаренные и, разумеется, хорошего происхождения, но порой до грубости буйные и строптивые. И то, что именно их общество привлекло теперь Тёрлеса, объяснялось, вероятно, его собственной несамостоятельностью, которая, после того как его оторвало от принца, была очень велика. Объяснялось такое даже намеренным усилением этого отрыва, страхом перед слишком тонкими сантиментами, по контрасту с которыми

в поведении других товарищей было что-то здоровое, крепкое, жизнеутверждающее.

Тёрлес целиком отдался их влиянию, ибо духовные его дела обстояли теперь примерно так. В его возрасте в гимназии успевают прочесть Гёте, Шиллера, Шекспира, даже, может быть, и современных авторов. Это затем, не переварившись, лезет из-под пера. Возникают трагедии из римской жизни или чувствительная лирика, рядящаяся в долгие, на целую страницу периоды, как в ажурные кружева тончайшей работы,— вещи сами по себе смешные, но для верности развития неоценимые. Ибо эти пришедшие извне ассоциации и заимствованные чувства проносят молодых людей над опасно зыбкой психологической почвой тех лет, когда ты должен сам что-то значить и все же слишком еще незрел, чтобы действительно что-то значить. Останется ли что-то от этого на будущее или ничего не останется, безразлично; каждый уж как-то сладит с собой, а опасность заключена лишь в переходном возрасте. Если такому молодому человеку показать, как он смешон, почва уйдет у него из-под ног или он упадет, как проснувшийся лунатик, который вдруг увидел одну только пустоту.

Этой иллюзии, этой уловки на благо развития в училище не было. Классики в библиотеке, правда, имелись, но они считались скучными, а еще были там только томики сентиментальных новелл и плоские военные юморески.

Маленький Тёрлес все это с жадностью, которую вызывали у него книги, прочел, какие-то банально нежные образы из той или другой новеллы некоторое время порой еще оживали, однако влияния, настоящего влияния это на его характер не имело.

Тогда казалось, что у него вообще нет характера.

Под влиянием этого чтения он сам, например, писал время от времени маленькие рассказы или начинал сочинять романтические эпопеи. От волнения по поводу любовных страстей его героев щеки его тогда краснели, сердце билось чаще, глаза блестели.

Но как только он откладывал перо, все проходило; в известной мере дух его жил только в движении. При этом он был способен написать стихотворение или рассказ когда угодно, по заказу. Он испытывал при этом волнение, но все же никогда не принимал этого вполне всерьез, деятельность эта не казалась ему важной. От нее ничего не переходило на его личность, а она не исходила от его личности. Лишь под каким-то внешним нажимом возникали у него чувства, выходившие за пределы безразличного, подобно тому как актеру нужен для этого нажим роли.

Это были реакции головные. А то, что ощущается как характер или душа, как линия или тональность человека, то, по сравнению с чем мысли, решения и поступки кажутся малопримечательными, случайными и заменимыми, то, что, например, привязывало Тёрлеса к принцу по ту сторону всяких разумных оценок, этот последний, неподвижный фон в Тёрлесе в то время совсем пропал.

Его товарищей от потребности в таком фоне начисто избавляла радость от спорта, животность,— в гимназиях об этом заботится игра с литературой.

Тёрлес же был для первого от природы слишком духовен, а ко второму он относился с той повышенной чуткостью к смехотворности таких заимствованных сантиментов, которую, вынуждая воспитанника быть постоянно готовым к ссорам и дракам, рождает жизнь в интернате. Так его нрав приобрел что-то неопределенное, какую-то внутреннюю беспомощность, которая мешала ему найти себя.

Он присоединился к своим новым друзьям, потому что ему импонировало их буйство. Будучи честолюбив, он пытался порой даже превзойти их в этом. Но каждый раз останавливался на полпути, из-за чего терпел немало насмешек. Это снова вселяло в него робость. Вся его жизнь состояла в этот критический период, собственно, лишь во все возобновляющемся

старании не отстать от своих грубых, более мужественных друзей и в глубоком внутреннем безразличии к таким усилиям.

Когда его теперь навещали родители, он бывал, пока находился наедине с ними, тих и застенчив. От нежных прикосновений матери он уклонялся каждый раз под новым предлогом. В действительности он рад был бы поддаться им, но ему было стыдно, как если бы на него были направлены взгляды товарищей.

Его родители принимали это за неуклюжесть переходного возраста.

А во второй половине дня появлялась вся шумная компания. Играли в карты, ели, пили, рассказывали анекдоты об учителях и курили папиросы, которые привозил из столицы надворный советник.

Это веселье радовало и успокаивало супругов.

Что для Тёрлеса иной раз наступали и другие часы, они не знали. А в последнее время таких часов выпадало все больше. Случались мгновения, когда жизнь в училище становилась совершенно безразлична ему. Тогда скрепляющая замазка насущных забот отскакивала, и часы его жизни распадались без связи между собой.

Он часто сидел — в мрачном раздумье — словно склонясь над самим собой.

. . . . . .

Двухдневным было родительское посещение и на этот раз. Ели, курили, выезжали на прогулку, и теперь скорый поезд должен был вернуть супругов в столицу.

Тихий гул в рельсах возвещал его приближение, и сигналы колокола у крыши станционного здания неумолимо ударяли в уши надворного советника.

— Итак, дорогой Байнеберг, вы приглядите за моим сынком, правда? — обратился надворный советник к молодому барону Байнебергу, долговязому, костлявому юноше с сильно оттопыренными ушами, но выразительными, умными глазами.

Маленький Тёрлес скорчил недовольную гримасу по поводу этой опеки, а Байнеберг ухмыльнулся польщенно и немного злорадно.

— Вообще,— обратился надворный советник к остальным,— я хотел бы попросить всех вас, если что-нибудь случится с моим сыном, сразу же известить меня.

Это вызвало все-таки у юного Тёрлеса бесконечно тоскливое «Ну, что может со мной случиться, папа?!» — хотя он уже привык к тому, что при каждом прощании ему досаждают такой чрезмерной заботливостью.

Другие тем временем щелкали каблуками, подтягивая при этом изящные шпаги, и надворный советник прибавил:

— Никогда не знаешь, что случится, а мысль, что мне сразу обо всем сообщат, очень успокоительна для меня; ведь может и так выйти, что у тебя не будет возможности написать.

Затем подошел поезд. Надворный советник Тёрлес обнял сына, госпожа фон Тёрлес плотнее прижала вуаль к лицу, чтобы скрыть слезы, друзья поочередно поблагодарили, затем кондуктор закрыл дверь вагона.

Супруги еще раз увидели высокий, голый задний фасад училища, мощную, длинную стену, ограждавшую парк, затем справа и слева пошли только серо-бурые поля и одиночные плодовые деревья.

. . . . . .

Молодые люди покинули тем временем вокзал и шли двумя рядами гуськом по обоим краям улицы — хотя бы так спасаясь от густой и вязкой пыли — в сторону города почти без разговоров.

Было начало шестого, и поля окутало суровостью и холодом — в предвестии вечера.

Тёрлес очень погрустнел.

Может быть, виною тому был отъезд родителей, а может быть, лишь неприютная, равнодушная меланхолия, лежавшая сейчас тяжестью на всем

вокруг и уже на расстоянии нескольких шагов размывавшая формы предметов тяжелыми тусклыми красками.

То же страшное безразличие, что уже всю вторую половину дня лежало на всем, подползало теперь по равнине, а за ним, клейким шлейфом, полз туман, прилипая к вспаханным после пара полосам и свинцово-серым свекловичным полям.

Тёрлес не смотрел ни вправо, ни влево, но это чувствовал. Шаг за шагом ступал он в следы, только что вдавленные в пыль ногой впереди идущего, и потому чувствовал это как что-то неизбежное, как каменную силу, которая сводила и сжимала всю его жизнь в это движение — шаг за шагом — по одной этой линии, по одной этой узкой полоске, тянущейся в пыли.

Когда они остановились у перекрестка, где вторая дорога сливалась с той, по которой они шли, в круглый вытоптанный пустырь и где косо вонзился в воздух трухлявый путевой указатель, эта противоречащая их окружению линия показалась Тёрлесу криком отчаяния.

Они пошли дальше. Тёрлес думал о своих родителях, о знакомых, о жизни. В этот час одеваются для гостей или решают поехать в театр. А потом идут в ресторан, слушают оркестр, заходят в кофейню. Завязывают интересное знакомство. До утра длится ожидание какого-нибудь галантного приключения. Жизнь, как чудесное колесо, выкатывает из себя то и дело новое, неожиданное...

Тёрлес вздыхал от этих мыслей, и с каждым шагом, приближавшим его к тесноте училища, в нем что-то стягивалось все туже и туже.

Уже сейчас стоял у него в ушах звук звонка. Ничего он так не боялся, как этого звонка, который непреложно определял конец дня,— как жестокий удар ножом.

Он ничего-то и не изведал, и жизнь его была сплошным прозябанием, но этот звонок прибавлял ко всему еще и глумление, повергая его в дрожь от бессильной злости на самого себя, на свою судьбу, на загубленный день.

Больше ты ничего уже не изведаешь, в течение двенадцати часов ты ничего уже не изведаешь, на срок в двенадцать часов ты мертв — таков был смысл этого звонка.

. . . . . .

Когда компания молодых людей подошла к первым низким домам, похожим на лачуги, Тёрлеса отпустили эти унылые мысли. Словно захваченный каким-то внезапным интересом, он поднял голову и стал напряженно вглядываться в мутные недра маленьких, грязных строений, мимо которых они проходили.

У дверей большинства из них стояли женщины — в халатах и грубых рубахах, с широкими, грязными ногами и голыми, смуглыми руками.

Если они были молодые и крепкие, им в шутку бросали грубоватые славянские словечки. Они подталкивали друг друга локтями и подсмеивались над «молодыми господами», иная и вскрикивала, когда слишком уж сильно задевали, проходя мимо, ее груди, или сквозь смех отвечала ругательством на шлепок по бедру. А иная лишь с гневной суровостью смотрела вслед уходившим; а крестьянин, если он случайно тут оказывался, улыбался смущенно — наполовину неуверенно, наполовину добродушно.

Тёрлес был в стороне от этой озорной, не по возрасту развитой мужественности своих друзей.

Объяснялось это отчасти, наверно, известной робостью в делах пола, свойственной почти всем единственным детям, но в большей мере особым характером его чувственности, которая была скрытнее, мощнее и мрачнее, чем чувственность его друзей, и выражала себя труднее.

В то время как другие бесстыдничали с женщинами скорее, пожалуй, «для шика», чем от вожделения, душа молчаливого, маленького Тёрлеса была взбудоражена и знала бич действительного бесстыдства.

Он с такими горящими глазами заглядывал через оконца и угловатые,

узкие подворотни в недра этих домов, что у него постоянно рябило в глазах.

Полуголые дети копошились в грязи дворов, там и сям юбка работающей женщины открывала подколенные ямки, тугие складки холста сжимали тяжелую грудь. И словно все это совершалось даже в совсем другой, животной, давящей атмосфере, из сеней домов тек спертый, тяжелый воздух, который Тёрлес жадно вдыхал.

Он думал о старинных картинах, которые видел в музеях, но по-настоящему не понимал. Он ждал чего-то, как и от этих картин всегда ждал чего-то, что никогда не случалось. Чего?.. Чего-то неожиданного, невиданного до сих пор; невероятного зрелища, которое совершенно не мог представить себе; чего-то, что словно когтями схватит его и растерзает на части; события, которое каким-то совсем еще неясным образом должно быть связано с грязными халатами женщин, с их грубыми руками, с их низкими каморками, с... с замаранностью в грязи их дворов... Нет, нет... Он чувствовал теперь только огненную рябь в глазах; словами этого не сказать; это совсем не так скверно, каким оно делается от слов; это что-то совершенно немое — сдавленность в горле, мимолетная мысль, и только если непременно нужно сказать это словами, только тогда оно получается таким, но тогда оно и похоже лишь отдаленно, как при огромном увеличении, когда не только видишь все яснее, но и видишь вещи, которых тут вовсе нет... И все-таки было стыдно...

. . . . . .

— Деточка тоскует по дому? — насмешливо спросил его вдруг долговязый и на два года старше его фон Райтинг, обративший внимание на молчаливость и помрачневшие глаза Тёрлеса. Тёрлес усмехнулся вымученно и смущенно, и ему показалось, будто ехидный Райтинг подслушивал, что творилось у него внутри.

Он не ответил. Но тем временем они дошли до церковной площади городка, которая имела форму квадрата и была вымощена булыжником, и теперь расходились в разные стороны.

Тёрлесу и Байнебергу еще не хотелось возвращаться в училище, а другие, не имея разрешения на долгую отлучку, пошли домой.

Эти двое зашли в кондитерскую.

Там они сидели за маленьким столиком с круглой доской, у окна, выходившего в сад, под газовой люстрой, огни которой тихо жужжали за молочными стеклянными шарами.

Они удобно устроились, заказывали разные сорта водок, курили папиросы, ели в промежутках печенье и наслаждались уютом единственных гостей. Ибо разве что в задних комнатах сидел еще какой-нибудь одинокий посетитель за стаканом вина; спереди было тихо, и даже тучная, в летах кондитерша, казалось, уснула за своей стойкой.

Тёрлес смотрел — совсем рассеянно — в окно — на пустой сад, который постепенно темнел.

Байнеберг рассказывал. Об Индии. Как обычно. Ибо его отец, генерал, служил там у англичан в бытность молодым офицером. И он не только, как прочие европейцы, привез оттуда резные изделия, ткани и фабричной работы божков, но еще ощутил и сберег какой-то таинственный, сумеречный, призрачный свет эзотерического буддизма. То, что он там узнал и что вычитал позднее вдобавок, он передавал сыну с самого его детства.

С чтением, впрочем, дело обстояло у него весьма своеобразно. Он был кавалерийский офицер и книг вообще отнюдь не любил. Романы и философию он презирал в одинаковой мере. Когда он читал, он не хотел задумываться над мнениями и спорными вопросами, а хотел, открывая книгу, войти, словно через потайную дверь, в хранилище отборного знания. Ему требовались книги, одно обладание которыми было уже как бы тайным

орденским знаком, как бы гарантией неземных откровений. А это он находил лишь в книгах индийской философии, которые и казались ему не просто книгами, а откровениями, истиной — кодами, как алхимические и магические книги средневековья.

С ними этот здоровый, деятельный человек, строго исполнявший свои служебные обязанности и, сверх того, почти ежедневно сам объезжавший трех своих лошадей, запирался обычно под вечер.

Тогда он выхватывал наудачу какое-нибудь место и размышлял, не откроется ли ему сегодня его самый тайный смысл. И он никогда не разочаровывался, даже и признавая, что не продвинулся дальше преддверия освященного храма.

И потому этого мускулистого, загорелого, привыкшего быть на воздухе человека овевало подобие какой-то торжественной тайны. Его убежденность, что каждый день для него — канун сногсшибательно великого разоблачения, давала ему скрытое превосходство. Глаза у него были не мечтательные, а спокойные и твердые. Выражение их создали привычка читать книги, где нельзя переставить ни одного слова, не нарушив тайного смысла, осторожное, внимательное взвешивание каждого слова в поисках его смысла и двоякого смысла.

Лишь изредка терялись его мысли в сумраке приятной меланхолии. Это случалось, когда он думал о тайном культе, связанном с оригиналами лежащих перед ним писаний, о чудесах, от них исходивших и захватывавших тысячи, многие тысячи людей, которые из-за большого расстояния, отделявшего его от них, представали ему сейчас как бы братьями, хотя людей вокруг себя, которые были видны ему во всех подробностях, он презирал. В такие часы на него находила угрюмость. Мысль, что жизнь его обречена пройти вдали от источников священных сил, что его усилия, вероятно, все же обречены на провал из-за неблагоприятных обстоятельств,— мысль эта угнетала его. Но, посидев потом в огорчении перед своими книгами, он приходил в странное состояние. Его меланхолия, правда, ничуть не теряла своей тяжести, напротив, его печаль усиливалась, но она уже не угнетала его. Он больше чем когда-либо чувствовал себя покинутым и пропащим, но в этой грусти таилась тонкая сладость, гордость, что делаешь что-то нездешнее, служишь непонятному божеству. И тогда в его глазах вспыхивало на миг что-то, что напоминало безумство религиозного экстаза.

. . . . . .

Байнеберг устал говорить. В нем самом образ его чудаковатого отца продолжал жить в каком-то искажающем увеличении. Каждая черта, правда, сохранилась; но то, что у отца изначально было всего лишь причудой, которую из-за ее исключительности усиливали и консервировали, переросло у сына в какую-то фантастическую надежду. Та странность отца, что служила ему, в сущности, может быть, только каким-то последним убежищем, которое — будь это лишь манера одеваться — должен создать себе каждый человек, чтобы иметь что-то, отличающее его от других, превратилась у сына в твердую веру в свою способность обеспечить себе господство благодаря необыкновенным психическим силам.

Тёрлес знал эти разговоры достаточно хорошо. Они проходили мимо него и почти не задевали его.

Сейчас он наполовину отвернулся от окна и наблюдал за Байнебергом, который свертывал себе папиросу. И он снова почувствовал то удивительное отвращение к Байнебергу, что иногда поднималось в нем. Эти узкие смуглые руки, ловко заворачивавшие табак в бумагу, были ведь, в сущности, красивы. Тонкие пальцы, овальные, изящно выпуклые ногти — в них было какое-то благородство. Да и в темно-карих глазах. Да и в поджарости всего тела было оно. Правда, уши сильно оттопыривались, лицо было маленькое и неправильное, и общее впечатление от головы напоминало голову летучей мыши, однако — сравнивая друг с другом отдельные черты,

Тёрлес отчетливо это чувствовал — не некрасивые, а, наоборот, располагающие вызывали у него такое странное беспокойство.

Поджарость тела — сам Байнеберг восхвалял стальные, стройные ноги гомеровских бегунов, считал их образцом для себя — совсем не казалась ему гомеровской. До сих пор Тёрлес не отдавал себе в этом отчета, и сейчас ему не приходило на ум никакого подходящего сравнения. Ему хотелось пристальнее всмотреться в Байнеберга, но тогда тот это заметил бы, и пришлось бы завести какой-то разговор. Но именно так — когда он лишь наполовину смотрел на него, а наполовину дополнял картину воображением — ему открылась разница. Мысленно сняв с тела одежду, он уже никак не мог сохранить впечатление спокойной стройности, ему сразу же виднелись беспокойные, вертлявые движения, вихляющиеся члены, искривленный позвоночник,— как то встречается во всех изображениях мученичества или в гротескных действах ярмарочных артистов.

Также и руки, которые он, конечно, с таким же правом мог бы мысленно задержать в каком-нибудь законченном жесте, он представлял себе не иначе, как беспокойные пальцы. И как раз на них, самом красивом, собственно, в Байнеберге, сосредоточивалось величайшее отвращение. В них было что-то развратное. Вот, пожалуй, верное сравнение. Впечатление чего-то развратного производили и вертлявые движения туловища. В руках только эта развратность как бы скапливалась, они, казалось, излучали ее предвестием прикосновения, от мерзости которого у Тёрлеса мурашки пробегали по коже. Он сам удивился своей фантазии и немного испугался ее. Ибо уже второй раз за этот день в его мысли неожиданно и без всякой видимой связи вторглось что-то, имевшее отношение к полу.

Байнеберг взял газету, и Тёрлес мог теперь хорошенько его рассмотреть.

Действительно, нельзя было найти ничего, что хоть сколько-нибудь оправдывало бы внезапное появление такой ассоциации.

И все-таки, несмотря на всю свою необоснованность, это неприятное чувство делалось все острее. Не прошло и десяти минут воцарившегося между ними молчания, как Тёрлес почувствовал, что его отвращение уже дошло до предела. В этом, казалось, впервые выразилось некое главное настроение, главное отношение между ним и Байнебергом, всегда таившееся недоверие вдруг, казалось, дошло до сознания.

Ситуация, создавшаяся между ними, обострялась все более. Обиды, для которых он не находил слов, вскипели в Тёрлесе. Какой-то стыд, словно между ним и Байнебергом действительно что-то произошло, встревожил его. Его пальцы беспокойно забарабанили по доске стола.

Наконец, чтобы выйти из этого странного состояния, он снова посмотрел в окно.

Теперь Байнеберг поднял глаза от газеты; затем прочел вслух какое-то место, отложил листок в сторону и зевнул.

Вместе с молчанием ушла и тяжесть, угнетавшая Тёрлеса. Какие-то пустяковые слова совсем затопили это мгновение и погасили его. Он вдруг встрепенулся, после чего вернулось прежнее безразличие...

— Сколько у нас еще времени? — спросил Тёрлес.

— Два с половиной часа.

Затем он зябко поднял плечи. Он снова почувствовал сковывающую силу тесноты, его ожидавшей. Уроки, каждодневное общение с товарищами. Даже этого отвращения к Байнебергу, которое на миг, казалось, создало новую ситуацию, больше не будет.

— Что сегодня на ужин?

— Не знаю.

— Какие у нас завтра предметы?

— Математика.

— Вот как? Что-нибудь задано?

— Да, несколько новых теорем из тригонометрии. Но ты их поймешь, в них нет ничего особенного.

— А потом?

— Закон божий.

— Закон божий? Ах да. Тут опять что-нибудь да будет... Мне кажется, что, когда я в ударе, я могу с таким же успехом доказать, что дважды два пять, как то, что Бог может быть только один...

Байнеберг насмешливо взглянул на Тёрлеса.

— Ты в этом вообще смешон. Мне даже кажется, что тебе самому это доставляет удовольствие. Во всяком случае, глаза у тебя так и блестят...

— А почему бы нет? Разве это не славно? Тут всегда есть точка, когда уже не знаешь, врешь ли ты или то, что ты придумал, реальнее, чем ты сам.

— Как так?

— Ну, я же не в буквальном смысле. Ведь, конечно, всегда знаешь, что жульничаешь. Но все-таки иногда дело кажется самому таким достоверным, что как бы останавливаешься, оказавшись в плену собственной мысли.

— Да, но в чем же тут для тебя удовольствие?

— Именно в этом самом. Какой-то вдруг толчок в уме, головокружение, испуг...

— Ах, перестань, это вздор.

— Я и не утверждал противоположного. Но во всяком случае, это для меня во всем ученье самое интересное.

— Это просто какая-то гимнастика для мозга. Но никакого смысла в этом нет.

— Нет,— сказал Тёрлес и снова посмотрел в сад. За спиной у себя — вдалеке — он слышал жужжанье газовых ламп. Он следил за каким-то чувством, поднимавшимся в нем меланхолически, как туман.

— Смысла нет никакого. Ты прав. Но говорить себе это совершенно незачем. А в чем из того, что мы целый день делаем в школе, есть какой-то смысл? От чего есть какой-то толк? Толк, я хочу сказать, для себя, понимаешь? Вечером знаешь, что прожил еще один день, что выучил столько-то и столько-то, ты выполнил расписание, но при этом остался пустым — внутренне, я хочу сказать, ты испытываешь, так сказать, внутренний голод...

Байнеберг пробормотал что-то насчет «упражняться», «готовить ум», «еще ни за что нельзя браться», «позднее».

— Готовиться? Упражняться? Для чего же? Ты знаешь что-то определенное? Ты, может быть, на что-то надеешься, но и тебе это совершенно неясно. Вот что выходит: вечное ожидание чего-то, о чем ничего другого не знаешь, кроме того, что ждешь этого... Это так скучно...

— Скучно...— протяжно повторил Байнеберг и покачал головой.

Тёрлес все еще смотрел в сад. Ему казалось, что он слышит шуршанье сухих листьев, которые собирал ветер. Затем настал тот миг полнейшей тишины, который всегда наступает незадолго до того, как совсем стемнеет, и краски, которые расплывались,— казалось, остановились на несколько секунд, переводя дух.

— Послушай, Байнеберг,— сказал Тёрлес, не оборачиваясь,— когда смеркается, всегда, видно, бывает несколько мгновений совершенно особого рода. Сколько раз это ни наблюдаю, мне вспоминается одно и то же. Я был еще очень мал, когда однажды играл в этот час в лесу. Служанка отошла. Я этого не знал, и у меня было ощущение, что она еще где-то близко. Вдруг что-то заставило меня поднять глаза. Я почувствовал, что я один. Все вдруг совсем затихло. И когда я оглянулся, мне показалось, будто деревья молча стоят вокруг и наблюдают за мной. Я заплакал. Я почувствовал себя покинутым взрослыми, отданным на произвол неживых созданий. Что это такое? Я часто чувствую это снова. Это внезапное безмолвие, словно речь, которой мы не слышим?

— Я не знаю, что ты имеешь в виду. Но почему бы у вещей не быть

языку? Ведь не можем же мы со всей определенностью утверждать, что у них не бывает души!

Тёрлес не ответил. Рассуждения Байнеберга были ему неприятны.

Но вскоре тот начал:

— Почему ты все время глядишь в окно? Что ты в этом находишь?

— Я все еще думаю, что это может быть.

На самом деле он думал уже о чем-то другом, в чем не хотел признаться. Высокое напряжение, сосредоточенность, с которой прислушиваешься к серьезной тайне, и ответственность, которую берешь на себя, заглядывая в еще не описанные связи жизни, он смог выдержать только один миг. Затем им опять овладело то чувство одиночества и покинутости, что всегда следовало за этим слишком высоким запросом. Он чувствовал: здесь таится что-то, пока еще слишком трудное для него, и мысли его убегали к чему-то другому, тоже таившемуся здесь, но как бы только на заднем плане и в засаде,— к одиночеству.

Из заброшенного сада к освещенному окну нет-нет да прилетал листок и, уносясь, врывался в темень светлой полоской. Темнота, казалось, сторонилась, отступала, чтобы в следующее мгновение продвинуться вперед снова и неподвижно, стеной стать перед окнами. То был особый мир, эта темень. Стаей черных врагов напала она на землю и убила людей, или прогнала их, или еще что-то сделала, чтобы от них и следа не осталось.

И Тёрлесу показалось, что он этому рад. В эту минуту он не любил людей, больших и взрослых. Он никогда не любил их, когда было темно. Он привык воображать тогда, что их нет. Мир представлялся ему после этого пустым, темным домом, и в груди у него все трепетало, словно ему пришлось теперь пробираться из комнаты в комнату — через темные комнаты, о которых никто не знал, что таят их углы,— на ощупь перешагивать пороги, куда уже не ступит ничья нога, кроме его собственной,— пока в одной из комнат вдруг перед ним и за ним не закроются двери и он не предстанет перед самой владычицей черных стай. И в этот миг защелкнутся замки всех других дверей, через которые он прошел, и лишь далеко перед стенами тени темноты будут, как черные евнухи, стоять на страже и даже близко не подпустят людей.

Такого вида была его одинокость, с тех пор как его тогда бросили — в лесу, где он плакал. Она обладала для него прелестью женщины и нечеловеческого. Он чувствовал ее как женщину, но ее дыхание было лишь стеснение в собственной груди, ее лицо — головокружительным забвением всех человеческих лиц, движения ее рук были мурашками, бежавшими у него по телу...

Он боялся этой фантазии, сознавая ее необузданную тайность, и его беспокоила мысль, что такие картины будут приобретать все бóльшую власть над ним. Но как раз тогда, когда он казался себе особенно серьезным и чистым, они-то и возникали. Как реакция, можно сказать, на эти мгновения, когда он предугадывал чувственное знание, которое уже в нем готовилось, но еще не соответствовало его опыту. Ибо в развитии всякой тонкой нравственной силы есть такая ранняя точка, когда она ослабляет душу, чьим самым смелым опытом она, возможно, когда-нибудь будет — как если бы корни ее должны были сперва опасть, чего-то ища, и разворошить грунт, который им потом суждено укрепить,— отчего у юноши с бóльшим будущим бывает обычно богатое унижениями прошлое.

Пристрастие Тёрлеса к определенным настроениям было первой приметой того душевного развития, которое позднее проявилось в таланте удивляться. Дело в том, что в дальнейшем им прямо-таки овладела одна странная способность. Она заставляла его воспринимать события, людей, а порой и самого себя так, что у него при этом возникало чувство, с одной стороны, неразрешимой непонятности, с другой — необъяснимого, ничем не оправданного родства. Они казались ему до осязаемости понятными и все же никогда без остатка не растворяющимися в словах и мыслях.

Между событиями и его «я», даже между его собственными чувствами и каким-то сокровеннейшим «я», которое жаждало быть ими понятым, всегда оставалась разделительная черта, по мере его приближения к ней отступавшая от его желания, как горизонт. Да, чем точнее охватывал он мыслями свои ощущения, чем более знакомыми становились они ему, тем более чужими и непонятными делались они для него одновременно, так что даже думалось уже, что не они отступают от него, а он сам удаляется от них и все же не может отделаться от ощущения, что приближается к ним.

Это странное, труднообъяснимое противоречие заполняло потом долгий отрезок его духовного развития, оно, казалось, разрывало ему душу и угрожало ей как главная ее проблема.

Пока же тяжесть этих борений сказывалась только в частой внезапной усталости и словно бы уже издали пугала Тёрлеса, как только какое-нибудь сомнительное, странное настроение — как сейчас — напоминало о них. Он представился себе тогда таким же бессильным, как узник, на котором поставили крест, одинаково отрезанным от себя и от мира; ему впору было кричать от пустоты и отчаяния, а он вместо того словно бы отворачивался от этого серьезного и полного ожидания, измученного и усталого человека в себе и прислушивался — еще испуганный этим внезапным самоотречением и уже восхищенный их теплым, грешным дыханием — к шепчущим голосам, которые находило для него одиночество.

. . . . . .

Тёрлес вдруг предложил расплатиться. В глазах Байнеберга блеснуло понимание; он знал это настроение. Тёрлесу это согласие было противно; его отвращение к Байнебергу ожило снова, и он почувствовал себя опозоренным общностью с ним.

Но другого и нечего было тут ждать. Позор — это добавочное одиночество и новая мрачная стена.

И они молча зашагали по уже определенному пути.

В последние минуты прошел, по-видимому, небольшой дождь — воздух был влажный и тяжелый, вокруг фонарей дрожал пестрый туман, а тротуары поблескивали.

Тёрлес плотно прижал к телу ударявшуюся о плиты мостовой шпагу, но даже стук каблуков оглушал его почему-то.

Вскоре под ногами у них была мягкая земля, они удалились от центра города и по широким деревенским улицам шагали к реке.

Черная и ленивая, она с грудным бульканьем ворочалась под деревянным мостом. Один-единственный фонарь стоял тут с пыльными и разбитыми стеклами. Свет беспокойно гнувшегося от ветра пламени падал иногда на бегущую волну и растекался по ее тылу. Бревна настила отзывались на каждый шаг... откатывались вперед и возвращались на место...

Байнеберг остановился. Противоположный берег густо порос деревьями, которые, поскольку дорога сворачивала под прямым углом и шла дальше вдоль воды, стояли грозной, черной, непроницаемой стеной. Лишь после осторожных поисков нашлась узкая, скрытая тропка, которая вела прямо вглубь. Густой, сильно разросшийся подлесок, за который задевала одежда, каждый раз обдавал брызгами. Вскоре им пришлось снова остановиться и зажечь спичку. Стояла полная тишина, даже плеска реки не было уже слышно. Вдруг до них донесся издалека неясный, прерывистый звук. Он походил на крик или на предостережение. Или просто на возглас непонятного существа, которое вот-вот вырвется к ним из кустов. Они двинулись на звук, остановились, двинулись снова. Всего прошло, вероятно, четверть часа, когда они, облегченно вздохнув, различили громкие голоса и звуки гармони.

Деревья стояли теперь реже, и после нескольких шагов они оказались на краю прогалины, посреди которой грузно высилось квадратное трехэтажное здание.

Это было старинное купальное заведение. Когда-то оно служило жителям городка и окрестным крестьянам для лечебных целей, но уже много лет стояло почти пустым. Только на первом его этаже приютился трактир.

Оба остановились и прислушались.

Тёрлес выставил было вперед ногу, чтобы выйти из кустов, как вдруг в сенях дома загрохотали по полу тяжелые сапоги и какой-то пьяный вышел нетвердым шагом на воздух. За ним, в тени сеней, стояла женщина, и слышно было, как она что-то шепчет торопливым, злым голосом, словно чего-то от него требуя... Мужчина рассмеялся в ответ, пошатываясь. Затем донеслось что-то похожее на просьбы. Но и это нельзя было разобрать. Слышалось только вкрадчивое, уговаривающее звучанье голоса. Женщина вышла теперь ближе и положила руку мужчине на плечо. Луна осветила ее — ее юбку, ее кофту, ее просящую улыбку.

Мужчина смотрел прямо вперед, качал головой и не вынимал руки из карманов. Затем он сплюнул и оттолкнул женщину. Теперь удавалось разобрать и их голоса, которые стали громче.

— ...Так ты ничего не дашь? Ах, ты...

— Ступай наверх, мразь!

— Что? Вот жмот сиволапый!

В ответ пьяный, тяжело двигаясь, поднял камень.

— Если сейчас не отстанешь, дура ты непотребная, хрясну тебя по горбу!

И он замахнулся. Тёрлес услышал, как женщина, выругавшись напоследок, убежала по лестнице.

Мужчина постоял, в нерешительности держа камень в руках. Он засмеялся, посмотрел на небо, где между черными тучами плыла желтая, как вино, луна; затем уставился в темную изгородь кустов, словно раздумывая, не махнуть ли туда. Тёрлес осторожно убрал выставленную вперед ногу, он чувствовал сердцебиение у самого горла. Наконец пьяный, видимо, опомнился. Его рука выронила камень. С резким, торжествующим смехом он крикнул в окно какую-то грубую непристойность, затем скрылся за углом.

Оба стояли все еще неподвижно.

— Ты узнал ее? — шепнул Байнеберг.— Это была Божена.

Тёрлес не ответил; он прислушивался, не возвращается ли пьяный. Затем Байнеберг подтолкнул его вперед. Быстрыми, осторожными шагами прошли они — мимо пятна света, клином падавшего из окна первого этажа,— в темные сени. Тесными поворотами поднималась на второй этаж деревянная лестница. Тут услышали, вероятно, их шаги по скрипящим ступенькам, или о дерево ударилась шпага: дверь шинка открылась, и кто-то вышел посмотреть, кто пришел, а гармонь вдруг умолкла и шум голосов на миг выжидающе стих.

Тёрлес испуганно пробирался поворотами лестницы. Но несмотря на темноту, его, кажется, заметили, ибо он слышал, как насмешливый голос официантки, когда дверь опять закрывалась, что-то сказал, после чего последовал хохот.

На лестничной площадке второго этажа было совершенно темно. Ни Тёрлес, ни Байнеберг не решались сделать ни шага вперед, не уверенные, что они не опрокинут чего-нибудь и не поднимут шум. Подгоняемые волнением, они торопливыми пальцами искали дверную ручку.

. . . . . .

Божена крестьянской девушкой приехала в большой город, где пошла в прислуги и стала горничной.

Жилось ей сначала очень хорошо. Крестьянский облик, который она, как и широкую, твердую походку, не совсем утратила, обеспечивал ей доверие хозяек, любивших в этом запахе коровника, от нее как бы исходившем, ее простоту, и любовь хозяев, ценивших этот аромат. Только, наверно, из каприза, да еще, может быть, из-за недовольства и глухой тоски по страсти бросила она свою удобную жизнь. Она стала официанткой,

заболела, нашла пристанище в каком-то элегантном борделе и постепенно, по мере того как распутная жизнь истощала ее, снова покатилась в провинцию — все дальше и дальше.

Здесь наконец, где она уже много лет жила неподалеку от своей родной деревни, она днем помогала в трактире, а вечерами читала дешевые романы, курила папиросы и от случая к случаю принимала мужчин.

Она еще не стала совсем безобразна, но лицо ее было на диво лишено всякой привлекательности, и она прямо-таки старалась еще сильней подчеркнуть это своей повадкой. Она всячески показывала, что ей хорошо знакомы блеск и суета высшего света, но что для нее это пройденный этап. Она любила говорить, что ей на это, как и на себя, как и на все вообще, наплевать. Несмотря на свою запущенность, она пользовалась поэтому известным уважением у окрестных крестьянских сыновей. Они хоть и отплевывались, когда о ней говорили, хоть и считали себя обязанными быть с ней еще грубее, чем с другими девушками, но, в сущности, еще как гордились этой «окаянной девкой», которая вышла из их среды и так сумела узнать изнанку мира. Хоть и поодиночке и украдкой, а снова и снова приходили они побеседовать с ней. В этом Божена находила какой-то остаток гордости, оправдание своей жизни. Но еще, может быть, большее удовлетворение доставляли ей молодые господа из училища. Перед ними она нарочно выставляла самые грубые и некрасивые свои свойства, потому что те все равно, как она выражалась, приползут к ней.

Когда приятели вошли, она, как обычно, лежала на кровати, курила и читала.

Еще стоя в дверях, Тёрлес жадными глазами вобрал в себя это зрелище.

— Бог ты мой, что за милые мальчики пожаловали! — встретила она насмешливым возгласом вошедших, немного презрительно их оглядывая.— Никак ты, барон? А что скажет мама по этому поводу?

Такое начало было в ее духе.

— Ну, хватит...— пробормотал Байнеберг и сел к ней на кровать. Тёрлес сел в стороне; ему было досадно, что Божена не обращала на него внимания и делала вид, будто не знает его.

Приходы к этой женщине стали в последнее время его единственной и тайной радостью. К концу недели он уже волновался и не мог дождаться воскресенья, когда он вечером будет красться к ней. Занимала его главным образом эта необходимость красться. Если бы, например, тому пьяному малому у трактира вздумалось погнаться за ним? Просто ради удовольствия всыпать блудливому барчуку? Он не был труслив, но он знал, что тут он беззащитен. Против этих кулачищ изящная шпага показалась ему насмешкой. А кроме того, стыд и наказание, которых ему бы не миновать! Ему ничего не осталось бы, как удрать или просить пощады. Или искать защиты у Божены. Эта мысль проняла его насквозь. Вот оно самое! Только это! Ничего другого! Этот страх, эта капитуляция манили его каждый раз заново. Этот уход от своего привилегированного положения, когда окажешься среди простых людей... ниже их!

Он не был порочен. При осуществлении всегда перевешивали отвращение к своей затее и страх перед возможными последствиями. Только фантазия приняла у него нездоровое направление. Когда дни недели один за другим ложились на его жизнь свинцовой тяжестью, его начинали манить эти едкие раздражители. Из воспоминаний о его приходах к Божене возникал своеобразный соблазн. Она представлялась ему существом чудовищной низости, а его отношение к ней, чувства, через которые он должен был тут пройти, жестоким культом самопожертвования. Его манило оставить все, что обычно замыкало его: свое привилегированное положение, мысли и чувства, которые ему прививали, все то, что ничего ему не давало и подавляло его. Его манило самозабвенно убежать к этой женщине, голым, ничем не прикрытым.

Это не было иначе, чем у молодых людей вообще. Будь Божена чиста

и красива и будь он тогда способен любить, он, может быть, кусал бы ее, усиливал бы до боли ее и свое сладострастье. Ибо первая страсть взрослеющего человека — это не любовь к одной, а ненависть ко всем. Чувство, что ты не понят, и непонимание мира вовсе не сопровождают первую страсть, а суть ее единственная неслучайная причина. А сама она — бегство, при котором быть вдвоем значит быть в удвоенном одиночестве.

Почти каждая первая страсть длится недолго и оставляет горький осадок. Она есть заблуждение, разочарование. Потом не понимаешь себя и не знаешь, кого винить. Происходит это оттого, что люди в этой драме друг для друга большей частью случайны — случайные попутчики по бегству. Успокоившись, они друг друга уже не узнают. Они замечают друг в друге противоположности, потому что уже не замечают общего.

У Тёрлеса это было иначе только потому, что он был один. Стареющая униженная проститутка была не в силах раскрепостить его до конца. Однако она была женщиной до такой степени, что как бы преждевременно вырвала на поверхность какие-то части его души, которые, как зреющие зачатки, еще ждали оплодотворяющего мгновения.

Отсюда-то и шли его странные мечтания и фантастические соблазны. Но почти так же сильно хотелось ему порой броситься на землю и закричать от отчаяния.

. . . . . .

Божена все еще не обращала внимания на Тёрлеса. Казалось, она делала это со злости, только чтобы его раздосадовать. Внезапно она прервала разговор:

— Дайте мне денег, я схожу за чаем и за водкой.

Тёрлес дал ей одну из серебряных монет, которые днем получил от матери. Божена взяла с подоконника спиртовку со множеством вмятин и зажгла горелку; затем стала медленно и шаркающей походкой спускаться по лестнице.

Байнеберг толкнул Тёрлеса.

— Почему ты такой скучный? Она подумает, что ты трусишь.

— Не втягивай меня,— попросил Тёрлес,— у меня нет настроения. Беседуй с ней один. С чего это она, кстати, то и дело заговаривает о твоей матери?

— С тех пор как она знает мою фамилию, она утверждает, что служила у моей тетки и знала мою мать. Отчасти это, по-видимому, правда, но отчасти она, конечно, врет — просто удовольствия ради; хотя мне непонятно, что ее тут забавляет.

Тёрлес покраснел; поразительная мысль пришла ему в голову... Но тут вернулась Божена с водкой и снова села рядом с Байнебергом на кровать. И сразу же продолжила прежний разговор.

— ...Да, твоя мама была красивая девушка. Ты со своими оттопыренными ушами нисколько на нее не похож. И веселая. Не одному, наверно, кружила голову. И права была.

После небольшой паузы ей вспомнилось, видно, что-то особенно веселое.

— Твой дядя, драгунский офицер, помнишь? Кажется, Карл его звали, он был кузен твоей матери, так вот, он тогда ухаживал за ней. А по воскресеньям, когда дамы были в церкви, приставал ко мне. Каждую минуту требовал принести ему в комнату то одно, то другое. Собой он был хоть куда, до сих пор помню, только уж совсем не стеснялся...

Она сопровождала эти слова многозначительным смехом. Затем стала дальше распространяться на эту тему, доставлявшую ей, видимо, особое удовольствие. Ее речь была развязна, и говорила она так, словно хотела замарать каждое слово в отдельности.

— ...Думаю, он и матери твоей нравился. Если бы она только узнала это! Наверно, твоей тетке пришлось бы выгнать из дома меня и его. Таковы уж эти благородные дамы, особенно когда у них еще нет мужа. Божена,

миленькая, сходи, Божена, миленькая, принеси,— только и слышно было весь день. А когда кухарка забеременела, тут бы послушал! Они, с них станет, думали, что наша сестра ноги моет только раз в год. Кухарке, правда, они ничего не сказали, но я кое-что услыхала, когда прислуживала в комнате, а они как раз говорили об этом. Твоя мать сделала такое лицо, словно готова напиться одеколона. А вскоре твоя тетка сама ходила с брюхом до носа...

Во время речи Божены Тёрлес чувствовал себя почти беззащитным перед ее мерзкими намеками.

То, что она описывала, он живо видел перед собой. Мать Байнеберга превратилась в его собственную. Он вспоминал светлые комнаты родительской квартиры. Ухоженные, чистые, неприступные лица, которые дома во время званых обедов часто внушали ему какое-то благоговение, прохладные руки, которые даже за едой, казалось, не давали себе ни малейшей поблажки. Множество таких подробностей вспоминалось ему, и ему было стыдно находиться в такой дурно пахнущей комнатушке и вздрагивать от унизительных слов какой-то девки. Воспоминание о совершенных манерах этого никогда не забывающего о форме общества оказало на него более сильное воздействие, чем всякие моральные соображения. Метание его темных страстей показалось ему смешным. С провидческой ясностью увидел он холодное, отклоняющее движение руки, смущенную улыбку, с которыми его отстранили бы от себя, как маленького неопрятного зверька. Тем не менее он, как привязанный, остался сидеть на своем месте.

С каждой подробностью, какую он вспомнил, в нем, наряду со стыдом, вырастала и цепь гадких мыслей. Она началась, когда Байнеберг сделал то пояснение к речам Божены, после которого Тёрлес покраснел.

Тогда он вдруг невольно подумал о собственной матери, и это засело, это ему не удавалось стряхнуть. Это только промелькнуло у него на границе сознания... с быстротой молнии, в смутной дали... на краю... мимолетно... Это и мыслью-то назвать нельзя было. И тут же вереницей побежали вопросы, которые должны были это прикрыть: «С какой стати эта Божена ставит свою низкую личность рядом с личностью моей матери? С какой стати проталкивается к ней в тесноте одной и той же мысли? Почему не делает земного поклона, раз уж ей нужно о ней говорить? Почему нет ничего, что как пропасть выразило бы отсутствие тут какой бы то ни было общности? Ведь как же так? Эта женщина для меня сгусток всяческой похоти; а моя мать — существо, которое до сих пор проходило через мою жизнь в безоблачной дали, ясно и без снижений, как небесное тело, по ту сторону всякого вожделения...»

Но все эти вопросы не были сутью дела, не затрагивали ее. Они были чем-то вторичным; чем-то, что пришло Тёрлесу на ум лишь впоследствии. Они потому и множились, что ни один не попадал в точку. Они были лишь увертками, парафразами того факта, что неосознанно, неожиданно, инстинктивно появилась некая психологическая связь, которая еще до того, как они возникли, ответила на них в недобром смысле. Тёрлес пожирал глазами Божену и при этом не мог забыть свою мать; через него проходила цепь соединявшей обеих связи. Все остальное было лишь барахтаньем в этом сплетении образов. Их сплетенность была единственным фактом. Но из-за тщетности попыток сбросить с себя его гнет факт этот приобретал страшное, неясное значение, которое сопровождало всяческие усилия словно бы коварной усмешкой.

. . . . . .

Тёрлес огляделся в комнате, чтобы освободиться от этого. Но все уже приняло один этот смысл. Железная печурка с пятнами ржавчины сверху, кровать с шаткими столбиками и крашеной спинкой, с которой во многих местах облупилась краска, грязные постельные принадлежности, проглядывавшие сквозь дыры ветхой простыни; Божена, ее рубашка, сползшая с одного плеча, пошлый, крикливо-красный цвет ее юбки, ее заливистый

смех во весь рот; наконец, Байнеберг, чье поведение по сравнению с обычным казалось ему поведением какого-то беспутного священника, который, сбесившись, вплетает двусмысленности в строгие формулы молитвы... Все это толкало в одну сторону, теснило его и насильно сворачивало его мысли все назад и назад.

Лишь в одном месте нашли покой его взгляды, затравленно перебегавшие с одного на другое. Это было выше маленькой занавески. Там с неба заглядывали в комнату тучи и неподвижно стояла луна.

Казалось, он вышел вдруг на свежий, спокойный ночной воздух. На миг все его мысли стихли. Затем пришло одно приятное воспоминание. Загородный дом, где они жили последним летом. Ночи в молчащем парке. Дрожащий звездами, бархатно-темный небосвод. Голос матери из глубины сада, где она гуляла с папой по слабо светившимся гравийным дорожкам. Песни, которые она негромко сама себе напевала. Но тут — его прямо-таки пронзило — опять возникало это мучительное сравнение. Что они оба могли тогда чувствовать? Любовь? Нет, мысль эта впервые пришла к нему сейчас. Это вообще нечто совсем другое. Это не для больших и взрослых людей. И уж вовсе не для его родителей. Сидеть ночью у открытого окна и чувствовать себя всеми покинутым, чувствовать себя другим, чем большие, превратно понятым при каждом смешке, при каждом насмешливом взгляде, не быть в силах никому объяснить, что́ ты уже значишь, и мечтать о той, которая это поймет,— вот что такое любовь! Но для этого нужно быть молодым и одиноким. У них это было, наверно, что-то другое. Что-то спокойное и невозмутимое. Мама просто пела вечером в темном саду, и ей было весело.

Но этого-то как раз и не понимал Тёрлес. Терпеливые планы, которые для взрослых — а они этого и не замечают — сцепляют дни в месяцы и годы, были ему еще чужды. Как и то отупение, для которого даже никакого вопроса нет уже в том, что вот и еще один день подходит к концу. Его жизнь была направлена на каждый день. Каждая ночь означала для него ничто, могилу, погашенность. Способности каждодневно ложиться умирать, не испытывая из-за этого беспокойства, он еще не приобрел.

Поэтому он всегда подозревал за ней что-то, что от него скрывают. Ночи казались ему темными вратами к таинственным радостям, которые от него утаили, отчего его жизнь была пуста и несчастна.

Он вспомнил странный смех матери и то, как она — он увидел это в один из тех вечеров — в шутку прижалась к плечу мужа. Это, казалось, исключало какое бы то ни было сомнение. Из мира этих спокойных, стоящих выше всяких подозрений тоже должна была вести сюда какая-то дверца. И зная, что так оно и есть, он мог думать об этом только с той определенной улыбкой, злой недоверчивости которой он тщетно сопротивлялся...

Божена тем временем продолжала рассказывать. Тёрлес слушал вполуха. Она говорила о ком-то, кто тоже приходит чуть ли не каждое воскресенье...

— Как его фамилия? Он из твоего набора.

— Райтинг?

— Нет.

— Какого он вида?

— Он приблизительно такого же роста, как этот,— Божена указала на Тёрлеса,— только голова у него великовата.

— А, Базини?

— Да, да, так он назвал себя. Очень смешной. И благородный. Пьет только вино. Но глупый. Это стоит ему кучу денег, а он ничего не делает, только что-нибудь рассказывает мне. Он хвастается романами, которые будто бы крутит дома. Какой только ему от этого толк? Я же вижу, что он в первый раз в жизни пришел к бабе. Ты тоже еще мальчишка, но ты нахальный. А он неловкий и боится этого, потому и расписывает мне, как

должен обходиться с женщинами сластолюбец — да, так он сказал. Он говорит, что все бабы ничего другого не стоят. Откуда вам это знать уже?

Байнеберг ответил ей насмешливой ухмылкой.

— Смейся, смейся! — весело прикрикнула на него Божена.— Я его как-то спросила, неужели ему не стыдно было бы перед матерью. «Мать?.. Мать? — говорит он в ответ.— Что это такое? Этого теперь не существует. Это я оставил дома, перед тем как пошел к тебе...» Да, открой свои длинные уши, все вы такие! Миленькие вы сыночки, мальчики из барских семей. Ваших матерей мне просто жаль!..

При этих словах у Тёрлеса снова возникло то прежнее ощущение, что он все оставил позади и предал образ родителей. И теперь он увидел, что даже ничего ужасного этим не совершил, а совершил только что-то вполне обыкновенное. Ему стало стыдно. Но и другие мысли тоже вернулись. Они тоже так поступают! Они предают тебя! У тебя есть тайные партнеры! Может быть, у них это как-то иначе, но одно у них должно быть таким же — тайная, ужасная радость. Что-то, в чем можно утопить себя со всем своим страхом перед однообразием дней... Может быть, они даже больше знают?! Что-то совсем необыкновенное? Ведь днем они такие успокоенные... и этот смех матери?.. Словно она спокойным шагом шла закрывать все двери.

. . . . . .

В этом противоборстве наступило мгновение, когда Тёрлес сдался и скрепя сердце покорился буре.

И как раз в это мгновение Божена встала и подошла к нему.

— А почему маленький ничего не говорит? Он чем-то огорчен?

Байнеберг что-то шепнул и зло улыбнулся.

— Что, тоска по дому? Мама, что ли, уехала? И этот гадкий мальчишка сразу бежит к такой!..

Божена ласково зарыла растопыренные пальцы в его волосы.

— Брось, не глупи. Ну-ка, поцелуй меня. Благородные люди тоже не марципановые.

И она запрокинула ему голову.

Тёрлес хотел что-то сказать, заставить себя отпустить какую-нибудь грубую шутку, он чувствовал, что все сейчас зависит от того, чтобы сказать какое-нибудь безразличное, пустое слово, но он не издал ни звука. С окаменевшей улыбкой глядел он в это беспутное лицо, склонившееся над его лицом, в эти неясные глаза, затем внешний мир стал уменьшаться... уходить все дальше... На миг возник облик того малого, что поднял камень, и показалось, что тот смеется над ним... затем он остался совсем один...

— Знаешь, я нашел его,— прошептал Райтинг.

— Кого?

— Того, кто тащит из тайничков.

Тёрлес только что вернулся с Байнебергом. Подступало время ужина, и дежурный надзиратель уже ушел. Между зелеными столами образовались группы болтающих, и в зале гудела и жужжала теплая жизнь.

Это был их обычный класс с белеными стенами, большим черным распятием и портретами августейшей четы по обе стороны доски. У большой железной печки, которую еще не топили, сидели, частью на подиуме, частью на поваленных стульях, те молодые люди, что днем провожали на станцию супругов Тёрлесов. Кроме Райтинга, это были длинный Гофмайер и Джюш — такую кличку носил один маленький польский граф.

Тёрлесу было до некоторой степени любопытно.

Тайнички стояли в глубине комнаты и представляли собой длинные шкафы со множеством запирающихся выдвижных ящиков, где питомцы училища хранили свои письма, книги, деньги и всякие мелочи.

И уже довольно давно некоторые жаловались, что у них пропадали

мелкие суммы денег, однако определенных предположений никто не высказывал.

Байнеберг был первым, кто мог с уверенностью сказать, что у него — на прошлой неделе — украли крупную сумму. Но знали об этом только Райтинг и Тёрлес.

Они подозревали служителей.

— Ну, рассказывай! — попросил Тёрлес, но Райтинг быстро сделал ему знак:

— Тсс! Позднее. Еще никто об этом не знает.

— Служитель? — прошептал Тёрлес.

— Нет.

— Хотя бы намекни — кто?

Райтинг отвернулся от остальных и тихо сказал: «Б.». Никто, кроме Тёрлеса, ничего не понял из такого осторожного разговора. Но на Тёрлеса эта новость подействовала как внезапный набег. Б.? — это мог быть только Базини. Но это же было невозможно! Его мать была состоятельной дамой; его опекун носил титул «превосходительство». Тёрлесу не верилось, а на ум приходил рассказ Божены.

Он едва дождался минуты, когда все пошли ужинать. Байнеберг и Райтинг остались, сославшись на то, что сыты по горло еще с послеполуденной трапезы.

Райтинг предложил все-таки подняться сначала «наверх».

Они вышли в коридор, бесконечно тянувшийся перед учебным залом. Колышущееся пламя газовых рожков освещало его лишь на коротких участках, и шаги отдавались от ниши к нише даже при всем старании ступать неслышно...

Метрах в пятидесяти от двери шла лестница на третий этаж, где находились естественно-исторический музей, другие собрания учебных пособий и множество пустующих комнат.

Здесь лестница делалась узкой и поднималась к чердаку прямоугольными поворотами коротких маршей. И поскольку старые здания часто бывают построены нелогично, с избытком закоулков и ненужных ступенек, она уходила значительно выше уровня чердака, так что по ту сторону железной запертой двери, у которой она заканчивалась, для спуска на чердак потребовалась особая деревянная лесенка.

А по эту сторону возникло, таким образом, укромное помещение высотой в несколько метров, до самых балок. Сюда никто не ходил, и здесь были свалены старые кулисы, оставшиеся с незапамятных времен от каких-то спектаклей.

Дневной свет даже в светлые полдни задыхался на этой лестнице в сумраке, который был насыщен старой пылью, ибо этим ходом на чердак, расположенным у крыла мощного здания, почти никогда не пользовались.

На последней площадке лестницы Байнеберг перемахнул через перила и, держась за их прутья, стал спускаться к кулисам, за ним последовали Райтинг и Тёрлес. Там опорой им послужил ящик, специально для этого туда заброшенный, а с него уж они спрыгнули на пол.

Даже если бы глаза стоящего на лестнице привыкли к темноте, он различил бы оттуда не больше, чем беспорядочное нагромождение коряВых, сдвинутых как попало кулис.

Но когда Байнеберг немного отодвинул одну из них, стоявшим внизу открылся узкий и длинный проход.

Здесь было совершенно темно, и надо было очень хорошо знать это место, чтобы пробраться дальше. То и дело раздавалось шуршанье одной из этих больших полотняных стенок, когда ее задевали, что-то рассыпалось по полу, словно вспугнули мышей, и тянуло затхлым духом старого сундука.

Трое привыкших к этой дороге пробирались вперед с бесконечной осторожностью, на каждом шагу стараясь не наткнуться на одну из веревок,

натянутых над полом, чтобы служить ловушкой и предупреждать об опасности.

Прошло немало времени, прежде чем они добрались до маленькой двери, навешенной справа, почти перед самой стеной, отделявшей чердак.

Когда Байнеберг открыл ее, они оказались в узкой клетушке под верхней лестничной площадкой; при мерцанье зажженной Байнебергом плошки комната эта имела довольно фантастический вид.

Потолок был горизонтален только в той части, что находилась непосредственно над площадкой, но и здесь лишь такой высоты, что едва можно было выпрямиться во весь рост. А сзади, повторяя профиль лестницы, он скашивался и кончался острым углом. Передней, противоположной этому скосу стороной клетушка примыкала к тонкой перегородке, отделявшей чердак от лестничной клетки, а в длину имела естественной границей каменную стену, по которой шла лестница. Только вторая боковая стенка, где была навешена дверь, казалась специально пристроенной. Своим возникновением она была обязана, вероятно, намерению устроить небольшую кладовку для инструментов, а может быть, просто прихоти архитектора, которому при взгляде на этот темный угол пришла в голову средневековая идея заделать его стеной и превратить в укрытие.

Во всяком случае, кроме этих троих, во всем училище не было, пожалуй, никого, кто знал бы о существовании этого помещения, а тем более вздумал бы предназначить его для чего-то.

Поэтому они смогли оборудовать его целиком на свой взбалмошный вкус.

Стены были полностью задрапированы кроваво-красной материей, которую Райтинг и Байнеберг стащили из какой-то чердачной комнаты, а пол был покрыт двойным слоем толстых грубошерстных одеял, которыми в спальных залах дополнительно укрывались зимой. В передней части каморки стояли низкие, обитые материей ящички, служившие сиденьями; сзади, где пол и потолок сходились острым углом, было устроено спальное место. Ложе это помещало трех-четырех человек и занавеской могло быть затемнено и отделено от передней части клетушки.

На стене у двери висел заряженный револьвер.

Тёрлес не любил этой каморки. Ее теснота и эта уединенность ему, правда, нравились, здесь он чувствовал себя как внутри горы, и запах старых, пропылившихся кулис будил в нем какие-то неопределенные ощущения. Но эта потаенность, эти веревочные сигналы тревоги, этот револьвер, призванный создавать полную иллюзию непокорности и секретности, казались ему смешными. Как будто кто-то хотел убедить себя, что ведет разбойничью жизнь.

Тёрлес участвовал в этом, собственно, лишь потому, что не хотел отставать от обоих. А Байнеберг и Райтинг относились к этим вещам ужасно серьезно. Тёрлес это знал. Он знал, что у Байнеберга есть ключи ко всем подвальным и чердачным помещениям училища. Знал, что тот часто на много часов исчезал из класса, чтобы где-то — высоко наверху среди брусьев стропильной фермы или под землей в одном из множества разветвленных заброшенных подвалов — сидеть и при свете фонарика, который он всегда носил с собой, читать или предаваться мыслям о вещах сверхъестественных.

Подобное он знал и о Райтинге. У того тоже были свои укромные места, где он хранил тайные дневники; только они были заполнены дерзкими планами на будущее и точными записями о причине, начале и ходе многочисленных интриг, которые он затевал среди товарищей. Ибо для Райтинга не было большего удовольствия, чем натравливать друг на друга людей, побеждать одного с помощью другого и наслаждаться вынужденными любезностями и лестью, под покровом которых он чувствовал внутреннее сопротивление ненависти.

— Я упражняюсь таким образом,— было единственное его оправда-

ние, и он говорил это с милой улыбкой. Также в виде упражнения он почти ежедневно боксировал в каком-нибудь отдаленном месте то со стеной, то с дверью, то со столом, чтобы укрепить мышцы и сделать руки твердыми от мозолей.

Тёрлес все это знал, но понимал лишь до определенной точки. Он несколько раз следовал и за Райтингом, и за Байнебергом по их своенравным путям. Ведь необычность этого ему нравилась. И еще он любил выходить затем на дневной свет, к товарищам, в гущу веселья, когда еще чувствовал, как в нем, в его глазах и ушах, еще трепещут волнения одиночества и видения темноты. Но когда в таких случаях Байнеберг или Райтинг, чтобы с кем-то поговорить о себе, объясняли ему, что́ их ко всему этому побуждало, он не мог их понять. Райтинга он находил даже эксцентричным. Тот любил говорить о том, что отец его был человек удивительно непоседливый, а потом и пропал без вести. Его фамилия будто бы вообще лишь скрывала истинную, принадлежавшую очень высокому роду. Он думал, что мать когда-нибудь еще посвятит его в далеко идущие притязания, рассчитывал на какие-то государственные перевороты и большую политику и хотел ввиду этого стать офицером.

Таких намерений Тёрлес и представить себе не мог как следует. Века́ революций, казалось ему, миновали раз и навсегда. Однако Райтинг умел принимать все всерьез. Он был тиран и безжалостен к тем, кто сопротивлялся ему. Его приверженцы менялись со дня на день, но большинство было всегда на его стороне. В этом состоял его талант... Против Байнеберга он год или два назад вел великую войну, которая кончилась для того поражением. Байнеберг оказался под конец в довольно большой изоляции, хотя умением оценивать людей, хладнокровием и способностью вызывать неприязнь к неугодным ему он вряд ли уступал своему противнику. Но ему не хватало милых и располагающих черт Райтинга. Его спокойствие и его философская невозмутимость внушали почти всем недоверие. Чувствовалось что-то гнусное и гадкое в глубине его души. Тем не менее он доставил Райтингу изрядные неприятности, и победа последнего была почти случайной. С тех пор они в интересах обоих держались вместе.

А Тёрлеса эти вещи не занимали. Поэтому и ловкости в них у него не было. Однако он тоже жил в этом мире и мог каждодневно воочию видеть, что значит быть в государстве — ведь каждый класс в таком заведении — это маленькое отдельное государство — на первых ролях. Оттого он испытывал какое-то робкое почтение к обоим своим друзьям. Порывы подражать им, иногда у него возникавшие, не шли дальше дилетантских попыток. Поэтому, будучи и так-то моложе, он оказался по отношению к ним в положении ученика или помощника. Он пользовался их защитой, а они прислушивались к его советам. Ибо ум Тёрлеса был очень подвижен, стоило его навести на след, он с необычайной плодовитостью придумывал самые хитроумные комбинации. Никто не мог так точно, как он, предсказать разные возможности, которых можно ждать от поведения человека в тех или иных обстоятельствах. Только когда надо было принять решение, на свой страх и риск остановиться на одной из имеющихся психологических возможностей и действовать в соответствии с этим, он пасовал, терял интерес и не проявлял энергии. Однако его роль тайного начальника генерального штаба доставляла ему удовольствие. Тем более что она была почти единственным, что немного рассеивало его душевную скуку.

Но иногда до его сознания все-таки доходило, что́ он теряет из-за этой дешевой зависимости. Он чувствовал, что для него все, что он делает, только игра. Только что-то такое, что помогает ему преодолеть это личиночное прозябание в училище. Что-то не имеющее отношения к его истинной сути, которая проявится лишь впоследствии, в еще неопределенно далеком будущем.

Видя при случае, насколько серьезно относятся оба его друга к таким вещам, он чувствовал, что ему этого не понять. Он с удовольствием

высмеял бы обоих, но боялся, что за их фантазиями таится больше правды, чем он способен уразуметь. Он чувствовал себя как бы разрываемым между двумя мирами — солидно-буржуазным, где, в общем-то, царили порядок и разум, как он к этому привык дома, и авантюрным, полным темноты, тайны, крови и поразительных неожиданностей. Один, казалось, исключал другой. Насмешливая улыбка, которую он был бы рад задержать на губах, и дрожь, пробегавшая у него по спине, скрещивались. Начиналось мелькание мыслей...

Тогда он жаждал почувствовать в себе наконец что-то определенное; твердые потребности, различающие хорошее и дурное, годное и негодное; жаждал сделать выбор, пусть неверный — и то лучше, чем сверхвосприимчиво вбирать в себя все...

Когда он вошел в каморку, эта внутренняя раздвоенность, как всегда здесь, взяла его в свою власть.

Райтинг тем временем начал рассказывать.

Базини должен был ему деньги и откладывал возвращение долга с одного срока на другой; каждый раз под честное слово.

— Я ведь не возражал,— сказал Райтинг,— чем дольше так тянулось бы, тем больше зависел бы он от меня. Ведь когда три или четыре раза не сдержишь слово — это же, в общем-то, не пустяк? Но наконец мои деньги понадобились мне самому. Я сказал ему об этом, и он поклялся всеми святыми. Слова, конечно, опять не сдержал. Тогда я заявил ему, что предам дело огласке. Он попросил двухдневной отсрочки, потому что, мол, ждал перевода от опекуна. А я тем временем навел справки об его обстоятельствах. Хотел выяснить, от кого он еще может зависеть — с этим ведь тоже надо считаться.

То, что я узнал, меня отнюдь не обрадовало. Он был в долгу у Джюша и у некоторых других. Часть этих долгов он уже вернул, конечно, из тех денег, которые должен был мне. С другими ему не терпелось рассчитаться. Меня это разозлило. Он считал меня самым добреньким? Мне это не было бы приятно. Но про себя я подумал: «Подождем. Найдется случай избавить его от таких заблуждений». Как-то в разговоре он назвал мне сумму ожидаемого перевода, чтобы успокоить меня, что она больше, чем причитающееся мне. Я порасспросил кое-кого и выяснил, что это далеко не покроет общую сумму его долгов. «Ага,— подумал я,— теперь он, наверно, попробует еще разок».

И правда, он доверительно подошел ко мне и попросил меня, поскольку другие очень торопят, сделать ему поблажку. Но на этот раз я остался совершенно холоден. «Ступай клянчить к другим,— сказал я ему,— я не привык уступать им дорогу». «Тебя я знаю лучше, к тебе у меня больше доверия»,— попробовал он. «Вот мое последнее слово: ты завтра принесешь мне деньги, или я поставлю тебе свои условия». «Что за условия?» — осведомился он. Жаль, что вы не слышали этого! Словно он готов был продать свою душу. «Что за условия? Ого! Ты должен будешь подчиняться мне во всем, что я ни предприму». «И только? Конечно, буду, мне и самому приятно быть с тобой заодно!» «О, не только когда это будет **для тебя** удовольствием. Ты должен будешь выполнять все, что я ни пожелаю — в слепом послушании!» Тут он посмотрел на меня искоса, и с ухмылкой, и смущенно. Он не знал, как далеко можно заходить, насколько серьезно это для меня. Он, наверно, был бы рад пообещать мне все, но, вероятно, боялся, что я только проверяю его. Наконец он сказал, покраснев: «Я отдам тебе деньги». Он забавлял меня, это был такой человек, которого я среди пятидесяти других совсем не замечал. Ведь он же в счет не шел, правда? И вдруг он очутился передо мной так близко, что я разглядел его полностью. Я точно знал, что он готов продаться — без всякого шума, лишь бы никто об этом не знал. Это был действительно сюрприз, и нет ничего прекраснее минуты, когда тебе вдруг вот так открывается человек, когда его манера жить, которой ты не замечал до сих пор, вдруг перед тобой как на ладони, словно ходы червя в распавшейся надвое деревяшке...

На следующий день он действительно вернул мне деньги. Больше того, он пригласил меня выпить с ним в клубе. Он заказал вино, пирожные, папиросы и попросил меня разрешить ему ухаживать за мной за столом — в «благодарность» за то, что я был так терпелив. Мне было только неприятно, что он держался как ни в чем не бывало. Как будто между нами не было обронено ни одного обидного слова. Я намекнул на это; он стал только еще сердечнее. Казалось, он хотел освободиться от меня, быть снова со мной на равных. Он делал вид, что ничего не помнит, через каждые два слова лез ко мне с уверениями в дружбе; только в глазах его было что-то цеплявшееся за меня, словно он боялся вновь потерять искусственно созданное чувство близости. Наконец он стал мне противен. Я думал: «Неужели он полагает, что я это проглочу?» — и размышлял, как нанести ему моральный удар. Я искал чего-нибудь пооскорбительней. Тут мне вспомнилось, что Байнеберг утром сказал мне, что у него украли деньги. Вспомнилось это совершенно невзначай. Но это вернулось. И у меня буквально сперло дыхание. «Это может быть удивительно кстати»,— подумал я и невзначай спросил его, сколько же у него еще денег. Расчет, который я на этом построил, оправдался. «Кто же настолько глуп, чтобы несмотря ни на что давать тебе еще деньги в долг?» — спросил я со смехом. «Гофмайер».

Я прямо-таки задрожал от радости. За два часа до того Гофмайер приходил ко мне и сам хотел занять денег. И то, что несколько минут назад мелькнуло у меня в голове, вдруг стало действительностью. Так случайно, в шутку, подумаешь: сгореть бы сейчас этому дому, а в следующий миг пламя уже вздымается к небу...

Я быстро еще раз перебрал все возможности, конечно, уверенности тут быть не могло, но моего чувства мне было достаточно. И я склонился к нему и сказал самым любезным тоном, так, словно мягко вгонял ему в мозг тонкую заостренную палочку: «Послушай, дорогой Базини, почему ты мне врешь?» Когда я это говорил, глаза у него, казалось, испуганно бегали, но я продолжал: «Кому-нибудь ты, может быть, и заморочишь голову, но я как раз не тот человек. Ты же знаешь, у Байнеберга...» Он не покраснел и не побледнел, казалось, будто он ждал, что сейчас разрешится какое-то недоразумение. «Короче,— сказал я тогда,— деньги, из которых ты вернул мне долг, ты сегодня ночью вытащил у Байнеберга из ящика».

Я откинулся, чтобы проследить за его впечатлением. Он побагровел; слова, которыми он давился, нагоняли ему на губы слюну; наконец он обрел дар речи. Это был целый поток обвинений по моему адресу: как осмелился я утверждать подобное, чем хоть сколько-нибудь оправдано такое гнусное предположение; я только ищу ссоры с ним, потому что он слабее; я делаю это лишь от досады, что после уплаты долга он от меня свободен; он обратится к классу... к старостам... к директору; Бог свидетель его невиновности, и так далее до бесконечности. Я уже и впрямь испугался, что поступил с ним несправедливо и оскорбил его ни за что — до того к лицу был ему румянец; у него был вид затравленного, беззащитного зверька. Но все же мне было невмоготу так сразу и спасовать. Я удерживал насмешливую улыбку — по сути только от смущения,— с которой слушал все его речи. Время от времени я кивал и спокойно говорил: «Но я же знаю».

Через некоторое время успокоился и он. Я продолжал улыбаться. У меня было такое чувство, что одной этой улыбкой я могу превратить его в вора, даже если он им еще не был. «А исправить ошибку,— думал я,— всегда можно будет и позже».

Еще через несколько минут, в течение которых он то и дело украдкой поглядывал на меня, он вдруг побледнел. С лицом его произошла странная перемена. Прежняя прямо-таки невинная миловидность исчезла, казалось, вместе с румянцем. Лицо стало зеленоватым, мучнистым, разбухшим. Раньше я видел такое только один-единственный раз — когда случайно проходил мимо по улице при задержании убийцы. Тот тоже расхаживал

среди других людей, и по виду его ни о чем нельзя было догадаться. Но когда полицейский положил руку ему на плечо, он вдруг стал другим человеком. Его лицо изменилось, и глаза его, испуганные, ищущие выхода, принадлежали уже физиономии висельника.

Об этом напомнил мне изменившийся вид Базини. Теперь я знал все и только ждал...

Так оно и вышло. Я ничего больше не говорил, и Базини, измученный молчанием, стал плакать и попросил у меня пощады. Он же взял деньги только от нужды, не догадайся я об этом, он скоро вернул бы их, и никто ничего не узнал бы. Не надо говорить, что он украл, он ведь просто тайком взял взаймы... Он не мог продолжать из-за слез.

А потом он снова начал умолять меня. Он готов повиноваться мне, делать все, что я ни пожелаю, только бы я никому об этом не рассказывал. За это он буквально предлагал мне себя в рабы, и смесь хитрости и жадного страха, трепетавшая при этом в его глазах, была отвратительна. Я коротко обещал ему подумать, как с ним поступить, но сказал, что это прежде всего дело Байнеберга. Как нам, по-вашему, быть с ним?

Рассказ Райтинга Тёрлес слушал молча, с закрытыми глазами. Время от времени озноб пробирал его до кончиков пальцев, и в голове его мысли бурно и беспорядочно всплывали рывками, как пузыри в кипящей воде. Говорят, что так бывает с тем, кто в первый раз видит женщину, которой суждено завлечь его в разрушительную страсть... Утверждают, что есть такое мгновение, когда сгибаешься, собираешься с силами, затаиваешь дыхание, мгновение внешнего безмолвия над напряженнейшей внутренней связью между двумя людьми. Никак нельзя сказать, что́ происходит в это мгновение. Оно как бы тень, которую страсть бросает вперед. Органическая тень; ослабление всех прежних напряжений и в то же время состояние внезапной, новой связанности, в котором уже содержится все будущее; инкубация, сведенная к остроте укола иголкой... А с другой стороны оно — ничто, глухое, неопределенное чувство, слабость, страх...

Так чувствовал это Тёрлес. То, что рассказал Райтинг о себе и Базини, казалось ему, если он спрашивал себя об этом, незначительным. Легкомысленный проступок и трусливая подлость со стороны Базини, за которыми теперь наверняка последует какой-нибудь жестокий каприз Райтинга. Но, с другой стороны, он, словно в тоскливом предчувствии, ощущал, что события приняли теперь для него вполне личный оборот, и было в этом происшествии что-то, что угрожало ему как острым ножом.

Он представил себе Базини у Божены и огляделся в клетушке. Стены ее, казалось, грозили ему, падали на него, словно бы кровавыми руками тянулись к нему, револьвер двигался на своем месте туда-сюда...

В смутном одиночестве его мечтаний впервые что-то упало, как камень; оно было вот здесь; тут ничего нельзя было поделать; это была действительность. Вчера Базини был еще совершенно таким же, как он сам; открылся люк, и Базини упал. В точности так, как это описал Райтинг: внезапная перемена, и человек — другой...

И снова это как-то связалось с Боженой. Его мысли сотворили кощунство. Гнилой, сладкий запах, которым от них повеяло, смутил его. И это глубокое унижение, этот отказ от себя, эта покрытость тяжелыми, бледными, ядовитыми листьями стыда, которую он видел в своих мечтах как бесплотное далекое отражение в зеркале,— все это вдруг случилось с Базини.

Есть, значит, что-то, с чем действительно надо считаться, чего нужно остерегаться, что может вдруг выпрыгнуть из молчаливых зеркал мыслей?..

Но тогда возможно и все другое. Тогда возможны Райтинг и Байнеберг. Возможна эта клетушка... Тогда возможно также, что из этого светлого, дневного мира, который он только и знал до сих пор, есть какая-то дверь в другой, глухой, бушующий, страстный, разрушительный мир. Что между теми людьми, чья жизнь размеренно, как в прозрачном

и прочном здании из стекла и железа, протекает между конторой и семьей, и другими людьми, опустившимися, окровавленными, развратно-грязными, блуждающими в лабиринтах, полных ревущих голосов, не только существует какой-то переход, но их границы тайно и тесно соприкасаются, так что их можно в любое мгновение переступить...

И вопрос остается только один: как это совершается? Что происходит в такое мгновение? Что с криком устремляется ввысь и что вдруг угасает?..

Таковы были вопросы, встававшие перед Тёрлесом с этими событиями. Они вставали неясно, с сомкнутыми губами, окутанные каким-то глухим, неопределенным чувством — то ли слабости, то ли страха.

Но многие их слова, отрывочно и порознь, звучали, словно издалека, в Тёрлесе и наполняли его робким ожиданием.

В это мгновение раздался вопрос Райтинга.

Тёрлес сразу заговорил. Он подчинился при этом какому-то внезапному порыву, какому-то смущению. Ему казалось, что предстоит что-то решающее, и он испугался этого надвигающегося, хотел уклониться, выиграть время. Он заговорил, но в тот же миг почувствовал, что может сказать только несущественное, что у его слов нет внутренней опоры и они вовсе не выражают действительного его мнения...

Он сказал:

— Базини — вор.

И определенное, твердое звучание этого слова было так приятно ему, что он повторил его дважды.

— ...Вор. А таких наказывают... везде во всем мире. Надо заявить об этом, удалить его из училища! Пусть исправляется на стороне, среди нас ему уже не место!

Но Райтинг сказал с выражением неприятного удивления:

— Нет, зачем сразу доводить все это до крайности?

— Зачем? Неужели, по-твоему, это не само собой разумеется?

— Отнюдь нет. Ты держишься так, словно вот-вот хлынет серный дождь, чтобы всех нас уничтожить, если мы теперь оставим Базини в своей среде. А дело-то не такое уж страшное.

— Как можешь ты так говорить? Значит, с человеком, который крал, который потом предложил тебе себя в служанки, в рабы, ты готов по-прежнему вместе сидеть, вместе есть, вместе спать?! Я этого не понимаю. Нас ведь потому и воспитывают совместно, что мы все принадлежим к одному и тому же обществу. Разве тебе будет все равно, если тебе придется когда-нибудь служить в одном с ним полку или в одном министерстве, если он будет вращаться в кругу тех же семей, что и ты... может быть, ухаживать за твоей собственной сестрой?..

— Ну, ты же преувеличиваешь! — засмеялся Байнеберг.— Как будто мы вступили в какое-то братство на всю жизнь! Что ж, по-твоему, мы всегда будем носить на себе печать «Из интерната в В. Имеет особые привилегии и обязательства»? Ведь позднее каждый из нас пойдет своим путем, и каждый станет тем, кем он вправе стать, ибо на свете существует не одно общество. Я хочу сказать, что нечего нам ломать себе голову над будущим. А что касается настоящего, то я ведь не сказал, что мы должны сохранять с Базини товарищеские отношения. Как-то уж удастся соблюдать дистанцию. Базини у нас в руках, мы можем делать с ним что хотим, по мне, хоть оплевывай его два раза в день — какое тут, если он это позволит, товарищество? А если взбунтуется, мы всегда сможем его осадить... Перестань только думать, что между нами и Базини есть что-то общее, кроме того, что его подлость доставляет нам удовольствие!

Хотя Тёрлес вовсе не был уверен в своей правоте, он продолжал упорствовать:

— Слушай, Райтинг, почему ты так занят Базини?

— Разве я занят им? Вот уж не знаю. Вообще-то у меня никаких особых причин, конечно, нет. Вся эта история мне безразлична донельзя. Меня злит

только, что ты преувеличиваешь. Что у тебя в голове? Какой-то идеализм, по-моему. Священная любовь к училищу или к справедливости. Ты не представляешь себе, какой веет от этого скукой и образцовостью. Или, может быть,— и Райтинг подозревающе подмигнул Тёрлесу,— у тебя есть какая-то другая причина выставить Базини, и ты просто не хочешь признаться? Какая-нибудь старая месть? Тогда скажи! Ведь если нужно, мы же действительно можем воспользоваться этим удобным случаем.

Тёрлес повернулся к Байнебергу. Но тот лишь ухмыльнулся. Говоря, он потягивал длинный чубук, он сидел, по-восточному скрестив ноги, и из-за своих оттопыренных ушей походил при этом неверном освещении на какого-то странного идола.

— По мне, делайте что хотите. Меня не волнуют ни эти деньги, ни справедливость. В Индии его бы посадили на бамбуковый кол. Это было бы по крайней мере удовольствие. Он дурак и трус, жалеть его нечего, и право, мне всю жизнь было в высшей степени безразлично, что случится с такими людьми. Сами они ничтожны, а что еще может произойти с их душой, мы не знаем. Да благословит Аллах ваш приговор!

Тёрлес ничего не ответил. После того как Райтинг ему возразил, а Байнеберг предоставил им решать дело без него, он выдохся. Он был не в силах больше сопротивляться; он чувствовал, что у него уже нет никакого желания остановить то неопределенное, надвигавшееся.

Поэтому было принято предложение, которое внес теперь Райтинг. Решили взять Базини пока под надзор, в известной мере под опеку, чтобы тем самым предоставить ему возможность выпутаться. Отныне его доходы и расходы подлежат строгой проверке, а его отношения с остальными будут зависеть от разрешения троих.

С виду это решение было очень корректным и доброжелательным, «образцово скучным», как **не** сказал на этот раз Райтинг. Ведь каждый, не признаваясь в том себе, чувствовал, что сейчас устанавливается какое-то промежуточное положение. Райтинг не отказался бы от продолжения этой истории, ибо она доставляла ему удовольствие, но, с другой стороны, ему еще не было ясно, какой дальнейший оборот дать ей. А Тёрлес от одной мысли, что теперь ему придется ежедневно иметь дело с Базини, чувствовал себя парализованным.

Когда он недавно произнес слово «вор», ему на миг стало легче. Он как бы выставлял наружу, отодвигал от себя то, что кипело внутри у него.

Но вопросов, которые сразу же затем возникли опять, это простое слово решить не могло. Теперь, когда от них уже не нужно было уклоняться, они стали яснее.

Тёрлес переводил взгляд от Райтинга к Байнебергу, закрывал глаза, повторял про себя принятое решение, опять поднимал глаза... Он ведь и сам не знал уже, это только его фантазия, которая ложится на все огромным кривым стеклом, или это правда и все действительно так жутко, как ему увиделось. И только Байнеберг с Райтингом ничего не знали об этих вопросах? Хотя они-то как раз с самого начала вполне освоились в этом мире, который ему сейчас вдруг впервые показался таким чужим?

Тёрлес боялся их. Но боялся лишь так, как боятся великана. зная, что он слеп и глуп...

Но одно не подлежало сомнению: он был сейчас гораздо дальше, чем еще четверть часа назад. Возможность поворота назад миновала. Появилось тихое любопытство — что же будет, после того как он против своей воли остался. Все, что шевелилось в нем, скрывала еще темнота, но его уже тянуло вглядеться в лики этой темени, которой другие не замечали. Легкий озноб примешивался к этой тяге. Словно теперь над его жизнью всегда будет висеть серое. пасмурное небо — с большими тучами, огромными, меняющимися фигурами и все новым вопросом: это чудовища? это только тучи?

И вопрос это лишь для него! Как что-то тайное, чуждое другим, запретное...

Так в первый раз начал Базини приближаться к тому значению, которое ему суждено было позднее приобрести в жизни Тёрлеса.

На следующий день Базини был взят под опеку.

Не без некоторой торжественности. Воспользовались утренним часом, пропустив урок гимнастики, проходивший на большой лужайке в парке.

Райтинг произнес своего рода речь. Не то чтобы краткую. Он указал Базини на то, что тот проиграл свою жизнь, что вообще-то его следовало бы выдать и лишь по особой милости его пока избавляют от позора карательного отчисления.

Затем ему были сообщены особые условия. Контроль над их исполнением взял на себя Райтинг.

Базини был во время всей этой процедуры очень бледен, но не сказал ни одного слова, и по лицу его нельзя было определить, что происходило у него в душе.

Тёрлесу эта сцена казалась то очень безвкусной, то очень значительной.

Байнеберг обращал больше внимания на Райтинга, чем на Базини.

.

В течение следующих дней о происшествии, казалось, почти забыли. Райтинга, кроме как на уроках и во время еды, не было видно. Байнеберг был молчаливее чем когда-либо, а Тёрлес все отгонял мысли об этой истории.

Базини вращался среди товарищей как ни в чем не бывало.

. . . . . .

Он был чуть выше Тёрлеса ростом, но сложения очень хилого, у него были мягкие, медлительные движения и женственные черты лица. Смышленостью он не отличался, в фехтовании и гимнастике был одним из последних, но была в нем какая-то милая, кокетливая приятность.

К Божене он в свое время захаживал, только чтобы играть мужчину. Настоящее вожделение при его отсталости в развитии было ему, конечно, чуждо.

Он просто считал своей непременной обязанностью, необходимой данью порядку источать аромат галантного опыта. Прекрасней всего был для него тот миг, когда он уходил от Божены и все было позади, ибо ничего, кроме наличия воспоминаний, ему не было нужно.

Бывало, он и лгал из тщеславия. Так, после каникул он всегда возвращался с сувенирами маленьких приключений — лентами, локонами, записочками. Но когда он однажды привез в своем чемодане подвязку, милую, маленькую, душистую, небесной голубизны, а потом выяснилось, что принадлежала она не кому иному, как его собственной двенадцатилетней сестре, над ним немало глумились из-за этого смешного бахвальства.

Нравственная неполноценность, в нем обнаружившаяся, и его глупость были одного происхождения. Он не способен был сопротивляться никакому наитию, и последствия этого всегда поражали его. В этом он походил на тех женщин с миленькими кудряшками на лбу, что понемногу подсыпают яд в пищу супругу, а потом в ужасе удивляются незнакомым, суровым словам прокурора и смертному приговору.

. . . . . .

Тёрлес избегал его. Благодаря этому постепенно прошел и тот глубинный испуг, который как бы под корнями его мыслей охватил и потряс его в первый миг. Вокруг Тёрлеса все снова становилось на свои места; изумление проходило и делалось с каждым днем нереальнее, как следы сна, которые не могут утвердиться в действительном, осязаемом, освещенном солнцем мире.

Чтобы еще сильнее закрепить это состояние, он сообщил обо всем в письме родителям. Только о том, что сам при этом почувствовал, он умолчал.

Он снова пришел к той точке зрения, что лучше всего при следующем случае добиться удаления Базини из училища. Он не мог представить себе, чтобы его родители думали об этом иначе. Он ждал от них строгого, брезгливого осуждения Базини, ждал, что они, так сказать, смахнут его кончиками пальцев, как нечистое насекомое, которое нельзя терпеть вблизи их сына.

Ничего подобного не оказалось в письме, полученном им в ответ. Родители добросовестно потрудились и как люди разумные взвесили все обстоятельства, насколько таковые можно было представить себе по неполным, отрывочным сведениям того торопливого письма. Из их ответа следовало, что они предпочитали судить как можно снисходительнее и сдержаннее, тем более что в описании сына не исключены были всякие преувеличения, вызванные юношеским негодованием. Поэтому они одобряли решение дать Базини возможность исправиться и полагали, что из-за одного небольшого проступка нельзя человеку сразу ломать судьбу. Тем более что — и это они, понятно, подчеркивали особенно — речь тут идет не о сложившихся людях, а о пока еще неустойчивых, развивающихся характерах. На всякий случай с Базини надо, конечно, держаться сурово и строго, но проявлять доброжелательность и стараться исправить его.

Это они подкрепляли целым рядом примеров, хорошо известных Тёрлесу. Ведь он прекрасно помнил, как в первые годы ученья, когда дирекция еще любила применять драконовские методы и строго ограничивала карманные деньги, многие часто не удерживались и выпрашивали у более счастливых из тех прожорливых малышей, которыми все они были, часть их бутерброда с ветчиной или еще что-нибудь. Сам он тоже не всегда бывал свободен от этого, хотя и прятал свой стыд, ругая злобную, пакостную дирекцию. И не только возрасту, но и строго-добрым родительским увещаниям был он обязан тем, что постепенно научился с гордостью преодолевать подобные слабости.

Но сегодня все это не оказало воздействия.

Он признавал, что родители во многих отношениях правы, да и знал, что совсем верно на расстоянии судить невозможно; однако в их письме не хватало, казалось, чего-то куда более важного, не хватало понимания того, что случилось что-то бесповоротное, что-то такое, что среди людей известного круга происходить вообще не должно. Отсутствовали изумление и смущение. Они говорили так, словно это обычное дело, которое нужно уладить с тактом, но без особого шума. Пятно, такое же некрасивое, но неизбежное, как естественная потребность. Ни тени более личного, встревоженного отношения, точно так же, как у Байнеберга и Райтинга.

Тёрлес мог бы принять к сведению это. Но вместо этого он изорвал письмо в клочья и сжег его. Впервые в жизни он позволил себе такую непочтительность.

В нем была вызвана реакция, противоположная желаемой. В противоположность простому взгляду, который ему навязывали, ему сразу снова пришла на ум проблематичность, сомнительность проступка Базини. Качая головой, он сказал себе, что об этом еще надо подумать, хотя не мог точно объяснить себе почему...

Особенно странно получалось, когда он перебирал это скорее в мечтах, чем в размышлениях. Тогда Базини представал ему понятным, обыденным, четко очерченным, таким, каким мог видеться его, Тёрлеса, родителям и друзьям; а в следующее мгновение тот исчезал и вновь возвращался, возвращался снова и снова маленькой, совсем маленькой фигуркой, которая временами вспыхивала на глубоком, очень глубоком фоне...

И вот однажды ночью — было очень поздно, и все уже спали — Тёрлеса разбудили.

У его кровати сидел Байнеберг. Это было так необычно, что он сразу почувствовал что-то особенное.

— Вставай. Но не шуми, чтобы нас никто не заметил. Мы поднимемся, мне надо тебе кое-что рассказать.

Тёрлес наспех оделся, накинул шинель и сунул ноги в ночные туфли...

Наверху Байнеберг с особой старательностью восстановил все заграждения, затем приготовил чай.

Наконец Байнеберг сказал:

— Райтинг обманывает нас.

Тёрлес не испытал никакого удивления; чем-то само собой разумеющимся показалось ему, что дело это получило такое продолжение; он чуть ли не ждал этого. Совершенно непроизвольно он сказал:

— Так я и думал!

— Вот как? Думал? Но заметил-то вряд ли что-нибудь? Это было бы на тебя непохоже.

— Во всяком случае, мне ничего не бросалось в глаза. Да и не интересовался я этим больше.

— Но зато я глаз не спускал. Я с первого же дня не доверял Райтингу. Ты же знаешь, что Базини вернул мне деньги. А из каких, по-твоему, капиталов? Из своих собственных?.. Нет.

— И, по-твоему, Райтинг тоже в этом замешан?

— Конечно.

В первое мгновение Тёрлес не подумал ничего другого, кроме того, что и Райтинг втянулся в такое дело.

— По-твоему, значит, Райтинг так же, как и Базини?..

— Да что ты! Райтинг просто дал Базини нужную сумму из собственных денег, чтобы тот рассчитался со мной.

— Но я не вижу никакой причины для этого.

— Я тоже долгое время не мог увидеть. Но и ты, наверное, обратил внимание на то, что Райтинг с самого начала всячески заступался за Базини. Ты ведь был тогда совершенно прав: действительно, естественней всего было бы, если бы этот малый вылетел. Но я тогда нарочно не поддержал тебя, потому что подумал: надо поглядеть, что тут еще замешано. Я и правда точно не знаю, были ли у него вполне ясные намерения уже тогда или он только хотел подождать, когда Базини будет у него в руках раз навсегда. Во всяком случае, я знаю, как обстоит дело сегодня.

— Ну?

— Погоди, это так быстро не расскажешь. Ты же знаешь историю, которая случилась в училище четыре года назад?

— Какую историю?

— Ну, известную!

— Очень приблизительно. Знаю только, что тогда из-за каких-то гадостей разразился скандал и многих в наказание выгнали.

— Да, это я и имею в виду. Подробности я узнал как-то на каникулах от одного человека из того класса. У них был один смазливый мальчишка, в которого многие из них были влюблены. Ты же знаешь это, ведь такое случается каждый год. Но они зашли тогда слишком далеко.

— Как?

— Ну... как?! Не задавай таких глупых вопросов! И то же самое делает Райтинг с Базини!

Тёрлес понял, что происходило между теми двумя, и у него запершило в горле, словно там был песок.

— Никак не ожидал этого от Райтинга.

Он не нашел ничего лучшего, чем эти слова. Байнеберг пожал плечами.

— Он думает, что может обманывать нас.

— Он влюблен?

— Нисколько. Не такой он дурак. Это его развлекает, ну, может быть, возбуждает.

— А Базини?

— Этот-то?.. Ты не замечал, как он обнаглел в последнее время? Меня он и слушать уже не хочет. Только и знает: Райтинг да Райтинг, словно тот его личный святой-заступник. Лучше, решил он, наверно, терпеть все от одного, чем что-то от каждого. А Райтинг, конечно, обещал ему защищать его, если тот будет подчиняться ему во всем. Но они просчитались, и я еще проучу Базини.

— Как ты узнал это?

— Я один раз пошел за ними.

— Куда?

— На чердак, тут рядом. Райтинг взял у меня ключ от другого входа. Тогда я пришел сюда, осторожно открыл дыру и прокрался к ним.

В тонкой стенке-перегородке, отделявшей эту каморку от чердака, был пробит лаз как раз такой ширины, чтобы мог протиснуться человек. Это отверстие должно было служить на случай тревоги запасным выходом и обычно закладывалось кирпичами.

Наступила длинная пауза, во время которой слышно было только, как тлеет табак.

Тёрлес был неспособен думать; он видел... Он вдруг увидел за своими закрытыми глазами какое-то неистовое коловращение событий... людей; людей в резком освещении, с яркими пятнами света и подвижными, глубоко вкопанными тенями: лица... лицо; он увидел людей такими, какими никогда еще не видел, никогда еще не ощущал их. Но видел он их не видя, без образов, без картин; так, словно видела их только его душа; они были так отчетливы, что его тысячекратно пронзала их убедительность, но, словно останавливаясь на неодолимом пороге, они отступали, как только он искал слова, чтобы овладеть ими.

Он должен был спрашивать дальше. Его голос дрожал.

— И ты видел?

— Да.

— А... каков был Базини?

Но Байнеберг промолчал, и снова слышно было лишь беспокойное шуршанье папирос. Не скоро заговорил Байнеберг снова:

— Я обдумал это дело со всех сторон, а ты знаешь, что в таких вещах я смыслю. Что касается Базини, то его, я полагаю, жаль не будет ни в каком случае. Выдади́м ли мы его, поколотим ли или даже удовольствия ради замучим до смерти. Ведь я не могу представить себе, чтобы в замечательном мировом механизме такой человек что-либо значил. Он мне кажется созданным чисто случайно, вне ряда. То есть он, вероятно, должен что-то значить, но наверняка что́-то столь же неопределенное, как какой-нибудь червяк или камешек на дороге, о котором мы не знаем, пройти ли нам мимо него или его растоптать. А это все равно что ничего. Ведь если мировая душа хочет, чтобы одна из ее частей осталась в сохранности, она выражается яснее. Тогда она говорит «нет» и оказывает сопротивление, она заставляет нас пройти мимо червя, а камню придает такую твердость, что без инструмента мы его не можем разбить. Ведь прежде чем мы принесем инструмент, она окажет противодействие множеством мелких, упрямых сомнений, а если мы преодолеем и их, то, значит, дело это с самого начала имело другое значение.

У человека она эту твердость закладывает в его характер, в его сознание, что он человек, в его чувство ответственности за то, что он часть мировой души. Потеряв это сознание, человек теряет самого себя. А потеряв самого себя и от себя отказавшись, человек теряет то особенное, то существенное, ради чего природа создала его человеком. И никогда нельзя быть так уверенным, как в этом случае, что имеешь дело с чем-то ненужным, с пустой формой, с чем-то, давно покинутым мировою душой.

Тёрлес не почувствовал противоречия. Да и слушал он довольно-таки невнимательно. До сих пор у него не было повода для таких метафизических размышлений, и он никогда не задумывался о том, как человеку с байнеберговским умом могло подобное прийти в голову. Весь этот вопрос вообще не возникал еще на горизонте его жизни.

Потому он и не силился проверять смысл байнеберговских рассуждений; он слушал их вполуха.

Он только не понимал, как можно так размахиваться. В нем все дрожало, и дотошность, с какой Байнеберг притаскивал свои мысли бог весть откуда, казалась ему смешной, неуместной, вызывала у него нетерпение. Но Байнеберг спокойно продолжал:

— С Райтингом же дело обстоит совершенно иначе. Он тоже в руках у меня из-за своего поступка, но его судьба мне, конечно, не так безразлична, как судьба Базини. Ты знаешь, состояние у его матери небольшое. Если его исключат из училища, на всех его планах надо поставить крест. Отсюда он может достичь чего-то, а так возможностей для этого у него будет немного. И Райтинг меня никогда не любил... понимаешь?.. он ненавидел меня... пытался прежде вредить мне где только мог... думаю, он и сегодня был бы рад избавиться от меня. Видишь теперь, чего я только не смогу сделать, обладая этой тайной?..

Тёрлес испугался. Но так странно, словно судьба Райтинга касалась его самого. Он испуганно посмотрел на Байнеберга. Тот прищурил глаза, превратив их в щелки, и показался ему жутким, большим пауком в паутине, спокойно подстерегающим свою жертву. Последние его слова звучали в ушах Тёрлеса холодно и отчетливо, как фразы диктанта.

Он не вникал в предшествовавшее, он знал только: теперь Байнеберг опять говорит о своих идеях, которые к данному случаю никакого отношения не имеют... И вот он уже не понимал, как это вышло.

Ткань, тянувшаяся откуда-то извне, из отвлеченного, наверно, вдруг с невероятной скоростью сжалась. Ибо вдруг она стала конкретной, реальной, живой, и в ней дергалась голова... с затянутой на горле петлей.

Он отнюдь не любил Райтинга, но он вспомнил сейчас милую, дерзкую беззаботность, с какой тот затевал всякие интриги, и Байнеберг, спокойно и с ухмылкой стягивавший вокруг того свои многосложные, серые, отвратительные хитросплетения, показался ему по контрасту гнусным.

Непроизвольно Тёрлес прикрикнул на него:

— Ты не смеешь использовать это против него.

Сыграло роль, вероятно, и его всегдашнее тайное отвращение к Байнебергу.

Но Байнеберг сам сказал, поразмыслив:

— Да и зачем?! Его было бы действительно жаль. Мне он отныне и так не опасен, а он все-таки человек слишком стоящий, чтобы дать ему споткнуться на такой глупости.

Так было покончено с этой частью дела. Но Байнеберг продолжал говорить, вновь обратившись теперь к судьбе Базини:

— Ты все еще полагаешь, что мы должны выдать Базини?

Но Тёрлес не ответил. Он хотел послушать Байнеберга, чьи слова звучали для него, как гул шагов над полостью подкопа, и он хотел насладиться этим состоянием.

Байнеберг продолжал излагать свои мысли:

— Я думаю, мы пока сохраним его для себя и накажем сами. Ведь наказать его нужно хотя бы уже за его наглость. Начальство его самое большее исключило бы и написало бы в придачу длинное письмо его дяде. Ты ведь примерно знаешь, как это делается официально. Ваше превосходительство, Ваш племянник потерял самообладание... сбился с пути... возвращаем его Вам... надеемся, что Вам удастся... путь исправления... пока, однако, невозможно среди других... и т. д. Разве такой случай представляет для них интерес или ценность?

— А какая в нем ценность для нас?

— Какая ценность? Для тебя, может быть, никакой, ибо ты станешь когда-нибудь надворным советником или будешь писать стихи — тебе это, в общем, не нужно, ты, может быть, даже боишься этого. Но свою жизнь я представляю себе иначе.

На этот раз Тёрлес прислушался.

— Для меня Базини имеет ценность — даже очень большую. Понимаешь — ты просто отпустил бы его на все четыре стороны и вполне успокоился бы на том, что он — скверный человек.— Тёрлес подавил улыбку.— На этом ты ставишь точку, потому что у тебя нет ни таланта, ни интереса учиться на таком деле. А у меня этот интерес есть. Когда человеку предстоит мой путь, надо смотреть на людей совершенно иначе. Поэтому я хочу Базини сохранить для себя, чтобы на нем поучиться.

— Но как ты собираешься его наказать?

Байнеберг мгновение помешкал с ответом, словно обдумывал ожидаемый эффект. Затем он сказал осторожно и замедленно:

— Ты ошибаешься, если думаешь, что мне так важно наказать. Правда, в конечном счете это тоже можно будет назвать наказанием для него... но, чтобы не рассусоливать, я задумал нечто другое, я хочу... ну, скажем... помучить его.

Тёрлес поостерегся сказать что-либо. Он еще ясно не видел, но чувствовал, что все это выходит так, как и должно было — внутренне — для него выйти. Байнеберг, не узнав, какое действие оказали его слова, продолжал:

— Не пугайся, не так это страшно. Ведь прежде всего, как я тебе объяснил, с Базини считаться не надо. Решение мучить его или пощадить зависит только от нашей потребности в том или в другом. От внутренних причин. У тебя они есть? Все, что ты говорил тогда насчет морали, общества и так далее, конечно, не в счет. Надеюсь, ты и сам в это не верил. Ты, значит, надо полагать, индифферентен. Но все же ты можешь еще отстраниться от всего этого, если не хочешь ничем рисковать.

Мой путь, однако, ведет не назад и не мимо, а в самую точку. Так надо. Райтинг тоже не отступится, ибо и для него это особенно ценно — иметь кого-то целиком в своей власти и упражняться, обращаясь с ним, как с орудием. Он хочет властвовать, и **с тобой** он поступил бы в точности так же, как с Базини, если бы дело случайно коснулось тебя. Для меня же речь идет о еще большем. Почти об обязанности перед самим собой. Как бы мне объяснить тебе эту разницу между нами? Ты знаешь, как почитает Райтинг Наполеона; так вот, человек, который мне нравится больше всех, скорее походит на какого-нибудь философа, какого-нибудь индийского святого. Райтинг принес бы Базини в жертву и не испытал бы при этом ничего, кроме интереса. Он раскромсал бы его нравственно, чтобы узнать, к чему нужно быть готовым при таком предприятии. И, как я уже сказал, тебя или меня в точности так же, как Базини, без всяких переживаний. А у меня, как и у тебя, есть определенное ощущение, что и Базини в конце концов человек. Совершаемая жестокость оставляет какую-то рану и во мне тоже. Но как раз об этом и идет речь! Поистине о жертве! Понимаешь, я тоже связан двумя нитями. Той первой, неопределенной, что вопреки моему ясному убеждению привязывает меня к сочувственному бездействию, но и второй, уходящей к моей душе, к сокровенному опыту и привязывающей меня к космосу. Такие люди, как Базини, говорил я тебе уже раньше, ничего не значат — это пустая, случайная форма. Настоящие люди — это лишь те, что могут проникнуть в самих себя, космические люди, которые в состоянии погрузиться в глубины своей связи с великим вселенским процессом. Закрыв глаза, они творят чудеса, потому что умеют пользоваться всей силой мира, которая точно так же внутри их, как и вне их. Но все люди, следовавшие до этих глубин за второй нитью, должны были прежде порвать первую. Я читал об ужасных искупительных жертвах просветленных

монахов, да и тебе не совсем неведомы средства индийских святых. Все жестокие вещи, при этом творящиеся, имеют одну лишь цель — умертвить жалкие, направленные вовне желания, ибо все они, будь то тщеславие, голод, радость или сочувствие, только уводят от того огня, который каждый способен в себе пробудить.

Райтинг знает лишь внешнее, я же следую за второй нитью. Сейчас у него, на взгляд каждого, преимущество, ибо мой путь медленнее и ненадежнее. Но я могу одним махом обогнать его, как какого-нибудь червя. Понимаешь, утверждают, будто мир состоит из механических законов, которые нельзя изменить... Это совершенно неверно, это сказано только в учебниках! Внешний мир, действительно, упрям, и повлиять на его так называемые законы до какой-то степени нельзя, но все же бывали на свете люди, которым это удавалось. Это сказано в священных, не раз проверенных книгах, о которых большинство просто не знает. Оттуда я знаю, что бывали на свете люди, которые могли одним лишь усилием воли приводить в движение камни, воздух и воду, люди, перед чьей молитвой не могла устоять никакая земная сила. Но и это лишь внешние триумфы духа. Ибо тот, кому **вполне** удается увидеть свою душу, для того исчезает его телесная жизнь, которая только случайна; в книгах сказано, что такие люди входили прямо в высшее царство душ.

Байнеберг говорил совершенно серьезно, сдерживая волнение. Тёрлес все еще почти не раскрывал глаз; он чувствовал, как до него долетает дыхание Байнеберга, и впивал его как удушливый наркотик. Между тем Байнеберг заканчивал свою речь:

— Теперь тебе ясно, о чем для меня идет речь. То, что внушает мне отпустить Базини, идет от низменного, внешнего. Ты можешь этому подчиниться. Для меня это предрассудок, от которого я должен избавиться, как и от всего, что сбивает меня с пути к моей внутренней сути.

Что мне будет трудно мучить Базини — то есть унизить его, подавить, отдалить от себя,— это как раз и хорошо. Это потребует жертвы. Это подействует очищающе. Я обязан перед собой ежедневно постигать на его примере, что сама по себе принадлежность к роду человеческому решительно ничего не значит — это просто дурачащее, внешнее сходство.

Тёрлес понял не все. Только у него снова возникло ощущение, что какая-то невидимая петля вдруг стянулась в осязаемый, смертельный узел. В нем отдавались эхом последние слова Байнеберга. «Просто дурачащее, внешнее сходство»,— повторял он про себя. Это как будто подходило и к его отношению к Базини. Не в таких ли видениях состояло странное очарование, которое от того исходило? Не в том ли просто, что он, Тёрлес, не мог вдуматься в него и потому всегда видел его в каких-то неопределенных обличьях? Не маячило ли, когда он только что представил себя Базини, за его, Базини, лицом второе, расплывчатое? Осязаемо похожее, хотя это сходство ни на чем не основывалось?

Вот почему, вместо того чтобы задуматься о крайне странных намерениях Байнеберга, Тёрлес, полуоглушенный новыми, необыкновенными впечатлениями, пытался разобраться в себе. Он вспомнил вечер, перед тем как узнал о проступке Базини. Уже тогда, собственно, эти видения были. Всегда бывало что-то, с чем его мысли не могли справиться. Что-то, казавшееся очень простым и очень неведомым. Он видел картины, которые, однако, картинами не были. У тех лачуг, и даже тогда, когда он сидел с Байнебергом в кондитерской.

Везде было сходство и в то же время непреодолимое несходство. И эта игра, эта тайная, совершенно личная перспектива его волновала.

И сейчас один человек присвоил это себе. Все это сейчас воплотилось, стало реальным в одном человеке. Тем самым вся эта странность перешла на этого человека. Тем самым она вышла из фантазии в жизнь и стала опасной.

Волнения эти утомили Тёрлеса, его мысли цеплялись друг за друга уже некрепко.

У него только и осталось в памяти, что он не должен выпускать этого Базини, что тому назначено сыграть какую-то важную и уже неясно осознанную роль и для него.

Среди этих мыслей он удивленно качал головой, когда думал о словах Байнеберга. Он тоже?..

Не может же он искать того же, что я, и все-таки верное обозначение этому нашел именно он...

Тёрлес больше мечтал, чем думал. Он уже не был в состоянии отличить свою психологическую проблему от фантазий Байнеберга. У него было в итоге только одно чувство — что вокруг всего все туже затягивается огромная петля.

Разговор дальше не шел. Они погасили свет и осторожно пробрались назад в дортуар.

Следующие дни никакого решения не принесли. В школе было много дел, Райтинг осторожно избегал оставаться в одиночестве, да и Байнеберг уклонялся от возобновления разговора.

Так в эти дни получилось, что случившееся, как прегражденный поток, глубже впечаталось в Тёрлеса и дало его мыслям направление, изменить которое уже нельзя было.

Намерение удалить Базини ушло поэтому окончательно. Тёрлес теперь впервые чувствовал сосредоточенность целиком на себе самом и уже ни о чем другом не в силах был думать. Божена тоже стала ему безразлична, прежние его чувства к ней стали для него фантастическим воспоминанием, на место которого пришло теперь что-то серьезное.

Правда, это серьезное казалось не менее фантастическим.

. . . . . .

Занятый своими мыслями, Тёрлес в одиночестве вышел погулять в парк. Время было полуденное, и солнце поздней осени ложилось бледными воспоминаниями на лужки и дорожки. Не имея из-за своего беспокойства охоты до дальних прогулок, Тёрлес просто обошел здание и у подножия почти глухой боковой стены бросился в жухлую, шуршащую траву. Над ним простиралось небо сплошь той блеклой болезненной голубизны, что свойственно осени, и по нему неслись маленькие, белые, густые облачка.

Тёрлес долго лежал, вытянувшись на спине, и, жмурясь, рассеянно-мечтательно глядел в пространство между оголяющимися верхушками двух стоявших перед ним деревьев.

Он думал о Байнеберге; какой это странный, однако, был человек! Его слова были бы уместны в каком-нибудь ветшающем индийском храме, среди жутковатых идолов и колдовских змей в глубоких укрытиях; но к чему они днем, в интернате, в современной Европе? И все же, после того как эти слова целую вечность тянулись бесконечной, неоглядной, с тысячами извилин дорогой, казалось, что они вдруг вышли к осязаемой цели...

И вдруг он заметил — и у него было такое чувство, что это случилось впервые,— как, в сущности, высоко небо.

Это было как испуг. Как раз над ним светился маленький голубой, невыразимо глубокий зазор между облаками.

У него было такое чувство, что туда можно взобраться по длинной-длинной лестнице. Но чем дальше он проникал туда, поднимаясь глазами, тем глубже отступал голубой, светящийся грунт. И все же казалось, что его можно достичь и задержать взглядом. Это желание стало мучительно сильным.

Казалось, донельзя напряженное зрение метало, как стрелы, взгляды в просвет между облаками, и как бы далеко оно ни метило, всегда выходил маленький недолет.

Об этом Тёрлес и задумался; он старался оставаться как можно спокойнее и разумнее. «Конечно, конца нет,— говорил он себе,— так оно и уходит

все дальше, дальше и дальше, в бесконечность». Он не спускал глаз с неба и повторял это про себя, словно надо было испытать силу какой-то формулы заклинания. Но безуспешно; слова ничего не выражали, или, вернее, выражали что-то совсем другое, словно говорили хоть и о том же предмете, но о какой-то другой, неведомой, безразличной стороне.

«Бесконечность»! Тёрлес знал это слово по курсу математики. Он никогда не представлял себе за этим ничего особенного. Оно то и дело повторялось: кто-то когда-то его изобрел, и с тех пор с его помощью можно производить вычисления так же надежно, как с помощью чего-то твердого. Оно было тем, что оно значило при вычислении; а сверх того Тёрлес никогда ничего не искал.

И тут его словно молнией пронзило чувство, что в этом слове есть что-то ужасно успокоительное. Оно предстало ему укрощенным понятием, с которым он ежедневно проделывал свои маленькие фокусы и с которого вдруг спали оковы. Что-то, выходящее за пределы разума, дикое, разрушительное было, казалось, усыплено работой каких-то изобретателей, а сейчас вдруг проснулось и стало опять плодотворным. В этом вот небе оно вживе стояло над ним, и угрожало, и издевалось.

Наконец он закрыл глаза, потому что это зрелище было для него мукой.

. . . . . .

Когда его вскоре, прошуршав по увядшей траве, разбудил порыв ветра, он почти не чувствовал своего тела, а от ног вверх текла приятная прохлада, удерживавшая его члены в состоянии сладостной лености. К его прежнему испугу прибавилось теперь что-то мягкое и усталое. Он все еще чувствовал, как на него глядит огромное и молчаливое небо, но он вспомнил теперь, сколь часто бывало у него уже раньше подобное ощущение, и, словно между бодрствованием и сном, он перебирал эти воспоминания и чувствовал себя оплетенным их связями.

Тут было прежде всего то воспоминание детства, в котором деревья стояли строго и молчаливо, как заколдованные люди. Уже тогда он, видимо, ощутил то, что всегда возвращалось позже. Даже в тех мыслях у Божены было что-то от этого, что-то особое, вещее, большее, чем их значение. И то мгновение тишины перед окнами кондитерской, прежде чем опустились темные покрывала чувственности, было таким. И часто Байнеберг с Райтингом на какой-то миг становились чем-то чужим и нереальным; и, наконец, Базини? Мысль о происходившем с Базини совсем разорвала Тёрлеса надвое; она была то разумной и обыденной, то полной того пронизанного образами безмолвия, которое было общим для всех этих ощущений, которое мало-помалу просачивалось в восприятие Тёрлеса и теперь вдруг потребовало, чтобы к нему, безмолвию, относились как к чему-то реальному, живому; точно так же, как прежде мысль о бесконечности.

Тёрлес почувствовал, что оно охватило его со всех сторон. Как далекие, темные силы, оно грозило уже с давних пор, но он инстинктивно отступал и лишь время от времени касался этого робким взглядом. А теперь какой-то случай, какое-то событие заострили его внимание и на это направили, и теперь, словно по какому-то мановению, это врывалось со всех сторон; нагоняя с собой огромное смятение, которое каждый миг по-новому распространял дальше.

Это накатилось на Тёрлеса, словно безумие — ощущать вещи, явления и людей как что-то двусмысленное. Как что-то, силой каких-то изобретателей привязанное к безобидному, объясняющему слову, и как что-то совершенно неведомое, грозящее оторваться от него в любое мгновение.

Конечно — на все есть простое, естественное объяснение, и Тёрлесу оно тоже было известно, но, к его пугливому изумлению, оно, казалось ему, срывало лишь самую внешнюю оболочку, не обнажая сути, которую Тёрлес, словно сверхъестественным зрением, всегда видел мерцающей под этой поверхностью.

Так лежал Тёрлес, весь оплетенный воспоминаниями, из которых неведомыми цветами вырастали странные мысли. Те мгновения, которых никто не забывает, ситуации, где кончается та связь, благодаря которой обычно наша жизнь без пробелов отражается в нашем разуме, словно жизнь и разум текут рядом, параллельно и с одинаковой скоростью — они сомкнулись друг с другом смущающе плотно.

Воспоминание об ужасно тихом, печальном по краскам безмолвии иных вечеров сменилось внезапно жарким, дрожащим беспокойством летнего дня, которое однажды обожгло ему душу, словно по ней прошмыгнула стая переливчатых ящериц.

Затем ему вспомнилась улыбка того маленького князя... взгляд... движение...— тогда, когда они внутренне покончили друг с другом,— какими тот разом и мягко освободился от всего, чем связывал его Тёрлес, и, освободившись, уходил в новую, неведомую даль, которая — словно сжавшись в жизнь одной неописуемой секунды — неожиданно открылась ему. Здесь снова пришли воспоминания о лесе — среди полей. Затем молчаливая картина в темнеющей комнате дома, позднее напомнившая ему вдруг потерянного друга. Вспомнились слова какого-то стихотворения...

Есть и другие вещи, где между «знать» и «осмыслить» царит эта несопоставимость. Всегда, однако, то, что в какой-то миг узнается нами безучастно и без вопросов, становится непонятным и запутанным, когда мы пытаемся цепью мыслей скрепить это и сделать прочным своим достоянием. И то, что выглядит великим и нечеловечным, пока наши слова тянутся к этому издалека, становится простым и теряет что-то беспокоящее, как только оно входит в наше бытие.

. . . . . .

И у всех этих воспоминаний оказалась поэтому вдруг одна и та же общая тайна. Словно составляя одно целое, они встали перед ним до осязаемости отчетливо.

В свое время их сопровождало какое-то темное чувство, на которое он прежде не очень-то обращал внимание.

Именно оно заботило его теперь. Ему вспомнилось, как он, стоя с отцом перед одним из тех пейзажей, непосредственно воскликнул: о, как красиво! — и смутился, когда отец обрадовался. Ибо он с таким же правом мог сказать: ужасно грустно. Мучили его тогда несостоятельность слова, полусознание, что слова́ лишь случайные лазейки для прочувствованного.

И сегодня он вспомнил ту картину, вспомнил те слова и ясно вспомнил то чувство, что лгал, хоть и не знал почему. В воспоминании взгляд его снова проходил через все. Но вновь и вновь возвращался, не находя освобождения. Улыбка восхищения богатством наитий, которую он все еще как бы рассеянно сохранял, медленно приобрела чуть заметную тень страдания...

У него была потребность изо всех сил искать какой-то мост, какую-то связь, какое-то сравнение — между собою и тем, что без слов стояло перед его внутренним взором.

Но как только он успокаивался на какой-нибудь мысли, снова возникало это непонятное возражение: ты лжешь. Словно ему нужно было непрестанно производить деление, при котором снова и снова получался упорный остаток или словно он в кровь стирал трясущиеся пальцы, чтобы развязать бесконечный узел.

И наконец он отступился. Вокруг него что-то плотно смыкалось, и воспоминания стали расти в неестественном искажении.

Он снова направил глаза на небо. Словно вдруг еще удалось бы случайно вырвать у неба свою тайну и угадать по нему, что́ его, Тёрлеса, везде приводит в смятение. Но он устал, и чувство глубокого одиночества сомкнулось над ним. Небо молчало. И Тёрлес почувствовал, что под этим неподвижным, немым сводом он совершенно один, он почувствовал себя крошечной живой точкой под этим огромным, прозрачным трупом.

Но это уже не испугало его. Как старая, давно знакомая боль, это охватило наконец-то и последнюю часть тела.

Ему казалось, будто свет приобрел молочный блеск и плясал у него перед глазами, как бледный холодный туман.

Он медленно и осторожно повернул голову и огляделся — действительно ли все изменилось. Тут его взгляд случайно скользнул по серой глухой стене, стоявшей у него в изголовье. Она словно бы склонилась над ним и молча глядела на него. Время от времени вниз сыпались, журча, тонкие струйки, и в стене пробуждалась жутковатая жизнь.

Он часто прислушивался к ней в укрытии, когда Байнеберг и Райтинг развертывали свой фантастический мир, и он радовался ей, как странному музыкальному сопровождению какого-то гротескного спектакля.

Но сейчас ясный день сам, казалось, превратился в таинственное укрытие и живое молчание окружило Тёрлеса со всех сторон.

Он не в силах был отвернуть голову. Рядом с ним, во влажном, темном углу буйно росла мать-и-мачеха, выстраивая из своих широких листьев фантастические укрытия для улиток и червяков. Тёрлес слышал, как бьется у него сердце. Затем опять повторилось тихое, шепчущее, сякнущее журчанье... И эти шорохи были единственно живым в не связанном ни с каким временем безмолвном мире...

На следующий день Байнеберг стоял с Райтингом, когда к ним подошел Тёрлес.

— Я уже поговорил с Райтингом,— сказал Байнеберг,— и обо всем договорился. Ты ведь не очень-то интересуешься такими делами.

Тёрлес почувствовал, как в нем поднимается что-то вроде злости и ревности из-за этого внезапного поворота, но он не знал, следует ли ему упоминать в присутствии Райтинга о том ночном разговоре.

— Ну, вы могли бы хотя бы позвать меня, раз уж я так же, как и вы, участвую в этом деле.

— Мы так и сделали бы, дорогой Тёрлес,— заторопился Райтинг, которому на этот раз явно хотелось не создавать ненужных трудностей,— но тебя нигде не было видно, а мы рассчитывали на твое согласие. Что скажешь, кстати, по поводу Базини?

(Ни слова в свое оправдание, словно его собственное поведение было чем-то само собой разумеющимся.)

— Что скажу? Ну, он мерзавец,— ответил Тёрлес смущенно.

— Правда ведь? Ужасно мерзок.

— Но и ты тоже влезаешь в славные дела!

И Тёрлес улыбнулся несколько вымученно, стыдясь, что злится на Райтинга не сильнее.

— Я? — Райтинг пожал плечами.— Что тут такого? Надо все испытать, и если уж он так глуп и подл...

— Ты-то с тех пор уже говорил с ним? — вмешался Байнеберг.

— Да, он вчера приходил ко мне вечером и просил денег, поскольку снова наделал долгов, а уплатить нечем.

— Ты уже дал ему денег?

— Нет еще.

— Это очень хорошо,— сказал Байнеберг,— теперь у нас есть искомая возможность разделаться с ним. Ты мог бы велеть ему прийти куда-нибудь сегодня вечером.

— Куда? В нашу клетушку?

— Думаю — нет, о ней ему пока незачем знать. Прикажи ему явиться на чердак, где ты был с ним тогда.

— В котором часу?

— Скажем... в одиннадцать.

— Хорошо... Хочешь еще немного погулять?

— Да. У Тёрлеса, наверное, есть еще дела, правда?

Никакой работы у Тёрлеса больше не было, но он чувствовал, что у обоих есть еще что-то общее, что они хотят утаить от него. Он досадовал на свою чопорность, не позволявшую ему вклиниться.

И вот он ревниво смотрел им вслед, представляя себе всякое, о чем они могли, наверно, втайне договориться.

При этом ему бросилось в глаза, до чего невинна и мила прямая, гибкая походка Райтинга — совершенно так же, как и его слова. И в противовес этому он попытался представить себе его таким, каким он должен был быть в тот вечер; внутреннюю, психологическую сторону этого. Это было, наверно, долгое, медленное падение двух вцепившихся друг в друга душ и затем бездна как в подземном царстве. А в промежутке — миг, когда наверху, далеко наверху, умолкли и замерли все звуки мира.

Неужели после чего-то подобного человек снова может быть таким довольным и легким? Наверняка это не так уж много для него значило. Тёрлесу очень хотелось спросить его. А вместо того он в детской робости отдал его этому паукообразному Байнебергу!

Без четверти одиннадцать Тёрлес увидел, что Байнеберг и Райтинг вышмыгнули из постели, и тоже оделся.

— Тсс!.. Погоди. Заметят ведь, если мы уйдем сразу все трое.

Тёрлес снова спрятался под одеяло.

Затем в коридоре они соединились и с привычной осторожностью стали подниматься на чердак.

— Где Базини? — спросил Тёрлес.

— Он придет с другой стороны. Райтинг дал ему ключ оттуда.

Они все время оставались в темноте. Лишь наверху перед большой железной дверью Байнеберг зажег свой потайной фонарик.

Замок сопротивлялся. Из-за многолетнего бездействия его заело, и он не слушался подобранного ключа. Наконец он отомкнулся с резким звуком; тяжелая створка терлась, застревая, о ржавчину петель и поддавалась медленно.

С чердака потянуло теплым, застоявшимся воздухом, как из теплицы.

Байнеберг запер дверь снова.

Они спустились по маленькой деревянной лестнице и сели, скорчившись, возле мощной поперечной балки.

Рядом с ними стояли огромные бочки с водой, предназначенной для тушения пожара. Воду в них явно давно уже не меняли, и она издавала сладковатый запах.

Вообще все окружение было крайне удручающее. Жара под крышей, скверный воздух и лабиринт мощных балок, которые частью уходили наверх и терялись в темноте, частью расползались понизу таинственной сетью.

Байнеберг затемнил фонарик, и они, не говоря ни слова, неподвижно сидели во мраке — в течение нескольких долгих минут.

Тут в темноте на противоположном конце скрипнула дверь. Тихо и нерешительно. Это был шум, от которого забилось, запрыгало сердце, как от первого звука приближающейся добычи.

Последовали неуверенные шаги, удар ноги о загудевшее дерево; глухой шум, как от толчка телом... Тишина... Затем снова нерешительные шаги... Ожидание... Тихий человеческий звук...

— Райтинг?

Тут Байнеберг снял колпачок с фонарика и метнул широкий луч к тому месту, откуда донесся голос.

Несколько мощных балок высветились с резкими тенями, дальше ничего, кроме конуса пляшущих пылинок, не было видно.

Но шаги стали увереннее и приближались.

Тут — совсем близко — снова ударилась о дерево нога, и в следующий миг в широком основании светового конуса возникло — пепельно-бледное — при этом неверном освещении — лицо Базини.

. . . . . .

Базини улыбался. Ласково, мило. Застыв, как на портрете, улыбка его выступала за рамку света.

Тёрлес сидел, прижавшись к балке, и чувствовал, как у него дрожат глазные мышцы.

Байнеберг стал перечислять позорные поступки Базини; однотонно, хриплыми словами.

Затем вопрос:

— Значит, тебе нисколько не стыдно?

Затем взгляд Базини на Райтинга, говоривший, казалось: «Пора тебе, пожалуй, помочь мне». И в тот же миг Райтинг ударил его кулаком в лицо, так что тот качнулся назад, споткнулся о балку, упал. Байнеберг и Райтинг прыгнули к нему.

Фонарик опрокинулся, и свет непонимающе и вяло тек по полу к ногам Тёрлеса.

По звукам Тёрлес понял, что они сорвали с Базини одежду и хлестали его чем-то тонким, гибким. Они явно все это уже подготовили. Он слышал хныканье и негромкие жалобы Базини, который, не переставая, молил пощадить его; наконец он слышал лишь стоны, похожие на сдавленные вопли, а в промежутках негромкие ругательства и горячее, страстное дыхание Байнеберга.

Он не тронулся с места. В самом начале его, правда, охватило животное желание прыгнуть туда и бить, но чувство, что он опоздает и будет лишним, удержало его. На его членах лежала тяжелая рука скованности.

С виду безучастно смотрел он в пол. Он не напрягал слуха, чтобы разбирать звуки, и не чувствовал, чтобы его сердце билось быстрее обычного. Он уставился в лужицу света, разлившуюся у его ног. Светились пылинки и маленькая безобразная паутина. Дальше свет просачивался в зазоры между балками и задыхался в пыльном, грязном сумраке.

Тёрлес сидел бы так и час, ничего не чувствуя. Он ни о чем не думал и все же был внутренне предельно занят. При этом он сам наблюдал за собой. Но так, словно, в сущности, глядел в пустоту и видел себя только как бы нечетким пятном и со стороны. Однако из этой неясности — со стороны — в отчетливое сознание медленно, но все явственнее проталкивалась одна потребность.

Что-то заставило Тёрлеса улыбнуться по этому поводу. Затем эта потребность снова усилилась. Она согнала его со своего места вниз — на колени, на пол. Его тянуло прижаться телом к половицам; он чувствовал, что глаза его делаются большими, как рыбьи, он чувствовал, как сквозь голое тело бьется о дерево его сердце.

Теперь в Тёрлесе действительно все кипело, и он должен был ухватиться за балку, чтобы не поддаться головокружению, тянувшему его вниз.

На лбу его выступили капли пота, и он испуганно спрашивал себя, что все это значит.

Выведенный из своего безразличия, он снова теперь прислушался сквозь темноту к тем троим.

Там стало тихо; только Базини жалобно бормотал что-то, ощупью ища свою одежду.

Тёрлес почувствовал какую-то приятность в этих жалобных звуках. Словно паучьими лапками пробежала у него по спине дрожь вверх и вниз; затем застряла между лопатками и коготками оттянула назад кожу на голове. К своему изумлению, Тёрлес понял, что находится в состоянии полового возбуждения. Он стал вспоминать и, не вспомнив, когда оно наступило, припомнил, что оно уже сопровождалось странной потребностью прижаться к полу. Он устыдился этого; но словно мощной волной крови это ударило ему в голову.

Байнеберг и Райтинг ощупью пробрались назад и молча сели с ним рядом. Байнеберг посмотрел на фонарик.

В этот миг Тёрлеса опять потянуло вниз. От глаз — он чувствовал это теперь,— от глаз шло к мозгу как бы гипнотическое оцепенение. То был какой-то вопрос, да, какой-то... нет, какое-то отчаяние... о, ведь это было знакомо ему... стена, тот общественный сад, низкие лачуги, то воспоминание детства... то же самое! то же самое! Он посмотрел на Байнеберга. «Неужели этот ничего не чувствует?» — подумал он. Но Байнеберг нагибался, чтобы поднять фонарик. Тёрлес задержал его руку.

— Разве не похоже это на глаз? — сказал он, указывая на растекшийся на полу свет.

— Ты что, настроился на поэтический лад?

— Нет. Но разве ты сам не говорил, что с глазами дело обстоит особо? От них иногда — вспомни любимые свои идеи насчет гипноза — исходит какая-то сила, которой не встретишь ни в каком курсе физики... Несомненно также, что по глазам человека часто узнаешь куда лучше, чем по его речам...

— Ну... и что?

— Для меня этот свет как глаз. Глядящий в неведомый мир. У меня такое чувство, будто я должен что-то отгадать. Но я не могу. Мне хочется вобрать это в себя...

— Ну... тебя все-таки тянет на поэзию.

— Нет, я всерьез. Я в полном отчаянии. Вдумайся только, и ты тоже это почувствуешь. Потребность поваляться в этой луже... на четвереньках, совсем вплотную к ней, проползти в пыльные углы, словно так это можно отгадать...

— Дорогой мой, баловство, сантименты. Оставь сейчас, пожалуйста, такие вещи.

Байнеберг наконец нагнулся и поставил фонарик на место. А Тёрлес злорадствовал. У него было такое ощущение, что он вобрал в себя эти события одним чувством больше, чем его спутники.

Он ждал сейчас появления Базини и с тайным трепетом чувствовал, что кожа на голове опять напряглась под коготками.

Он ведь уже совсем точно знал, что для него что-то приберегается, что вновь и вновь и через все более короткие промежутки, напоминало ему о себе; ощущение это, другим непонятное, было явно очень важно для его жизни...

Только вот что означала здесь эта чувственность, он не знал, но помнил, что она появлялась каждый раз, когда события представали странными только ему и мучили его, потому что он не знал, в чем тут причина.

И он решил при следующем случае серьезно обдумать это. Пока же он целиком отдался возбуждающему трепету, который предшествовал появлению Базини.

Байнеберг установил фонарик, и лучи снова выреза́ли в темноте круг, как пустую рамку.

И вдруг в этой рамке снова оказалось лицо Базини; точно так же, как в первый раз, с той же застывшей, слащавой улыбкой; словно в промежутке ничего не случилось, только по его верхней губе, рту и подбородку прочерчивали извилистую, как червяк, дорожку медленные капли крови.

. . . . . .

— Сядь там! — Райтинг указал на мощную балку, Базини повиновался. Райтинг начал говорить:

— Ты уже, наверно, думал, что дешево отделался, да? Думал, вероятно, я помогу тебе? Ну, так ты ошибся. То, что я с тобой делал, я делал, только чтобы посмотреть, до чего дойдет твоя подлость.

Базини сделал протестующее движение. Райтинг пригрозил снова броситься на него. Тогда Базини сказал:

— Прошу вас, Бога ради, я не мог иначе.

— Молчи! — крикнул Райтинг.— Надоели нам твои увертки! Теперь мы узнали раз и навсегда, чего от тебя можно ждать, и поступать будем соответственно...

Наступило короткое молчание. Вдруг Тёрлес тихо, почти ласково сказал:

— Скажи-ка: «Я вор».

Базини сделал большие, почти испуганные глаза; Байнеберг одобрительно засмеялся.

Но Базини молчал. Тогда Байнеберг толкнул его в бок и прикрикнул на него:

— Не слышишь, что ли, ты должен сказать, что ты вор! Говори сейчас же!

Снова наступила короткая, почти мгновенная тишина; затем Базини тихо, одним духом и как можно более безобидным тоном сказал:

— Я вор.

Байнеберг и Райтинг довольно засмеялись, глядя на Тёрлеса.

— Это ты хорошо придумал, малыш.

И обратились к Базини:

— А теперь ты скажешь еще: я скотина, я вор и скотина, я **ваша** скотина, вор и свинья.

И Базини сказал это не переводя дыхания и с закрытыми глазами.

Но Тёрлес уже опять откинулся в темноту. Ему было тошно от этой сцены и стыдно, что он выдал другим пришедшее ему в голову.

На занятиях по математике Тёрлеса вдруг осенила одна мысль.

В последние дни он слушал уроки в школе с особым интересом, ибо про себя думал: «Если это действительно подготовка к жизни, как они говорят, то значит, тут должен найтись и какой-то намек на то, чего я ищу».

При этом он думал именно о математике; еще со времени тех мыслей о бесконечности.

И в самом деле, среди занятий его вдруг озарило. Сразу после окончания урока он подсел к Байнебергу — единственному, с кем он мог говорить о подобных вещах.

— Слушай, ты это вполне понял?

— Что?

— Эту историю с мнимыми числами?

— Да. Это же совсем не так трудно. Надо только запомнить, что квадратный корень из минус единицы — это еще одна величина при вычислении.

— Но вот в том-то и дело. Такого же не существует. Любое число, положительное или отрицательное, дает в квадрате что-то положительное. Поэтому не может быть в действительности числа, которое было бы квадратным корнем из чего-то отрицательного.

— Совершенно верно. Но почему бы, несмотря на это, не попытаться произвести извлечение квадратного корня и при отрицательном числе? Конечно, это не может дать никакой действительной величины, но потому-то и называют такой результат мнимым. Это все равно как сказать: здесь вообще всегда кто-то сидел, поставим и сегодня стул для него. И даже если он тем временем умер, сделаем вид, будто он придет.

— Но как же так, если точно, с математической точностью знаешь, что это невозможно?

— Вот и делают вид, будто это не так. Видимо, какой-то толк от этого есть. А разве иначе обстоит дело с иррациональными числами? Деление, которое никогда не кончается, дробь, величину которой нельзя вычислить, сколь бы долго ты ни считал? А как ты можешь представить себе, что

параллельные линии пересекаются в бесконечности? Я думаю, если бы мы были чересчур добросовестны, то математики не было бы на свете.

— В этом ты прав. Если все так и представлять себе, то получается и правда довольно странно. Но это-то и удивительно, что с этими мнимыми или еще какими-либо невозможными величинами можно действительно производить вычисления, дающие осязаемый результат!

— Только эти мнимые факты должны в ходе вычисления взаимно уничтожаться.

— Да, да. Все, что ты говоришь, я знаю. Но не остается ли, несмотря ни на что, во всем этом что-то необыкновенное? Задумайся только: сначала в таком вычислении идут вполне солидные числа, представляющие собой метры, или вес, или еще что-нибудь ощутимое и хотя бы являющиеся действительно числами. В конце вычисления числа такие же. Но те и другие связаны между собой чем-то, чего вообще нет. Не похоже ли это на мост, от которого остались только опоры в начале и в конце и который переходишь так уверенно, словно он весь налицо? Для меня в таком вычислении есть что-то головокружительное. Словно часть пути заходит Бог весть куда. Но самое жуткое, по-моему,— сила, которая скрыта в таком вычислении и держит тебя так крепко, что ты все-таки попадаешь туда, куда нужно.

Байнеберг ухмыльнулся.

— Ты говоришь уже почти совсем как наш поп: «Ты видишь яблоко... это колебания света, а глаза и так далее... и ты протягиваешь руку, чтобы украсть его... это мышцы и нервы приводят ее в движение... Но между тем и другим есть что-то, что рождает одно из другого... а это бессмертная душа, которая согрешила сейчас... да... да... ни одного вашего действия нельзя объяснить без души, она играет вами, как фортепианными клавишами...» — И он передразнил интонацию, с какой преподаватель катехизиса рассказывал эту старую притчу.

— Впрочем, вся эта история мало интересует меня.

— Я думал, как раз тебя она должна интересовать. Я, во всяком случае, сразу подумал о тебе, потому что это — если это действительно так необъяснимо — почти подтверждение твоей веры.

— Почему это не должно быть необъяснимо? Я вполне допускаю, что изобретатели математики споткнулись тут о собственные ноги. Почему, в самом деле, то, что находится за пределами нашего разума, не могло позволить себе сыграть такую шутку именно с этим самым разумом? Но меня это не занимает, ведь такие вещи ни к чему не ведут.

. . . . . .

Еще в тот же день Тёрлес попросил у учителя математики разрешения прийти к нему, чтобы тот объяснил ему некоторые места последней лекции.

На следующий день во время обеденного перерыва он поднимался по лестнице в маленькую квартиру преподавателя.

Он проникся теперь каким-то совершенно новым уважением к математике, потому что она внезапно перестала быть для него мертвым учебным заданием и сделалась чем-то очень живым. И из-за этого уважения он испытывал какую-то зависть к учителю, который, конечно, прекрасно знал все эти связи, всегда носил с собой свое знание, как ключ от запертого сада. Но, кроме того, Тёрлесом двигало любопытство, несколько, впрочем, нерешительное. Он никогда еще не был в комнате молодого мужчины, и ему очень хотелось узнать, как выглядит жизнь такого другого, знающего и все же спокойного человека, узнать хотя бы настолько, насколько о ней можно судить по внешнему виду, по окружению.

Вообще-то он был по отношению к своим учителям робок и сдержан и считал, что потому особым их расположением не пользуется. Его просьба показалась ему поэтому, когда он теперь взволнованно остановился у двери, рискованным предприятием, где дело идет не столько о том, чтобы получить разъяснение,— ибо в глубине души он теперь уже сомневался

в этом,—сколько о том, чтобы заглянуть как бы за учителя, в его каждодневное соприкосновение с математикой.

Его провели в кабинет. Это была продолговатая комната с одним окном; у окна стоял закапанный чернилами письменный стол, а у стены — диван, обитый рубчатой зеленой колючей тканью и украшенный кисточками. Над диваном висели выцветшая студенческая шапочка и множество коричневых, потемневших фотографий формата визитной карточки, сделанных в университетские времена. На овальном столе с крестообразным подножием, завитки которого, претендуя на изящество, походили на неудавшуюся любезность, лежали трубка и пластинчатый, крупно нарезанный табак. Вся комната пропахла поэтому дешевым кнастером.

Не успел Тёрлес вобрать в себя эти впечатления и отметить в себе известное неудовольствие, словно от соприкосновения с чем-то неаппетитным, как вошел учитель.

Это был молодой человек, не старше тридцати лет, блондин, нервный, недюжинный математик, уже представивший ученому миру несколько важных работ.

Он сразу сел за свой письменный стол, покопался в лежащих на нем бумагах (Тёрлесу поздней показалось, что он укрылся за ним), протер носовым платком пенсне, закинул ногу на ногу и выжидательно посмотрел на Тёрлеса.

Тёрлес тоже начал уже разглядывать его. Он заметил пару белых грубошерстных носков и еще — что тесемки подштанников выпачкались о ваксу полусапожек.

Носовой платок зато выделялся по контрасту белизной и манерностью, а галстук был хоть и лоскутный, но зато пестрел всеми цветами радуги, как палитра.

Тёрлес чувствовал, что эти маленькие наблюдения невольно отталкивают его дальше, он уже не мог надеяться, что этот человек действительно обладает значительными знаниями, коль скоро ни в его внешности, ни во всем его окружении явно не было ни малейшего признака таковых. Кабинет математика он втихомолку представлял себе совершенно иным: с каким-нибудь внешним проявлением ужасных вещей, которые здесь продумывались. Обыкновенность оскорбила его; он перенес ее на математику, и его почтение перед ней стало сменяться недоверчивой строптивостью.

А поскольку и учитель нетерпеливо ерзал на своем месте, не зная, как истолковать столь продолжительное молчание и столь пытливые взгляды, между обоими уже в эту минуту установилась атмосфера недоразумения.

— Ну, давайте... пожалуйста... я с удовольствием объясню вам,— начал учитель.

Тёрлес изложил свои возражения, стараясь разъяснить, что они для него значат. Но у него было такое чувство, будто он говорит сквозь плотный, мутный туман, и лучшие его слова застревали у него уже в горле.

Учитель улыбался, покашливал, сказал «с вашего позволения» и, закурив папиросу, курил ее торопливыми затяжками; бумага — Тёрлес все это замечал и находил обыкновенным — густо тускнела и каждый раз с треском скукоживалась; учитель снял пенсне, снова надел его, кивнул головой... наконец не дал Тёрлесу договорить.

— Я рад, да, дорогой мой Тёрлес, я действительно очень рад,— прервал он его.— Ваши сомнения свидетельствуют о серьезности, о вдумчивости, о... гм... но не так-то легко дать вам нужное объяснение... Не поймите меня превратно...

Видите ли, вы говорили о вмешательстве трансцендентных гм... да... это называется трансцендентный... факторов...

Я же не знаю, как вы это ощущаете. Сверхчувственное, находящееся по ту сторону строгих границ разума,— это статья особая. Я, собственно, не очень-то вправе вмешиваться в такие вещи, это не относится к моему предмету. На сей счет можно думать и так, и этак, и я отнюдь не собираюсь

с кем-либо полемизировать... Что же касается математики,— и он подчеркнул слово «математика», словно раз навсегда захлопывая какую-то роковую дверь,— что, стало быть, касается математики, то тут, несомненно, есть также естественная и только математическая связь.

Мне пришлось бы только — строгой научности ради — сделать несколько допущений, которые вы вряд ли поймете, да и времени на это у нас нет.

Я, знаете, готов признать, что, например, эти мнимые, эти не существующие в действительности величины, ха-ха, весьма твердый орешек для молодого ученика. Удовлетворитесь тем, что такие математические понятия — это чисто математическая логическая неизбежность. Поймите, на той элементарной ступени обучения, где вы еще находитесь, многому, чего приходится касаться, очень трудно дать верное объяснение. К счастью, это мало кто чувствует, но если такой, как вы, сегодня — но, повторяю, меня это очень обрадовало,— действительно вдруг находится, то ему можно только сказать: дорогой друг, ты должен просто поверить; когда ты будешь знать математику в десять раз больше, чем сейчас, ты поймешь, а пока поверь!

Иначе нельзя, дорогой Тёрлес, математика — это особый мир, и надо в нем довольно долго пожить, чтобы чувствовать все, что в нем требуется.

Тёрлес был рад, когда учитель умолк. С тех пор как та дверь захлопнулась, у него было такое чувство, что слова удаляются все дальше и дальше... в другую, безразличную сторону, туда, где находятся все верные и все же ничего не говорящие объяснения.

Но он был оглушен потоком слов и своей неудачей и не сразу понял, что пора подняться.

Тогда, чтобы окончательно решить дело, учитель поискал последний, убедительный аргумент.

На маленьком столике лежал роскошно изданный том Канта. Учитель взял его и показал Тёрлесу.

— Видите эту книгу, это философия, здесь даны определяющие элементы наших поступков. И если бы вы могли проникнуть в их подоплеку, вы увидели бы сплошь такие логические неизбежности, которые всё определять-то определяют, а сами-то не так уж понятны. Это очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся в математике. И все же мы то и дело поступаем в соответствии с ними. Вот вам и доказательство того, насколько важны такие вещи. Однако,— усмехнулся он, увидев, что Тёрлес и впрямь раскрыл книгу и стал листать ее,— оставьте это пока. Я хотел только привести вам пример, который вы вдруг когда-нибудь вспомните. Пока это, пожалуй, слишком трудно для вас.

Весь остаток дня Тёрлес находился в состоянии взволнованности. То обстоятельство, что он держал в руках Канта, это случайное обстоятельство, на которое он в ту минуту особого внимания не обратил, отзывалось в нем теперь с большой силой. Имя Канта было известно ему понаслышке и котировалось у него так, как оно вообще котируется в обществе, далеком от гуманитарных наук,— как последнее слово философии. И этот авторитет был даже одной из причин того, что Тёрлес немного занимался дотоле серьезными книгами. Ведь обычно, преодолев период, когда им хотелось стать кучером, садовником или кондитером, очень молодые люди выбирают себе в фантазии поприще прежде всего там, где, как им кажется, их честолюбию представится наибольшая возможность совершить что-нибудь выдающееся. Если они говорят, что хотят стать врачом, то наверняка они видели где-нибудь красивую и заполненную приемную, или стеклянный шкаф с жутковатыми хирургическими инструментами, или еще что-то подобное; если они говорят о дипломатической карьере, то думают о блеске и изысканности международных салонов. Словом, они выбирают себе

профессию по той среде, в какой им больше всего хочется видеть себя, и по той позе, в какой они нравятся себе больше всего.

При Тёрлесе имя Канта произносилось не иначе, как к слову и с таким выражением лица, словно это имя какого-нибудь наводящего жуть святого. И Тёрлес не мог не думать, что Кант окончательно решил проблемы философии и с тех пор заниматься ею — пустое дело, ведь точно так же он, Тёрлес, считал, что после Гёте и Шиллера незачем уже сочинять стихи.

Дома эти книги стояли в шкафу с зелеными стеклами в папином кабинете, и Тёрлес знал, что шкаф этот никогда не открывался, кроме тех случаев, когда его показывали какому-нибудь гостю. Это было как святилище некоего божества, к которому стараются не приближаться и которое чтут только потому,что благодаря его существованию можно уже не печься об определенных вещах.

Это искаженное отношение к философии и литературе оказало впоследствии на дальнейшее развитие Тёрлеса то злосчастное влияние, которому он обязан был множеством печальных часов. Ибо из-за этого его честолюбие оттеснялось от истинных своих объектов и попадало — пока он, утратив свою цель, искал какой-нибудь новой — под грубое и решительное влияние его спутников. Его склонности возвращались уже только изредка и стыдливо и каждый раз оставляли сознание, что он совершил что-то ненужное и смешное. Но они были все же настолько сильны, что ему не удавалось освободиться от них совсем, и эта постоянная борьба лишала его нрав твердых линий и прямоты.

Сегодня, однако, это отношение вступило, казалось, в какую-то новую фазу. Мысли, ради которых он сегодня тщетно искал разъяснения, уже не были беспочвенной игрой воображения, нет, они взбудоражили, они не отпускали его, и всем своим телом он чувствовал, что за ними бьется кусок его жизни. Это было для Тёрлеса что-то совершенно новое. В душе его была определенность, которой он вообще-то не знал за собой. Это было что-то мечтательно-таинственное. Это, по-видимому, потихоньку развивалось под влияниями последнего времени и теперь вдруг постучалось властной рукой. У него было на душе, как у матери, впервые почувствовавшей повелительные движения своей утробы.

Вторая половина дня выдалась сладостная.

Тёрлес извлек из ящика все свои поэтические опыты, которые он там хранил. Он сел с ними к печке и оказался в полном одиночестве и невидим за ее могучим прикрытием. Одну за другой перелистывал он тетради, затем очень медленно рвал их на клочки и бросал каждый отдельно в огонь, снова и снова упиваясь умилением прощания.

Он хотел этим отбросить назад весь прежний груз, словно сейчас пришло время — не отягощенное ничем — направить все внимание на шаги, которые надо сделать вперед.

Наконец он встал и вышел к другим. Он чувствовал себя свободным от всяких боязливых взглядов со стороны. То, что он совершил, произошло, в сущности, исключительно инстинктивно; ничто не давало ему уверенности, что отныне он действительно сможет быть другим, кроме самого появления этого импульса. «Завтра,— сказал он себе,— завтра я все тщательно проверю и уж сумею обрести ясность».

Он походил по залу, между отдельными скамьями, глядя в раскрытые тетради, на пальцы, деловито сновавшие при письме по их яркой белизне и тянувшие за собой каждый свою маленькую коричневатую тень,— он смотрел на это так, словно вдруг проснулся с глазами, которым все кажется значительнее.

Но следующий же день принес горькое разочарование. Уже утром Тёрлес купил дешевое издание того тома, который видел у учителя, и воспользовался первым же перерывом, чтобы приступить к чтению. Но из-за

сплошных скобок и сносок он не понимал ни слова, а если он добросовестно следовал глазами за фразами, у него появлялось такое ощущение, словно старая костлявая рука вывинчивает у него мозг из головы.

Когда он примерно через полчаса, устав, перестал читать, он дошел только до второй страницы, и на лбу у него выступил пот.

Но он сжал зубы и прочел еще одну страницу, пока не кончился перерыв.

А вечером ему уже не хотелось прикасаться к этой книге. Страх? Отвращение? Он не знал точно. Одно лишь мучило его обжигающе явственно — что у учителя, человека такого невысокого, казалось, полета, книга эта лежала на виду в комнате, словно была его повседневным чтением.

В таком настроении и застал его Байнеберг.

— Ну, Тёрлес, каково было вчера у учителя?

Они сидели вдвоем в амбразуре окна, загородившись широкой вешалкой, где висело множество шинелей, так что из класса к ним проникал лишь то нараставший, то затихавший гул и отсвет ламп на потолке. Тёрлес рассеянно играл с висевшей перед ним шинелью.

— Ты спишь, что ли? Что-то уж он тебе, наверно, ответил? Могу, впрочем, представить себе, что он был изрядно смущен, не так ли?

— Почему?

— Ну, такого глупого вопроса он, наверно, не ждал.

— Вопрос был совсем не глупый. Я все еще не могу отделаться от него.

— Да я ведь вовсе не в дурном смысле. Только для него он, наверно, был глуп. Они заучивают свои сведения наизусть, как поп свой катехизис, и если спросить их не совсем по-заведенному, они всегда смущаются.

— Ах, смутился он не из-за того, что не знал, что ответить. Он даже не дал мне договорить, так быстро нашелся ответ у него.

— Как же он объяснил эту историю?

— По сути, никак. Он сказал, что мне этого еще не понять, что это логические неизбежности, которые становятся ясными только тому, кто уже занимался этими вещами обстоятельнее.

— Вот это-то и жульничество! Человеку просто разумному они не в состоянии изложить свои истории! Только если его десять лет промуштруют. А за такой срок он тысячи раз произведет вычисления на этой основе и воздвигнет целые здания, где все будет правильно. И тогда он просто поверит в это, как католик в богоявление, оно ведь всегда замечательно подтверждало себя... Велика ли хитрость навязать доказательство такому человеку? Напротив, никто не сможет убедить его, что хоть его здание и стоит, а каждый отдельный камень станет воздушным, если захочешь дотронуться до него!

Тёрлес почувствовал, что это байнеберговское преувеличение неприятно ему.

— Ну, не так уж, вероятно, все скверно, как ты изображаешь. Я никогда не сомневался в правоте математики — в конце концов, успех убеждает в ней.

— Странно мне было только то, что иное порой так противоречит разуму. А ведь возможно, что это только кажется.

— Что ж, подожди эти десять лет, может быть, у тебя и будет тогда надлежаще препарированный разум... Но я тоже размышлял об этом после нашего последнего разговора; и я твердо убежден, что тут есть загвоздка. Кстати, и ты тоже тогда говорил об этом совсем не так, как сегодня.

— О нет. У меня это и сегодня вызывает сомнения, только я не хочу сразу все так преувеличивать, как ты. **Странным** я нахожу все это тоже. Представление об иррациональном, мнимом, о линиях, которые параллельны и в бесконечности — значит, все-таки где-то — пересекаются, меня волнует. Когда я об этом думаю, я бываю оглушен, словно от удара по голове.— Тёрлес наклонился вперед, совсем ушел в тень, и голос его стал

глуше..— Прежде в голове у меня все было очень ясно и четко распределено. А теперь мне кажется, что мои мысли — как облака, и когда я подхожу в них к определенным местам, кажется, что дальше — провал, через который виден какой-то бесконечный, не поддающийся определению мир. Математика-то, конечно, права. Но что с моей головой и что со всеми другими? Неужели они совсем не чувствуют этого? Как это отражается в них? Неужели совсем никак?

— По-моему, ты мог видеть это на примере своего учителя. **Ты** — ты, столкнувшись с таким, сразу оглядываешься и спрашиваешь: как согласовать это со всем прочим во мне? А они просверлили себе в собственном мозгу ходы и оглядываются не далее, чем на ближайший угол — цела ли еще нить, которую они за собой тянут. Как можешь ты, кстати, утверждать, что я преувеличиваю? Эти взрослые, эти умники целиком вплелись в какую-то сеть, одна петля держит другую, и все в целом кажется на диво естественным. Но где находится первая петля, благодаря которой все держится, никто не знает.

Мы с тобой никогда еще так серьезно об этом не говорили, в конце концов не очень-то хочется распространяться о таких вещах, но теперь ты видишь всю слабость того взгляда на мир, которым люди довольствуются. Это обман, жульничество и слабоумие! Ведь их разума у них хватает ровно настолько, чтобы выдумать в голове свое научное объяснение, но вне головы оно замерзает, ты понимаешь? Ха-ха! Все эти вершины, эти крайности, о которых учителя говорят нам, что они так тонки, что мы сейчас еще не способны до них дотронуться,— они мертвы... они замерзли... ты понимаешь? Во все стороны торчат острия этих боготворимых ледышек, и никто на свете не знает, что с ними делать, такие они безжизненные!

Тёрлес давно уже снова откинулся назад. Горячее дыхание Байнеберга застревало в шинелях и нагревало этот закуток. И как всегда, когда он бывал возбужден, Байнеберг был неприятен Тёрлесу. Тем более сейчас, когда он придвинулся так близко, что глаза его уперлись в Тёрлеса двумя зеленоватыми камешками, в то время как руки с какой-то особенно безобразной юркостью ходили ходуном в полумраке.

Все спорно, что они утверждают. Все, говорят они, происходит естественным образом: если камень падает, то это, мол, сила тяжести. А почему не воля Бога и почему тот, кто угоден ему, не может быть избавлен им от участи камня? Но зачем я тебе это рассказываю?! Ты же навсегда останешься межеумком! Найти походя что-нибудь странное, немного покачать головой, немного ужаснуться — это по тебе. Но за эти пределы ты не сунешься. Впрочем, это не моя беда.

— Моя, что ли? Но ведь и твои-то утверждения не так уж бесспорны.

— Как можешь ты это говорить? Они вообще — единственно бесспорная вещь на свете. Зачем мне, впрочем, ссориться с тобой из-за этого?! Ты это еще увидишь, дорогой Тёрлес. Готов даже пари держать, что ты еще чертовски заинтересуешься, в чем тут дело. Например, когда с Базини выйдет так, как я...

— Оставь это, пожалуйста,— прервал его Тёрлес,— как раз сейчас мне не хочется это припутывать.

— О, почему же?

— Ну, так. Просто не желаю. Мне это неприятно. Базини и это для меня — две разные вещи. А разное я не имею обыкновения валить в одну кучу.

У Байнеберга перекосилось лицо от этой непривычной решительности, даже грубости его младшего товарища. Но Тёрлес чувствовал, что одно упоминание о Базини подкосило всю его уверенность, и чтобы скрыть это, он вознегодовал.

— Ты вообще утверждаешь какие-то вещи с прямо-таки сумасшедшей уверенностью. А ты не считаешь, что твои теории точно так же построены

на песке, как другие? И ходы у тебя гораздо более извилистые, и гораздо больше доброй воли требуется, чтобы их понять.

Байнеберг удивительным образом не разозлился; он только улыбнулся — правда, немного криво, и глаза его сверкнули вдвое беспокойнее — и скороговоркой сказал:

— Увидишь еще, увидишь еще...

— Что же я увижу? А и увижу — так хотя бы увижу. Но меня это очень мало интересует, Байнеберг! Ты не понимаешь меня. Ты совершенно не знаешь, что́ меня интересует. Если меня мучит математика и если меня...— но он быстро одумался и ничего не сказал о Базини,— если меня мучит математика, то я ищу за ней чего-то совсем другого, чем ты, я не ищу ничего сверхъестественного, а ищу именно естественное... понимаешь? Ничего не ищу вне себя... я ищу что-то в себе. В себе! Что-то естественное! Чего я, несмотря на это, не понимаю! Но тебе это так же невдомек, как тому математику... ах, отстань от меня сейчас со своими рассуждениями!

Тёрлес, вставая, дрожал от волнения.

А Байнеберг повторил скороговоркой:

— Ну, увидим, увидим...

Лежа вечером в постели, Тёрлес не мог уснуть. Минуты часа украдкой, как медицинские сестры, удалялись от его ложа, ноги у него были ледяные, а одеяло давило его, вместо того чтобы греть.

В дортуаре слышалось лишь спокойное и ровное дыхание воспитанников, которые после труда учебных занятий, гимнастики и бега на воздухе уснули здоровым, животным сном.

Тёрлес прислушивался к дыханию спящих. Это было дыхание Байнеберга, это — Райтинга, это — Базини; которое? Он этого не знал; но одно из многих, равномерных, равно спокойных, равно уверенных, поднимавшихся и опускавшихся, как механическое устройство.

Одна из полотняных занавесок размоталась, опускаясь только наполовину; ниже ее в комнату глядела светлая ночь, вычерчивая на полу бледный, неподвижный четырехугольник. Шнурок ее то ли зацепился вверху, то ли выскочил и безобразно извивался, свисая, а тень его на полу ползла по светлому четырехугольнику, как червяк.

Во всем этом было какое-то пугающее, гротескное безобразие.

Тёрлес попробовал думать о чем-нибудь приятном. Ему вспомнился Байнеберг. Разве не перещеголял он его сегодня? Разве не удалось ему сегодня впервые отстоять перед кем-то свою самобытность? Так подчеркнуть ее, что тот почувствовал бесконечную разницу в тонкости ощущений, отделявшую друг от друга их восприятия? Сумел ли тот еще как-то возразить? Да или нет?..

Но это «да или нет?» пузырилось в его голове и лопалось, «да или нет?» пузырилось опять и опять, не переставая, в ритме топота, как грохот поезда, как колыханье цветов на слишком высоких стеблях, как стук молотка, слышный через множество тонких стен в тихом доме... Это навязчивое, самодовольное «да или нет?» было противно Тёрлесу. Его радость была неправедна, какие-то смешные подскоки.

И в довершение, когда он встрепенулся, показалось, что это кивает его голова, перекатывается по плечам или ритмично поднимается и опускается...

Наконец в Тёрлесе все умолкло. Перед его глазами была только широкая, черная плоскость, кругообразно расходившаяся во все стороны.

Вот издалека, от края... двинулись через стол... две маленькие, шатающиеся фигурки. Это были явно его родители. Но такие маленькие, что он не мог испытывать к ним какие-либо чувства.

На другой стороне они исчезли.

Потом появились опять двое... Но вот кто-то сзади пробежал мимо

них — шагами, которые были вдвое длинней его роста... и вот он уже скрылся за краем. Не был ли это Байнеберг?.. Ну, а те двое — ведь один из них был же учитель математики? Тёрлес узнал его по платочку, кокетливо выглядывавшему из кармана. А другой? С очень, очень толстой книгой под мышкой, книгой в половину его роста? Он еле тащил ее... Через каждые два шага они останавливались и клали книгу на землю. И Тёрлес услышал, как писклявый голос его учителя сказал: «Если дело обстоит так, мы найдем то, что нужно, на странице двенадцатой, страница двенадцатая отсылает нас дальше, на страницу пятьдесят вторую, но тогда остается в силе и то, что было замечено на странице тридцать первой, а при таком условии...» При этом они стояли, склонившись над книгой, и совали в нее руки, отчего страницы разлетались. Через некоторое время они опять выпрямились, и другой пять или шесть раз погладил учителя по щекам. Затем они вновь прошли несколько шагов, и Тёрлес снова услышал этот голос, в точности так, как если бы тот на уроке математики перечислял пункты какого-нибудь длиннющего доказательства. Это продолжалось до тех пор, пока другой опять не погладил учителя.

Этот другой?.. Тёрлес нахмурил брови, чтобы лучше видеть. Не носил ли он косичку? И довольно старинное платье? Очень старинное? Даже шелковые штаны до колен? Это уж не?.. О! Тёрлес проснулся с криком: «Кант!»

В следующий миг он улыбался; вокруг было очень тихо, дыхание спящих притихло. Он тоже спал. И в постели его тем временем стало тепло. Он сладко потянулся под одеялом.

«Мне, значит, снился Кант,— подумал он,— почему не дольше? Может быть, он мне все же что-нибудь выболтал бы?» Он вспомнил, как однажды, не подготовившись по истории, он всю ночь так живо видел во сне относящиеся к предмету лица и события, что на следующий день мог рассказать обо всем так, словно сам при этом присутствовал, и выдержал экзамен с отличием. И тут ему опять пришел на ум Байнеберг, Байнеберг и Кант — вчерашний разговор.

Медленно уходил от Тёрлеса сон — медленно, как шелковое одеяло, которое, сползая, скользит по коже голого тела и никак не кончается.

И все же улыбка его вскоре снова сменилась каким-то странным беспокойством. Разве в своих мыслях он действительно продвинулся хотя бы на шаг? Разве хоть **что-нибудь** вычитал в этой книге, что содержало бы разгадку всех загадок? А его победа? Конечно, только его неожиданная живость заставила замолчать Байнеберга.

Опять им овладели глубокое отвращение и буквально физическая тошнота. Несколько минут он пролежал совершенно раздавленный омерзением.

Затем, однако, до его сознания вдруг снова дошло, что его тела всюду касается мягкое, теплое полотно постели. Осторожно, очень медленно и осторожно повернул Тёрлес голову. Верно, на каменном полу лежал еще тот тусклый четырехугольник, хоть и с немного смещенными сторонами, но по нему еще ползла та извивающаяся тень. Ему показалось, что там сидит на цепи какая-то опасность, за которой он из своей постели, как бы защищенный решеткой, может наблюдать со спокойствием неуязвимости.

В его коже, вокруг всего его тела, проснулось при этом некое чувство, которое вдруг превратилось в образ памяти. Когда он был совсем маленький,— да, да, это было тогда, когда он еще носил платьица и еще не ходил в школу, бывали времена, когда ему невыразимо страстно хотелось быть девочкой. И это страстное желание шло тоже не от головы — о нет — и не от сердца,— оно вызывало щекотку во всем теле и зудело под кожей. Да, бывали мгновения, когда он настолько живо ощущал себя девочкой, что думал, что иначе и быть не может. Ибо тогда он ничего не знал о значении соматических различий и не понимал, почему ему со всех сторон твердили, что теперь он навсегда останется мальчиком. А когда его спрашивали, почему он считает, что лучше быть девочкой, он чувствовал, что выразить это нельзя...

Сегодня он впервые снова ощутил нечто подобное. Снова вот так, зудом под кожей...

Нечто, казавшееся и телом, и душой одновременно. Бег и спех, тысячами бабочек с бархатными щупальцами бившиеся в его теле. И одновременно то упорство, с каким убегают девочки, когда чувствуют, что взрослые все равно не поймут их, надменность, с какой они потом украдкой подсмеиваются над взрослыми, эту боязливую, всегда готовую к быстрому побегу надменность, чувствующую, что она в любой миг может улизнуть в какое-то ужасно глубокое укрытие в маленьком теле...

Тёрлес тихо засмеялся про себя и снова сладко потянулся под одеялом.

Этот суетливый человечек, приснившийся ему, как жадно перебирал он страницы пальцами! А четырехугольник там внизу? Ха-ха. Замечали ли когда-нибудь в своей жизни что-либо подобное такие умные человечки? Он показался себе бесконечно защищенным от этих умников и впервые почувствовал, что его чувственность — ведь что это она, он давно уже знал — есть нечто такое, чего у него никто не сможет отнять и в чем подражать ему тоже никто не сможет, нечто такое, что, словно высочайшей, потаеннейшей стеной, защищает его от всякой чужой умности.

Лежали ли когда-нибудь в жизни, продолжал он эти мечты, такие умные человечки под уединенной стеной и пугались ли при каждом шорохе за известкой, словно там что-то мертвое искало слов, чтобы заговорить с ними? Чувствовали ли они когда-нибудь так музыку, которую заводит вечер в осенних листьях,— так до конца и насквозь, что за ней вдруг открывался какой-то ужас, который медленно, медленно превращался в чувственность. Но в такую странную чувственность, которая скорее походит на бегство и на взрыв смеха потом. О, легко быть умным, если не знаешь всех этих вопросов...

Но между тем то и дело казалось, что этот маленький человечек вырастает с неумолимо строгим лицом в исполина, и каждый раз дрожь, как от электрического удара, мучительно пробегала от мозга по телу Тёрлеса. Вся боль из-за того, что он все еще стоит перед запертой дверью,— то самое, что еще миг назад вытесняли теплые удары его крови,— вся эта боль пробуждалась тогда снова, и душу Тёрлеса наполняла бессловесная жалоба, как вой собаки, дрожащий над широкими ночными полями.

Так он уснул. Уже в полусне он еще несколько раз взглянул на пятно у окна, так машинально дотрагиваются до каната крепления, чтобы убедиться, что он еще натянут. Затем неясно всплыло намерение хорошенько поразмыслить о себе завтра — лучше всего с пером и бумагой,— затем, совсем под конец, была лишь приятная теплота — как ванна и чувственное возбуждение,— однако как таковая эта теплота уже не была им осознана, а каким-то совершенно непостижимым, но очень явственным образом связалась с Базини.

Затем он спал крепко и без сновидений.

И все же это было первое, с чем Тёрлес проснулся на следующий день. Ему очень хотелось знать, что́ он, собственно, тогда под конец то ли думал, то ли видел во сне о Базини, но он не был в состоянии вспомнить это.

Осталось от всего только такое ласковое чувство, какое царит на Рождество в доме, где дети знают, что подарки уже доставлены, но еще заперты за той таинственной дверью, сквозь щели которой нет-нет да проникнет луч елочного сияния.

Вечером Тёрлес остался в классе; Байнеберг и Райтинг куда-то ушли, наверно, в каморку на чердаке; Базини сидел впереди на своем месте, подперев обеими руками склоненную над книгой голову.

У Тёрлеса была припасена тетрадь, и он тщательно приготовил перо и чернила. Затем написал на первой странице, немного помедлив: De natura hominum [1], он полагал, что философский предмет требует латинского на-

---

[1] О природе людей *(лат.)*.

звания. Затем нарисовал большую, искусную виньетку вокруг заглавия и откинулся на стуле, чтобы подождать, пока она высохнет.

Но это произошло уже давно, а он все еще не брался за перо снова. Это было гипнотическое воздействие больших, жарких ламп, животного тепла, исходившего от этой массы людей. Он всегда был подвержен этому состоянию, доходившему у него порой до физического ощущения жара, которое всегда бывало связано с чрезвычайной духовной чувствительностью. Так и сегодня. Он давно уже подспудно наметил, что́, собственно, запишет: весь ряд впечатлений определенного рода от той встречи у Божены до той смутной чувственности, которая появлялась у него в последние разы. Когда все это будет по порядку, факт за фактом, описано, надеялся он, само собой получится и правильное, разумно-закономерное построение, подобно тому, как из путаницы стократно пересекающихся кривых выступает форма обводящей их линии. И большего он не хотел. Но до сих пор с ним бывало так же, как с рыбаком, который по дрожанию сети чувствует, что добыча попалась тяжелая, но, несмотря ни на какие усилия, не может вытащить ее на свет.

И вот Тёрлес все-таки начал писать — но торопливо и уже не обращая внимания на форму. «Я чувствую что-то в себе,— записал он,— и сам не знаю, что это такое». Однако он быстро зачеркнул эту строчку и написал вместо нее: «Наверно, я болен... безумен!» Тут у него мурашки пошли по телу, ибо в этом слове есть что-то приятно-патетическое. «Безумен — иначе почему меня изумляют вещи, которые кажутся другим обыкновенными? Почему это изумление пробуждает во мне нечестивые чувства?» Он нарочно выбрал это полное библейской елейности слово, потому что оно показалось ему темнее и полновеснее. «Прежде я противостоял этому, как каждый молодой человек, как все мои товарищи...» Но тут он остановился. «Правда ли это? — подумал он.— У Божены, например, было ведь уже так странно. Когда же это, собственно, началось?.. Все равно,— подумал он,— когда-то, во всяком случае». Но фразу он так и не довел до конца.

«Какие вещи изумляют меня? Самые незначительные. Чаще всего неодушевленные предметы. Что изумляет меня в них? Что-то, чего я не знаю. Но то-то и оно! Откуда же я беру это «что-то»? Я ощущаю его присутствие. Оно воздействует на меня — так, словно оно хочет заговорить. Я испытываю волнение человека, который должен по движениям губ парализованного догадаться, что́ тот хочет сказать, и никак не догадывается. Словно у меня на одно чувство больше, чем у других, но чувство это не вполне развито, оно есть, оно напоминает о себе, но оно не работает. Мир для меня полон беззвучных голосов. Кто я поэтому — ясновидящий или одержимый галлюцинациями?

Но воздействует на меня не только неодушевленное: нет, и это гораздо больше ввергает меня в сомнения, и люди тоже. До какой-то поры я видел их такими, какими они видят себя. Байнеберг и Райтинг, например,— у них имеется своя каморка, самая обыкновенная, потайная каморка на чердаке, потому что им доставляет удовольствие обладать таким убежищем. Одно они делают, потому что злы на кого-то, другое — чтобы предотвратить чье-то влияние на товарищей. Все понятные, ясные причины. А сегодня они иногда предстают мне такими, словно я вижу сон и они — действующие лица этого сна. Не только их слова, их поступки, нет, все в них, связанное с их физическим присутствием, оказывает на меня такое же воздействие, как неодушевленные предметы. И все-таки я слышу, как они рядом со мной говорят совершенно по-прежнему, вижу, что их поступки и их слова все еще выстраиваются совершенно по тем же формам... Все это непрестанно пытается уверить меня, что ничего необычайного не происходит, и тем не менее так же непрестанно что-то во мне против этого восстает. Перемена эта началась, если я не ошибаюсь, после того как Базини....»

Тут Тёрлес непроизвольно посмотрел на него.

Базини все еще сидел, склонившись над своей книгой, и, казалось, учил

урок. При этом зрелище в Тёрлесе умолкли его мысли, и ему представился случай снова почувствовать те сладостные муки, которые он только что описывал. Ибо достаточно было ему отметить, как спокойно и невинно сидит перед ним Базини, решительно ничем не отличаясь от других, сидевших справа и слева, чтобы в Тёрлесе ожили унижения, которые Базини вынес. Ожили... то есть он и думать не думал — с той снисходительностью, которая следует за морализированием,— говорить себе, что всякий, претерпев унижения, старается поскорей обрести хотя бы внешнюю непринужденность, нет, в нем что-то безумно завертелось, сразу же сжав и извратив, а затем невидимым образом разорвав на части образ Базини так, что у него самого голова пошла кругом. Это, впрочем, были только сравнения, которые он придумал позднее. В этот миг у него было только чувство, что что-то в нем, как бешеная юла, вихрем поднимается из сдавленной груди к голове, чувство головокружения. Россыпью цветных точек вкраплялись в это ощущение чувства, которые Базини внушал ему в разное время.

По сути же это было всегда только одно и то же чувство. И по сути даже вообще не чувство, а землетрясение далеко в глубине, землетрясение это никаких заметных волн не отбрасывало, и все-таки вся душа вздрагивала от него с такой сдержанной мощью, что волны даже самых бурных чувств кажутся по сравнению с этим безобидной рябью.

Если это одно чувство в разное время осознавалось им все же поразному, то причина была в том, что для истолкования этой волны, захлестывавшей весь его организм, он располагал только теми образами, которые мог чувственно воспринять,— так из зыби, бесконечно простирающейся во мраке, взлетают лишь брызги у скал освещенного берега, чтобы сразу же снова беспомощно выпасть из пучка света и утонуть.

Эти впечатления были поэтому непрочны, изменчивы, сопровождались сознанием их случайности. Тёрлесу никогда не удавалось задержать их, ибо, приглядываясь к ним внимательно, он чувствовал, что эти представители на поверхности совершенно несопоставимы с мощью той темной, косной массы, которую они якобы представляли.

Никогда он не «видел» Базини в живой пластике той или иной позы, никогда у него не было настоящего видения, а всегда лишь иллюзия такового, как бы лишь видение его видений. Ибо всегда у него бывало такое ощущение, будто какая-то картина только что промелькнула по таинственной плоскости, и никогда не удавалось ему схватить сам этот миг. Поэтому в нем никогда не унималось то беспокойство, какое испытываешь в кинематографе, когда при иллюзии целостности нельзя все же избавиться от смутного ощущения, что за картиной, которую воспринимает твой глаз, мелькают сотни совсем других, если взять их в отдельности, картин.

Но где ему, собственно, искать в себе эту родящую иллюзию силу, эту силу, всегда недодающую неизмеримо малую долю иллюзии, Тёрлес не знал. Он лишь смутно догадывался, что она связана все с тем же загадочным свойством его души — чувствовать иногда, как и неодушевленные вещи, просто предметы атакуют ее сотнями молчаливых вопрошающих глаз.

Итак, Тёрлес сидел тихо и неподвижно, непрестанно поглядывая на Базини, целиком захваченный вихрем, бушевавшим внутри у него. И снова, и снова вставал все тот же вопрос: что это за особое свойство, которым я обладаю? Постепенно он перестал видеть и Базини, и пышущие жаром лампы, перестал чувствовать и животное тепло вокруг себя, и жужжанье, и гул, которые поднимаются от множества людей, даже если они говорят только шепотом.

Жаркой, темной, пылающей массой все это неразличимо кружилось вокруг него. Он чувствовал только жжение в ушах и ледяной холод в кончиках пальцев. Он находился в том состоянии жара больше души, чем тела, которое очень любил. Все больше нарастало это настроение, примешивавшее к себе и нежные чувства. В этом состоянии он раньше охотно пред-

авался тем воспоминаниям, какие оставляет женщина, когда ее теплое дыхание впервые овеет такую юную душу. И сегодня тоже в нем проснулось это усталое тепло. Вот оно: одно воспоминание... Это было в поездке... в одном итальянском городке... он жил с родителями на постоялом дворе недалеко от театра, там каждый вечер давали одну и ту же оперу, и каждый вечер он слышал каждое слово, каждый звук, доносившийся оттуда. Но он не знал языка. И все же он каждый вечер сидел у открытого окна и слушал. Так влюбился он в одну из актрис, ни разу ее не увидев. Никогда не захватывал его театр так, как тогда; он ощущал страсть мелодий, как взмахи крыльев больших темных птиц, словно бы чувствуя линии, которые проводил в его душе их полет. Это были уже не человеческие страсти — то, что он слышал, нет, это были страсти, вылетевшие из людей, как из слишком тесных и слишком будничных клеток.

В этом волнении он никогда не думал о лицах, что там, в театре — невидимые — исполняли эти страсти; стоило ему попытаться представить себе их, как тотчас перед глазами у него вспыхивало темное пламя или что-то неслыханно огромных размеров, наподобие того, как в темноте вырастают человеческие тела, а человеческие глаза светятся как зеркала глубоких колодцев. Это мрачное пламя, эти глаза в темноте, эти черные взмахи крыльев он любил тогда под именем той незнакомой ему актрисы.

А кто создал эту оперу? Он не знал. Может быть, либретто ее было пошлым, сентиментальным любовным романом. Чувствовал ли его создатель, что благодаря музыке оно станет чем-то другим?

Тёрлес весь сжался от одной мысли. Таковы ли и взрослые? Таков ли мир? Не общий ли это закон, что в нас есть что-то, что сильнее, больше, прекраснее, страстнее, темнее, чем мы? Над чем мы настолько не властны, что можем лишь наудачу разбрасывать тысячи зерен, пока одно вдруг не прорастет темным пламенем, которое поднимется далеко выше нас?.. И в каждом нерве его тела дрожало в ответ нетерпеливое «да».

Тёрлес посмотрел вокруг блестящими глазами. Все еще были на месте лампы, тепло, свет, усердные люди. Но среди всего этого он показался себе каким-то избранником. Каким-то святым, которому являются небесные видения. Ибо об интуиции великих художников он ничего не знал.

Торопливо, с поспешностью страха он схватил перо и записал несколько строк о своем открытии, казалось, все это еще раз озарило его душу, как некий свет... а затем глаза ему застлало пепельно-серым дождем, и пестрый блеск в нем погас.

. . . . . .

...Но эпизод с Кантом был почти полностью преодолен. Днем Тёрлес вообще не думал об этом больше; убежденность, что сам он уже близок к разрешению своих загадок, была слишком жива в нем, чтобы ему заботиться еще о чьих-то путях. После этого последнего вечера ему казалось, что он уже держал в руке ручку ведущей туда двери, только она вдруг выскользнула. Но, поняв, что от помощи философских книг надо отказаться, да и не очень-то доверяя им, он пребывал в некоторой растерянности насчет того, как снова найти эту ускользнувшую ручку. Он несколько раз пытался продолжить свои записи, однако написанные слова оставались мертвы, оставались вереницей угрюмых, давно знакомых вопросительных знаков, не пробуждая снова того мгновения, когда он сквозь них заглядывал как бы в подвал, освещенный дрожащими огоньками свечей.

Поэтому он решил как можно чаще снова и снова искать ситуации, которые несли в себе это, такое необыкновенное для него содержание; и особенно часто останавливался его взгляд на Базини, когда тот, не подозревая, что за ним наблюдают, вращался среди других как ни в чем не бывало. «Уж когда-нибудь,— думал Тёрлес,— оно оживет снова и станет, может быть, живее и яснее, чем прежде». И он совсем успокаивался от этой мысли, что по отношению к таким вещам находишься просто в темной комнате и, когда ускользает из-под пальцев нужное место, ничего другого не остается, как еще и еще раз ощупывать наобум темные стены.

Ночами, однако, эта мысль несколько блекла. Тут на него находил вдруг какой-то стыд из-за того, что он все увиливает от своего первоначального намерения постараться извлечь из книги, которую ему показал учитель, содержащееся там все-таки, может быть, объяснение. Тогда он спокойно лежал, прислушиваясь к Базини, чье поруганное тело дышало мирно, как тела всех других. Он лежал спокойно, как охотник в засаде, с чувством, что время, проведенное в таком ожидании, еще вознаградит себя. Но как только возникала мысль о книге, в это спокойствие мелкими зубками вгрызалось сомнение, подозрение, что он делает не то, нерешительное признание своего поражения.

Как только это неясное чувство заявляло о себе, внимание его утрачивало ту приятную невозмутимость, с какой наблюдаешь за ходом научного эксперимента. Тогда казалось, что от Базини исходит какое-то физическое влияние, какое-то возбуждение, словно спишь близ женщины, с которой можешь в любой миг сорвать одеяло. Щекотка в мозгу, идущая от сознания, что достаточно только протянуть руку. То, что часто толкает молодые пары к излишествам, выходящим далеко за пределы их чувственной потребности.

. . . . . .

В зависимости от того, насколько живо он ощущал, что его затея показалась бы ему, быть может, смешной, если бы он знал все то, что знает Кант, знает его учитель, знают все, прошедшие курс наук, в зависимости от силы этого потрясения ослабевали или усиливались чувственные стимулы, из-за которых глаза его не остывали и не закрывались, несмотря на тишину общего сна. А порой эти стимулы вспыхивали в нем даже с такой мощью, что заглушали любую другую мысль. Когда он в эти мгновения полупокорно-полуотчаянно отдавался их нашептываниям, с ним происходило лишь то, что происходит со всеми людьми, которые тоже ведь никогда не бывают так склонны к бешеной, разнузданной, разрывающей душу, сладострастно-намеренно разрывающей душу чувственности, как тогда, когда они потерпели неудачу, нарушившую равновесие их самоуверенности...

Когда он потом после полуночи лежал наконец в беспокойной дремоте, ему несколько раз казалось, что кто-то в стороне Райтинга или Байнеберга вставал с кровати, накидывал шинель и подходил к Базини. Затем они покидали зал... Но это могло и почудиться...

Наступили два дня праздника; поскольку они пришлись на понедельник и вторник, директор отпустил воспитанников уже в субботу, и получились четырехдневные каникулы. Для Тёрлеса, однако, это был слишком малый срок, чтобы предпринять дальнюю поездку домой; поэтому он надеялся, что хотя бы родители навестят его, но отца задерживали неотложные дела в министерстве, а мать чувствовала себя не совсем здоровой и не могла отправиться в утомительный путь одна.

Лишь получив письмо, в котором родители сообщали, что не приедут, и присовокупляли всякие нежные утешения, Тёрлес почувствовал, что так оно, собственно, и лучше для него. Он воспринял бы это чуть ли не как помеху,— во всяком случае, это привело бы его в большое смятение,— если бы ему пришлось предстать перед родителями именно сейчас.

Многие воспитанники получили приглашения из близлежащих имений. Джюш, у его родителей было прекрасное поместье на расстоянии одного дня езды на коляске от городка, тоже взял отпуск, и Байнеберг, Райтинг, Гофмайер сопровождали его. Базини Джюш тоже пригласил, однако Райтинг велел ему отказаться. Тёрлес сослался на то, что не знает, не приедут ли все же родители; он был совершенно не расположен к бесхитростному праздничному веселью и развлечениям.

Уже в субботу во второй половине дня весь большой дом умолк и почти опустел.

Когда Тёрлес шагал по коридорам, гул проходил от одного их конца к другому; решительно никому не было до него дела, ибо и большинство учителей уехало на охоту или еще куда-нибудь. Только во время трапез, которые подавали теперь в маленькой комнатке возле покинутой столовой, виделись немногие оставшиеся воспитанники; после еды шаги их снова рассеивались в длинной череде коридоров и комнат, безмолвие дома как бы поглощало их, они сейчас вели жизнь не более заметную, чем жизнь пауков и многоножек в подвале и на чердаке.

Из класса Тёрлеса остались только он и Базини, не считая тех, кто лежал в палатах для больных. При прощании Тёрлес обменялся с Райтингом несколькими тайными словами, которые касались Базини. Райтинг боялся, что Базини воспользуется случаем, чтобы поискать защиты у кого-нибудь из учителей, и очень просил Тёрлеса хорошенько следить за ним.

Однако в этом вовсе не было нужды, внимание Тёрлеса и так было сосредоточено на Базини.

Едва ушла из дома суета подъезжающих колясок, несущих чемоданы слуг, прощающихся воспитанников, как Тёрлесом властно овладело сознание, что он остался с Базини наедине.

Это было после первой обеденной трапезы. Базини сидел спереди на своем месте и писал письмо; Тёрлес сел в самом заднем углу комнаты и пытался читать.

То была впервые опять та самая книга, и Тёрлес тщательно продумал эту ситуацию заранее: Базини сидит впереди, он сзади, конечно, держа его глазами, входя в него, как бурав. И читать он хотел так. После каждой страницы глубже погружаясь в Базини. Так, должно быть, это получится; так должен был он найти истину, не выпустив из рук жизнь, живую, сложную, сомнительную жизнь...

Но это не получалось. Как всегда, когда он чересчур тщательно продумывал все заранее. Слишком мало было непосредственности, и нужное настроение пропадало, превращаясь в вязкую, как размазня, скуку, противно прилипавшую к каждой слишком нарочитой новой попытке.

Тёрлес со злостью швырнул книгу на пол. Базини испуганно обернулся, но сразу поспешно стал снова писать.

Так подползали часы к сумеркам. Тёрлес сидел в полном отупении. Единственным, что из какого-то общего чувства жужжащей, гудящей духоты поднималось до его сознания, было тиканье его карманных часов. Как хвостик, виляло оно за вялым туловищем времени. В комнате все расплывалось... Базини, конечно, давно уже не мог больше писать... «а, наверно, он не осмеливается зажечь свет», подумал Тёрлес. Сидит ли он вообще еще на своем месте? Тёрлес глядел в окно на холодный, сумеречный пейзаж, и глаза его должны были сперва привыкнуть к темноте комнаты. Нет, сидит. Вон та неподвижная тень, это, наверно, он. Ах, он даже вздыхает — один раз... два раза... уж не уснул ли он?

Вошел служитель и зажег лампы. Базини встрепенулся и протер глаза. Затем вынул книгу из ящика и, казалось, принялся за чтение. Тёрлесу донельзя хотелось заговорить с ним, и во избежание этого он поспешно вышел из комнаты. Ночью Тёрлес чуть не бросился на Базини. Такая ужасная чувственность проснулась в нем после муки бездумного, тупого дня. К счастью, подоспел избавительный сон.

Прошел следующий день. Он не принес ничего, кроме той же бесплодности тишины. Молчание, ожидание извели Тёрлеса... постоянное внимание поглотило все его умственные силы, он был не способен ни о чем думать.

Разбитый, разочарованный, до злейших сомнений недовольный собой, он рано лег в постель.

Он уже долго лежал в беспокойном, разгоряченном полусне, когда услыхал, как вошел Базини.

Не шевелясь, он проводил глазами темную фигуру, которая прошла мимо его кровати; он слышал шорохи, вызываемые раздеванием, затем шелест натягиваемого на тело одеяла.

Тёрлес задержал дыхание, однако ничего больше не услышал. И все же его не покидало чувство, что Базини не спит, а так же напряженно, как он, прислушивается к темноте. Так проходили минуты... часы. Прерываемые лишь изредка тихим шорохом ворочающихся в постели тел.

Тёрлес находился в странном состоянии, не дававшем ему уснуть. Вчера его лихорадило от чувственных картин, которые ему рисовало воображение. Лишь совсем под конец они повернули к Базини, как бы под неумолимой рукой сна, погасившего их, после того, как они вспыхнули напоследок, и как раз от этого у него и осталось только очень смутное воспоминание. А сегодня с самого начала было лишь инстинктивное желание встать и пойти к Базини. Пока у него было чувство, что Базини не спит и прислушивается к нему, выдержать это было почти невозможно; а теперь, когда тот, вероятно, все же уснул уже, и вовсе несносно хотелось напасть на спящего, как на добычу.

Тёрлес уже чувствовал, как во всех его мышцах дрожат движения, которые нужно сделать, чтобы приподняться и встать с постели. Однако он все еще не был в силах стряхнуть с себя свою неподвижность.

«Что мне, собственно, от него нужно?» — спросил он себя почти вслух от страха. И должен был признаться себе, что его жестокость и чувственность никакой настоящей цели совсем не имели. Он пришел бы в замешательство, если бы действительно бросился на Базини. Он же не хотел бить его? Боже упаси! Каким же образом должно было уняться его чувственное возбуждение? Он невольно почувствовал отвращение, подумав о разных мальчишеских пороках. Так позориться перед другим человеком? Никогда!..

Но по мере того как росло это отвращение, усиливалось и стремление пойти к Базини. Наконец Тёрлес целиком проникся сознанием бессмысленности такой затеи, но какая-то поистине физическая сила, казалось, тянула его, словно за веревку, с кровати. И в то время как все картины уходили у него из головы и он твердил себе, что самое лучшее сейчас — это постараться уснуть, он машинально приподнялся на своем ложе. Приподнялся очень медленно — прямо-таки чувствуя, как эта внутренняя сила лишь мало-помалу оттесняет препятствия. Сначала оперся на локоть, затем высунул из-под одеяла колено... затем... но вдруг босиком, на цыпочках, подбежал к Базини и сел на край его кровати.

Базини спал.

Вид у него был такой, словно ему снилось что-то приятное.

Тёрлес все еще не управлял своими действиями. Несколько мгновений он просидел тихо, уставившись в лицо спящего. В мозгу его мелькали те короткие, отрывочные мысли, как бы лишь констатирующие ситуацию, которые приходят, когда теряешь равновесие, падаешь или когда у тебя вырывают из рук какой-то предмет. И, не опомнившись, он схватил Базини за плечо и растормошил.

Спавший несколько раз вяло потянулся, затем приподнялся и посмотрел на Тёрлеса сонными глазами.

Тёрлес испугался; он был в по́лном смятении; его поступок впервые дошел до его сознания, и он не знал, что делать теперь. Ему было ужасно стыдно. Сердце громко стучало. На языке вертелись слова объяснения, отговорки. Он хотел спросить Базини, нет ли у него спичек, не может ли он сказать, который сейчас час...

Базини смотрел на него все еще непонимающе.

Тёрлес уже отнял руку, не выдавив из себя ни слова, уже соскользнул с кровати, чтобы бесшумно юркнуть в свою постель,— и тут Базини, кажется, уразумел ситуацию и выпрямился одним рывком.

Тёрлес нерешительно остановился у изножья кровати. Базини еще раз посмотрел на него вопросительным, испытующим взглядом, затем совсем поднялся с постели, накинул шинель, сунул ноги в домашние туфли и, шаркая ими, пошел вперед.

Тёрлесу мгновенно стало ясно, что это случается не в первый раз.

Проходя мимо, он захватил ключ от клетушки, который был спрятан у него под подушкой...

Базини шагал прямиком к чердачной каморке. Он успел, казалось, хорошо усвоить дорогу, которую тогда ведь еще утаивали от него. Он поддержал ящик, когда Тёрлес влезал на него, он отодвигал кулисы в сторону, осторожно, сдержанными движениями, как вышколенный лакей.

Тёрлес отпер дверь, и они вошли. Он стал спиной к Базини и зажег фонарик.

Когда он обернулся, Базини стоял перед ним нагишом.

Он невольно сделал шаг назад. Внезапное зрелище этого голого, белого, как снег, тела, за которым красный цвет стен превращался в кровь, ослепило и потрясло его. Базини был хорошо сложен; в его теле не было почти ничего от мужских форм, в нем была целомудренная, стройная, девичья худощавость. И Тёрлес почувствовал, как от вида этой наготы загораются белым пламенем его нервы. Он не мог уйти от власти этой красоты. Он не знал раньше, что такое красота. Ведь что ему в его возрасте было искусство, что он, в сущности, знал о нем?! Оно ведь любому выросшему на вольном воздухе человеку до известного возраста непонятно и скучно!

А тут оно пришло к нему дорогой чувственности. Тайно нагрянуло. Одуряющее, теплое дыхание шло от обнаженной кожи, мягкая, сладострастная угодливость. И все же было в этом что-то такое торжественное и покоряющее, что хотелось молитвенно сложить руки.

Но после первого изумления Тёрлес устыдился и того и другого. «Он же мужчина!» Эта мысль возмутила его, но у него было такое ощущение, словно и девушка не была бы иной.

Устыдившись, он прикрикнул на Базини:

— Ты что? Ну-ка, сейчас же!..

Теперь, казалось, смутился **тот;** медля и не спуская глаз с Тёрлеса, он поднял с пола шинель.

— Садись! — приказал Тёрлес Базини. Тот повиновался. Тёрлес прислонился к стене скрещенными за спиной руками.

— А почему ты разделся? Чего ты хотел от меня?

— Ну, я думал...

Заминка.

— Что ты думал?

— Другие...

— Что другие?

— Байнеберг и Райтинг...

— Что Байнеберг и Райтинг? Что они делали? Ты должен все рассказать мне! Я так хочу — понятно? Хотя я и слышал это уже от других.

Тёрлес покраснел от этой неуклюжей лжи. Базини кусал губы.

— Ну, долго еще?

— Нет, не требуй, чтобы я рассказывал! Пожалуйста, не требуй этого! Я ведь сделаю все, что ты захочешь. Но не заставляй меня рассказывать... О, у тебя такой особый способ мучить меня!..

Ненависть, страх и мольба боролись в глазах Базини. Тёрлес невольно уступил.

— Я вовсе не хочу тебя мучить. Я хочу только, чтобы ты сам сказал полную правду. Может быть, в твоих же интересах.

— Но я же не делал ничего, что стоило бы особо рассказывать.

— Вот как? А почему же тогда ты разделся?

— Они требовали этого.

— А почему ты делал то, что они требовали? Ты, значит, трус? Жалкий трус?

— Нет, я не трус! Не говори так!

— Заткнись! Если ты боишься получить от них взбучку, то тебе невредно было бы получить ее и от меня!

— Да не боюсь я никакой взбучки.

— Вот как? А чего же?

Тёрлес опять говорил спокойно. Его уже коробило от собственной грубой угрозы. Но она вырывалась у него невольно, только потому, что ему показалось, что Базини ведет себя с ним вольнее, чем с другими.

— А если ты, как ты говоришь, не боишься, то в чем же дело?

— Они говорят, что если я буду им подчиняться, то через некоторое время мне все простят.

— Они оба?

— Нет, вообще.

— Как могут они это обещать? Есть ведь еще и я!

— Об этом уж они позаботятся, говорят они!

Это подействовало на Тёрлеса, как удар. Ему вспомнились слова Байнеберга, что при случае Райтинг обошелся бы с ним в точности так же, как с Базини. А если бы дело и впрямь дошло до интриги против него, как следовало бы ему действовать? В таких вещах он не мог тягаться с ними обоими, насколько далеко зашли бы они? Как с Базини?.. Все в нем восставало против этой язвительной мысли.

Несколько минут протекло между ним и Базини. Он знал, что ему недостает отваги и выдержки для таких козней, но только потому, что они слишком мало интересовали его, потому что он никогда не участвовал в них всей душой. Тут ему всегда приходилось больше проигрывать, чем выигрывать. Но случись однажды иначе, у него, чувствовал он, появилось бы и совсем другое упорство, совсем другая храбрость. Только следовало знать, когда надо все поставить на карту.

— Они говорили тебе подробнее?.. как это они представляют себе?.. насчет меня?

— Подробнее? Нет. Они говорили только, что уж позаботятся.

Однако... Опасность была налицо... она где-то затаилась... и поджидала Тёрлеса; каждый шаг мог завести в капкан, каждая ночь могла быть последней перед боями. Огромная ненадежность заключалась в этой мысли. Это было уже совсем не то, что спокойно отдаваться течению, совсем не то, что играть с загадочными видениями: это имело твердые углы и было ощутимой реальностью.

Разговор возобновился.

— А что они делают с тобой?

Базини промолчал.

— Если ты всерьез хочешь исправиться, ты должен сказать мне все.

— Они заставляют меня раздеться.

— Да, да, это я видел же... а потом?..

Прошло несколько мгновений, и вдруг Базини сказал:

— Разное.

Он сказал это с женственной, блудливой интонацией.

— Ты, значит, их... любов... ница?

— О нет, я их друг.

— Как ты смеешь это говорить!

— Они сами это говорят.

— Что?..

— Да, Райтинг.

— Вот как, Райтинг?

— Да, он очень любезен со мной. Обычно я должен, раздевшись, читать ему что-нибудь из книг по истории; о Риме и римских императорах, о семействе Борджиа, о Тимурхане... ну, тебе уже ясно, все такое кровавое, с таким размахом. Тогда он бывает даже ласков со мной.

. . . . . .

— А после он обычно бьет меня...

— После чего?!! Ах, вот как!

— Да. Он говорит, что если бы не бил меня, то непременно думал бы,

что я мужчина, а тогда он и не смог бы быть со мной таким мягким и ласковым. А так, мол, я его вещь, и тут он не стесняется.

— А Байнеберг?

— Ну, тоже, как Райтинг, только... Но не ругайся опять...

— Говори.

— Только... другим, обходным путем. Он сперва читает мне длинные лекции о моей душе. Я ее замарал, но как бы лишь первое ее преддверие. По отношению к глубинному это нечто ничтожное и внешнее. Только это надо умертвить. Так уже многие превратились из грешников в святых. Грех поэтому в высшем смысле не так уж плох. Только его нужно довести совсем до крайности, чтобы он изжил себя. Байнеберг заставляет меня сидеть и глядеть на шлифованное стекло.

— Он гипнотизирует тебя?

— Нет, он говорит, что ему надо лишь усыпить и сделать бессильным все, что плавает на поверхности моей души. Только тогда он может войти в общение с самой душой.

— И как же он общается с ней?

— Это эксперимент, который ему еще ни разу не удавался. Он сидит, а я ложусь на пол, чтобы он мог поставить ноги на мое туловище. После стекла я становлюсь довольно вялым и сонным. Потом он вдруг приказывает мне лаять. Он дает подробные указания: тихо, больше скулежа,— как лает собака со сна.

— Зачем это?

— Неизвестно зачем. Он заставляет меня еще хрюкать, как свинья, и все повторяет мне, что во мне есть что-то от этого животного. Но не то чтобы он ругал меня, нет, он повторяет это очень тихо и ласково, чтобы — как он говорит — хорошенько вдолбить это в мои нервы. Ведь он утверждает, что таковым было, возможно, одно из моих прежних существований и что его нужно выманить, чтобы обезвредить.

— И ты во все это веришь?

— Упаси Боже. По-моему, он сам в это не верит. Да и он под конец всегда совсем другой. Как можно верить в такие вещи? Кто верит сегодня в какую-то душу?! А тем более в такое переселение душ?! Что я провинился, я прекрасно знаю. Но я всегда надеялся загладить свою вину. Для этого вовсе не нужно никаких фокусов. И я совсем не ломаю себе голову по поводу того, как меня угораздило совершить подобный проступок. Такие вещи делаются быстро, сами собой, лишь потом замечаешь, что сделал какую-то глупость. Но если ему доставляет удовольствие искать за этим чего-то сверхчувственного, то, по мне, на здоровье. Ведь пока я должен подчиняться ему. Вот если бы он перестал колоть меня...

— Что?

— Да, иголкой — ну, не сильно, только чтобы посмотреть, как я на это реагирую... не будет ли что-нибудь заметно в каком-либо месте тела. Но все же больно. Он утверждает, что врачи в этом ничего не смыслят. Я не запомнил, чем он это доказывает, помню только, что он много говорит о факирах, которые, когда они смотрят в свою душу, будто бы не воспринимают физической боли.

— Ну да, я знаю эти идеи. Но ты же сам сказал, что это не все!

— Конечно, нет. Но я же сказал, что считаю это лишь обходным путем. Потом каждый раз следует четверть часа, когда он молчит, и я не знаю, что происходит в нем. А затем он вдруг поднимается и требует от меня услуг — как одержимый — гораздо хуже, чем Райтинг.

— И ты делаешь все, что от тебя требуют?

— Что мне остается? Я хочу снова стать порядочным человеком и чтобы меня оставили в покое.

— А то, что тем временем произошло, тебе будет совершенно безразлично?

— Я же ничего не могу поделать.

— Теперь хорошенько послушай и ответь на мои вопросы. Как ты мог красть?

— Как? Понимаешь, мне до зарезу нужны были деньги. Я задолжал трактирщику, и он не давал мне больше отсрочки. К тому же я был уверен, что деньги мне вот-вот пришлют. Никто из товарищей не давал мне взаймы; у одних не было и у самих, а бережливые просто ведь рады, если кто-то, кто не скупится, оказывается к концу месяца в затруднительном положении. Я, конечно, не хотел никого обманывать, я хотел только тайком взять в долг...

— Не то я имею в виду,— нетерпеливо прервал Тёрлес этот явно облегчавший Базини рассказ,— я спрашиваю: как... каким образом ты смог это сделать, как ты себя чувствовал? Что происходило в тебе в этот миг?

— Ну, да... ничего. Это же был только миг, я ничего не почувствовал, ничего не обдумал. Это просто случилось вдруг.

— А первый раз с Райтингом? Когда он впервые потребовал от тебя этих вещей? Понимаешь?..

— О, неприятно-то это уж было. Потому что все происходило по приказу. Ведь вообще... подумай, сколько людей делают такие дела добровольно, для удовольствия, а другие об этом не знают. Тогда это, вероятно, не так скверно.

— Но ты делал это по приказу. Ты унижался. Как если бы ты полез в дерьмо, потому что так захотел другой.

— Это я признаю. Но я был вынужден.

— Нет, ты не был вынужден.

— Они бы избили меня, донесли на меня. Весь позор пал бы на меня.

— Ну, ладно, оставим это. Я хочу узнать от тебя нечто другое. Слушай, я знаю, что ты оставлял много денег у Божены. Ты хвастался перед ней, хорохорился, бахвалился своей мужественностью. Ты, значит, хочешь быть мужчиной? Не только речами и... но и всей душой? Ну вот, и вдруг кто-то требует от тебя таких унизительных услуг, ты в тот же миг чувствуешь, что ты слишком труслив, чтобы сказать «нет»,— не прошла ли тут какая-то трещина через все твое существо? Какой-то ужас — неопределенный,— словно в тебе только что совершилось что-то невыразимое?

— Господи, я не понимаю тебя. Я не знаю, чего ты хочешь. Я не могу сказать тебе ничего, совсем ничего.

— Ну, так слушай. Я сейчас прикажу тебе снова раздеться.

Базини улыбнулся.

— Лечь ничком на землю передо мной. Не смейся! Я действительно приказываю это тебе! Слышишь?! Если ты сейчас же не повинуешься, увидишь, что с тобой будет, когда вернется Райтинг!.. Так. Видишь, теперь ты лежишь голый передо мной на земле. Ты даже дрожишь. Тебе холодно? Я мог бы сейчас плюнуть на твое голое тело, если бы захотел. Прижмись плотней головой к земле. Не странно ли выглядит пыль на полу? Как пейзаж с облаками и скалами высотой с дом? Я мог бы колоть тебя иголками. Там, в нише, возле фонаря, есть еще несколько. Ты уже чувствуешь их кожей?.. Но я не хочу... я мог бы заставить тебя лаять, как это делает Байнеберг, жрать пыль, как свинья, мог бы заставить тебя делать движения — сам знаешь,— и ты должен был бы в лад им стонать: о моя мамоч...— Тёрлес, однако, резко оборвал эти поношения.— Но я не хочу, не хочу, понимаешь?!

Базини заплакал:

— Ты мучишь меня...

— Да, я мучу тебя. Но не это мне нужно. Я только одно хочу знать. Когда я все это вонзаю в тебя, как нож, что происходит в тебе? Что творится в тебе? В тебе что-то разбивается? Скажи! Стремительно, как стекло, которое вдруг разлетается на тысячи осколков, прежде чем на нем покажется трещина? Твой образ, который сложился у тебя,— не гаснет ли он, словно от одного дуновения? Не выскакивает ли на его месте другой, как

выскакивают из темноты картины волшебного фонаря? Неужели ты совсем не понимаешь меня? Точнее я это не могу тебе объяснить. Ты должен сам мне сказать!..

Базини плакал, не переставая. Его девические плечи дрожали; он твердил только одно и то же:

— Я не знаю, чего ты хочешь! Я не могу тебе ничего объяснить. Это происходит сейчас. Это и тогда не может происходить иначе. Ты поступил бы так же, как я.

Тёрлес молчал. Изнуренный, он неподвижно стоял, прислонясь к стене, и смотрел прямо перед собой в пустоту.

«Окажись ты в моем положении, ты поступил бы так же»,— сказал Базини. Случившееся принималось им как простая неизбежность, спокойно и неискаженно.

Тёрлесовское чувство собственного достоинства с великим презрением бунтовало даже против самого такого допущения. И все же этот бунт всего его естества не казался ему достаточной гарантией. «...Да, у меня характер оказался бы тверже, чем у него, я бы таких допущений не потерпел — но разве это важно? Разве важно то, что я по своей твердости, по своей порядочности, сплошь по причинам, которые сейчас для меня совсем несущественны, поступил бы иначе? Нет, дело не в том, как я поступил бы, а в том, что если бы я действительно поступил, как Базини, я бы, как и он, не усматривал в этом ничего чрезвычайного. Вот в чем суть: мое самоощущение было бы точно таким же простым и далеким от всего сомнительного, как самоощущение Базини...»

Эта мысль — она думалась отрывочными, захлестывавшими друг друга, все снова и снова начинавшимися сначала фразами,— мысль эта, дополнявшая презрение к Базини какой-то очень интимной, тихой, но гораздо глубже, чем то смогла бы мораль, затрагивающей душевное равновесие болью, мысль эта пришла от памяти об одном только что испытанном ощущении, которая не отпускала Тёрлеса. Когда он узнал от Базини об опасности, грозившей ему, возможно, со стороны Райтинга и Байнеберга, он просто испугался. Просто испугался, как при нападении, и мгновенно, не размышляя, стал искать защиты и укрытий. Было это, значит, в момент действительной опасности; и ощущение, испытанное при этом, возбуждало его. Эти быстрые, бездумные импульсы. Он тщетно пытался снова вызвать их в себе. Но он знал, что они мгновенно лишили опасность всякой странности и двусмысленности.

И все-таки это была та же опасность, которую он не далее как несколько недель назад почувствовал на этом же месте. Тогда, когда он пришел в такой странный испуг из-за каморки, которая, как забытое средневековье, таилась вдали от теплой и светлой жизни, учебных залов, и из-за Байнеберга и Райтинга, потому что те из людей, которыми они там были, вдруг стали, казалось, чем-то другим, чем-то мрачным, кровожадным, лицами совсем из другой жизни. Тогда это было для Тёрлеса метаморфозой, прыжком, словно картина его окружения вдруг предстала другим, проснувшимся от столетнего сна глазам.

И все-таки это была та же опасность... Он непрестанно повторял себе это. И снова пытался сравнить друг с другом воспоминания об этих двух разных ощущениях...

Базини тем временем давно поднялся; он заметил осоловелый, отсутствующий взгляд своего спутника, тихо собрал свою одежду и улизнул.

Тёрлес видел это — как сквозь туман,— но не сказал ни слова.

Внимание его было целиком поглощено стремлением снова отыскать в себе ту точку, где вдруг произошла та перемена внутренней перспективы.

Но как только он приближался к ней, с ним происходило то, что происходит при сравнении близкого с далеким: он никак не мог поймать запомнившиеся образы обоих чувств одновременно, каждый раз словно бы каким-то тихим щелчком вторгалось чувство, которое в физическом мире

соответствует примерно едва заметным мышечным ощущениям, сопровождающим настройку взгляда. И каждый раз это в решающий миг отвлекало все внимание на себя, работа сравнения заслоняла собою предмет сравнения, происходил едва ощутимый толчок — и все останавливалось.

И снова, и снова Тёрлес начинал все сначала.

Этот механически однообразный процесс усыпил его, привел в ледяное оцепенение полусна, который долго держал его в неподвижности. Неопределенно долго.

Разбудила Тёрлеса одна мысль — как тихое прикосновение теплой руки. Такая с виду естественная мысль, что Тёрлес удивился, что давно не напал на нее.

Мысль, которая всего-навсего регистрировала только что узнанное: простым, неискаженным, в естественных, обыденных пропорциях приходит всегда то, что издали кажется таким большим и таинственным. Словно вокруг человека проведена невидимая граница. То, что готовится вне его и приближается издалека,— оно как туманное море, полное исполинских, меняющихся обличий; то, что подступает к нему, становится действием, сталкивается с его жизнью,— оно ясно и мало, имеет человеческие измерения и человеческие очертания. А между жизнью, которой живешь, и жизнью, которую чувствуешь, предчувствуешь, видишь издалека, встает, как узкая дверь, где образы событий должны сжаться, чтобы войти в человека, эта невидимая граница.

. . . . . .

И все же, хотя это как нельзя более соответствовало его опыту, Тёрлес задумчиво склонил голову.

«Странная мысль»,— почувствовал он.

Наконец он лежал в своей постели. Он уже ни о чем больше не думал, ибо это давалось с таким трудом и было так бесплодно. То, что он узнал о тайнах своих друзей, хоть и мелькало в его уме, но так же безразлично и безжизненно, как новость, прочитанная в какой-то чужой газете.

От Базини уже нечего было ждать. Однако сама проблема!.. Но она была так запутанна, а он так устал и так разбит. Может быть, все это — иллюзия.

Только зрелище Базини, его светящейся наготы, благоухало, как куст сирени, в сумраке ощущений, который предшествовал сну. Даже всякое нравственное отвращенье ушло. Наконец Тёрлес уснул.

. . . . . .

Никакие сны не нарушали его покоя. Но бесконечно приятное тепло расстилало мягкие ковры под его телом. В конце концов он проснулся из-за этого. И чуть не вскрикнул. У его кровати сидел Базини! И с бешеным проворством тот в следующее мгновенье снял рубашку, подлез под одеяло и прижал к Тёрлесу свое голое, дрожащее тело.

Едва придя в себя от этого нападения, Тёрлес оттолкнул от себя Базини.

— Ты что?..

Но Базини взмолился.

— О, не будь снова таким! Таких, как ты, больше нет. Они презирают меня не так, как ты. Они делают это только для вида, чтобы самим казаться совсем другими. Но ты? Именно ты?! Ты даже младше меня, хотя и сильнее... мы оба младше, чем другие... ты не такой грубый, не такой хвастливый, как они... ты ласковый... я люблю тебя!..

— Что — что ты говоришь? Что мне с тобой делать? Ступай — сейчас же ступай отсюда!

И Тёрлес страдальчески уперся рукой в шею Базини. Но горячая близость мягкой чужой кожи преследовала его, охватывала, душила. И Базини скороговоркой зашептал:

— Да... да... пожалуйста... о, мне было бы наслажденьем тебе услужить.

. . . . . .

Тёрлес не находил ответа. Пока Базини говорил, в эти секунды сомнения и размышления его органы чувств опять как бы затопило густо-зеленое море. Лишь быстрые слова Базини вспыхивали в нем, как сверканье серебряных рыбок.

Он все еще упирался руками в туловище Базини. Но их обволакивало как бы влажным, тяжелым теплом, их мускулы ослабели; он забыл о них... Только когда до него дошло какое-то новое из этих трепещущих слов, он очнулся, потому что почувствовал, как что-то ужасное, непостижимое, что только что — словно во сне — его руки притянули к себе Базини.

Он хотел встрепенуться, крикнуть себе: Базини обманывает тебя, он хочет только стянуть тебя вниз к себе, чтобы ты уже не мог презирать его. Но крик этот захлебнулся. Во всем просторном доме стояла мертвая тишина; во всех коридорах, казалось, неподвижно уснули темные потоки молчания.

Он хотел найти самого себя, но они, как черные сторожа, заградили все двери.

Тёрлес уже не искал слов. Чувственность, которая мало-помалу прокрадывалась в него из отдельных мгновений отчаянья, проснулась теперь в полном своем объеме. Она лежала рядом с ним голая и закрывала ему голову своим мягким черным плащом. И нашептывала ему на ухо сладостные слова смирения, и отметала своими теплыми пальцами, как пустые, все вопросы и все задачи. И шептала: в уединенности все позволено.

Лишь в мгновенье, когда его захватило, он на миг очнулся и отчаянно уцепился за одну мысль: это не я!.. не я!.. Завтра я опять буду собой!.. Завтра...

Во вторник вечером вернулись первые воспитанники. Другая часть прибыла лишь с ночными поездами. В доме царила суматоха.

Тёрлес встретил своих друзей неприветливо и хмуро. К тому же они принесли с собой из внешнего мира какую-то свежесть и светскость. Это заставляло его, любившего теперь спертый воздух тесных комнат, испытывать чувство стыда.

Ему теперь вообще часто бывало стыдно. Но не из-за того, в сущности, на что он дал себя совратить — ведь это в закрытых заведениях не такая уж редкость,— а потому, что он теперь действительно не мог избавиться от какой-то нежности к Базини, а с другой стороны, острее, чем когда-либо, чувствовал, в каком презрении и унижении пребывал этот человек.

У него часто бывали тайные встречи с ним. Он водил его во все закоулки, которые знал благодаря Байнебергу, и так как сам он не отличался ловкостью при таких тайных походах, Базини сориентировался быстрее и вскоре стал вожаком.

А ночами ему не давала покоя ревность, с какой он следил за Байнебергом и Райтингом.

Оба, однако, держались в стороне от Базини. Может быть, он им уже наскучил. Во всяком случае, с ними как будто произошла какая-то перемена. Байнеберг был мрачен и замкнут; когда он говорил, то это бывали обычно таинственные намеки на что-то предстоящее. Райтинг, казалось, направил свой интерес уже на что-то другое; с привычной ловкостью плел он сеть какой-то интриги, стараясь задобрить одних мелкими любезностями и запугать других тем, что с помощью тайной хитрости завладел их секретом.

Когда они собрались втроем, оба настаивали на том, чтобы вскоре опять вызвать Базини в клетушку или на чердак.

Тёрлес пытался под всякими предлогами отложить это, но сам страдал от такого тайного участия.

Еще несколько недель назад он вообще не понял бы подобного состояния, будучи от природы силен, здоров и безыскусствен.

Но и правда не следует думать, что Базини вызывал у Тёрлеса настоящее и — при всей мимолетности и сумбурности — истинное вожделение. В нем хоть и проснулось какое-то подобие страсти, но назвать это любовью можно было, конечно, лишь случайно, вскользь, и, как человек, Базини был не более чем заменительной и временной целью этой потребности. Ибо хотя Тёрлес и был с ним в близких отношениях, его, Тёрлеса, желание никогда не насыщалось им, а возрастало в новый, нецеленаправленный голод, выходивший за пределы Базини.

. . . . . .

Ослепила его сперва вообще только нагота стройного отроческого тела.

Впечатление было таким же, как если бы перед ним предстали только красивые, еще далекие от всего связанного с полом формы совсем юной девушки. Потрясение. Изумление. И чистота, невольно исходившая от такого состояния,— она-то и внесла в его отношение к Базини иллюзию влечения, это новое, дивно-беспокойное чувство. А все прочее имело мало общего с этим. Это остальное, входящее в вожделение, присутствовало уже давно — уже в отношениях с Боженой и еще гораздо раньше. Это была тайная, нецеленаправленная, ни к чему не относящаяся, меланхолическая чувственность созревания, подобная влажной, черной, плодородной земле весной и темным подземным водам, которым нужен только случайный повод, чтобы прорваться через свои преграды.

Явление, представшее Тёрлесу, стало таким поводом. Неожиданность, непонятость, недооцененность этого впечатления распахнула тайники, где собралось все скрытое, запретное, душное, смутное и одинокое, что было в душе Тёрлеса, и направила эти темные чувства на Базини. Ибо тут они сразу напали на что-то теплое, что дышало, благоухало, было плотью, что придавало этим туманным мечтам какие-то очертания и отдавало им часть своей красоты вместо того глумливого безобразия, которым их в одиночестве бичевала Божена. Это одним махом открыло им дверь к жизни, и все смешалось в возникшем полумраке — желания и действительность, буйные фантазии и впечатления, еще сохранявшие теплые следы жизни, ощущения, шедшие извне, и пламя, которое рвалось изнутри им навстречу и, охватив, изменяло их до неузнаваемости.

Но для самого Тёрлеса все это было уже неразличимо, соединялось в одном-единственном, неясном, нерасчлененном чувстве, которое он в первом изумлении вполне мог принять за любовь.

. . . . . .

Вскоре, однако, он научился оценивать это правильнее. С этой поры его не отпускало какое-то беспокойство. Едва дотронувшись до какой-нибудь вещи, он тут же клал ее на место. При любом разговоре с товарищами он без причины умолкал или в рассеянности неоднократно менял тему. Случалось также, что среди речи его захлестывала волна стыда, отчего он краснел, начинал заикаться, отворачиваться...

Он избегал днем Базини. Если ему случалось все же взглянуть на него, его почти всегда охватывало какое-то отрезвление. Каждое движение Базини наполняло его отвращением, расплывчатые тени его иллюзий уступали место холодной, тупой ясности, душа его, казалось, сжималась настолько, что ничего уже не оставалось, кроме воспоминания о прежнем вожделении, которое представлялось ему донельзя неразумным и отвратительным. Он топал ногой и скрючивался, только чтобы избавиться от этого мучительного стыда.

Он спрашивал себя, что сказали бы ему другие, узнай они его тайну, родители, учителя?

Но с этим последним ранением его муки, как правило, прекращались. Им овладевала прохладная усталость; его горячая и одрябнувшая кожа снова напрягалась в приятном ознобе. Тогда он всех тихо пропускал мимо. Но ко всем испытывал какое-то неуважение. Втайне он подозревал всех, с кем говорил, в самых скверных делах.

А сверх того, ему недоставало в других стыда. Он не думал, что они так страдали, как это он знал о себе. Терновый венец его угрызений совести у них, казалось, отсутствовал.

А себя он чувствовал так, словно очнулся от глубокой агонии. Так, словно его коснулись потаенные руки распада. Так, словно не мог забыть тихую мудрость долгой болезни.

В этом состоянии он чувствовал себя счастливым, и то и дело повторялись мгновения, когда он о нем тосковал.

Начинались они с того, что он снова мог равнодушно глядеть на Базини и с улыбкой выдерживал отвратительное и низкое. Тогда он знал, что унизится, но вкладывал в это новый смысл. Чем гнуснее и недостойнее было то, что ему предоставлял Базини, тем больше был контраст с тем чувством страдающей утонченности, которое обычно появлялось потом.

Тёрлес удалялся в какой-нибудь уголок, откуда мог вести наблюдение, оставаясь невидимым. Когда он закрывал глаза, в нем поднималось какое-то неясное теснение, а когда он открывал их, не находил ничего, что мог бы с этим сравнить. А потом вдруг вырастала мысль о Базини и все тянула к себе. Вскоре она теряла всякую определенность. Казалось, она уже не принадлежала Тёрлесу и уже, казалось, не относилась к Базини. Вокруг нее шумели чувства, как похотливые женщины в доверху закрытых одеждах под надетыми на глаза масками.

Ни одного Тёрлес не знал по имени, ни об одном не знал, что скрыто за ним; но в этом-то как раз и был пьянящий соблазн. Он уже не знал себя самого; и из этого-то как раз и вырастало его желание дикого, презрительного распутства, как на галантном празднике, когда вдруг погаснут огни и никто уже не знает, кого он тянет на землю и осыпает поцелуями.

. . . . . .

Тёрлес стал позднее, когда преодолел события своей юности, молодым человеком с очень тонким и чувствительным умом. Он принадлежал тогда к тем эстетически интеллектуальным натурам, которым следование законам, а отчасти, пожалуй, и общественной морали дает некое успокоение, избавляя их от необходимости думать о чем-то грубом, далеком от душевных тонкостей, к натурам, которые, однако, соединяют какое-то скучающее безразличие с этой большой внешней, немного ироничной корректностью, стоит лишь потребовать от них более личного интереса к ее объектам. Ибо этот действительно захватывающий их интерес сосредоточен у них исключительно на росте души, духа или как там назвать то, что то и дело умножается в нас от какой-нибудь мысли между словами книги или перед замкнутыми устами картины; то, что подчас пробуждается, когда какая-то одинокая, своенравная мелодия дергает ту тонкую красную нить, нить нашей крови, которую она за собой тянет; но что всегда исчезает, когда мы пишем канцелярские бумаги, строим машины, ходим в цирк или занимаемся сотнями других подобных дел...

Предметы, стало быть, взывающие лишь к их моральной корректности, этим людям в высшей степени безразличны. Поэтому в позднейшей своей жизни Тёрлес и не сожалел о том, что случилось тогда. Его потребности обладали такой односторонне эстетической сосредоточенностью, что если бы, например, ему рассказали очень похожую историю о распутстве какого-нибудь развратника, ему наверняка и в голову не пришло бы направить свое возмущение против случившегося. Он презирал бы такого человека как бы не за то, что он развратник, а потому, что он ничего лучшего не представляет собой; не за его распутство, а за то психологическое состояние, которое заставляет его распутничать; потому что он глуп или потому,

что его разум не знает психологического противовеса...— во всех случаях, стало быть, только за тот грустный, ущербный, жалкий вид, в котором он предстает. И он презирал бы его одинаково независимо от того, состоял ли бы его порок в половом распутстве, или в маниакальном курении, или в алкоголизме.

И как для всех, кто настолько сосредоточен исключительно на развитии своего ума, для него само существование душных и бурных чувств еще мало что значило. Он готов был считать, что способность наслаждаться, художественный талант, всякая утонченная духовная жизнь — это украшение, о которое легко пораниться. Он полагал, что у человека с богатой и подвижной внутренней жизнью непременно должны быть мгновения, когда ему дела нет до других, и воспоминания, которые он хранит в потайных ящиках. И требовал он от него только, чтобы тот впоследствии умел ими тонко пользоваться.

И когда однажды кто-то, кому он поведал историю своей юности, спросил его, не стыдно ли бывает порой этого воспоминания, он с улыбкой дал следующий ответ:

— Я, конечно, не отрицаю, что тут было унижение. А почему бы и нет? Оно прошло. Но что-то от него навсегда осталось — та малая толика яда, которая нужна, чтобы отнять у души слишком уверенное и успокоенное здоровье и дать ей взамен более тонкое, обостренное, понимающее.

Смогли бы вы, кстати, сосчитать часы унижения, которые вообще выжигает в душе, как клеймо, каждая большая страсть? Подумайте только о часах нарочитого унижения в любви! Об этих отрешенных часах, когда любящие склоняются над некими глубокими колодцами или прикладывают ухо друг другу к сердцу — не услышат ли там, как когти больших, неспокойных кошек нетерпеливо скребутся о тюремные стены? Только чтобы почувствовать, как дрожишь! Только чтобы испугаться своего одиночества над этими темными, клеймящими безднами! Только чтобы внезапно — в страхе одиночества с этими мрачными силами — совсем убежать друг в друга!

Загляните-ка в глаза молодым супружеским парам. Ты думаешь?..— написано там,— но ты же не подозреваешь, как глубоко можем мы погрузиться! В этих глазах видна веселая насмешка над тем, кто о стольком не знает, и нежная гордость тех, кто друг с другом прошел через все круги ада.

И как эти любящие друг с другом, так я тогда прошел через это с самим собой.

. . . . . .

Однако, хотя позднее Тёрлес судил так, в ту пору, когда он пребывал в буре одиноких, чувственных ощущений, в нем отнюдь не всегда была эта уверенность, убежденная в благом конце. От загадок, недавно лишь его мучивших, оставался еще смутный отголосок, различимый в глубине происходившего с ним, как глухой далекий звук. Как раз об этом ему не хотелось теперь думать.

Но порой приходилось. И тогда им овладевала глубочайшая безнадежность, и совсем другой, усталый, безысходный стыд охватывал его при этих воспоминаниях.

Однако и в этом стыде он тоже не отдавал себе отчета.

Тому способствовали особые условия училища. Там, где молодые, настойчивые силы сдерживались за серыми стенами, они без разбора заполняли воображение сладострастными картинами, которые у многих отнимали рассудок.

Известная степень распутства считалась даже чем-то мужественным, отважным, смелостью в получении запретных удовольствий. Особенно когда сравнивали себя с почтенно-хилыми по большей части учителями. Ибо тогда призыв к морали приобретал смешную связь с узкими плечами, острыми животиками на тонких ножках и глазками, которые, невинными овечками паслись за стеклами своих очков, словно мир не что иное, как поле, полное цветов строгой назидательности.

В конце концов в училище еще не знали жизни и не подозревали обо всех тех градациях от подлости и беспутства до болезни и комизма, которые наполняют взрослого прежде всего отвращением, когда он слышит о подобных вещах.

Все эти тормоза, чью действенность мы и оценить не способны, у него отсутствовали. Он поистине наивно угодил в свои прегрешения.

Ведь и этической сопротивляемости, этой тонкой чувственности духа, которую он так высоко позднее ценил, у него тогда еще не было. Но она уже давала о себе знать. Тёрлес заблуждался, он видел лишь тени, падавшие от чего-то еще неведомого ему в его сознание, и принимал их ошибочно за действительность, но он должен был выполнить на самом себе некую задачу, некую задачу души,— хотя задача эта была ему еще не по силам.

Он знал только, что последовал за чем-то еще неясным дорогой, которая вела в глубь его души, и он при этом устал. Он привык надеяться на необычайные, тайные открытия, а попал в тесные закоулки чувственности. Не от извращенности, а вследствие бесцельного в данное время состояния души.

И именно эта измена чему-то серьезному, уже достигнутому в себе наполняла его неясным сознанием вины; никогда его полностью не покидало какое-то неопределенное, подспудное отвращение, и смутный страх преследовал его так, словно он не знал в темноте, идет ли он еще своей дорогой или где-то уже потерял ее.

Он старался тогда вообще ни о чем не думать. Он молча и отупело влачил бездумное существование, забывая обо всех прежних вопросах. Тонкое наслаждение своими унижениями случалось все реже и реже.

Оно еще не ушло от него, однако в конце этой поры Тёрлес уже не сопротивлялся, когда принимались дальнейшие решения о судьбе Базини.

Это произошло через несколько дней, когда они втроем собрались в клетушке. Байнеберг был очень серьезен.

Начал говорить Райтинг.

— Байнеберг и я считаем, что дальше так быть с Базини нельзя. Он смирился с тем, что обязан нам подчиняться, и уже не страдает от этого. Он нагло фамильярен, как слуга. Пора, значит, двинуться с ним дальше. Ты согласен?

— Я же не знаю, что вы хотите с ним сделать.

— Это нелегко и придумать. Нам нужно еще поунижать его и поприжать. Мне интересно, насколько далеко тут можно зайти. Каким образом, это, конечно, другой вопрос. У меня, впрочем, есть на этот счет несколько славных идей. Можем, например, отстегать его кнутом, а он пусть поет при этом благодарственные псалмы. Недурно бы послушать, с каким выражением он будет петь — по каждому звуку пробегали бы как бы мурашки. Можем заставить его подавать, как собака, всякую грязную дрянь. Можем взять его к Божене, заставить там читать вслух письма его матери, а уж тут Божена сумеет нас позабавить. Но все это от нас не уйдет. Мы можем все спокойно обдумать, разработать и найти еще что-нибудь новое. Без соответствующих деталей это пока еще скучно. Может быть, мы вообще выдадим его классу. Это, пожалуй, самое умное. Если каждый из такого множества людей внесет свою долю, пусть маленькую, этого хватит, чтобы растерзать его на части. Мне вообще нравятся эти массовые движения. Никто не хочет особенно усердствовать, и все же волны поднимаются все выше и покрывают всех с головой, увидите, никто не пошевелится, а буря поднимется страшная. Поставить такую сцену — для меня огромное удовольствие.

— Но что вы хотите сделать сначала?

— Я же сказал, мне хотелось бы решить это потом, пока мне хватило бы довести его до того — угрозами и битьем,— что он снова согласится на все.

— На что? — вырвалось у Тёрлеса. Они пристально посмотрели друг другу в глаза.

— Ах, не притворяйся, я же прекрасно знаю, что ты об этом осведомлен.

Тёрлес промолчал. Узнал ли Райтинг что-нибудь? Или он только сказал это наугад?

— ...Еще с тех пор. Байнеберг сказал же тебе, на что идет Базини.

Тёрлес облегченно вздохнул.

— Ну, не делай такие большие глаза. Тогда ты тоже их вытаращил, а дело-то не такое уж страшное. Кстати, Байнеберг признался мне, что делает с Базини то же самое.

При этом Райтинг с иронической гримасой взглянул на Байнеберга. Такова была его манера — подставлять ножку другому совершенно открыто и не стесняясь.

Но Байнеберг ничего не ответил; он остался сидеть в своей задумчивой позе и едва приоткрыл глаза.

— Ну, не пора ли тебе выкладывать?! У него, понимаешь, есть одна сумасшедшая идея насчет Базини, и он хочет непременно осуществить ее, прежде чем мы предпримем что-то другое. Но идея очень забавная.

Байнеберг сохранял серьезность; он посмотрел на Тёрлеса настойчивым взглядом и сказал:

— Помнишь, о чем мы говорили тогда за шинелями?

— Да.

— Я больше об этом не заговаривал, потому что от разговоров нет толку. Но я об этом думал — можешь мне поверить — часто. И то, что Райтинг сказал тебе сейчас, правда. Я делал с Базини то же, что он. Может быть, и еще кое-что. Потому что, как я уже сказал, верил, что чувственность — это, возможно, верная дверь. Это был такой опыт. Я не знал другого пути к тому, чего я ищу. Но эта непланомерность бессмысленна. Я думал — ночами думал — о том, как заменить ее чем-то систематическим.

Теперь я, мне кажется, нашел — как, и мы проделаем этот опыт. Теперь ты тоже увидишь, насколько ты был тогда не прав. Все, что утверждают о мире, сомнительно, все происходит иначе. Тогда мы узнавали это как бы только с обратной стороны, отыскивая точки, где все это естественное объяснение споткнется о собственные ноги, а теперь я надеюсь, что смогу показать нечто позитивное... нечто другое!

Райтинг раздал чашки с чаем; при этом он с удовольствием толкнул Тёрлеса.

— Следи хорошенько... Он очень лихо придумал.

А Байнеберг быстрым движением погасил фонарь. В темноте только пламя спиртовки бросало неспокойные, синеватые блики на три эти головы.

— Я потушил фонарь, Тёрлес, потому что так лучше говорить о таких вещах. А ты, Райтинг, можешь и соснуть, если ты слишком глуп, чтобы понимать всякие сложности.

Райтинг весело рассмеялся.

— Ты, значит, помнишь еще наш разговор. Ты сам тогда выкопал эту маленькую странность в математике. Этот пример, что наша мысль лишена твердой, надежной почвы и проходит над дырами... Она закрывает глаза, она на миг перестает существовать и все же благополучно переносится на другую сторону. Нам следовало бы, в сущности, давно отчаяться, ибо во всех областях наше знание испещрено безднами, это обломки, дрейфующие в бездонном океане.

Но мы не отчаялись, мы тем не менее чувствуем себя так же уверенно, как на твердой почве. Не будь у нас этого чувства уверенности, надежности, мы бы, отчаявшись в своем разуме, наложили на себя руки. Это чувство сопровождает нас постоянно, оно не дает нам распасться, каждое второе мгновение оно берет наш разум, как малое дитя, на руки, оно защищает его.

Отдав себе в этом отчет, мы уже не можем отрицать существование души. Расчленяя свою духовную жизнь и познавая недостаточность разума, мы это поистине чувствуем. Чувствуем — понимаешь,— ибо не будь этого чувства, мы бы опали, как пустые мешки.

Мы только разучились обращать внимание на это чувство, а оно — одно из древнейших. Уже тысячи лет назад народы, жившие в тысячах миль друг от друга, знали о нем. Однажды занявшись им, уже нельзя отрицать эти вещи. Однако я не хочу убеждать тебя словами, я скажу тебе только самое необходимое, чтобы ты не был совсем не подготовлен. Доказательство представят факты.

Предположи только, что душа существует, тогда само собой разумеется, что у нас не может быть более пылкого устремления, чем восстановить утраченный с ней контакт, снова сблизиться с ней, вновь научиться лучше пользоваться ее силами, склонить на свою сторону частицы сверхчувственных сил, дремлющих в ее глубине.

Ибо все это возможно, это уже не раз удавалось; чудеса, святые, индийский священный трепет — это все свидетельства таких явлений.

— Послушай,— вставил Тёрлес,— ты немного подогреваешь в себе эту веру своими речами. Для этого-то тебе и надо было погасить фонарик. Но стал бы ты так говорить, если бы мы сидели сейчас внизу, среди других, учили географию, историю, писали письма домой, а лампы ярко горели бы и мимо скамей, может быть, ходил надзиратель? Не показались бы тебе тогда твои слова немного рискованными, немного самоуверенными, словно мы на особом положении, живем в другом мире, лет на восемьсот раньше?

— Нет, дорогой Тёрлес, я утверждал бы то же самое. Кстати, это твоя ошибка — всегда оглядываться на других. Ты слишком несамостоятелен. Писать письма домой! За такими делами ты думаешь о своих родных! Кто тебе сказал, что они вообще способны понять нас? Мы молоды, мы следующее поколение, может быть, нам уготованы вещи, о которых они и не подозревали никогда в жизни. Я, во всяком случае, чувствую это в себе.

Но зачем долго говорить? Я же докажу вам это.

После того как они некоторое время помолчали, Тёрлес сказал:

— Как же ты примешься овладевать своей душой?

— Не буду сейчас это тебе растолковывать, мне же все равно придется сделать это при Базини.

— Но пока хотя бы скажи.

— Ну, ладно. История учит, что для этого есть только один путь — погрузиться в себя. Но в том-то и трудность. В старину, например, во времена, когда душа еще выражалась в чудесах, святые могли достичь этой цели усердной молитвой. В те времена душа-то как раз и была иного рода, ибо сегодня этот путь ничего не дает. Сегодня мы не знаем, что нам делать. Душа изменилась, и, к сожалению, прошло много времени с тех пор, как на это не обратили должного внимания, и связь безвозвратно пропала. Новый путь мы можем найти только тщательным размышлением. Этим я усиленно занимался в последнее время. Ближе всего к цели, вероятно, гипноз. Только таких попыток еще не предпринималось. Тут всегда только показывают маленькие, немудреные фокусы, а потому эти методы еще не испытаны, еще неизвестно, ведут ли они и к высшему. Последнее, что я скажу об этом уже сейчас, вот что: Базини я буду гипнотизировать не этим общепринятым способом, а своим собственным, который, если не ошибаюсь, походит на способ, уже применявшийся в средневековье.

— Не сокровище ли этот Байнеберг? — засмеялся Райтинг.— Только ему следовало бы жить во времена пророчеств о конце мира, тогда он и впрямь поверил бы, что мир уцелел благодаря его магическим манипуляциям с душой.

Когда Тёрлес после этой насмешки взглянул на Байнеберга, он заметил, что его лицо исказилось, застыв как бы в напряженном внимании. В следующий миг он почувствовал хватку ледяных пальцев. Тёрлес

испугался этого повышенного волнения; затем напряжение сжавшей его руки ослабло.

— О, пустяк. Всего только мысль. Мне показалось, что меня осенило, что мелькнуло указание, как это сделать...

— Слушай, ты действительно немного переутомился,— покровительственно сказал Райтинг,— ты же всегда был железный малый и занимался такими вещами только для спорта. А сейчас ты как какая-то баба.

— Ах, что там... ты ведь понятия не́ имеешь, каково это — знать, до чего близки такие вещи, каждый день ждать, что вот-вот будешь ими владеть!

— Не спорьте,— сказал Тёрлес, за несколько недель он стал гораздо тверже и энергичнее,— по мне, пусть каждый поступает, как хочет. Я ни во что не верю.

Ни твоему изощренному мучительству, Райтинг, ни надеждам Байнеберга. А самому мне нечего сказать. Подожду, что вы выкинете.

— Когда же?

Назначили через ночь.

Тёрлес уступил им, не сопротивляясь. В этой новой ситуации его чувство к Базини тоже́ совсем остыло. Это было даже наилучшее решение, оно, по крайней мере, одним махом освобождало от колебаний между стыдом и вожделением, от которых Тёрлес собственными силами не мог отделаться. Теперь у него было хотя бы прямое, ясное отвращение к Базини, словно уготованные тому унижения еще и марали его.

Вообще же он был рассеян и не хотел ни о чем думать серьезно — особенно о том, что когда-то так его занимало.

Только когда он с Райтингом поднимался по лестнице на чердак, куда Байнеберг уже прошел с Базини, в нем ожило воспоминание о том, что было в нем некогда. У него не выходили из головы самоуверенные слова, которые он бросил по поводу этой истории Байнебергу, и ему страстно хотелось вновь обрести такую уверенность. Медля, он задерживал ногу на каждой ступеньке. Но прежняя уверенность не возвращалась. Хоть он и вспоминал все мысли, которые у него были тогда, они, казалось, проходили мимо где-то вдалеке от него, словно были лишь тенями того, что когда-то думалось.

Наконец, поскольку он ничего в себе так и не нашел, его любопытство снова устремилось к событиям, которые надвигались извне, и погнало его вперед.

Быстрым шагом он поднялся вслед за Райтингом по оставшимся ступенькам.

Когда за ним со скрежетом закрывалась железная дверь, он со вздохом почувствовал, что байнеберговская затея — всего лишь смешной фокус, но зато хотя бы что-то твердое и обдуманное, тогда как в нем самом все неразличимо смешалось.

Они сели на одну из поперечных балок — в напряжении ожидания, как в театре.

Байнеберг был уже здесь с Базини.

Обстановка, казалось, благоприятствовала его замыслу. Темнота, затхлый воздух, гнилой, сладковатый запах, исходивший от бочек с водой, создавали чувство погружения в беспробудный сон, усталую, ленивую вялость.

Байнеберг велел Базини раздеться. В этой темноте нагота отдавала мертвенной синевой и нисколько не волновала.

Вдруг Байнеберг вынул из кармана револьвер и направил его на Базини.

Даже Райтинг наклонился вперед, чтобы в любой миг вскочить и вмешаться.

Но Байнеберг улыбался. По сути, криво; словно он вовсе этого не хотел, а лишь под напором каких-то фантастических слов губы его сдвинулись в сторону.

Базини, как подкошенный, упал на колени и широко раскрытыми от страха глазами глядел на револьвер.

— Встань,— сказал Байнеберг,— если ты точно исполнишь все, что я тебе скажу, с тобой ничего не случится. Но если ты хоть малейшим возражением перебьешь меня, я тебя застрелю. Запомни.

Я, впрочем, и так тебя убью, но ты снова вернешься к жизни. Смерть не так чужда нам, как ты думаешь. Мы умираем каждый день — в глубоком, без сновидений сне.

Рот Байнеберга снова исказила эта неясная улыбка.

— Стань теперь на колени вон там повыше,— на высоте половины их роста проходила широкая горизонтальная балка,— так, прямее... держись совершенно прямо... Втяни живот. А теперь смотри вот сюда. Но не моргая, глаза раскрой как только можешь шире!

Байнеберг поднес к нему огонек спиртовки таким образом, что Базини должен был чуть откинуть назад голову, чтобы хорошенько смотреть во все глаза.

Мало что было видно, но через некоторое время тело Базини словно бы закачалось, как маятник, туда-сюда. Синеватые блики на его коже двигались взад-вперед. Порой Тёрлесу казалось, что он видит перекошенное страхом лицо Базини.

Через некоторое время Байнеберг спросил:

— Ты устал?

Вопрос этот был задан в обычной гипнотизерской манере.

Затем он стал объяснять тихим, приглушенным голосом:

— Умирание — это лишь следствие нашего способа жить. Мы живем от одной мысли к другой, от одного чувства к следующему. Ибо наши мысли и чувства не текут спокойно, как река, а западают в нас, падают в нас, как камни. Если ты хорошенько понаблюдаешь за собой, ты почувствуешь, что душа меняет свои краски не постепенными переходами, а что мысли выскакивают, как цифры, из черной дыры. Сейчас у тебя одна мысль или одно чувство, а вот уже, словно выскочив из ниоткуда, появилось другое. Прислушавшись, ты можешь даже уловить тот миг между двумя мыслями, когда все черно. Этот миг — если только схватить его — для нас равнозначен смерти.

Ибо наша жизнь — это не что иное, как расставлять вехи и прыгать от одной к другой, каждый день через тысячи секунд умирания. Потому-то мы и испытываем такой смешной страх перед окончательным умиранием, что это просто полное отсутствие вех, бездонная пропасть, куда мы проваливаемся. Для такого способа жить это действительно полное отрицание.

Но только с точки зрения такой жизни, только для того, кто не научился чувствовать себя иначе, чем от мгновения к мгновению.

Я называю это скачущим злом, и весь секрет в том, чтобы его преодолевать. Надо пробуждать в себе чувство, что твоя жизнь есть нечто спокойно скользящее. В тот момент, когда это удается, мы к смерти так же близки, как к жизни. Мы уже не живы — по нашим земным понятиям,— но и умереть мы уже не можем, ибо вместе с жизнью уничтожили и смерть. Это миг бессмертия, миг, когда душа выходит из нашего тесного мозга в замечательные сады своей жизни.

Итак, теперь точно выполняй все, что я скажу.

Усыпи свои мысли, пристально смотри на этот огонек... не перескакивай мыслью с одного на другое... Направь все внимание внутрь... Смотри на пламя... твое мышление становится похоже на машину, которая движется все медленней... все медленней... медленней... Смотри внутрь... до тех пор, пока не найдешь точку, когда ты ощутишь себя, не ощущая никаких мыслей, никаких чувств...

Твое молчание будет мне ответом. Не отклоняй взгляда, направленного внутрь...

Прошло несколько минут.

— Чувствуешь эту точку?..

Нет ответа.

— Слушай, Базини, удалось тебе это?

Молчание.

Байнеберг встал, и его тощая тень вытянулась вверх рядом с балкой. Вверху, опьяненное темнотой, заметно покачивалось тело Базини.

— Повернись в сторону,— приказал Байнеберг.— Слушается сейчас только мозг,— бормотал он,— который еще некоторое время механически функционирует, пока не сойдут на нет последние следы, отпечатанные на нем душой. Сама она где-то — в следующем своем существовании. Она уже не скована законами природы...— он обращался теперь к Тёрлесу,— она уже не осуждена на наказание придавать тяжесть телу, сохранять его целостность. Наклоняйся вперед, Базини... так... постепенно... туловищем все дальше... как только погаснет последний след в мозгу, мышцы расслабятся, и пустое тело рухнет. Или повиснет. Я этого не знаю. Душа самовольно покинула тело, это не обычная смерть, может быть, тело повиснет в воздухе, потому что ничто, никакая сила, ни жизни, ни смерти, уже не печется о нем... наклоняйся... еще ниже.

. . . . . .

В этот миг тело Базини, которое от страха исполнило все приказанья, с грохотом свалилось к ногам Байнеберга.

От боли Базини вскрикнул. Райтинг громко засмеялся. Байнеберг же, отпрянувший на шаг назад, издал гортанный крик ярости, распознав обман. С быстротой молнии он сорвал с себя кожаный пояс, схватил Базини за волосы и стал бешено стегать его. Все неимоверное напряжение, в котором он находился, выливалось в эти яростные удары. А Базини вопил под ними от боли, и вопли его отдавались во всех углах, как вой собаки.

. . . . . .

В течение всей предшествующей сцены Тёрлес оставался спокоен. Он втайне надеялся, что, может быть, все же случится что-то, что перенесет его снова в утраченный круг чувств. Это была глупая надежда, он сознавал это, но она его все-таки удерживала. Теперь, однако, ему показалось, что все прошло. Эта сцена вызвала у него отвращение. Без каких-либо мыслей; немое, мертвое отвращение.

Он тихо поднялся и, не говоря ни слова, ушел. Не задумываясь.

Байнеберг все еще бил Базини, не щадя сил.

Лежа в постели, Тёрлес почувствовал: конец. Что-то миновало.

В следующие дни он спокойно выполнял свои обязанности в школе; он ни о чем не беспокоился; Райтинг и Байнеберг, возможно, тем временем осуществляли пункт за пунктом свою программу. Тёрлес избегал встречаться с ними.

А на четвертый день, как раз когда никого поблизости не было, к нему подошел Базини. Вид у него был несчастный, лицо побледнело и осунулось, в глазах сверкала лихорадка постоянного страха. Робко оглядываясь, скороговоркой он выпалил:

— Ты должен помочь мне! Только ты можешь! Я долго не выдержу, так они меня мучат. Все прежнее я сносил... но теперь они убьют меня!

Тёрлесу было неприятно что-либо отвечать на это. Наконец он сказал:

— Я не могу тебе помочь. Ты сам виноват во всем, что с тобой происходит.

— Но еще недавно ты был так мил со мной.

— Никогда не был.

— Но...

— Молчи об этом. Это был не я... Мечта... Каприз... Я даже рад, что твой новый позор оторвал тебя от меня... Мне так лучше...

Базини опустил голову. Он почувствовал, что между ним и Тёрлесом пролегло море серого, трезвого разочарования. Тёрлес был холодный, другой.

Тогда он упал перед ним на колени, стал биться головой о пол и кричать:

— Помоги мне! Помоги мне!.. Ради Бога, помоги мне!

Тёрлес помедлил мгновение. В нем не было ни желания помочь Базини, ни достаточно возмущения, чтобы оттолкнуть его от себя. И он послушался первой мелькнувшей у него мысли.

— Приходи сегодня ночью на чердак, я еще раз поговорю с тобой об этом.

В следующий миг он, однако, уже пожалел о сказанном.

«Зачем еще раз трогать это?» — подумалось ему, и он, размышляя, сказал:

— Они же увидят тебя. Так нельзя.

— О нет, в прошлую ночь они до утра оставались там со мной... Сегодня они будут спать.

— Ну, что ж. Только не жди, что я тебе помогу.

. . . . . .

Тёрлес назначил Базини встречу вопреки своему истинному убеждению. Ибо оно состояло в том, что внутренне все прошло и ничего больше извлечь нельзя. Только какая-то педантичность, какая-то заранее безнадежная, упрямая добросовестность внушила ему еще раз перебрать эти события.

У него была потребность сделать это быстро.

Базини не знал, как ему вести себя. Он был так избит, что еле шевелился. Все индивидуальное, казалось, ушло из него; только какой-то остаток этого, сжавшийся в его глазах, в страхе и мольбе цеплялся за Тёрлеса.

Он ждал, что сделает тот.

Наконец Тёрлес нарушил молчание. Он говорил быстро, скучающе, так, словно надо ради проформы еще раз уладить какое-то давно уже завершенное дело.

— Я не помогу тебе. У меня одно время, правда, был интерес к тебе, но теперь это в прошлом. Ты действительно самый настоящий негодяй и трус. Конечно, самый настоящий. Что уж может еще привязывать меня к тебе? Раньше я всегда думал, что найду для тебя какое-то слово, какое-то чувство, которое определит тебя иначе. Но действительно нет лучшего определения, чем сказать, что ты негодяй и трус. Это так просто, так невыразительно, и все-таки ничего больше сказать нельзя. Все другое, чего я раньше хотел от тебя, я забыл, после того как ты влез со своими похотливыми просьбами. Я хотел найти точку, вдали от тебя, чтобы взглянуть на тебя оттуда... в этом был мой интерес к тебе. Ты сам уничтожил его... но довольно, я же не обязан давать тебе объяснения. Только вот что еще: каково тебе сейчас?

— Каково мне может быть? Я не вынесу этого больше.

— Они, наверно, делают теперь с тобой очень скверные вещи и тебе больно?

— Да.

— Просто-напросто боль? Ты чувствуешь, что страдаешь, и хочешь уйти от этого? Совсем просто, без всяких сложностей?

Базини не нашел ответа.

— Ну, да, я спрашиваю так, между прочим, недостаточно точно. Но это ведь все равно. Я с тобой больше не имею дела. Я тебе уже сказал это. Я ничего уже не чувствую в твоем обществе. Делай что хочешь.

Тёрлес хотел уйти.

Тут Базини сорвал с себя одежду и прижался к Тёрлесу. Его тело было

исполосовано ссадинами — отвратительно. Движение было жалким, как движение неловкой проститутки. Тёрлес с омерзением отвернулся.

Но едва сделав первые шаги в темноте, он наткнулся на Райтинга.

— Это что, у тебя тайные свидания с Базини?

Тёрлес последовал за взглядом Райтинга и оглянулся на Базини. Как раз на том месте, где тот стоял, через слуховое окно падал широкий брус лунного света. Отдававшая синевой кожа в ссадинах походила при этом освещении на кожу прокаженного. Тёрлес невольно попытался извиниться за эту сцену.

— Он попросил меня об этом.

— Чего он хочет?

— Чтобы я защитил его.

— Ну, в таком случае он напáл как раз на того, кто нужен.

— Может быть, я это все же и сделал бы, но мне наскучила вся эта история.

Неприятно пораженный, Райтинг вскинул глаза, затем злобно набросился на Базини.

— Мы тебе покажем, как секретничать у нас за спиной! Твой ангел-хранитель Тёрлес сам будет при этом присутствовать и позабавится тоже.

Тёрлес уже повернулся было, но из-за этой колкости, явно по его адресу, не раздумывая, задержался.

— Нет, Райтинг, не буду. Не хочу больше иметь с этим дела. Мне все это опротивело.

— Вдруг?

— Да, вдруг. Ведь раньше я за всем этим чего-то искал...

Зачем только это сорвалось у него с языка?!

— Ага, ясновидения...

— Да, именно. А теперь я вижу только, что ты и Байнеберг пошло жестоки.

— О, надо тебе поглядеть, как Базини жрет дерьмо,— неудачно пошутил Райтинг.

— Теперь это меня уже не интересует.

— Но интересовало же...

— Я уже сказал тебе, лишь до тех пор, пока состояние Базини было загадкой для меня.

— А теперь?

— Никаких загадок больше нет. Все бывает — вот и вся мудрость.

Тёрлес удивился, что ему вдруг снова приходят на ум сравнения, приближающиеся к тому утраченному кругу чувств. Когда Райтинг насмешливо ответил: «ну, за этой мудростью далеко не надо ходить», в нем взыграло поэтому гневное чувство превосходства и подсказало ему резкие слова. Одно мгновение он презирал Райтинга до такой степени, что готов был пинать его ногами.

— Можешь смеяться надо мной. Но то, что творите **вы**, это не что иное, как пустое, скучное, мерзкое мучительство!

Райтинг покосился на прислушавшегося Базини.

— Придержи язык, Тёрлес!

— Мерзкое, грязное — ты это слышал!

Теперь вскипел и Райтинг.

— Я запрещаю тебе оскорблять нас здесь при Базини!

— Ах, что там. Ты ничего не можешь запретить! Прошло это время. Я когда-то уважал тебя и Байнеберга, а теперь вижу, чтó вы такое по сравнению со мной. Тупые, гадкие, жестокие дураки!

— Заткнись, Тёрлес, а то...

Райтинг, казалось, хотел броситься на Тёрлеса. Тёрлес отступил на шаг и крикнул ему:

— Думаешь, я буду с тобой драться?! Базини того не стоит. Делай с ним что хочешь, а мне сейчас дай пройти!!

Райтинг, казалось, одумался и отошел в сторону. Он не тронул даже Базини. Но Тёрлес, зная его, понимал, что за спиной у него притаилась какая-то коварная опасность.

Уже через два дня в послеобеденное время Райтинг и Байнеберг подошли к Тёрлесу.

Он заметил злобное выражение их глаз. Байнеберг явно не прощал ему теперь смешного провала своих пророчеств, а к тому же, наверно, был уже обработан Райтингом.

— Ты, как я слышал, поносил нас. Да еще при Базини. С какой стати?

Тёрлес не ответил.

— Ты знаешь, что мы таких вещей не терпим. Но поскольку речь идет о тебе, чьи капризы, к которым мы привыкли, не очень нас задевают, мы это дело замнем. Но одно ты должен исполнить.

Вопреки этим приветливым словам в глазах Байнеберга было какое-то злое ожидание.

— Базини сегодня ночью придет в нашу клетушку. Мы накажем его за то, что он тебя подзуживал. Когда увидишь, что мы уходим, ступай следом.

Но Тёрлес сказал «нет».

— Делайте что хотите, а меня увольте.

— Сегодня ночью мы еще насладимся Базини, завтра мы его выдадим классу, ибо он начинает восставать.

— Делайте что хотите.

— Но ты будешь при этом присутствовать.

— Нет.

— Именно при тебе Базини поймет, что ему ничто не поможет, что ничто не защитит его от нас. Вчера он уже отказался выполнять наши приказы. Мы избили его до полусмерти, а он не уступал.

Мы должны снова прибегнуть к моральным средствам, унизить его сперва перед тобой, затем перед классом.

— Но я не буду при этом присутствовать!

— Почему?

— Не буду.

Байнеберг перевел дух; казалось, он собирал весь свой яд, затем он подошел к Тёрлесу совсем вплотную.

— Неужели ты думаешь, что мы не знаем — почему? Думаешь, мы не знаем, как далеко ты зашел с Базини?

— Не дальше, чем вы.

— Так. Неужели же он выбрал бы тогда в покровители именно тебя? Что? Неужели бы именно к тебе проникся таким доверием? Ты же не можешь считать нас такими глупенькими.

Тёрлес разозлился.

— Знайте что хотите, только меня избавьте от ваших грязных историй.

— Опять начинаешь грубить?

— Меня от вас тошнит! Ваша подлость бессмысленна! Вот что отвратительно в вас.

— Ну, так слушай. Тебе за многое следовало бы быть нам благодарным. Если ты думаешь, что все-таки сможешь теперь над нами, у которых ты учился, возвыситься, то ты жестоко ошибаешься. Придешь сегодня вечером или нет?!

— Нет!

— Дорогой Тёрлес, если ты восстанешь против нас и не придешь, с тобой будет совершенно так же, как с Базини. Ты знаешь, в какой ситуации застал тебя Райтинг. Этого достаточно. Больше мы сделали или меньше — тебе от этого пользы мало. Мы повернем все против тебя. Ты в таких вещах слишком глуп и нерешителен, чтобы справиться с нами.

Итак, если ты вовремя не опомнишься, мы выставим тебя перед классом соучастником Базини. Пусть он тебя тогда защищает. Понятно?

Как буря, прошумел над Тёрлесом этот поток угроз, которые выкрикивали то Байнеберг, то Райтинг, то оба сразу. Когда они ушли, он протер себе глаза, словно это был сон. Но Райтинга он знал. Тот, разозлившись, способен был на любую гнусность, а тёрлесовские оскорбления и бунт задели его, казалось, глубоко. А Байнеберг? Вид у него был такой, словно он дрожал от годами таившейся ненависти... а все только потому, что осрамился перед Тёрлесом.

Но чем трагичнее сгущались события над его головой, тем безразличнее и машинальнее казались они Тёрлесу. Он боялся угроз. Это да; но ничего сверх того. Опасность втянула его в водоворот реальности.

Он лег в постель. Он видел, как уходили Байнеберг с Райтингом, видел, как устало прошаркал мимо Базини.

Однако его мучили какие-то страхи. Впервые он снова думал о родителях с некоторой теплотой. Он чувствовал, что ему нужна эта спокойная, надежная почва, чтобы укрепить и довести до зрелости то, что до сих пор только смущало его.

Но что это было? У него не было времени думать об этом и размышлять о происшедших событиях. Он чувствовал только страстное стремление вырваться из этой смуты, в нем была тоска по тишине, по книгам. Словно душа его — черная земля, под которой уже шевелятся ростки, а еще неизвестно, как они пробьются. К нему привязался образ садовника, который ежеутренне поливает свои грядки — с равномерной, терпеливой приветливостью. Эта картина не отпускала его, ее терпеливая уверенность, казалось, сосредоточивала всю тоску на себе. Только так надо! Только так! — чувствовал Тёрлес, и через все страхи и все опасения перепрыгивала убежденность, что нужно любыми усилиями достичь этого душевного состояния.

Только насчет того, что должно произойти первым делом, у него еще не было ясности. Ибо прежде всего от этой тоски по мирной созерцательности лишь усиливалось его отвращение к предстоявшей игре интриги. Да он и в самом деле боялся подстерегавшей его мести. Если они действительно попытаются очернить его перед классом, то противодействие этому потребует от него огромного расхода энергии, которого ему именно сейчас было жаль. И потом — стоило ему хотя бы только подумать об этой сумятице, об этой лишенной какого бы то ни было высшего смысла стычке с чужими намерениями и силами воли, его охватывало отвращение.

Тут ему вспомнилось одно давнее письмо, которое он получил из дому. Это был ответ на его письмо родителям, где он тогда как умел сообщал о своем странном душевном состоянии, еще до того, как произошел этот эпизод с чувственностью. То был опять-таки довольно топорный ответ, полный добропорядочной, скучной этики, где ему советовали убедить Базини явиться с повинной, чтобы покончить с этим недостойным, опасным состоянием своей зависимости.

Письмо это Тёрлес позднее читал снова, когда Базини лежал рядом с ним нагишом на мягких одеялах клетушки. И он испытывал особое удовольствие, когда эти неуклюжие, простые, трезвые слова таяли у него на языке, а сам он думал, что, наверно, из-за слишком светлого своего существования родители его слепы в том мраке, где сейчас гибкой хищной кошкой прикорнула его душа.

Но сегодня он совсем по-другому потянулся к этому месту, когда оно ему вспомнилось.

По нему растекся приятный покой, словно от прикосновения твердой, доброй руки. Решение было принято в этот миг. В нем сверкнула одна мысль, и он схватил ее, не раздумывая, словно под заступничеством родителей.

Он не засыпал, пока не вернулись те трое. Затем подождал, пока по их равномерному дыханию не услыхал, что они уснули. Теперь он торопливо вырвал листок из своей записной книжки и при неверном свете ночника написал большими, нетвердыми буквами:

«Завтра они выдадут тебя классу, и тебе предстоит что-то ужасное. Единственный для тебя выход — самому признаться директору. До него ведь это и так дойдет, только сначала тебя изобьют до полусмерти. Свали все на Р. и Б. и умолчи обо мне.

Видишь, я хочу спасти тебя».

Эту записку он сунул спящему в руку.

Затем, без сил от волнения, уснул и он.

Следующий день Байнеберг и Райтинг решили, видимо, еще оставить Тёрлесу на размышление.

А с Базини дело приняло серьезный оборот.

Тёрлес видел, как Байнеберг и Райтинг подходили к отдельным воспитанникам и как там вокруг них возникали группы, в которых взволнованно шептались.

При этом он не знал, нашел ли Базини его записку, поговорить с ним не было возможности, поскольку Тёрлес чувствовал, что находится под наблюдением.

Сначала он вообще боялся, что речь идет уже и о нем. Но он был теперь, перед лицом опасности, так подавлен ее омерзительностью, что палец о палец не ударил бы.

Лишь позднее, готовый к тому, что сейчас все будут против него, он несмело смешался с одной из групп.

Но его и не заметили. Все пока касалось Базини.

Волнение росло. Тёрлес мог это отметить. Райтинг и Байнеберг, наверно, еще приврали что-нибудь.

Сперва улыбались, затем некоторые стали серьезны, и мимо Базини зашмыгали злые взгляды, наконец над классом что-то повисло темным, жарким, беременным мрачными страстями молчанием.

Случайно вторая половина дня была свободна.

Все собрались сзади возле шкафов; затем вызвали Базини.

Байнеберг и Райтинг стояли, как два укротителя, по обе стороны от него.

Испытанный способ — раздевание — после того как заперли двери и поставили дозор — вызвал всеобщее удовольствие.

Райтинг держал в руке пачку писем, полученных Базини от матери, и начал читать их вслух.

— Дорогое дитя мое...

Всеобщий рев.

— Ты знаешь, что при небольших деньгах, которыми я, будучи вдовой, располагаю...

Непристойный смех, необузданные шутки вылетают из толпы. Райтинг хочет читать дальше. Вдруг кто-то толкает Базини. Другой, на которого он при этом падает, полушутя-полувозмущенно отталкивает его назад. Третий передает его дальше. И вот уже Базини, голый, с разинутым от страха ртом, как вертящийся мяч, под смех, улюлюканье, толчки, летает по залу — от одной стороны к другой,— больно ударяется об острые углы скамеек, падает на колени, раздирая их в кровь, и наконец валится наземь, окровавленный, весь в пыли, с нечеловеческими, остекленевшими глазами, и мгновенно наступает молчание, и все теснятся вперед, чтобы увидеть, как он лежит на полу.

Тёрлес содрогнулся. Он воочию увидел силу этой ужасной угрозы.

И он все еще не знал, как поступит Базини.

Решено было в следующую ночь привязать Базини к кровати и отколошматить его клинками рапир.

. . . . . .

Но, ко всеобщему удивлению, уже рано утром в классе появился директор. Его сопровождали классный наставник и два учителя. Базини удалили из класса и отвели в отдельную комнату.

А директор произнес гневную речь по поводу проявленной жестокости и назначил строгое расследование.

Базини сам пришел с повинной.

Кто-то, должно быть, уведомил его о предстоящем.

Тёрлеса не заподозрил никто. Он притих и ушел в себя, словно все это совершенно не касалось его.

Даже Райтинг и Байнеберг не искали в нем предателя. Свои угрозы ему они сами не принимали всерьез; они выкрикнули их, чтобы запугать его, чтобы показать свое превосходство, а может быть, и с досады; теперь, когда злость их прошла, они уже вряд ли об этом думали. Обязательства перед его родителями уже удержали бы их от действий, направленных против Тёрлеса. Это было для них так несомненно, что и с его стороны они ничего не опасались.

Тёрлес не раскаивался в своем поступке. Скрытность, трусливость этого шага скрадывало чувство полного освобождения. После всех волнений на душе у него стало удивительно ясно и просторно.

Он не участвовал во взволнованных разговорах о том, чего теперь ждать, которые повсюду велись; он спокойно прожил весь день наедине с собой.

Когда наступил вечер и зажглись лампы, он сел на свое место, положив перед собой тетрадь, где были те беглые записи.

Но он долго не читал их. Он поглаживал рукой страницы, и ему казалось, что от них отдает чем-то душистым, как лавандой от старых писем. Это была смешанная с грустью нежность, которую мы испытываем к закончившейся полосе прошлого, когда в легкой, бледной тени, встающей из нее с покойницкими цветами в руках, вновь обнаруживаем забытые признаки сходства с собой.

И эта грустная легкая тень, это бледное благоухание, казалось, терялись в широком, полном, теплом потоке — жизни, открывавшейся перед Тёрлесом.

Какой-то отрезок развития кончился, душа, как молодое дерево, прибавила себе новое годовое кольцо — это еще бессловесное, захватывающее чувство прощало все, что случилось.

Тёрлес стал перелистывать свои воспоминания. Фразы, в которых он беспомощно констатировал случившееся — это всяческое удивление и смущение перед жизнью,— снова ожили, казалось, зашевелились и обрели связь. Они лежали перед ним, как светлая дорога, на которой отпечатались следы его прощупывающих почву шагов. Но им чего-то, казалось, еще не хватало; не новой мысли, о нет; но они еще не захватывали Тёрлеса со всей силой живого.

Он почувствовал себя неуверенно. И тут он испугался, что завтра ему придется стоять перед учителями и оправдываться. Чем?! Как ему объяснить им это? Этот темный, таинственный путь, которым он шел. Если бы они спросили его: почему ты издевался над Базини, он ведь не смог бы ответить им — потому что интересовало меня при этом происходившее в моем мозгу, нечто такое, о чем я и сегодня, несмотря ни на что, еще мало знаю и по сравнению с чем все, что я об этом думаю, кажется мне неважным.

Этот шажок, еще отделявший его от конечной точки духовного процесса, через который он должен был пройти, пугал его, как страшная бездна.

И еще до наступления ночи Тёрлес находился в лихорадочном боязливом волнении.

На следующий день, когда воспитанников поодиночке вызывали на допрос, Тёрлес исчез.

В последний раз его видели вечером, он сидел за тетрадью, как будто читал.

Искали по всему училищу, Байнеберг тайком заглянул в клетушку, Тёрлеса нигде не было.

Стало ясно, что он убежал из училища, и об этом оповестили все окрестные власти с просьбой бережно доставить его.

Расследование тем временем началось.

Райтинг и Байнеберг, полагавшие, что Тёрлес бежал от страха перед их угрозой выдать его, чувствовали себя обязанными отвести от него всякие подозрения и усиленно за него заступались.

Они свалили всю вину на Базини, и весь класс, один воспитанник за другим, свидетельствовал, что Базини — вороватый, ничтожный малый, который на самые доброжелательные попытки исправить его отвечал только новыми возвратами к старому. Райтинг уверял, что они признают свою ошибку, но поступили так лишь потому, что жалость не позволяла им выдавать товарища на расправу, не исчерпав всех способов вразумить его по-хорошему, и весь класс опять клялся, что издевательство над Базини было вызвано только тем, что он с величайшим, гнуснейшим презрением отнесся к людям, которые из благороднейших побуждений щадили его.

Короче, это была хорошо согласованная комедия, блестяще поставленная Райтингом, и для оправдания были подпущены все этические нотки, которые ценил учительский слух.

Базини по поводу всего тупо молчал. С позавчерашнего дня он еще пребывал в смертельном страхе, и одиночество его комнатного ареста, спокойный, деловитый ход расследования были для него уже избавлением. Он ничего не желал себе, кроме скорого конца. К тому же Райтинг и Байнеберг не преминули пригрозить ему чудовищной местью на случай, если он даст показания против них.

Тут был доставлен Тёрлес. До смерти усталым и голодным его схватили в ближайшем городе.

Его бегство казалось теперь единственно загадочным во всем этом деле. Но ситуация была благоприятна для него. Байнеберг и Райтинг проделали большую подготовительную работу, они говорили о нервозности, которую он будто бы проявлял в последнее время, о его нравственной деликатности, которая возводила в преступление уже одно то, что он, с самого начала обо всем знавший, не заявил сразу же об этом деле и стал таким образом совиновником катастрофы.

Тёрлес был поэтому встречен уже с какой-то растроганной доброжелательностью, и товарищи вовремя подготовили его к этому.

Тем не менее он был страшно взволнован, и боязнь, что он не сумеет объясниться, вконец его извела...

По соображениям такта, поскольку опасались еще каких-нибудь разоблачений, расследование велось на частной квартире директора. Кроме него, присутствовали еще классный наставник, учитель закона божьего и преподаватель математики, которому, как младшему в этой учительской коллегии, выпало на долю вести протокольные записи.

На вопросы о мотивах своего бегства Тёрлес ответил молчанием.

Со всех сторон — понимающие кивки.

— Ну, хорошо,— сказал директор,— об этом нам известно. Но скажите нам, что заставляло вас скрывать проступок Базини.

Тёрлес смог бы теперь солгать. Но его робость ушла. Его прямо-таки соблазняло заговорить о себе и испытать свои мысли на этих умах.

— Сам не знаю, господин директор. Когда я услышал об этом впервые, мне показалось это чем-то чудовищным... чем-то невообразимым...

Учитель закона божьего кивал Тёрлесу удовлетворенно и ободряюще.

— Я... я думал о душе Базини...

Учитель закона божьего просиял, математик протер пенсне, надел его, сощурился...

— Я не мог представить себе тот миг, когда обрушилось на Базини такое унижение, и поэтому меня все время влекло к нему...

— Ну, да... вы, вероятно, хотите этим сказать, что испытывали естественное отвращение к проступку своего товарища и что зрелище порока вас в какой-то мере завораживало, как завораживает, утверждают, взгляд змеи ее жертву.

Классный наставник и математик поспешили одобрить это сравнение энергичными жестами.

Но Тёрлес сказал:

— Нет, это не было в сущности отвращение. Было так: сперва я говорил себе: он провинился и надо передать его тем, кому положено наказать его...

— Так бы и следовало вам поступить.

— ...А потом он казался мне таким странным, что я ни о каких наказаниях уже не думал, смотрел на него совсем с другой стороны. Каждый раз во мне что-то давало трещину, когда я так о нем думал...

— Вы должны выражаться яснее, дорогой Тёрлес.

— Это нельзя сказать иначе, господин директор.

— Ну, все-таки. Вы взволнованы, мы же видим, в замешательстве... То, что вы сейчас сказали, было очень туманно.

— Ну, да, я сейчас в замешательстве. У меня уже были для этого гораздо лучшие слова. Но все равно получается одно и то же — что во мне было что-то странное...

— Хорошо... но ведь это же, наверно, естественно при всех этих обстоятельствах.

Тёрлес минуту подумал.

— Может быть, можно сказать так: есть какие-то вещи, которым суждено вторгаться в нашу жизнь как бы в двойном виде. Такими мне представали отдельные лица, события, темные, запыленные углы, высокая, холодная, молчащая, вдруг оживающая стена...

— Но помилуйте, Тёрлес, куда вас заносит?

Но Тёрлесу доставляло удовольствие выговориться до конца.

— ...Мнимые числа...

Все то переглядывались, то глядели на Тёрлеса. Математик кашлянул.

— Для лучшего понимания этих туманных заявлений я должен добавить, что воспитанник Тёрлес однажды приходил ко мне с просьбой объяснить ему некоторые основные математические понятия,— в том числе мнимого,— которые и в самом деле могут быть затруднительны для неподготовленного ума. Должен даже признаться, что он проявил тут несомненное остроумие, однако он поистине маниакально выбирал только такие вещи, которые — для него по крайней мере — означали как бы пробел в каузальности нашего мышления. Помните, Тёрлес, что́ вы тогда сказали?

— Да. Я сказал, что мне кажется, что одним лишь мышлением мы через эти места перейти не можем и нуждаемся в другой, более глубокой уверенности, которая нас как бы перенесет через них. Что одним мышлением обойтись нам нельзя, я почувствовал и на примере Базини.

Директор при́ этом уклонении следствия в философию уже терял терпение, зато преподаватель закона божьего был очень доволен ответом Тёрлеса.

— Вы, значит, чувствуете,— спросил он,— что вас тянет прочь от науки к религиозным точкам зрения? Видимо, и по отношению к Базини было что-то подобное,— обратился он к остальным,— душа его, кажется, чувствительна к высшей, я сказал бы, к божественной и трансцендентной сущности нравственности.

Тут директор почувствовал, что он все же обязан вмешаться.

— Послушайте, Тёрлес, так ли обстоит дело, как говорит его преподобие? Вы склонны искать за событиями или вещами — как вы довольно общо выражаетесь — религиозную подоплеку?

Он сам был бы уже рад, если бы Тёрлес ответил наконец утвердительно, дав твердую почву для суждения о нем; но Тёрлес сказал:

— Нет, и не это.

— Ну, тогда скажите наконец без обиняков,— выпалил директор,— что это было. Мы же не можем сейчас пускаться с вами в философские споры.

Тёрлес, однако, заупрямился. Он сам чувствовал, что говорил плохо, но и это возражение, и тот основанный на недоразумении одобрительный отклик дали ему чувство высокомерного превосходства над этими старшими, которые, казалось, так мало знали о состояниях человеческой души.

— Я не виноват, что это совсем не то, что вы имеете в виду. Но я сам не могу точно описать, что́ я ощущал каждый раз. Но если я скажу, что́ думаю об этом теперь, вы, может быть, и поймете, почему я так долго не мог освободиться от этого.

Он выпрямился, так гордо, словно он здесь судья, его глаза прямо проходили мимо этих людей; ему не хотелось глядеть на эти смешные фигуры.

За окном сидела на ветке ворона, больше ничего не было, кроме белой равнины.

Тёрлес чувствовал, что пришло мгновение, когда он ясно, внятно, победительно заговорит о том, что сначала неясно мучило его, затем омертвело и обессилело.

Не то чтобы какая-то новая мысль дала ему эту уверенность и ясность, нет, он весь, выпрямившийся сейчас во весь рост, словно вокруг него ничего не было, кроме пустого пространства,— он всей своей человеческой целостностью чувствовал это, как почувствовал тогда, когда его изумленные глаза блуждали среди пишущих, занятых учеников, корпящих над работой товарищей.

Ведь с мыслями дело обстоит особо. Они часто всего-навсего случайность, которая приходит, не оставляя следа, и у мыслей есть свои мертвые и свои живые моменты. Может прийти гениальное озарение, и оно все же увянет, медленно, исподволь, как цветок. Форма останется, а краски, аромат исчезнут. То есть помнишь-то его слово в слово, и логическая ценность найденной фразы полностью сохраняется, но она только все вертится по поверхности нашего внутреннего мира, и мы не чувствуем себя богаче из-за нее. Пока — может быть, через много лет — вдруг снова не приходит мгновение, когда мы видим, что все это время совершенно не помнили о ней, хотя логически все помнили.

Да, есть мертвые и живые мысли. Мышление, которое движется по освещенной поверхности, которое всегда можно проверить нитью причинности,— это еще не обязательно живое мышление. Мысль, которую встречаешь на этом пути, остается безразличной, как любой человек в колонне марширующих солдат. Мысль — пусть она уже давно приходила нам на ум — становится живой только в тот момент, когда к ней прибавляется нечто, уже не являющееся мышлением, уже не логическое, так что мы чувствуем ее истинность, не нуждаясь ни в каких оправданиях, как якорь, которым она врезалась в согретое кровью, живое мясо... Великое понимание вершится только наполовину в световом кругу ума, другая половина — в темных недрах естества, и оно есть прежде всего душевное состояние, самое острие которого мысль только увенчивает как цветок.

Только потрясение души нужно было еще Тёрлесу, чтобы взметнулся этот последний побег.

Не обращая внимания на озадаченные лица вокруг, словно лишь для себя, он продолжил и, не переводя дыхания, глядя прямо вперед, договорил до конца:

— ...Я, может быть, еще слишком мало учился, чтобы правильно выражаться, но я это опишу. Только что это снова было во мне. Не могу сказать иначе, чем что вижу вещи в двух видах. Когда я смотрю на них как

бы по линии математики, они для меня естественны, когда я подхожу к их странности прямо, они мне кажутся немыслимыми. Но тут я могу и ошибаться, я слишком мало знаю о них. Но я не ошибался с Базини, не ошибался, когда не мог отвернуть своего слуха от тихого журчанья высокой стены, своего зрения от беззвучной жизни пыли, которую внезапно осветил фонарь. Нет, я не ошибался, когда говорил о второй, тайной, незамечаемой жизни вещей! Я... я это не в буквальном смысле... не то что эти вещи живые, не то что у Базини было два облика... но во мне было что-то второе, что на все это не смотрело глазами разума. Так же, как я чувствую, что во мне оживает какая-то мысль, я чувствую, что при виде вещей что-то живет во мне, когда мысли молчат. Есть во мне, под всеми мыслями, что-то темное, чего я не могу вымерить мыслями, жизнь, которая не выражается словами и которая все-таки есть моя жизнь...

Эта молчащая жизнь угнетала, теснила меня, меня всегда тянуло всмотреться в нее. Я страдал от страха, что вся наша жизнь такова, а я лишь от случая к случаю частями о том узнаю... о, мне было ужасно страшно... я сходил с ума...

Эти слова и сравнения, Тёрлесу совсем не по возрасту, в огромном волнении, в минуту почти поэтического вдохновения слетели с его губ легко и естественно. Теперь он понизил голос и, словно объятый своим страданием, прибавил:

— ...Теперь это прошло. Я знаю, что я все-таки ошибался. Я уже ничего не боюсь. Я знаю: вещи — это вещи и таковыми, вероятно, останутся навсегда. И я, вероятно, буду смотреть на них то так, то этак. То глазами разума, то другими... И я больше не буду пытаться сравнивать одно с другим...

Он умолк. Он счел совершенно естественным теперь уйти, и никто ему не помешал это сделать.

. . . . . .

Когда он вышел, оставшиеся озадаченно переглянулись.

Директор в нерешительности качал головой. Классный наставник первым нашел слова:

— Ну, этот маленький пророк решил нам, видно, прочитать лекцию. Но тут черт ногу сломит. Это волнение! И при этом такая путаница в простейших вещах!

— Рецептивность и спонтанность мышления,— подхватил математик.— Похоже, что он слишком много внимания уделил субъективному фактору всех наших впечатлений и что это смутило его и толкнуло на туманные сравнения.

Только учитель закона божьего промолчал. Он не раз выхватывал из речей Тёрлеса слово «душа» и с удовольствием взялся бы за этого молодого человека.

Но он все-таки толком не знал, что имелось в виду.

Директор, однако, положил конец этой ситуации.

— Не знаю, что́, в сущности, в голове у этого Тёрлеса, но во всяком случае он находится в такой степени возбуждения, что пребывание в училище ему, пожалуй, уже не на пользу. Нужно более тщательное наблюдение за его духовной пищей, чем то в силах осуществить мы. Не думаю, что мы можем нести ответственность далее. Тёрлесу нужно домашнее воспитание. Я напишу на этот счет его отцу.

Все поспешно согласились с этим хорошим предложением добропорядочного директора.

— Он действительно был такой странный, что я уж подумывал, что он предрасположен к истерии,— сказал математик своему соседу.

. . . . . .

Одновременно с письмом директора к родителям пришло письмо Тёрлеса, где тот просил взять его из училища, потому что он больше не чувствует себя там на месте.

Базини тем временем был в наказание исключен. В школе все шло привычным ходом.

Было решено, что Тёрлеса заберет мать. Он равнодушно прощался с товарищами. Он уже начинал забывать их фамилии.

В красную клетушку он больше не поднимался. Все это, казалось, ушло от него далеко-далеко.

После удаления Базини это было мертво. Словно тот человек, который прицепил к себе все эти отношения, унес с собою и их.

Что-то тихое, подернутое сомнением объяло Тёрлеса, но отчаяние прошло. «Оно было таким сильным, наверное, только из-за тех тайных дел с Базини»,— думал он. Никаких других причин он не усматривал.

Но ему было стыдно. Как бывает стыдно утром, когда тебе ночью, в лихорадке, мерещилось во всех углах темной комнаты что-то ужасное.

Его поведение перед комиссией — оно казалось ему чудовищно смешным. Столько шума! Разве они не были правы? Из-за такого пустяка! Было, однако, в Тёрлесе что-то, что делало этот стыд не таким жгучим. «Конечно, я вел себя неразумно,— размышлял он,— однако все это вообще вряд ли имело отношение к моему разуму». В этом и состояло теперь его новое чувство. В его памяти осталась страшная душевная буря, для объяснения которой было далеко не достаточно тех причин, что он теперь еще находил в себе для этого. «Значит, было, наверно, что-то более необходимое и более глубокое,— заключал он,— чем то, что можно объяснить с помощью разума и понятий...»

А то, что присутствовало до страсти и было страстью только заглушено, суть дела, проблема, осталось незыблемо. Эта меняющаяся по мере удаления и приближения психологическая перспектива, которую он увидел. Эта непостижимая связь, которая в зависимости от нашего взгляда придает внезапную ценность событиям и вещам, совершенно не сравнимым друг с другом и чуждым друг другу...

Это и прочее — он видел удивительно ясно и четко — и уменьшенно. Как видишь утром, когда первые чистые лучи солнца высушат холодный пот и когда стол, и шкаф, и враг, и судьба опять влезают в свои естественные размеры.

Но тогда остается тихая, задумчивая усталость, и так и случилось с Тёрлесом. Он теперь умел различать между днем и ночью — собственно, он всегда это умел, и только нахлынувший тяжелый сон размыл эти границы, и он стыдился такого смешения. Но память о том, что все может быть иначе, что есть вокруг человека тонкие, легко стираемые границы, что вокруг души витают лихорадочные сны, которые истачивают крепкие стены и открывают жутковатые улочки,— эта память тоже глубоко в нем засела и излучала бледные тени.

Из этого он мало что мог объяснить. Но ощущение этой бессловесности было восхитительно, как уверенность оплодотворенного тела, которое уже чувствует в своей крови тихую тягу будущего. И в Тёрлесе смешивались усталость и вера.

Поэтому он и ждал прощанья тихо и задумчиво...

Его мать, думавшую, что встретит возбужденного и смущенного молодого человека, поразило его холодное спокойствие.

Когда они ехали на вокзал, справа от них была рощица с домом Божены. Она казалась очень незначительной и безобидной — пыльное сплетение деревьев, ива, ольха.

Тёрлес тут вспомнил, как невообразима была для него тогда жизнь родителей. И он украдкой посмотрел сбоку на мать.

— В чем дело, мой мальчик?

— Ничего, мама, просто подумалось что-то.

И он принюхался к слабому запаху духов, который донесся от талии матери.

РАДОЙ РАЛИН

Самосевки

АФОРИЗМЫ

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

От переводчика

Его имя не менее популярно в Болгарии, чем имя Жванецкого у нас. Хотя Радой Ралин и в ряду лирических поэтов занимает не последнее место, но все же слава его — это прежде всего слава сатирика. Ведь поэтов много, а такие сатирики, как Р. Ралин,— редкость. В годы, когда только в иносказательной форме, только эзоповым языком можно было выразить бродившие в умах критические мысли о существовавших при Живкове порядках, сборники сатирических стихов, фельетонов и рассказов Ралина раскупались мгновенно, а самые острые эпиграммы, в которых порой усматривались намеки на *самого́*, были у всех на устах.

Сборничек «Самосевки» вышел в 1989 году, незадолго до того как в Болгарии начались кардинальные перемены, но рождались афоризмы, собранные в нем, в течение двадцати лет. В них схвачены абсурдные черты и черточки тогдашнего состояния общества, однако они и сегодня звучат актуально. Что же такое «самосевки»? В предисловии к сборнику автор объясняет так: самосевки — это то, что выросло само, а в данном случае то, что пришло в голову как бы само собой. Одни, пишет Р. Ралин, назвали бы их травами ядовитыми, другие — лечебными. А можно, замечает он, сравнить их с искрами в ночи, со звездочками, по которым находят дорогу. Как и другие книги Р. Ралина, эту книжечку иллюстрировал не менее известный мастер болгарской сатиры — художник Борис Димовский. Он же автор помещенного здесь шаржа на Р. Ралина. Вот некоторые из афоризмов Р. Ралина и рисунков к ним.

Когда общество больно,
береги свое здоровье.

Не заставляйте людей плакать —
от слез их глаза станут зорче.

Поэт Б. страшно пострадал от культа личности —
не может переиздать оды, в которых ее воспевал.

Со старыми друзьями по новым дорогам,
а не с новыми друзьями — по старым дорогам.

Он меня сжег,
и я его осветил.

Когда сатиры нет,
сатириков тьма.

Художник оказался хорошим торговцем:
себя продал дорого,
а друзей за бесценок.

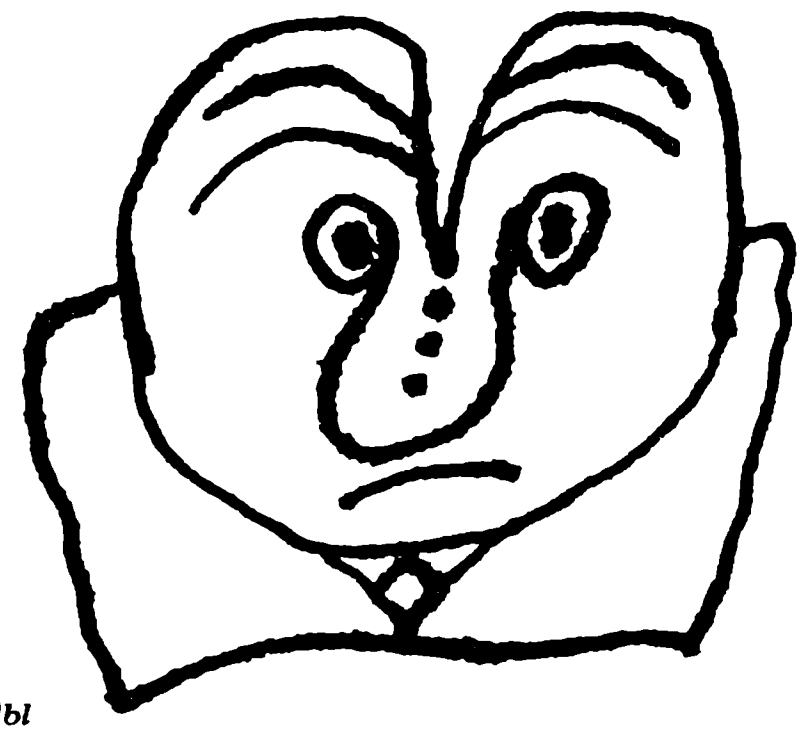
Цензор собрал все произведения писателя, которые он запрещал при его жизни, и издал их как исследователь.

Редакторы уходят, а литература остается.

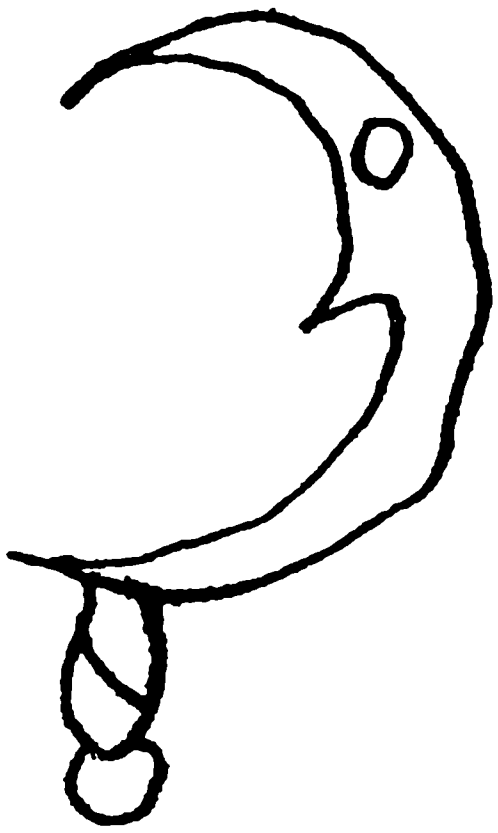
Не художник тот, кто оправдывается,
ведь художник сам — правда.

О живом классике — или хорошо, или ничего!

Поэт, прежде чем воспевать родину,
спроси, приятно ли ей это.



Абсурды



Если ты твердо стоишь на своих позициях,
не обвинят ли тебя в застое?

История — летопись преследователей,
разве у преследуемых есть время писать?

Не подсказало ли самоубийство
идею самообслуживания?

Положены ли тем, у кого раздвоение личности,
два пайка?

И с Богом можно вести диалог,
но только в форме молитвы.

Страшно, когда не провинция,
а столица глухая.

Когда история толчется на месте,
тяжко растоптанным.

Вопросы

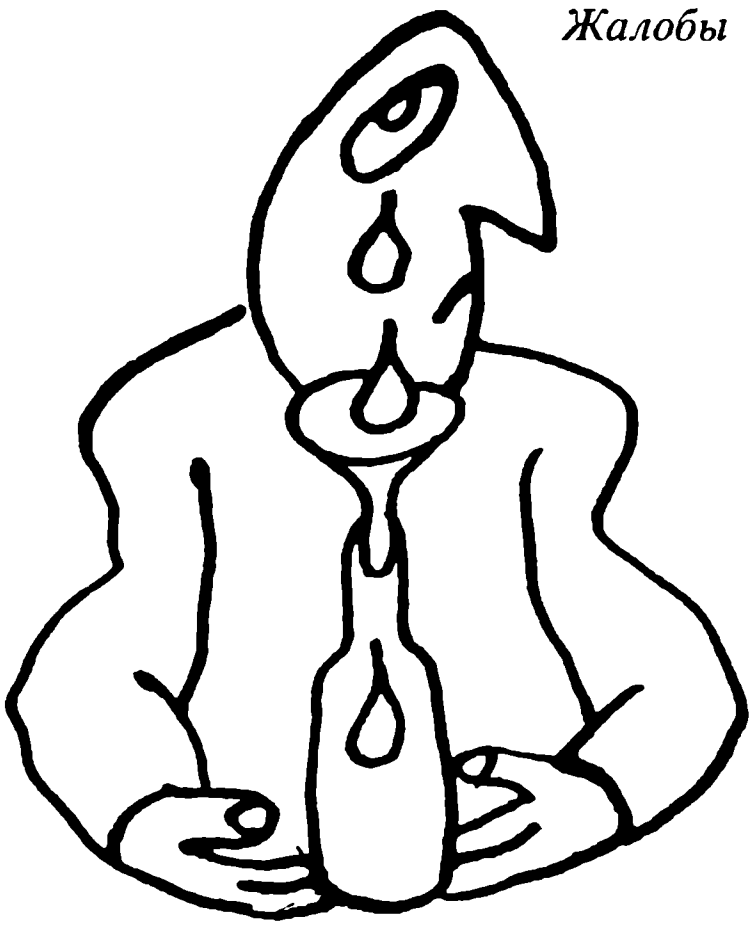
Вежливость требует, чтобы я назвал его подлецом,
но тогда он будет
о себе слишком высокого мнения.

Все же очередь создает впечатление
движения вперед.

С одной стороны, тебя ни о чем не спрашивают,
с другой — ты за все в ответе.

В том-то и дело, Дон Кихот,
что мельницы не воображаемые.

Ты отучил его ползать,
он начал тебя топтать.



Жалобы

С него сняли кандалы,
и его разбил паралич.

Не преследуй падающих —
у них свойства магнита.

Когда политик умирает,
воскресают его ошибки.

Покажем правду массам.
Вход свободный.

Идея, как женщина,
если ее подхватит другой, она — его.

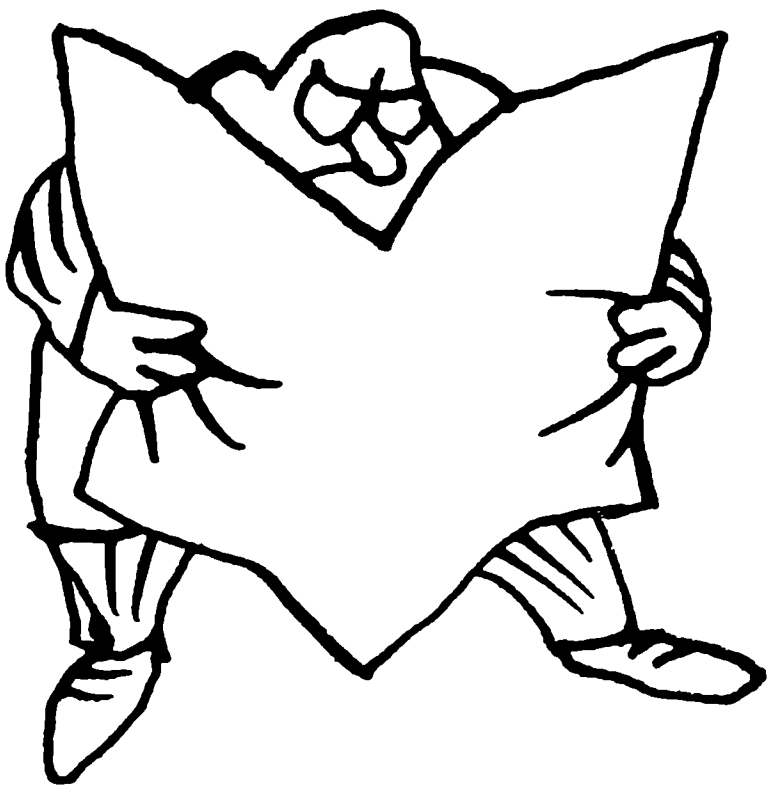
Человек — мыслящий тростник, из которого
немыслящие плетут корзины.

Человечество, не радуйся скорости своего движения —
ведь ты скользишь по наклонной плоскости.

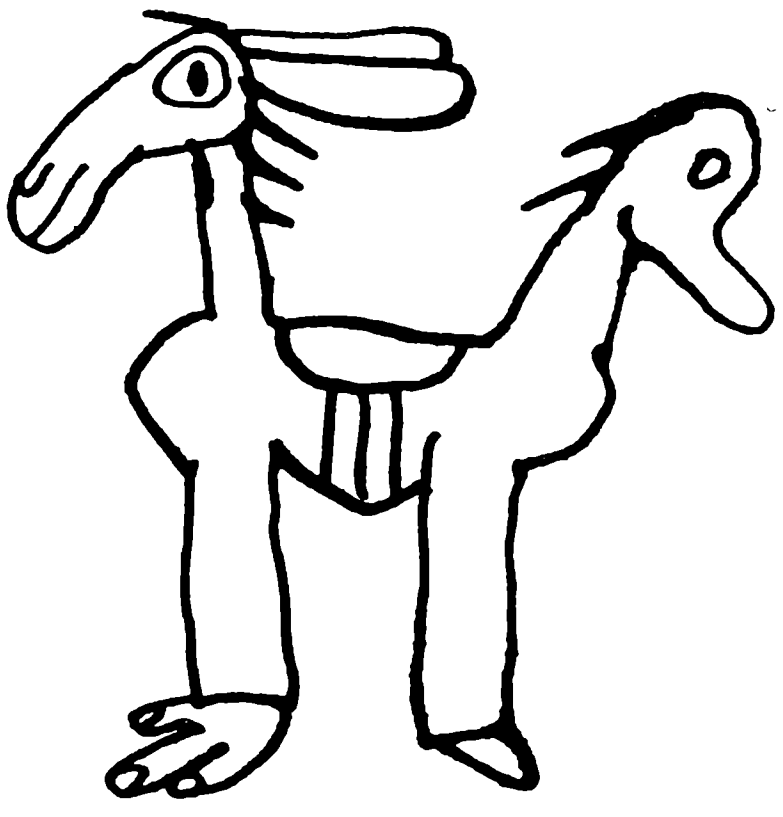
Прикидываясь дураком, сохраняй достойный вид!

Алые мечты, выцветая,
становятся розовыми.

Лучше отрицательная свобода,
чем положительная тирания!



Намеки



Не мыслю, следовательно, существую.

Птица Феникс воскресает из пепла,
но — ополоумевшей.

Разномысли.ч

При сегодняшних возможностях воровать
бедность и впрямь порок.

Разделение труда: одни участвуют
в событиях, другие — в их праздновании.

Компенсация: духовно богатые бедны,
а духовно бедные — богаты.

Прежде чем радоваться свержению
тирана, посмотри,
кто его сверг.

Книги писателей, которые продаются,
плохо продаются.

Дискуссия:
двое ругаются, третий платит.

Все так запутано,
что остается только быть оптимистом.

Враки

Любовь — не только демократия чувств,
но и диктатура секса.

Разложившийся элемент?
Но ведь элементы не разлагаются!

Бегство от жизни?
А если в будущее?

Посылай начальнику подарки тайно —
нет ничего тайного, что бы не стало явным.

Зачем совершать кражу со взломом?
Государство сейчас предоставляет
лучшие возможности.

Сытый голодного не разумеет.
А почему голодные должны разуметь сытых?

А предательство подешевело —
от тридцати сребреников до чечевичной похлебки.

Истинно, истинно говорю вам:
без лжи нельзя!

К нашим иллюстрациям

В одном из интервью Фридрих Дюрренматт признался: «Я пишу. Это мое ремесло. Когда я был молодым, я хотел стать художником. Но скоро мне стало понятно, что у меня нет таланта».

Благодаря книжным изданиям и театральным постановкам мы хорошо знакомы с литературным творчеством всемирно известного швейцарца. К сожалению, этого не скажешь о его художественном наследии, хотя им создано внушительное число картин, гуашей, коллажей и рисунков. Редко кто из писателей такого ранга пробовал свои силы столь интенсивно в другой творческой области. Не имея специального образования, Фридрих Дюрренматт тем не менее всю жизнь запечатлевал на бумаге или картоне полные драматизма видения, чаще всего как беспощадную войну черной и белой красок.

Материал для вдохновения он черпал в разорванности человеческого бытия и собственной космогонии, в которой мир человека представлялся ему только относительной частицей. Поэтому художественная изобразительность его работ сильна настолько, насколько это позволяет философия Дюрренматта.

«Я рисую ночь напролет, одну, вторую, без устали. Я никогда бы не смог так писать. Картина возникает непосредственно передо мной, иногда я прикрепляю ее к стене, отхожу назад, рассматриваю издалека, кладу ее на письменный стол, беру бритву, подчищаю картину, прикрепляю ее снова к стене, картина стала лучше, но не намного, я кладу ее вновь на письменный стол — собственно, я собирался всю ночь писать,— работаю кистью, потом пером, подправляю бритвой, скоблю, тащу линию, прикрепляю картину к стене, отхожу назад, эта круговерть длится до утра. До обеда я продолжаю работать над рисунком — несмотря на то, что конечно же хотел писать,— с намерением рисунок не разглядывать, а только переделать одну деталь, рисуя, я переделываю одну, вторую, третью, вставляю картину в раму, едва она готова, вешаю на стену, именно сейчас я вижу непростительные ошибки».

Эта цитата из книги Ф. Дюрренматта «Зимняя война в Тибете» дает возможность почувствовать, как серьезно относился писатель к своему увлечению.

На 1-й странице обложки мы воспроизводим коллаж «Испанские гранды»,
на 2-й — «Надменный святой»,
на 3-й — «Печальное животное»,
на 4-й — «Икар».

Документальная проза

ЭДВАРД БЭР

Целуй руку, которую не можешь укусить

Перевод с английского И. ПРОХОРОВОЙ

Вступительная статья Н. МОРОЗОВА

Взлет и падение Гения Карпат

«Долой сапожника! Долой сапожника!» — ревела многотысячная толпа на площади между королевским дворцом и зданием ЦК РКП в Бухаресте. Еще несколько минут — и в главном штабе румынских коммунистов зазвенели разбитые стекла, тяжелые кованые двери распахнулись, и поток людей хлынул внутрь. Человеческие фигуры замелькали в окнах, высыпали на балкон, с которого еще вчера диктатор угрожал «хулиганам Тимишоары» всевозможными карами. В этот момент с крыши левого крыла здания послышался нарастающий гул, в воздух поднялся вертолет и, сделав крутой вираж над одной из боковых улиц, скрылся из виду. Шло 22 декабря 1989 года, и мало кто из находившихся тогда на площади людей, включая и меня самого, мог предполагать, что в эти секунды завершилась более чем полувековая политическая карьера Николае Чаушеску.

Безраздельно и самодержавно правивший 20-миллионным государством диктатор был вынужден спасаться от народного гнева на попутных автомашинах, просить о помощи случайных прохожих — бесславный и странный конец. Петлявший, как заяц, по проселочным дорогам Румынии, арестованный обыкновенным милиционером и расстрелянный у кафельной стены солдатской уборной, Чаушеску закончил свои дни, казалось бы, в полном соответствии с известной сентенцией: «Высота падения равна низости возвышения».

Впрочем, о последних перипетиях покинутого всеми румынского диктатора читатель узнает из книги ветерана американской журналистики Эдварда Бэра. Работавший военным корреспондентом в Алжире, Бейруте, Конго и Вьетнаме, он известен, главным образом, работами в популярном на Западе историко-документальном жанре. Э. Бэр участвовал в создании трехсерийного фильма «Красная династия» о трагическом пути китайского коммунизма, который был широко показан в США и Великобритании. Его книга «Хирохито» в «Нью-Йорк таймс» была названа «одной из самых значительных книг года», а «Последний император» стал бестселлером — получил премию Гутенберга в 1988 году и послужил основой для известного фильма Бертолуччи. В настоящее время Э. Бэр живет в Париже, он — редактор по проблемам европейской культуры журнала «Ньюсуик».

Следует указать, что в журнальном варианте книги Э. Бэра выпущена часть, в которой он рассказывает об историческом пути румынского народа, а также о карьере Чаушеску до чехословацких событий 1968 года.

Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы по возможности дополнить

© 1991 by Edward Behr.

книгу Э. Бэра некоторыми сведениями для советского читателя и поделиться соображениями, навеянными драматическими событиями, очевидцем которых мне довелось стать.

Возможно, некоторого пояснения требует название книги — «Целуй руку, которую не можешь укусить». Именно безразличие румын позволило культу личности Чаушеску достичь столь гротескных масштабов. И здесь мы неизбежно приходим к щекотливому и, как правило, неблагодарному вопросу о сформированном историей национальном румынском характере. Э. Бэр пишет о «раболепии перед властью», «въевшейся традиции лицемерия», «укоренившейся привычке к коррупции». Даже если по сути он и прав, этому его суждению явно не хватает нюансов.

Стиснутая между тремя империями — оттоманской, австро-венгерской и царской — маленькая Румыния была страной, которая, по выражению летописца Григоре Уреке, «находилась по пути всех бед». Объективные условия вынуждали страну избегать лобовых столкновений с соседями-гигантами, гибко лавировать между ними, менять союзников в зависимости от меняющихся обстоятельств. Цель была достигнута: Румыния, в отличие, например, от многострадальной Польши, сохранила свою государственность. Платой за это, однако, стало «своеобразное» отношение румын к политике. Помню, в доверительной беседе один маститый румынский публицист снисходительно заметил мне: «Молодой человек, здесь, на Балканах, нет политики, а только политиканство!» Так или иначе, все эти соображения — лишь фон истории, который дает возможность для объяснения определенных реалий, но не может служить поводом для неуместных оценок или ярлыков.

Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в олтенском селе Скорничешти, где был одним из десяти детей крестьянина Андруцэ. Кстати, олтенцы пользуются в Румынии репутацией хитрых и пронырливых людей, способных околпачить кого угодно. Закончив начальную школу, он впервые приехал в столицу в 11 лет. Свой, как говорится, трудовой путь Чаушеску действительно начал подмастерьем сапожника. Еще несколько лет назад в районе Северного вокзала друзья украдкой показывали мне полутемный подвал, где подбивал каблуки мальчишка, которого газеты через несколько десятилетий станут называть «Гением Карпат».

Между тем Чаушеску вовсе не манили секреты слишком прозаического сапожного ремесла, и поэтому большую часть своего времени 15-летний член Союза коммунистической молодежи проводил на уличных демонстрациях, которые в предвоенный период буквально сотрясали страну. Впервые он был схвачен полицией в 1933 году, а затем аресты следовали один за другим. Чаушеску познакомился со всеми румынскими тюрьмами: Дофтана, Жилава, Карансебеш, Вэкэрешть,— которые и стали его «коммунистическими университетами».

Любопытно и поучительно сегодня сравнить посвященные Чаушеску агиографические тексты «золотой эпохи» и «разоблачительные» статьи послереволюционного периода. Разница между панегириком и памфлетом, к удивлению многих, оказалась не столь уж велика: пересмотру подлежали оценки, интерпретации, эпитеты, которыми наделялся бывший вождь, факты же в большинстве своем остались неизменными. Так, если автор одной из «официальных» биографий Чаушеску француз М.-П. Амле объясняет его поведение в юности «пламенным темпераментом революционера», то бывшие «коммунисты-подельщики», обильно делящиеся сейчас воспоминаниями на страницах газет,— дурным характером и непомерным тщеславием. Суть же остается прежней: Чаушеску твердо сделал свой выбор в ранней юности и последовательно продвигался по избранному пути всю жизнь. Естественно, моральными предрассудками будущий диктатор особенно себя не обременял — ну, а кто из коммунистов заботился о «чистоте рук»?

«Чаушеску постоянно находился во взвинченном, взбудораженном состоянии,— рассказывал, например, один из его бывших соратников М. Попеску.— То он ни с кем не разговаривал, то вдруг взрывался потоком ругательств». Многие отмечали отчаянное стремление Чаушеску любой ценой привлечь к себе внимание, быть замеченным. Ему удалось преодолеть врожденный дефект речи (по-

зднее управление по дезинформации Секуритате распространяло слух, что шепелявость Чаушеску была результатом побоев в охранке, во время которых он будто бы прикусил язык). Мешала, однако, нехватка образования. Николае с трудом формулировал мысли, зато проявлял патетическое стремление «повысить идеологический уровень». «Чаушеску был ограниченным коммунистом-энтузиастом, который сам верил в проповедуемые им глупости,— утверждает Ш. Костял, которому довелось сидеть с Чаушеску в одной камере.— Это выглядело достаточно странно, и поэтому большинство заключенных избегали его».

В прошедшем по экранам в «золотую эпоху» румынском художественном кинофильме «Юность героя», как и в продолжившей киноэпопею «Освобождение» советской ленте «Солдаты свободы», Чаушеску показан бесспорным лидером коммунистов, хотя, в сущности, в тот период он лишь начинал входить в доверие к «баронам» партии. По свидетельству современников, в исторических трудах последнего времени чрезмерно преувеличена его роль на брашовском процессе коммунистов в 1936 году, а также в организации первомайской манифестации 1939 года.

Практически все военные годы будущий диктатор провел в тюрьме. Хотя срок истек 1 августа 1943 года, все политзаключенные были оставлены в «административном заключении» в лагере Тыргу-Жиу до окончания войны. Следует упомянуть, что там был не концлагерь, как утверждается в румынской исторической литературе, а лагерь для беженцев и военнопленных. Причем режим пребывания в нем по мере того, как чаша весов на фронте постепенно склонялась на сторону союзников, становился все более либеральным. Заключенные трудились в небольших мастерских, где им полагалась и зарплата, а отдельные бригады даже откомандировывались на работы за пределы лагеря. Начальник нередко приглашал коммунистов в свой кабинет, чтобы они могли послушать радио, администрация даже организовывала им побеги. Иметь наготове «резервную команду» политиков с противоположными убеждениями — на случай резкого поворота событий — отвечало традициям румынской политики. Так было во время первой мировой войны, так было и во время второй: чем стремительнее продвигалась Советская Армия на запад, тем чаще Антонеску размышлял о возможности союза с компартией. В лагере коммунисты были сгруппированы в бараке № 8, где старостой был Г. Георгиу-Деж, который, впрочем, имел отдельное жилье. Вообще Деж — старейший заключенный-коммунист в Румынии — был весьма влиятельной фигурой в лагере. Утверждают, что Чаушеску исполнял при нем роль денщика или адъютанта, в частности, нередко совершал «вылазки» за колючую проволоку специально за любимым вином Дежа — красным «Сымбурешть». Так или иначе, но именно эта не вполне благовидная роль позволила Чаушеску войти в доверие к «первому коммунисту страны», приблизиться к кругу партийных «баронов» и впервые прикоснуться к реальной, находящейся «по ту сторону добра и зла» борьбе за власть.

Незадолго до дворцового переворота 23 августа 1944 года, который получил в «чаушистской» официальной историографии помпезное название «антифашистской и антиимпериалистической революции социального и национального освобождения», 26-летний Чаушеску вышел на свободу. Как-то листая подшивку «Скынтейи» за тот год, я наткнулся на его выступление на митинге по случаю вступления в Бухарест частей советской армии. Помню, меня удивило, что уже в этом документе явственно просматривалось сдержанное отношение к СССР, мелькнуло слово «независимость»...

Здесь следует отметить, что румынская компартия в довоенный период была расколота на два крыла: «национальное» (Георге Георгиу-Деж, Георге Апостол, Лукрециу Пэтрэшкану) и «московское», состоявшее в основном из работников Коминтерна (Ана Паукер, Василе Лука, Иосиф Кишиневский). До 23 августа 1944 года вся РКП насчитывала менее тысячи членов, но известно, что сила партии измеряется не только количеством ее сторонников. Прибывшая в Румынию А. Паукер в те бурные дни выразила убежденность, что компартия вскоре станет правящей в стране, а в ответ на удивление собеседника заявила: «Во время отдыха советской армии в Румынии партия увеличит свои ряды на

тысячи и десятки тысяч человек!» Она, по-видимому, знала, что говорила: уже к концу 1947 года РКП выросла до 803 831 человека. Понятно, что реальная власть в партийном руководстве принадлежала поначалу «московской» фракции, хотя из тактических соображений Сталин выдвинул на первый план «национал-коммуниста» Дежа, несмотря на то, что тот еще в 1944 году опубликовал брошюру «Румынская политика», одно название которой должно было в глазах Отца народов выглядеть подозрительно.

После войны Чаушеску с головой уходит в работу. Хотя он пока и остается на вторых ролях, но все же неуклонно взбирается к вершине пирамиды власти. Немедленно после выхода из лагеря он — генеральный секретарь СКМ; на национальной конференции РКП в октябре 1945 года его избирают в состав ЦК партии, а еще через год — депутатом парламента. С 1948 года он — заместитель министра сельского хозяйства, а с 1950 года — заместитель министра национальной обороны в чине генерал-лейтенанта, начальник высшего политического управления армии. Перед этим он закончил восьмимесячные курсы в Академии имени М. Фрунзе в Москве — факт, о котором авторы официальных биографий предпочитают не упоминать. Это, несомненно, объясняется неприязнью, которую Чаушеску всегда питал к СССР. Так, он категорически отказывался изучать русский язык, прибегая к услугам переводчика. Он же несколько лет спустя поставит многочисленных кадровых офицеров, имевших в свое время неосторожность обрести спутницу жизни в СССР, перед необходимостью выбора: развод или отставка. А генералу Костялу, оказавшемуся в таком положении, он заявил: «Чтобы целоваться и рожать детей, вполне достаточно и румынок!» Многочисленные свидетели отмечают, что из-за пробелов в образовании Чаушеску с трудом мог составить рутинный официальный рапорт. Он угодничал перед начальством, был надменен и груб с подчиненными. Читал он лишь «Скынтейю» и партийные пропагандистские брошюры.

Болезнь Сталина и развязанная им в 50-е годы антисемитская кампания способствовали падению престижа «коминтерновцев» в РКП. В 1952 году «фракционная группа» А. Паукер и В. Луки окончательно устранена с пути, а в июне этого же года сформирован новый секретариат ЦК РКП, где преобладали представители национального крыла. Впервые в эту партийную элиту вошел и Чаушеску. А в 1955 году он занял ключевой пост члена Политбюро, отвечающего за кадровые вопросы.

После смерти Сталина советско-румынские разногласия обостряются. В ходе «десталинизации» Хрущев пытается сменить лидеров в восточноевропейских странах-сателлитах. Деж принимает ответные меры: казнит единственного соперника — Л. Пэтрэшкану, навесив ему ярлык «агента империализма». На партийном съезде в 1955 году впервые открыто говорится о «румынском пути к социализму», но очевидно, что новоявленную независимость Румынии питало стремление Дежа удержаться у власти, а не защита национальных интересов. В 1964 году в советском журнале «Экономическая жизнь» была помещена статья некоего Валева, в которой излагался план создания «межгосударственного экономического комплекса в зоне нижнего Дуная». Эта суґубо академическая публикация дала румынскому руководству повод для резкой отповеди и последующего развязывания националистической кампании. Глубинную причину этого кризиса многие румынские историки сегодня усматривают в том, что после событий 1956 года, когда стало ясно, что опираться исключительно на Советскую Армию неблагоразумно, режим лихорадочно старался обрести социальную базу внутри страны. Из двух возможных путей — построение потребительского «гуляш-социализма» или утверждение безудержного национализма — румынские руководители выбирают второй. Своеобразным закреплением этого выбора становится знаменитая «Декларация о независимости», опубликованная в апреле 1964 года.

Таким образом, именно Деж, а вовсе не Чаушеску положил начало «особому курсу» Румынии, который превратил страну в enfant terrible Варшавского Договора. А в 1965 году Деж внезапно умирает, и начинается борьба за «кафтан» генсека. Поднаторевшие в политических интригах «бароны», которые схлестнулись у гроба Дежа, боялись друг друга и поэтому сошлись на безобидной, всех устраивавшей кандидатуре Чаушеску. Они рассчитывали, что он станет послушной

марионеткой в их руках и рассматривали его назначение как временное. Но, как известно, временные решения — самые долговечные...

Чаушеску сполна использовал свой шанс. Либеральной политикой он привлек на свою сторону интеллигенцию, а национализмом — широкие массы населения. В 1967 году к нему переходит и пост председателя Государственного Совета. «Звездным часом» Чаушеску стала «пражская весна» 1968 года, когда, открыто осудив вооруженную интервенцию войск Варшавского Договора в Чехословакию, он обрел беспрецедентный авторитет, которым не замедлил воспользоваться для укрепления личной власти. Уже на X съезде РКП в 1969 году две трети Политбюро составляли лица, выдвинутые в высшие эшелоны власти самим Чаушеску, а позднее вступает в действие знаменитый принцип «ротации кадров», который позволял ему единолично формулировать состав руководящих органов страны.

Последнего соперника — И. Г. Маурера — он убрал с политической арены в 1974 году. Предметом спора были степень централизации управления, а также темпы и масштаб индустриализации. Столкнулись рациональная и амбициозная концепции дальнейшего развития страны, и победил, увы, экономический национализм. С державным скипетром в руке Чаушеску в марте того же года принимает присягу президента Румынии, и страна начинает стремительно погружаться в маразм культа личности. Еженедельно президент выступает на многотысячных митингах с речами, на руководителей всех звеньев обрушивается лавина «ценных указаний». Занятно, что тексты выступлений для Чаушеску, который, видимо — из кокетства, не желал носить очки, печатались на специальной машинке с большими буквами, которой, по слухам, пользовался Гитлер.

Вновь были введены продовольственные карточки, отмененные в 1954 году, и разработана «программа научного питания». В административном порядке были запрещены контакты с иностранцами и принят новый закон о переходе границы, подобный аналогичным законодательным актам в хонеккеровской ГДР. Обладателям пишущих машинок было вменено в обязанность регистрировать их в милиции, а администраторам ресторанов — снять с окон шторы. Археологи оповестили мир о находке в селе Скорничешти — там были раскопаны останки первого в Европе homo sapiens — australonthropus olteniensis. После нескольких неудачных попыток распустить Союз писателей был принят четырехлетний план развития литературы, при помощи которого Чаушеску, вероятно, надеялся набросить намордник на главную оппозиционную силу в стране. Интересно, что Чаушеску, страдавший, по-видимому, своеобразным комплексом, претендовал, чтобы его считали интеллектуалом: говорят, будто он даже «прошелся» собственным пером по государственному гимну Румынии, оставив в нем следы своего косноязычия...

Наряду со специально распускаемыми Секуритате слухами о Чаушеску таковые рождались и спонтанно. Так, рассказывали, что в юности Чаушеску был арестован «по уголовке», будто Деж «опускал» его в лагере Тыргу-Жиу, якобы в последние годы стареющий диктатор переливал себе кровь младенцев, содержавшихся в специальных яслях. Подобные «истории», рассчитанные на падких до ужасов обывателей, тем не менее создавали вокруг Чаушеску, который превращался в своего рода литературный персонаж, жутковато-гротескную ауру.

Культ личности носил классический клановый характер. Братья Чаушеску занимали достаточно высокие посты в ключевых секторах румынского общества: Илие возглавлял политическое управление армии в чине генерала и «баловался» историческими исследованиями, Ион был заместителем министра сельского хозяйства, Марин — торгпредом Румынии в Вене, Андруцэ — начальником школы Секуритате, Флоря — одним из ведущих журналистов «Скынтейи».

Любопытно, что жизненный путь Чаушеску не раз пересекался с судьбой его преемника на президентском посту — Иона Илиеску. Так, существует фотография 30-х годов, на которой будущий диктатор запечатлен в обществе заметного деятеля рабочего движения страны, отца нынешнего президента — Александру Илиеску. В 1939 г. коммунистический праздник, на котором, как гласит легенда, Елена Петреску (будущая супруга Чаушеску) была избрана «королевой труда», организовывался в рамках проводившейся РКП кампании за освобождение Ефтимие Илиеску — дяди сегодняшнего главы румынского государства.

Сам же Ион Илиеску появился на политической арене в конце 50-х годов в роли одного из лидеров Союза коммунистической молодежи. Э. Бэр пишет, что он отличался особой беспощадностью в охоте за «отпрысками контрреволюционной буржуазии» среди студенчества и быстрой карьерой в РКП обязан лично Н. Чаушеску. Сам же президент в многочисленных после декабря интервью неоднократно утверждал, что именно чересчур мягкие методы работы с молодежью навлекли на него обвинения в «интеллектуализме» и в конце концов привели к опале. После декабрьской революции оппозиционные газеты не раз публиковали архивные фотографии, изображавшие обоих государственных деятелей вместе, и на них трудно было заметить какие-либо признаки разногласий. Особенно популярно было фото, на котором Чаушеску и Илиеску с увлечением предаются игре в серсо.

Справедливости ради следует сказать, что о разногласиях между Илиеску и Чаушеску можно вести речь лишь после 1971 года, когда после поездки в КНР и КНДР генсек решил развернуть в Румынии «культурную мини-революцию». Тогда Илиеску и был отправлен в «ссылку» — первым секретарем тимишоарского укома РКП, затем — ясского. Следующее понижение — пост председателя Совета по водному хозяйству (Илиеску закончил Московский энергетический институт по специальности инженер-гидростроитель). И наконец — должность директора издательства технической литературы в Бухаресте, на которой он и встретил декабрь 1989-го.

Здесь уместно задержаться на одной специфической особенности румынской разновидности тоталитаризма: оппоненты Чаушеску — Трофин, Никулеску-Мизил, Илиеску — хотя и теряли позиции в партийной иерархии, но никогда не арестовывались, не допрашивались, не подвергались репрессиям.

В глазах Запада в последние годы Чаушеску был подлинным исчадием ада, кровожадным тираном, вампиром, сошедшим с киноленты о Дракуле. Между тем годы его правления характеризуются не столько жестокостью, сколько довольно мелочным коварством. Секуритате достаточно было массированно распустить слух о том, что все телефоны прослушиваются,— и у парализованных страхом местных диссидентов опускались руки. Именно из-за отсутствия сопротивления Чаушеску и пришел в последние годы к выводу, что ему все позволено,— «мамалыга не взрывается». Именно здесь первопричина тех испытаний, которые выпали на долю румынского народа в «золотую эпоху».

Говорят, будто в последние годы Чаушеску впал в паранойю. Но он не столько был безумным, сколько потерял контакт с реальностью, пал жертвой льстивой и отфильтрованной по приказу его жены информации. Уже из транслировавшихся по телевидению судебных процессов над офицерами Секуритате было видно, какое разложение царило даже в репрессивном аппарате. «Режим Чаушеску на последнем этапе был не жестоким, а смешным,— сказал мне видный румынский журналист Ион Кристою.— Он походил на Австро-Венгерскую империю, описанную Гашеком. Централизованное управление было доведено до абсурда, вплоть до того, что Чаушеску сам определял длину иголок, высоту зданий и формат журналов. Комиссия из десяти человек во главе с секретарем ЦК ежедневно до эфира просматривала всю телепрограмму, а потом этот несчастный секретарь не спал всю ночь, так как Елена Чаушеску могла устроить скандал из-за того, что некая певица вышла на сцену в платье с цветочками!»

И все же Чаушеску практически никогда не прибегал к насилию, если мог достигнуть цели иным способом — запугиванием, обманом, коррупцией. По крайней мере, до последних лет он придерживался мудрого правила: не создавать мучеников. С другой стороны — и бывшие соратники чувствовали себя как бы «в резерве», были заложниками собственных надежд на возвращение, а значит — оставались сообщниками диктатора. Такая форма контроля над обществом оказалась гораздо эффективнее, чем жестокость Дежа. «Несомненно, диктатор инстинктивно чувствовал, что эта двусмысленная форма репрессий больше отвечает национальному темпераменту»,— пишет Э. Бэр.

Помню, как в рождественский вечер 1989 года я сидел за праздничным столом у румынских друзей, и вдруг на телеэкране диктор патетически провозг-

ласил: «Антихрист умер на Рождество!» Замелькали видеокадры, снятые во время суда над Чаушеску. Мы стали жадно вглядываться в экран, чтобы хотя бы по его поведению в последние минуты понять: каким был этот человек. И мы увидели полное самообладание, непреклонный характер, презрение к смерти. Чаушеску остается неоднозначной фигурой в румынской истории — одинаково далекой как от славословий «золотой эпохи», так и от последекабрьской брани в его адрес. Он — плоть от плоти своей эпохи и своего народа, и многие могут смотреться в него, как в зеркало. Недаром газета «Ромынул» не так давно опубликовала интервью с одним из военных, приведших приговор в исполнение, под красноречивым заголовком «Казнен человек или цивилизация?».

И сегодня тень Чаушеску витает над Румынией. Всего несколько месяцев прошло после казни — и стали проводиться демонстрации под его портретами. Выходят газеты, ведущие яростную кампанию за реабилитацию его имени. А на безымянной могиле на бухарестском кладбище Генча постоянно лежат живые цветы. Но главное: Румынию по-прежнему разъедает сотканная Чаушеску атмосфера всеобщего недоверия и страха. Поэтому, может быть, пока еще рано говорить о конце «эпохи Чаушеску»?

Конец

Подготовка к последнему публичному выступлению Николае Чаушеску велась в полном согласии с давно освященной традицией. Накануне вечером несколько тысяч «проверенных» рабочих были свезены на автобусах в Бухарест, где и провели ночь в заводских общежитиях и гостиницах под неусыпным надзором партии. Утром 21 декабря, пока толпа прибывала, две партийные шестерки, в чью обязанность входило воодушевлять собравшихся, привычно заклеймили «контрреволюционных подстрекателей», ответственных за все беды Румынии, и вновь подтвердили свою несокрушимую верность Кондукатору. Стоя на балконе здания ЦК, расположенного в центре Бухареста, Чаушеску, окруженный ощетинившейся армией микрофонов, начал свою речь. Она лилась под привычный аккомпанемент «стихийного» волнения масс — верноподданнических лозунгов «застрельщиков» и послушных, заученных аплодисментов, завершавших банальные, набившие за последние годы оскомину фразы о торжестве «научного социализма» и блестящих достижениях Румынии во всех мыслимых областях.

Так продолжалось минут восемь, и вдруг где-то в глубине 100-тысячной толпы началось волнение совсем иного рода: послышались святотатственные свист и шиканье, а затем скандирование «Ти-ми-шо-а-ра» (в Тимишоаре всего несколько дней назад антиправительственные манифестации закончились человеческими жертвами и беспорядками).

Румынское телевидение, благодаря неподвижно установленным в нескольких точках площади камерам, продолжало трансляцию митинга. Взорвалось несколько гранат со слезоточивым газом, и гневный ропот толпы неудержимо нарастал: раздались крики «Чаушеску, народ — это мы!», «Долой убийц!», «Румыния, проснись!» и воодушевленное пение запрещенных довоенных патриотических песен. Все это телекамеры передали в эфир, они же зафиксировали и замешательство на балконе: запинающегося, сбитого с толку Чаушеску и его жену Елену, прошептавшую: «Пообещай им что-нибудь».

Явно обеспокоенный, Чаушеску прервал брань в адрес хулиганов и всенародно возвестил о повышении заработной платы, пенсий и денежных пособий малоимущим семьям, а также об увеличении студенческих стипендий «на 10 лей» (что по рыночному валютному курсу составляло тогда 2—3 американских цента). Шум и свист усилились, и Чаушеску, абсолютно не готовый к подобному поведению толпы, вообще замолчал.

В телекамерах отразился его озадаченный, затравленный взгляд. Телезрители увидели, как плотный человек в военной форме подошел к Чаушеску, взял его под руку и увел с балкона. Непостижимым образом, именно в этот самый момент экраны погасли, когда же, три минуты спустя, они заработали снова, перед зданием ЦК уже бушевал кромешный ад.

Новости о случившемся мгновенно разлетелись по всему Бухаресту, и тысячи людей высыпали на улицы города. «Мы стазу поняли, что это конец,— рассказывала музейная работница Михаэла Филип, смотревшая последнее выступление Чаушеску по телевидению.— Весь город был охвачен волнением». Манифестации продолжались всю ночь, и тогда же снайперы из Секуритате принялись стрелять в людей без разбору. В ту ночь в бухарестские больницы поступило 85 человек с огнестрельными ранениями, убитых было еще больше. Как и в Тимишоаре, молва преувеличила количество жертв в десять, в двадцать, в сотню раз. Невзирая на стрельбу, людские толпы скопились вокруг партийных зданий, на Университетской площади (между старым зданием университета и гостиницей «Интерконтиненталь») и перед румынским телецентром, расположенным в тихом предместье Бухареста. Стрельба продолжалась всю ночь, но определить, кто виновник — убийцы из Секуритате или им вторят также и армейские подразделения,— было совершенно невозможно. Царила полнейшая неразбериха, усугубляемая еще и тем, что некоторые части тайной полиции носили военную форму. Ходили упорные слухи, что Чаушеску бросил в бой десантно-диверсионный отряд, укомплектованный арабами, проходившими под руководством Секуритате «военно-террористическую» подготовку в Румынии. Слух этот так и не подтвердился, но он отражал типично атавистический рефлекс: ну конечно же, снайперы, убивающие без разбору людей на улицах, не могут быть румынами...

Тогда еще мало кто знал, что основная масса и без того колеблющихся румынских вооруженных сил (за исключением лишь некоторых подразделений Секуритате) перешла в ту ночь на сторону демонстрантов. Этому предшествовали следующие события: 16 декабря, после нескольких недель крайней напряженности, в Тимишоаре вспыхнули яростные антиправительственные демонстрации. На следующий день (17 декабря) Чаушеску обвинил министра обороны Василе Милю в неповиновении и пригрозил ему отставкой в случае, если он не отдаст румынским войскам приказ стрелять в народ. Генерал вроде бы подчинился, но, как оказалось, только в присутствии Чаушеску. Он не издал приказа — и к вечеру 21 декабря... был обнаружен мертвым; официальная версия назвала это «самоубийством», неофициальная — расправой, санкционированной Чаушеску. Даже спустя месяцы подлинные обстоятельства его смерти оставались невыясненными. Несомненно было только одно — смерть Мили заставила высший командный состав всех трех родов войск осознать (если они еще не сделали этого), что отныне Чаушеску — битая карта. Глава Секуритате, генерал Юлиан Влад, по-видимому, уже пришел к подобному заключению. Утром 22 декабря, т. е. на следующий день после злополучного выступления Чаушеску, солдат, взобравшись на танк, стоявший на Университетской площади, демонстративно отстегнул магазин от автомата и помахал ими толпе. С этого момента по всей Румынии пронесся новый клич: «Армия — с нами».

В то утро людская толпа все еще заполняла площадь у здания ЦК, и, что уже совершенно непостижимо, муж и жена Чаушеску все еще находились внутри здания. Они провели здесь ночь, обсуждая ситуацию со своим штабом. Дворня оставалась здесь же. Как рассказывал позднее один из членов свиты, каждый следил за каждым; если бы кто-нибудь ушел, его бы сразу записали в предатели. Ни генерал Влад, ни другие ренегаты ни малейшим намеком не выдали, что уже списали Чаушеску со счетов. Давно поднаторевшему в искусстве подхалимажа Владу не стоило большого труда скрывать свои подлинные чувства. По правде говоря, «засве-

титься» на том, что он считает положение Чаушеску безнадежным, действительно было слишком рискованно, поскольку многие из приближенных Кондукатора все еще не осознавали масштабов происходящего. Во всяком случае, им были хорошо известны маниакальная забота вождя о личной безопасности и колоссальные меры предосторожности, принятые для того, чтобы ничто не могло застать его врасплох. Для защиты Чаушеску были созданы подразделение войск специального назначения («команда Альфа») и отборные части из сверхсрочников. Как вскоре стало известно мировой общественности, разветвленная сеть подземных туннелей (некоторые из них представляли собой модифицированную канализационную систему) соединяла резиденцию Чаушеску с партийными канцеляриями, оснащенными пультами связи, спальнями и бункерами. Супруги вполне могли воспользоваться этой подземной системой кроличьих ходов и благополучно покинуть Бухарест. Почему они так долго оставались в здании ЦК, не предпринимая попыток к бегству, и почему они в итоге предпочли бежать вертолетом и практически без охраны, хотя 80 отборных солдат, спрятанных в подвалах их постоянной бухарестской резиденции — Весеннего дворца — были приведены в состояние боевой готовности, остается загадкой, объяснить которую могли бы только сами Николае и Елена.

22 декабря, в 11 часов 28 минут, над Бухарестом закружили первые вертолеты, и один из них завис над зданием ЦК, опустившись затем на крышу. Вертолеты, решили внизу демонстранты, принадлежат Секуритате и сейчас откроют огонь. В толпе возникла паника, некоторые из митингующих стали убегать по боковым улицам, зато другие, воодушевленные пассивностью армии, которая в своем большинстве явно симпатизировала восставшим, бросились на штурм здания ЦК.

Севший на крышу вертолет не принадлежал Секуритате. Командир экипажа, личный пилот Чаушеску с 1980 года подполковник Василе Малуцан, 15 минут назад получил приказ доставить супругов в безопасное место. «Мне было приказано опуститься на крышу ЦК и ждать,— рассказывал потом Малуцан.— Первоначально предполагалось послать четыре вертолета, три из которых были зарезервированы для вывоза правительства. Пятый уже был в воздухе и разбрасывал над толпой листовки, призывающие не поддаваться на «империалистические провокации». Приказ, данный трем вертолетам, был затем отменен, и я тоже подумывал о том, чтобы как-нибудь тихонько улететь с крыши ЦК, не беря никого на борт. Но я заметил на близлежащих крышах снайперов из Секуритате и боялся, что они меня подстрелят, если увидят, что я улетаю пустым.

Я запросил базу: «Мне оставаться здесь?» Там ответили: «Да. Оставайся и жди». На крыше хватало места только двум вертолетам. Я спросил дежурящего на крыше охранника из Секуритате: «Почему они не идут?» Он ответил, что демонстранты ворвались в здание (что было правдой) и ведут переговоры с президентом (что было ложью)». Вероятно, ложь была непреднамеренной, скорее всего, это было предположение самого охранника или сведения, переданные ему по рации. Малуцан прекрасно понимал, что делается внизу, на площади, ибо находился на радиосвязи с военно-воздушной базой, откуда к нему поступала краткая информация о событиях, о которых большинство румын узнавало непосредственно по ТВ (румынское телевидение к этому времени опять работало и с завидным бесстрашием комментировало происходящее).

Николае и Елена совершили роковую ошибку, решив бежать не через подземный туннель, а с помощью вертолета. Очевидно, сам факт проникновения демонстрантов в цековское здание невольно подтолкнул их идти вверх, а не вниз, хотя специальный лифт мог в любой момент доставить их к подземному ходу. Сотни миллионов долларов были припрятаны в швейцарских банках, и по меньшей мере три страны — Иран, Китай и Албания — с радостью предоставили бы им убежище. Но из-за замешательства и паники, охвативших их утром 22 декабря, когда толпа ринулась на штурм

здания (большинство мятежников даже не подозревало, что оба Чаушеску все еще были там), все хитроумные планы пошли прахом. Надо сказать, личный пилот — Малуцан — тоже приложил к этому руку.

По пути на крышу случилось дурное предзнаменование: лифт, достигнув последнего этажа, не открывался; в конце концов одному из охранников пришлось силой вышибать двери. Задыхающиеся, измученные и совершенно растерянные, бросились Николае и Елена на крышу в сопровождении двух телохранителей и двух самых верных приспешников: Мани Мэнеску (заместителя премьер-министра и одного из зятьев Чаушеску) и Эмиля Бобу (секретаря ЦК). Почти по пятам за ними (скорее почувствовал, нежели увидел Малуцан) уже шли первые демонстранты, ворвавшиеся в здание. «Вас слишком много»,— сказал Малуцан, но охваченные паникой люди не обратили на его слова никакого внимания. В этой ситуации доказывать, что вертолет с шестью пассажирами на борту и с полным заправочным баком сильно перегружен, было бессмысленно, и Малуцан взлетел, едва-едва оторвавшись от крыши. «Если бы мы были на земле,— сказал он,— не думаю, что мы смогли бы подняться». Как бы то ни было, вертолет нырнул, но удержался в воздухе и, медленно набрав нужную высоту, уходил от центра Бухареста. Позднее, прослушав «черный ящик», Малуцан понял, что он провел на крыше всего 24 минуты, «хотя казалось, что гораздо дольше».

Поднявшись в воздух, пилот повернулся к пассажирам и сквозь рев мотора прокричал: «Куда?» «Они не знали»,— вспоминал он. Николае и Елена устроили «бурное обсуждение». Затем Чаушеску прокричал: «В Снагов» (в этом городе, расположенном в 40 км к северо-востоку от Бухареста, находился один из многочисленных дворцов Чаушеску). Он также добавил: «Постарайся связаться со штаб-квартирой военного округа «Олтения». Малуцан попытался сделать это, но, как он объяснил, «связь с округом осуществлялась через центр связи Секуритате, а там никто не отвечал. Позже я узнал, что они все разбежались».

Через несколько минут вертолет (французского производства) приземлился на лужайке в Снагове. Все шесть пассажиров вышли, и Чаушеску приказал пилоту следовать за ним, добавив: «Не смей ни с кем разговаривать, кроме меня». Остальные два члена экипажа остались в кабине вертолета.

Оказавшись во дворце, Чаушеску сразу же бросился звонить по «вертушке», напрямую соединявшей с ключевыми военными и правительственными объектами, а также с главными подразделениями тайной полиции. Но связь не работала, и ему пришлось воспользоваться обычным городским телефоном. «Я хочу поговорить с командующим военно-воздушными силами,— сказал Малуцану Чаушеску.— Не говори, где мы. Я хочу, чтобы он с нами встретился где-нибудь, взяв с собой два вертолета с вооруженной охраной на борту». Малуцан выяснил, что генерал авиации дома, и позвонил ему туда. Вначале генерал был готов надеть форму и немедленно явиться на базу, но когда в разговоре обнаружились некоторые подробности отлета Чаушеску, он изменил свое решение. «Сейчас не совсем подходящее время посылать охрану,— сказал он.— Передайте командующему вашей части, чтобы он сам занялся этим делом». И генерал повесил трубку. Было ясно, что авиация окончательно списала Чаушеску со счетов, но на данном этапе не хотела дальнейшего вмешательства в конфликт и просто переложила ответственность на чужие плечи.

Малуцан позвонил командиру своей базы. «Все вертолеты на земле и взлетать сегодня не будут,— ответил ему командир.— Вы должны рассчитывать только на свои силы». (Следует сказать, что хотя Малуцан в телефонных разговорах честно выполнял просьбу Чаушеску не называть их местонахождения, на самом деле в этом не было особой нужды: когда вертолет еще был в воздухе, Малуцан сообщил на базу, что он

направляется в Снагов.) Один из сопровождавших Чаушеску охранников тоже вступил в игру. «Попроси их прислать второй вертолет»,— сказал он.

К этому моменту вновь заработал президентский телефон, и Чаушеску принялся названивать во все концы. Малуцан слышал, как он разговаривал то с одним областным секретарем, то с другим, и так по всем городам и весям Румынии. «Он без конца задавал одни и те же вопросы,— вспоминал пилот.— Какова обстановка в районе? Все ли спокойно? Как ведут себя люди? Были ли демонстрации?» Малуцан также слышал, как Чаушеску разговаривал с чиновником, посланным на подавление волнений в Тимишоаре; похоже, что Кондукатор намеревался произнести перед ним ту самую речь, которую ему накануне не удалось завершить с балкона ЦК. «Мы обязаны сохранить нашу территориальную целостность,— беспрестанно повторял он.— У нас достаточно партийных активистов и преданных рабочих, готовых служить Делу еще сотню лет». Внезапно он повернулся к Малуцану и спросил: «Ты служишь нашему общему Делу?» «Я не знал, что ответить,— рассказывал пилот.— Я растерялся и ничего не сказал». В конце концов он сам задал вопрос, правда, более практического свойства: «Что вы намерены делать?» Как он признался позднее: «Я не хотел, чтобы этот полет стал для меня последним».

По правде говоря, Малуцан уже придумал, как улизнуть от Чаушеску и его команды,— он настаивал на необходимости сменить вертолет. Из-за чудовищной перегрузки машины во время полета с крыши ЦК, уверял он Николае, он не может больше гарантировать безопасность президента. Почему бы не отправить вертолет на базу, с тем чтобы он, Малуцан, потом вернулся с более надежной машиной? Разумеется, он вовсе и не думал возвращаться.

«Я почти убедил Николае,— рассказывал Малуцан,— но Елена была более решительной и здравомыслящей. «Если ты улетишь и оставишь нас,— произнесла она,— мы погибли. С кем же мы останемся?» Малуцан понял, что его план провалился, но он был полон решимости не выпускать инициативу из рук. «Хорошо,— сказал он.— Мы полетим, но всех я не возьму. Куда вы направляетесь?» Чаушеску сказал, что они хотят добраться до военного аэродрома Ботени, расположенного в 30 км северо-западнее Бухареста. «Я подготовлю экипаж»,— сказал Малуцан и пошел к вертолету.

«Я хотел подбодрить ребят: «Я сделаю все возможное, чтобы нам выбраться отсюда целыми и невредимыми». Я приказал включить двигатели. «Если они хоть чуть-чуть замешкаются,— сказал я своей команде,— мы улетим без них, и пусть охранники стреляют, сколько захотят». Но как только те услышали шум заводящегося мотора, они мгновенно высыпали из дворца и бросились к вертолету. Здесь было решено оставить Бобу и Мэнеску. Они попрощались с Чаушеску в вертолете и спустились на землю; Мэнеску, по словам Малуцана, целовал Николае руки.

«Я не собирался лететь в Ботени,— рассказывал Малуцан.— Вертолет все равно был слишком перегружен; я рассчитывал вернуться на свою военно-воздушную базу. Было около часа дня. Радист базы посоветовал мне включить радио, и по радио я услышал, что румынское ТВ захвачено демонстрантами, что чета Чаушеску бежала и что армия братается с толпой. Сейчас, как никогда прежде, я хотел избавиться от Чаушеску». Он заметил, что Николае яростно спорит с Еленой. Под рев мотора он вновь спросил Малуцана: «Ты служишь нашему Делу?», и вновь Малуцан ответил вопросом на вопрос: «Куда вас доставить? Вы действительно хотите лететь в Ботени?»

Чаушеску опять передумал. После разговора с районными секретарями он, наконец, понял, что его единственный шанс на спасение — это попасть в тот регион, где еще не вспыхнул мятеж. Он приказал Малуцану: «Направляйся в Питешти» (город, находящийся в 115 км северо-западнее Бухареста). «Я соединил его с Питешти,— вспоминал пилот,— и из его

разговора стало ясно, что там все тихо». «Никому не сообщай, куда мы летим»,— прокричал Николае сквозь треск вертолета.

К этому времени Малуцан решил бесповоротно избавиться от Чаушеску даже под угрозой известного риска. Он поднялся на большую высоту («чтобы нас засекли радары») и сделал резкий вираж, намереваясь привезти всю компанию на свою военную базу. Но один из телохранителей заметил маневр и подошел к нему сзади со словами: «Василе, ты что тут затеваешь?» Я ответил: «Давай лучше вернемся домой, я знаю дорогу домой». Но охранник сказал: «Ты должен выполнять приказы президента». Я вернулся на прежний курс, лихорадочно соображая, что делать, и, наконец, пошел ва-банк. Я прокричал Чаушеску: «Нас засекли радары, нас могут сбить в любую минуту». Он ужасно испугался и сказал: «Тогда нужно спускаться». Мы были уже вблизи военного аэродрома. Я спросил: «Вы хотите лететь в Ботени?» Он ответил: «Нет. Приземляйся здесь, около дороги». Мы летели почти над главной автострадой, город Титу был всего в четырех километрах отсюда. Я посадил вертолет в поле, очень близко от края дороги. Один из охранников с автоматом под кителем вышел на трассу, чтобы остановить машину. Чаушеску подозвал меня. Я вышел из рубки. Он опять спросил меня: «Ты служишь нашему Делу?», а я опять ответил: «Какому делу? Чьему делу?» Он протянул руку, и я пожал ее. Мы распрощались. Елена не проронила ни слова; я видел, что она испугана, но в то же время полна ярости. Я знал, что она ненавидит и презирает меня. Ее телохранитель повернулся ко мне и тихо сказал: «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе еще придется ответить за свои действия?» «Каждому придется ответить»,— сказал я. Он запросто мог убить меня по приказанию Чаушеску. Мы поспешили убраться подобру-поздорову, и, взлетая, я заметил, что охранник останавливает легковушку».

По словам Малуцана, они долетели до базы менее чем за 15 минут. «Все уже знали, что произошло, так как их приемники были настроены на мою частоту. Одни радовались, другие плакали. Только сейчас я почувствовал, что нервы у меня на пределе; я был бледен, едва держался на ногах, я был фактически на грани обморока. Меня отвели в лазарет, где военврач измерил мне давление. Оно было очень высоким: 170/105, но в лазарете я пробыл недолго». Как только летчик покинул больницу, к нему подошел один из сослуживцев и сказал: «Все это, товарищ, плохо для нас кончится». Но он ошибся; через месяц Малуцана повысили в чине — он стал полковником. Его последнее задание на службе у Чаушеску продлилось менее трех часов.

Последующие затем трагикомические события вполне могли бы быть плодом воображения драматурга Эжена Ионеско (одного из создателей театра абсурда и румына по происхождению). Как только Малуцан улизнул от Чаушеску, он тут же сообщил командиру своей базы координаты места, где он их оставил, и номер красной машины, которую, как он полагал, остановил охранник. Потом, правда, выяснилось, что он ошибся: первая красная машина не остановилась. Один из двух оставшихся при Чаушеску телохранителей, Мариан Константин Русу, остановил следующую красную «дачию» (самую распространенную в Румынии модель автомобиля, выпускаемую по лицензии «Рено» и единственно доступную простому румынскому смертному). Ее перепуганный владелец, доктор Николае Дека, посадил супругов Чаушеску и второго охранника, Флориана Раца. «Я повезу вас, куда хотите»,— заверил их доктор, боясь, что в противном случае его просто пристрелят. Русу остановил следующий автомобиль и сел в него. Очевидно, Чаушеску не был осведомлен о планах Русу, потому что в машине, как вспоминал доктор, он сказал Елене: «Вот и Русу нас покинул». Путешествие длилось недолго. Владелец красной «дачии» заявил, что у него кончился бензин, и они остановились. Русу тоже вышел из машины; ее водитель с нескрываемой радостью поспешил удалиться.

Реквизированные машины остановились в поселке Вэкэрешти перед домом заводского рабочего Николае Петришора, в тот момент мывшего свою черную машину; он оказался в этот час дома исключительно по причине своего 35-летия, ему разрешили уйти с работы раньше и провести день с семьей. Кто-то из компании Чаушеску — возможно, сам Чаушеску — не преминул заметить, что машина Петришора несравненно лучше докторской, и предложил продолжить путь в ней.

В это время Флориан Рац уже начал перекачивать бензин из черной машины в красную, пользуясь резиновым шлангом и давно испытанным методом отсоса. Пока он занимался этим, дверь красной машины открылась, и Петришор увидел супругов Чаушеску. Как он потом рассказывал в интервью газете «Ромыния либерэ», он был настолько потрясен этим зрелищем, что закричал находившейся в доме жене: «Они здесь! Это они!» Рац помахал перед его носом автоматом и приказал заткнуться.

Тем, кто не знаком с особенностями румынской жизни, трудно понять всю щекотливость положения Петришора. Впоследствии он говорил корреспонденту французской газеты «Либерасьон», что он буквально окаменел и что будто бы, пока они ехали, Елена держала его под прицелом автомата. Но более поздние сообщения, в том числе и факты, собранные журналистами из «Ромыния либерэ», воссоздают несколько иную картину. «Я адвентист седьмого дня,— сказал он Чаушеску.— Я спасу вас». Желал ли он разыграть блистательную сцену обращения неверных или просто, страшась расправы, хотел изобразить верноподданнические чувства, до сих пор остается невыясненным, сам же Петришор не пожелал углубляться в эту тему. Как бы то ни было, супруги Чаушеску и единственный оставшийся телохранитель (поскольку Русу все-таки воспользовался остановкой и скрылся) сели в машину Петришора и двинулись в путь. Кучка соседей с неодобрительным удивлением наблюдала за их действиями. Кто-то крикнул: «Николае, не делай этого! Они убьют тебя!» Другие позвали детей, чтобы те вдоволь нагляделись на «тиранов». «Я попрощался с женой,— вспоминал Петришор,— и подумал, что, наверно, я ее никогда больше не увижу».

В машине Чаушеску стал расспрашивать Петришора о его работе, жене и детях. «Кажется, они были рады, что я адвентист седьмого дня»,— рассказывал он. Затем супруги принялись шептаться друг с другом. Чаушеску, заметив, что Русу все-таки бросил их, сказал: «Мы потеряли Мариана, мы потеряли Мариана». Потом он приказал Петришору включить радио. Румынское радио было уже в руках повстанцев, и Чаушеску впервые узнал, что ветеран партии Ион Илиеску, долгие годы живший в полуопале, встал в ряды мятежников. Он несколько секунд послушал также бесстрастный голос поэта-диссидента Мирчи Динеску и рявкнул: «Выключи эту дрянь!»

Петришор пообещал отвезти их к себе на работу, в распределительный центр, расположенный вблизи поселка Вэкэрешти, но у супругов были другие планы. Елена намеревалась ехать в Корбу, где находился загородный дом их верного «оруженосца» Иона Динкэ. «Нет, там слишком холодно, мы замерзнем»,— возразил Чаушеску. Он предложил ехать в Тырговиште, в окрестностях которого стоял «образцовый» завод специальных сталей и сплавов — типичная потемкинская деревня для демонстрации высоким иностранным гостям. Рабочие завода принадлежали к привилегированной, благонадежной касте, Чаушеску лично посещал их несколько раз с правительственными делегациями; разумеется, они будут там желанными гостями.

Однако супруги получили от ворот поворот. Завод, как и все румынские предприятия в тот день, бастовал, и стоявшие у закрытых ворот рабочие забросали машину камнями. Петришор развернулся и поспешил уехать. «Эти люди обязаны мне всем,— сказал Чаушеску Елене,— и вот полюбуйся-ка теперь на них».

Затем Петришор попытался доставить их к местному партийному комитету, который, как полагал Чаушеску на основании телефонного опроса из Снагова, пока еще был ему верен. Но судя по волнению, царившему на подступах к партийному кварталу, его информация явно устарела. После бесцельных блужданий по городу Петришор, наконец, привез их к Центру растениеводства, еще одному хорошо известному «образцовому» предприятию города, и, высадив их там, немедленно скрылся из глаз.

Супругов впустили в Центр, директору которого на короткое время суждено было стать героем местного значения. Как он заявил впоследствии средствам массовой информации, он обругал и облил презрением Николае и Елену, а потом хитростью заставил их сдаться милиции.

Истинный ход событий был таков: в два часа дня директор вызвал милицию, с тем чтобы, якобы для обеспечения их безопасности, перевести их в районное отделение милиции. Милицейская машина с двумя милиционерами в форме прибыла в 14.30, и в течение последующих четырех часов супруги Чаушеску тщетно пытались добраться до отделения, где, по их предположениям, еще оставались преданные им люди из Секуритате.

Возбужденные толпы людей заполняли улицы города, и беглецам приходилось прятаться, бесконечно петлять по боковым улицам, часами стоять, припарковавшись возле маленького городского сквера. Удивительным образом никто не заметил их тогда в милицейской машине. Не менее удивительно и то, что начальник местной милиции, получив информацию из Центра растениеводства, не поспешил поделиться ею с вышестоящими инстанциями. Военные казармы находились всего в 500-х ярдах от милиции, но там никто даже не подозревал о присутствии Чаушеску в милицейской машине. Причина подобного поведения заключалась, конечно, в том, что начальник милиции, как и другие работники правоохранительных органов, не был уверен в окончательном исходе восстания и потому раздумывал, не окажется ли, чего доброго, его помощь Чаушеску верным путем наверх? [1]

С каждой минутой, однако, и милиция, и Секуритате все отчетливее осознавали, что переход армии на сторону восставших грозит им серьезной опасностью, и начали целыми стаями покидать здание милиции, так что к середине дня оно полностью обезлюдело. Транспорт, оружие и боеприпасы, принадлежавшие Секуритате,— все было брошено.

Военный комендант Тырговиште, возглавлявший полк ПВО, прознав о массовом дезертирстве, немедленно направил отряд из 50 человек занять опустевшее здание. Поэтому, когда в 6 часов вечера Николае и Елена добрались наконец до места назначения, их тут же взяли под стражу, посадили в милицейский «воронок» и кружным путем доставили в казармы. Вместе с ними в машине ехали три офицера, заслонявших их от людских взоров, поскольку разгневанные толпы все еще бродили по улицам. «Воронок» ехал с выключенными фарами, а улицы города не освещались.

Путешествие заняло менее пяти минут. По приезде обоих Чаушеску сразу провели в кабинет майора Дабижи, наспех перегороженный столами на две маленькие комнатки, куда поставили армейские койки, застеленные казарменным бельем. В одном углу стояла большая гудящая кафельная печь, в другом — умывальник с холодной водой. Весь первый этаж этого крыла здания был тут же закрыт для доступа всякому, кроме небольшого числа доверенных лиц. Одному из них, майору Иону Секу, пришлось безотлучно находиться при пленниках в течение трех с половиной дней.

«По приезде,— рассказывал Секу,— Чаушеску вел себя так, как будто он все еще верховный главнокомандующий. Его первые слова были:

[1] Его карьеристские устремления закончились для него многомесячным домашним арестом. *(Прим. автора.)*

«Итак, доложите мне, какова обстановка?» Я ответил: «Мы должны оберегать вас от толпы, но подчиняемся мы только бухарестскому начальству». Это привело его в ярость, и он разразился длинной тирадой о предателях, устроивших подлый заговор. Он долго еще не мог примириться с тем, что он пленник».

В течение трех последующих дней Чаушеску попеременно то впадал в состояние глубокой депрессии и часами молчал, то приходил в крайнее возбуждение, гневно обличая предательство. «Моя судьба решилась на Мальте»,— вновь и вновь повторял он, имея в виду недавнюю встречу Горбачева и Буша.

За исключением охранников Чаушеску, один из которых постоянно спал с ними в одной комнате, никто из солдат не знал, кого именно содержат под стражей, хотя многие подозревали, что там находятся какие-то важные шишки прежнего режима, возможно даже сам Эмиль Бобу.

Майор Дабижа впервые увидел пленников, когда принес им в комнату поднос с армейской едой — колбасой и брынзой. «Я не могу есть такое»,— заявил Николае, тыча пальцем в кусок черного хлеба. «Я объяснил им, что мы питаемся этим годами, что это входит в постоянный армейский рацион»,— рассказывал Дабижа, но Чаушеску резко оборвал его: «Не болтай ерунду. Этот край славится на всю Румынию лучшим хлебом». «Эта гадость несъедобна,— сказала Елена, показывая на брынзу и колбасу,— вы что, не знаете, что главнокомандующий не ест соленого?»

Все три дня прошли в атмосфере нескончаемого брюзжания с ее стороны. «Она все время жаловалась,— вспоминал Дабижа.— Несмотря на испуг, она вся кипела от бешенства, и ее неугасимая ярость была ужасна. Она отказывалась идти в уборную, и нам пришлось принести ей ночной горшок». Когда бы Дабижа ни пытался обратиться к Чаушеску, она неизменно одергивала его: «Как ты смеешь так разговаривать с главнокомандующим?» Она требовала чаю, и когда его приносили, спрашивала: «Он с сахаром? У моего мужа диабет. Почему вы даете ему сладкий чай?» Она жаловалась не только на еду, но и на комнату, кровать, на отсутствие чистого белья. Она то осыпала нас проклятиями, то пыталась к нам подольститься. Она требовала инсулина для Чаушеску, но когда 24 декабря лекарство было доставлено, она не разрешала мужу принимать его. Они просили яблок, которыми в основном и питались. «Как вы можете так жить? — все время повторяла она.— У нас дома еда нормальная».

В первую ночь заключения, рассказывал Секу, Николае и Елена спали в одной постели, прижавшись друг к другу. «Было как-то неловко находиться в одной комнате с пожилыми людьми, лежавшими в обнимку»,— признался он. Он вспоминал, как они шептались друг с другом и иногда, несмотря на объятия, тихонько переругивались. До него донеслись слова Николае: «Если бы ты сказала мне, что происходит, я бы избавился от этого Илиеску. Я мог покончить с ним еще летом, но ты мне не позволила. Ты знала о заговоре и не позволила мне их трогать». «Это ты во всем виноват,— отвечала Елена,— прежде всего, нам не следовало сюда приезжать. Это была твоя идея». Секу также разобрал фразу Николае: «Как мог этот дубина Мирча Динеску [знаменитый румынский поэт-диссидент, чью речь они слышали по радио] устроить революцию? Вот крепкий орешек оказался!»

Возможно, из-за обострения диабета, предположил Секу, Чаушеску частенько посещал (причем всегда под конвоем) зловонный туалет в конце коридора. «Вид у него, действительно, был очень больной, и мы предложили ему врачебный осмотр. Но он раздраженно ответил, что, «благодарим покорно», но у него есть личный врач в Бухаресте и — «он единственный, кому я доверяю». Они ничего не ели, кроме хлеба и яблок, и пили только чай без сахара. Пищу из офицерской столовой

(суп и тушенку) им приносили регулярно, но еда оставалась нетронутой, как будто они боялись отравы.

Чаушеску потребовал встречи с командиром части. «Как вы смеете держать меня под арестом? — спросил он его.— Я ваш главнокомандующий». Он попросил денег, чтобы «купить в городе съедобную пищу». «Не беспокойтесь, я возмещу вам расходы». Но командир отказал.

До сидящих в комнате пленников доносились крики демонстрантов, требующих их крови. Чаушеску сказал: «Откройте окно, я должен поговорить с народом». По словам майора Дабижи, он все еще пребывал в уверенности, что обладает достаточным влиянием, дабы усмирить толпу.

Учитывая присутствие стрелковых подразделений Секуритате около казарм, расположенных в центре города и потому плохо защищенных, командир части уже обсудил с несколькими офицерами вопрос о целесообразности отправки супругов в Бухарест. Однако к 24 декабря стрельба стала затихать, и впоследствии армейская разведка установила, что часть шума, производимого Секуритате, представляла собой магнитофонную запись автоматной стрельбы, целенаправленно транслируемой в сторону казарм, чтобы ввести армию в заблуждение. В общей сложности с 22 по 25 декабря снайперами Секуритате было убито 5 человек.

Но утром 23 декабря, когда вокруг казарм шла довольно активная стрельба, было решено переодеть высокопоставленных пленников в военную форму, с тем чтобы затруднить опознание и дезориентировать Секуритате в случае захвата ею казарм. Кондукатору приказали снять темное пальто и меховую шапку и надеть армейскую униформу. Он подчинился, но Елена отказалась; тогда охранники силой стащили с нее пальто с меховым воротником, набросили на нее шинель и нахлобучили на голову фуражку.

Они просидели в своей импровизированной камере еще полтора дня, а в 11 часов вечера 24 декабря их, все еще одетых в военную форму, втолкнули в бронемашину и приказали лечь на пол лицом вниз. В этом положении они провели 5 часов. В 4 часа утра, по окончании боевой тревоги, им разрешили вернуться в комнату. На рассвете им принесли еду, и при виде ее Чаушеску стукнул по столу кулаком. «Как вы смеете приносить мне такую пищу!» — закричал он.

Лишь однажды Чаушеску сделал попытку вырваться из заключения с помощью подкупа. «Как-то ночью,— рассказал майор Секу,— он заметил, что я задремываю. Елена, не смыкая глаз, внимательно наблюдала за нами со своей койки. Он спросил: «Ты устал? У тебя есть все причины устать». Затем он спросил меня о семье. Я сказал ему, что женат, что у меня один ребенок и что я живу в маленькой квартире. «Нехорошо,— произнес Чаушеску,— ты заслуживаешь большего. Послушай, тебе не придется рисковать жизнью задаром, я подарю тебе дом на бульваре Киселёв [фешенебельный район в Бухаресте]. Там будет гараж, семь-восемь комнат, если захочешь, еще больше. А автомобилю в твоем гараже не обязательно быть простой «дачией». Я ничего не ответил, и Чаушеску повторил заход. «Если ты поможешь мне бежать отсюда и добраться до телецентра, откуда я смогу обратиться к народу, я обещаю тебе один, нет, два миллиона долларов. А на первое время, пока мне закрыт доступ к этим деньгам, у меня здесь недалеко — в Войнешти — есть один тайник, откуда я могу взять сотни тысяч лей».

«Я ошарашенно смотрел на него, раскрыв от удивления рот,— говорил Секу,— думая про себя, неужели это и вправду тот самый Чаушеску, которого нам преподносили как сверхчеловека?» Позднее делались разного рода попытки напасть на след этих денег, но каждый раз безрезультатно; очевидно, в этой деревушке у Чаушеску были спрятаны какие-то секретные фонды.

25 декабря в 9.45 утра супругов опять загнали в бронемашину, где они провели около часа. В это время в город стали прибывать первые вер-

толеты из Бухареста с адвокатами, прокурорами и наблюдателями на борту, в том числе с членом только что созданного Фронта национального спасения Джелу Войканом Войкулеску и генералом Виктором Стэнкулеску. Это были непосредственные организаторы судебного процесса. Стэнкулеску также заранее приготовился к исполнению приговора, ибо его сопровождали четверо вооруженных солдат, выбранных генералом на роль палачей. По свидетельству Дабижи, Стэнкулеску еще до начала суда выбрал и точное место казни — у стены, ограждающей часть казарменного двора.

К этому моменту спорадическая стрельба прекратилась, но напряжение не спадало. Ведя в течение трех дней телефонные переговоры со свежеиспеченным Фронтом национального спасения, начальник тырговиштских казарм намеренно скрывал истинное местонахождение четы Чаушеску, докладывая министру обороны, что они содержатся под охраной «где-то в близлежащем лесу». Делал он это по двум причинам: во-первых, он боялся, что если его люди узнают о личности пленников, то они могут взять дело в свои руки и расстрелять их на месте, и, во-вторых, он отлично понимал, что еще задолго до революции Секуритате в рабочем порядке подключила его телефон на прослушивание. Поэтому, когда генерал Стэнкулеску приехал, его первые слова были: «Ведите меня в лес». «Они в бронемашине,— ответил командир части.— Что нам делать, посадить их на вертолет и отправить в Бухарест?» «Нет,— сказал Стэнкулеску.— Суд состоится прямо здесь, приготовьте все необходимое». Учебный кабинет, расположенный по соседству с комнатой, где помещались узники, спешно превратился в маленький судебный зал. По словам Секу, это было единственное безопасное место, поскольку все более просторные комнаты на этом этаже выходили окнами на улицу.

И только теперь, когда супругов вывели из бронированного убежища (что было заснято на пленку армейским полковником, прилетевшим вместе с генералом Стэнкулеску), солдаты наконец узнали, кто были высокопоставленные пленники. Их сразу направили в импровизированный зал суда. Два защитника, присланные от румынской коллегии адвокатов, попытались добиться от супругов согласия на признание их невменяемыми, что позволило бы просить суд об уменьшении ответственности. Разговор был недолгим. Чаушеску с яростью обрушился на адвокатов. «Я не признаю́ вас, я не признаю́ этот суд,— заявил Николае.— Меня могут судить только Великое Национальное Собрание и представители рабочего класса». Он повторял эти слова на протяжении всего судебного процесса. Перед началом суда он согласился на короткий медицинский осмотр, проведенный тем же военным врачом, который три дня назад осматривал его пилота. Давление у Чаушеску оказалось столь же высоким — 170/107. Елена вообще отказалась от осмотра.

Суд длился всего 55 минут. Если его можно было назвать публичным, то только в том смысле, что в маленькой комнате присутствовала горстка «наблюдателей» (включая генерала Стэнкулеску и Войкулеску, впоследствии заместителя премьер-министра), которая вместе со своими адъютантами расположилась справа от судебных заседателей. Николае и Елена оказались прямо напротив председателя суда и его советников. Наблюдатели сидели от них слева, а обвинитель, секретарь суда и защитники — справа. За исключением двух адвокатов, все члены суда были военными, поскольку по сценарию полагался военный трибунал. Однако прокурор был в джинсах и свитере с глухим воротом и испытывал явные затруднения, произнося длинные правовые термины в заранее подготовленном письменном изложении дела. На Николае снова было его темное пальто, в котором он бежал из столицы, руки мяли меховую шапку. Елена была одета в пальто с меховым отворотом, вместе с дамской сумочкой она держала плоский, перевязанный веревкой сверток — инсулин, присланный министром обороны в ответ на ее просьбу. Видеозапись суда

запечатлела также усатого охранника в форме, стоявшего в течение всего процесса с автоматом наготове; на пленке видно, как по его лицу текут слезы.

Даже по канонам сталинских судилищ 30-х годов вся процедура выглядела непристойным фарсом. Теперь-то уже понятно, что цель суда заключалась не в том, чтобы привлечь чету Чаушеску к судебной ответственности, но чтобы воспользоваться легальным предлогом для скорейшего ее устранения. Снайперы Секуритате лишь тогда прекратят сопротивление, полагали лидеры Фронта национального спасения, когда удостоверятся, что супругов Чаушеску больше нет в живых. Поэтому надо было спешить, к тому же члены суда, тревожась за свою безопасность, отчаянно жаждали покинуть Тырговиште как можно быстрее, ведь чем позже они уедут, тем рискованнее будет их обратный путь через бурлящие улицы Бухареста к спасительному зданию министерства обороны. Их полет в Тырговиште вместо 20 минут занял 2 часа, так как пилоты до того боялись внезапной атаки верных Чаушеску подразделений Секуритате, что выбрали самый долгий, кружной маршрут; вследствие этого на обратном пути им еще предстояло сделать остановку для дозаправки. Их страхи были отнюдь не беспочвенными: вечером того же дня старший адвокат Нику Теодореску, подъезжая на бронемашине к министерству, был ранен рикошетом в спину.

Председатель суда (армейский офицер, два месяца спустя покончивший с собой якобы в состоянии «глубокой депрессии») выступал скорее как обвинитель, нежели как беспристрастный арбитр. Подобным же образом вел себя и старший адвокат Теодореску, единственный из всех, кто гордился своей ролью в этом спектакле и явно наслаждался происходящим. Щеголяя темным, элегантным, в частую полоску костюмом, Теодореску со снисходительно-предупредительным видом подходил к скамье подсудимых, настоятельно предлагая согласиться на сумасшествие.

Некоторые из предъявленных Чаушеску обвинений, как то: «геноцид» в Тимишоаре и пресловутое использование «иностранных наемников» для расправы с демонстрантами, были в ближайшем будущем опровергнуты как совершенно необоснованные. «Это возмутительно, это провокация»,— вскипела Елена, когда суд впервые выдвинул эти обвинения. Николае похлопал ее по руке, как бы прося ее успокоиться. Вся сцена выдавала страшную спешку ее участников, а отвратительные декорации, на фоне которых она разыгрывалась, лишали ее остатков пристойности. Председатель суда поначалу хотел провести процесс в более приличествующей этому событию обстановке — в большом доме, в центре города, но его переубедили, сославшись на соображения безопасности. Временами все происходящее смахивало на пьяную перебранку, где ненавидящие друг друга стороны слишком измотаны, чтобы начать драку.

С самого начала заседания осунувшийся, охрипший и совершенно измученный Чаушеску решительно отказался вступать в какие-либо дебаты, отрицая правомочия данного суда. «Я признаю только Великое Национальное Собрание и представителей рабочего класса,— повторял он снова и снова.— Я не буду ничего подписывать и ничего не буду говорить. Я отказываюсь разговаривать с зачинщиками государственного переворота. Я — президент республики и ваш верховный главнокомандующий. Мы трудимся на благо народа с 14-ти лет». «Так называемый Фронт национального спасения, окопавшийся в Бухаресте,— не что иное, как Фронт национального предательства». «Как уже сотни раз случалось в румынской истории, тот, кто незаконно посягнул на власть, ответит за это перед лицом народа и Великого Национального Собрания. Никто в мире больше не смеет вершить над нами суд».

Но Великое Национальное Собрание распущено, ответил председатель суда. «Никто не имеет права распускать его,— возразил Чаушеску.—

Вот почему люди сейчас сражаются на улицах. И они будут сражаться до тех пор, пока шайка предателей, организовавшая при поддержке иностранного капитала переворот, не будет уничтожена». Он храбрился; пребывание в бронемашине и ночная стрельба, очевидно, укрепили его в мысли, что в стране бушует настоящая гражданская война.

Несмотря на отказ вступать в официальные прения с судом, он несколько раз, «говоря от имени простых граждан», пытался опровергнуть предъявленные ему обвинения. На вопрос, признает ли он, что «заморил голодом Румынию», он прокричал: «Чушь. Я как обыкновенный гражданин заявляю, что впервые в жизни румынские рабочие смогли получить по 200 кг муки в год и множество дополнительных льгот. Все ваши утверждения — ложь. Как простой гражданин я утверждаю, что никогда за всю свою историю Румыния не переживала такого прогресса».

«А как насчет золотых весов, на которых ваша дочь взвешивала мясо, полученное из-за границы?» — спросил прокурор.

«Это ложь,— закричала Елена.— Она, как и все, живет в обыкновенной квартире, а не в особняке. Она никогда ничего не получала из-за границы. Как вы смеете говорить такое!»

«Вы всегда были дальновиднее и красноречивее, вы ведь ученый. Вы были главным помощником своего мужа, вторым человеком в правительстве. Вы знали о геноциде в Тимишоаре?» — обратился прокурор к Елене.

«Какой геноцид? — переспросила она.— Знаете, я вообще не буду отвечать на ваши вопросы».

«Вы знали о геноциде или, будучи химиком, вы интересовались только полимерами?»

«Ее научные труды печатались за рубежом»,— рявкнул Чаушеску.

«А кто за вас их писал, Елена?» — поинтересовался обвинитель.

«Какая наглость! — воскликнула Елена.— Я — член и президент Академии наук. Вы не имеете права так разговаривать со мной».

«Значит, она академик,— сказал председатель суда.— Мне нечего больше добавить».

«Оскорбляя нас, вы тем самым оскорбляете ученые общества многих стран, присудившие нам эти степени»,— произнес Чаушеску. Он снова успокаивающе похлопал жену по руке, как бы говоря: «Не стоит обращать внимания на этих людишек».

«А что вы скажете по поводу 400 миллионов долларов, хранящихся на ваших счетах в зарубежных банках?» — задал вопрос обвинитель.

«Доказательства, я требую доказательств,— ответил Чаушеску.— Устройте мне очную ставку с зачинщиками переворота. У меня нет никаких заграничных счетов. Это подлая ложь, у меня нет ни цента. Я подам на этого так называемого прокурора в суд за клевету, и ему придется ответить перед нашим законным апелляционным судом и перед рабочим классом. Все подарки, которые мы получили из разных стран, хранятся в музее и принадлежат государству. Между прочим, они все инвентаризованы».

«Что вы скажете об обстоятельствах смерти генерала Мили?» — спросил прокурор.

«Почему вы не обратитесь к следователю по этому делу?» — ответила Елена визгливым голосом. Николае сказал: «Он покончил с собой, когда понял, что, уклонившись от выполнения долга, стал предателем».

«А почему он стал предателем?»

«Потому что отказался выполнить приказ, и тогда люди пришли к нему и убедили его покончить жизнь самоубийством».

«Вы умственно неполноценный?» — спросил прокурор.

«Это хулиганство,— закричала Елена.— Как вы вообще смеете задавать такие вопросы?»

«Давайте, наконец, покончим с этим безобразием»,— сказал Чаушеску, многозначительно посмотрев на часы.

Историю о том, что будто бы Чаушеску пытался включить на своих ручных часах специальное устройство, позволяющее спасательному отряду Секуритате определить его местонахождение, майор Дабижа, стоявший во время процесса в коридоре и оттуда следивший за происходящим, назвал «полной ерундой». Это были самые обыкновенные часы, сказал он, и Чаушеску посмотрел на них, чтобы просто передразнить председателя суда, который во время заседания без конца нервно посматривал на свои часы. Майор Секу подтвердил это: «Однажды, умываясь, Чаушеску забыл снова надеть часы; я взял и рассмотрел их. Нормальные швейцарские часы».

Во время пятиминутного перерыва, когда суд удалился «на совещание», один из наблюдателей, сидевший в непосредственной близости от Чаушеску, наклонился к нему и спросил, почему тот отказался признать законность трибунала. «Вы только усугубляете свое положение»,— сказал он. Чаушеску повторил, что суд юридически не правомочен. «Наблюдатель» — адъютант генерала Стэнкулеску — снова обратился к нему: «Почему вы покинули здание ЦК на вертолете?» Чаушеску насупился, в упор посмотрел на генерала Стэнкулеску, тоже сидевшего в ряду наблюдателей, и мрачно произнес: «Потому что так посоветовали мне предатели, устроившие этот заговор, и некоторые из них находятся сейчас в этой комнате»,— и он снова яростно уставился на генерала.

Когда после перерыва члены суда вошли в комнату, Николае и Елена отказались встать. При объявлении смертного приговора ни председатель суда, ни судейская коллегия не решались смотреть на осужденных. На вопрос, хотят ли они подать апелляцию, супруги, неподвижно сгорбившиеся за маленьким столиком, не пожелали даже ответить.

По румынскому законодательству, смертный приговор может быть приведен в исполнение не раньше, чем через 10 дней после его вынесения независимо от того, подавалась ли осужденным апелляция или нет. Адвокаты, однако, хранили молчание. Трибунал был намерен вынести свое «окончательное решение» и в угоду этому уже настолько пренебрег всеми юридическими формальностями, что, в сущности, последний инцидент был лишь еще одним процессуальным нарушением.

Четыре солдата, прибывшие с генералом Стэнкулеску, подошли к супругам и стали связывать им руки за спиной. Наверное, только сейчас осужденных впервые охватило предчувствие, что им суждено через несколько минут умереть.

Нельзя не отдать должное мужеству, с каким держался Чаушеску в эти последние страшные мгновения. «Я считаю этот суд незаконным,— прокричал он.— Пусть заговорщики убивают всякого, кого пожелают, предатели ответят за этот путч. Румыния будет жить и узнает о вашем предательстве. Лучше сражаться и умереть со славой, чем жить рабом».

Елена не унималась до самого конца. «Каждый человек имеет право умереть, как он хочет»,— взвизгивала она. И уже на грани истерики, когда гнев боролся с подступающим отчаянием, она прокричала: «Не связывайте нас. Это стыд, это позор. Я заботилась о вас, как мать. Зачем вы делаете это? Вы хотите нас убить, так убейте нас вместе. Мы всегда будем вместе».

По лицу Николае текли слезы, но горящие ненавистью глаза Елены были сухи. Четверо солдат (те самые, что связывали им руки) встали по одному с каждой стороны и проконвоировали пленников по коридору во двор. Один из солдат гарнизона, наблюдавших эту сцену, оказался так близко, что буквально столкнулся с Еленой, прокричав ей: «Послушайте, плохи ваши дела-то, а?» «Пошел вон, скотина»,— крикнула она в ответ.

Выйдя из «зала суда», Николае запел «Интернационал»; в тот момент, полагал Секу, «он, наверно, еще надеялся, что, несмотря на смертный приговор, их отвезут на вертолете в Бухарест. И лишь когда они вышли во двор, то окончательно поняли, что будут расстреляны на месте». «Прекра-

ти, Нику,— сказала Елена.— Разве ты не видишь, они собираются пристрелить нас, как собак». Несколько мгновений спустя она произнесла: «Нет, у меня в голове не укладывается, неужели в Румынии до сих пор существует смертная казнь?»

Четыре палача поставили осужденных лицом к стене. Солдатам дали приказ не стрелять в Николае выше груди, для того чтобы после смерти его могли опознать по снимкам; относительно Елены никаких приказов не поступало. Супруги инстинктивно отпрянули от стены, и в то же мгновение солдаты открыли огонь, причем каждый сделал не менее 30-ти выстрелов. Несколько месяцев спустя экспертиза обнаружила на стене, возле которой расстреляли Чаушеску и его жену, свыше сотни следов от пуль. Солдат, которого так «приложила» Елена, подбежал к стене и выпустил в жертву автоматную очередь. Армейский фотограф и генерал с камерой прилежно снимали.

Впоследствии ряд французских экспертов, изучая фотографии погибших, отметили существенное различие в степени окоченелости и окровавленности трупов и выдвинули предположение, что если смерть Елены наступила от выстрелов, то Чаушеску скончался на несколько часов раньше от сердечного приступа и был расстрелян уже после смерти. «Дело в том,— пояснил майор Секу,— что как только началась стрельба, Елена потеряла сознание и упала на землю. В нее стреляли, когда она уже лежала, отсюда и следы крови». Поскольку на Николае было толстое пальто, «кровь впиталась в ткань». Он отверг нелепую идею о том, что их расстреляли по отдельности. «Сотни солдат видели, как это происходило,— сказал он,— и даже несколько местных жителей, чьи окна выходили на плац, стали свидетелями события».

Трупы завернули в брезент и забросили в стоявший наготове вертолет. Их привезли в пригород Бухареста и выгрузили на игровом поле спортивного стадиона, приспособленного министерством обороны под аэродром для всех участников судебного процесса.

Трупы загадочным образом исчезли. Армейские поисковые партии всю ночь прочесывали территорию, пока, наконец, под утро не нашли искомое около ангара, расположенного возле стадиона. Кто перенес тела и с какой целью, так и не было выяснено.

Звездный час Чаушеску

В 1968 году внимание всего мира было приковано к Чехословакии, где современно мыслящее, неортодоксальное коммунистическое руководство во главе с Александром Дубчеком приступило к последовательному демонтажу марксистско-ленинской практики и сопутствующей ей системы жесткого государственного контроля, насаждавшегося с 1945 года вереницей сталинских аппаратчиков. Интересно представить себе, что бы произошло, не будь попытка Дубчека построить «социализм с человеческим лицом» растоптана в августе 1968 года брежневским вторжением в Чехословакию. Не подтолкнула ли бы Чаушеску свойственная ему привычка заимствовать чужие идеи пойти по стопам Дубчека на том основании, что это будущая модель коммунизма? Его некритическое доверие к чужому опыту не позволяет сбрасывать со счетов данное предположение, но вместе с тем его просыпавшаяся уже в ту пору мегаломания делала подобную вероятность весьма сомнительной, хотя ему и удалось на короткое время убедить простаков, что он якобы движется в том же направлении.

Вероятно, даже в 1968 году ему было слишком поздно меняться. Некоторые из румынских коммунистов, близко соприкасавшиеся с ним в те годы, с уверенностью утверждают, что Чаушеску никогда по-настоящему не сочувствовал новым, либеральным реформам Дубчека.

По их мнению, причина, заставившая его осудить советскую интервенцию и поддержать Дубчека, заключалась в том, что в глубине души он знал: рано или поздно его собственное «диссидентство» может спровоцировать Советский Союз на вторжение в Румынию. Таким образом, скорее сама *идея* советской интервенции, нежели (как в истории с Дубчеком) ее конкретная причина, заставила Чаушеску так бурно отреагировать. Конечно, постоянная слежка и подслушивание, установленные охранкой за румынской партийной номенклатурой, и страх последней перед всесильной Секуритате не располагали к публичным откровениям на сей счет. И все же, мне думается, дело скорее в том недопонимании сути событий и действующих лиц драмы 1968 года, которое позволило многим западным советологам того времени ставить Дубчека и Чаушеску в один ряд. Их сходство всячески подчеркивалось (как оказалось впоследствии, абсолютно неправомерно), а все различия в их характерах и методах руководства игнорировались. Как мы теперь отлично знаем, в то время Чаушеску вел усиленную подготовку по ликвидации остатков коллективного руководства РКП и дискредитации соратников Георгиу-Дежа — старой гвардии, представлявшей, по его мнению, серьезную угрозу его авторитету и амбициям. Западу же был важен только тот факт, что и Дубчек и Чаушеску стремятся покончить со статусом сателлитов.

С точки зрения достигнутой независимости румынский лидер видимым образом обгонял чехословацкого, поскольку к августу 1968 года он более решительно (или, по крайней мере, более демонстративно) порвал с Советским Союзом, нежели Дубчек. Советские войска не ступали на румынскую землю с 1958 года; румынские вооруженные силы бойкотировали военные учения Варшавского пакта, и среди стран-участниц Варшавского Договора Румыния оказалась своего рода парией, ее даже перестали приглашать на важные межправительственные совещания. В отличие от Чехословакии, Румыния к тому же была менее расположена поддерживать международную политику СССР, о чем свидетельствует протокол голосования в ООН; она также осмелилась, невзирая на ярость Москвы, установить «нормальные» отношения с враждебным Советскому Союзу китайским руководством. Напряженность между Чаушеску и Брежневым (по крайней мере, на поверхностном уровне) достигла критической точки: два лидера отличались друг от друга не только политическим курсом, но и личностными характеристиками. К тому же Брежнев знал, что Чаушеску приказал провести детальное расследование его послевоенной деятельности на посту первого секретаря ЦК КП Молдавской ССР (как стала называться Бессарабия после ее аннексии Сталиным в 1940 году). Советский руководитель был жестоким владыкой, и всеведущая Секуритате собрала полное досье о депортациях, арестах и прочих славных деяниях, процветавших в пору брежневского наместничества. Визит де Голля в Румынию в мае 1968 года и широко разрекламированный визит Чаушеску к Тито в Югославию свидетельствовали о том, что внутри Варшавского пакта существует страна, намеренная сохранить свое лицо и идти своим путем.

Брежнев, однако, гораздо больше был озабочен Дубчеком, нежели Чаушеску, поскольку последний не собирался сотрясать основы марксизма-ленинизма. Дубчек же, напротив, покушался на святая святых системы. Во внутренних делах Румыния оставалась столь же ортодоксальной, как и Советский Союз, за одним, правда, исключением: Чаушеску неоднократно подчеркивал, что он поддерживает «новые веяния» в Чехословакии. Выступая перед рабочими в Галаце, он заявил, что румынская компартия «не разделяет взгляды тех, кто испытывает тревогу в связи с событиями в Чехословакии».

Он всячески демонстрировал (чего, к сожалению, не делал Дубчек) решимость Румынии дать отпор советской интервенции. В речи, обращенной к рабочим-партийцам и выпускникам военных училищ, Чаушеску

позволил себе вызывающие намеки: «Нет и не может быть никаких оправданий для чьих-либо попыток осуществить вооруженное вмешательство во внутренние дела любой из социалистических стран-участниц Варшавского Договора». Два дня спустя, 16 августа, для пущей наглядности он прилетел в Прагу и подписал с Дубчеком «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Договор не давал ответа на важнейший (пока, правда, еще гипотетический) вопрос: окажет ли Румыния вооруженную помощь в случае нападения на Чехословакию? Будучи в Праге, Чаушеску охарактеризовал договор исключительно как результат совместных усилий, направленных «против агрессивной политики империалистических кругов», что, однако, мало кого ввело в заблуждение. По возвращении в Румынию, буквально накануне вторжения СССР в ЧССР, он заверил рабочих автомобильного завода, что «судьба чехословацкого народа в надежных руках». «В лице чешского народа,— сказал он,— мы видим прекрасного друга в нашей общей борьбе за социализм». На следующий день советские войска вместе с символическими частями болгарской, восточногерманской, венгерской и польской армий пересекли границу Чехословакии. Дубчек и его соратники были схвачены, силой привезены в СССР и, таким образом, принуждены отказаться от реформаторства в рамках коммунистической системы.

Разумеется, Чаушеску не мог не предвидеть подобного поворота событий; к его чести надо сказать, что и здесь он не отступил. 21 августа во время внушительного митинга на Дворцовой площади он заявил взбудораженной, оживленной толпе, что вторжение СССР в Чехословакию — «это колоссальная ошибка, серьезная угроза делу мира в Европе и судьбе социализма, постыдное пятно в истории революционного движения». «Нет и не может быть оправдания военному вмешательству во внутренние дела братского социалистического государства,— добавил он,— никто извне не имеет права указывать, каков должен быть путь социалистического строительства в каждой отдельной стране». На защиту независимости «нашей социалистической отчизны», объявил Чаушеску, он призывает бросить силы «вооруженной национальной гвардии, состоящей из рабочих, крестьян и интеллигенции».

Бывшие соратники Чаушеску вспоминают, что перед тем как сделать это заявление, он долго метался взад и вперед по дворцу в состоянии крайнего (и вполне понятного) нервного возбуждения. Позднее его советник по иностранным делам утверждал, что это *он* убедил Чаушеску не только продемонстрировать свою солидарность с Дубчеком, но и занять твердую позицию в отношении уже свершившейся советской интервенции. Но никакие последующие домыслы не могут поколебать тот факт, что благодаря своей принципиальной позиции по этому вопросу Чаушеску буквально в одночасье стал не только национальным героем, но и политической звездой мировой величины. Даже пострадавшие от режима, включая тех, кто за свои антикоммунистические взгляды долгие годы провел в тюрьмах и концлагерях, невольно растрогались. Оглушительные аплодисменты потрясли Дворцовую площадь, а вслед за тем и всю страну; Чаушеску, несомненно, стал героем дня.

Обстоятельства сложились так, что вскоре после выступления Чаушеску я стал непосредственным свидетелем воздействия его речи на румынский народ. В качестве собственного корреспондента журнала «Ньюсуик» я приехал в Прагу почти сразу же после вторжения советских войск. Но через неделю, к моему вящему негодованию, редакция приказала мне в срочном порядке перебраться в Бухарест. Как я потом узнал, главному редактору поступило сообщение из высших сфер ЦРУ, что, согласно фотографиям, сделанным разведывательным спутником, советские войска готовы вторгнуться в Румынию.

Я решил двигаться вдоль румыно-советской границы, чтобы при нападении обеспечить себе, по крайней мере, место в первом ряду. По пути

я ненадолго останавливался в Плоешти, Клуже и Брашове, пытаясь определить настроения румын в свете боевых призывов Чаушеску. «Для страны, стоящей перед лицом возможной интервенции со стороны громадного и могущественного соседа,— писал я,— Румыния сохраняет поразительную невозмутимость... Единственные вооруженные люди, которые мне повстречались, были — часовой при винтовке со штыком, охранявший полевой склад, и сухопарый, морщинистый фермер на велосипеде с дробовиком за спиной, ехавший пострелять зайцев». Следов народного ополчения мне нигде обнаружить не удалось.

Я никогда прежде не был в Румынии, и мои первые впечатления оказались весьма сходными с теми, которые вынес отсюда в 1939 году Айвор Портер: две культуры, старая и новая, мирно соседствовали здесь бок о бок. Меня поразило обилие церквей и запряженных волами телег, а также наличие, наряду с коммунизмом, традиционной деревенской жизни. В городах крутили старые вестерны и прочие голливудские фильмы, висели анонсы довоенного «Тарзана» (в исполнении Вайсмюллера). Количество туристов, преимущественно из Западной Германии, тоже превышало всякие ожидания. Продовольственных проблем не было еще и в помине; сидящие в ночных ресторанах немецкие семьи уписывали внушительные порции тушеной свинины, заливая ее изрядным количеством румынского пива.

Однако больше всего меня поразило отношение румын к Чаушеску. Я с большим удовольствием брал попутчиков и весьма плодотворно общался с ними; мои собеседники высказывались вполне откровенно, ибо я старался по возможности скрывать свою истинную миссию, представляясь простым туристом. Один румынский священник, ехавший к друзьям в монастырь, с похвалой отзывался о Чаушеску («Очень хороший человек... он защитит нас от русских») и поведал, как замечательно идут дела в его приходе: «К нам стекаются все — и партийцы, и колхозники, и даже молодые люди. В наших краях вам не найти неверующих». Нефтяник из Плоешти рассказывал: «Живем мы теперь хорошо, дела потихоньку идут на поправку. И будет все замечательно, если только русские оставят нас в покое». «Старому коммунизму, слава Богу, сейчас везде капут»,— заявлял пожилой рабочий. Недовольство, выражаемое моими пассажирами, относилось не к самому Чаушеску, а к изъянам номенклатурной системы. Студенты, все как один мечтавшие о путешествиях по Европе, жаловались, что это возможно только для людей с партийными связями. Другие сравнивали свой скромный быт с жизнью местных партийных боссов, поражаясь, как те ухитрились обзавестись большими домами, «мерседесами» и прочими предметами роскоши, постоянно призывая нацию к соблюдению режима экономии. Ситуация была предельно ясна: в самобытной стране появился необычайно популярный лидер.

Запад не замедлил откликнуться на поступок Чаушеску: его (еще в дни оккупации Чехословакии) посетил Майкл Стюарт, министр иностранных дел в правительстве Гарольда Вильсона, и хотя МИД Великобритании неизменно подчеркивало, что речь идет исключительно об англо-румынских экономических связях, всем было очевидно, что таким образом британское правительство хотело выразить уважение и поддержку независимой позиции Чаушеску.

Его истинный триумф, однако, состоялся год спустя, когда Румынию посетил Ричард Никсон, это был его первый визит в коммунистическую страну в качестве президента США. Он, правда, уже однажды (в 1967 году) нанес «частный визит» в Румынию (где ему был оказан прием, по протоколу полагающийся только главе государства) и еще тогда выразил свое благожелательное отношение к Чаушеску. Визит Никсона задал тон: с августа 1968 года Румынию стало модно посещать, так же как позднее и Китай после визита туда Никсона в 1972 году.

Став генеральным секретарем, Чаушеску вскоре завел практику приглашать в Румынию выдающихся политических деятелей, тщательно при этом выбирая гостей и с известным стратегическим искусством организуя их пребывание в стране. Он инстинктивно останавливался на тех, кто (подобно Никсону и Вилли Брандту) мог впоследствии быть ему полезен, хотя с течением времени он обнаруживал все большую склонность к царствующим особам любого рода. Это был мудрый шаг, ибо в кильватере подобных визитов всегда оказывалась группа журналистов, готовых представить «румынский путь» в самом благоприятном свете. Гостеприимство Чаушеску не только принесло ему широкую известность за рубежом (ибо на волне августа 1968 года он возбудил к себе изрядную долю любопытства), но и дало новый повод и без того раболепной партийной прессе для прославления его величия. Визиты Вилли Брандта, де Голля и Никсона были широко разрекламированы во всей румынской печати.

Еще более пристальное внимание уделили румынские средства массовой информации поездке Чаушеску в Югославию, ибо в 1968 году все еще Тито, а не Чаушеску, был самым известным, самым признанным «антисоветским» диссидентом-коммунистом, не побоявшимся дать отпор всесильному Сталину в далеком 1947 году. С его героическим военным прошлым, его экстравагантным стилем жизни и первенством в политике неприсоединения стран третьего мира Тито для Чаушеску был объектом давней зависти и образцом для подражания. Пример Тито весьма сильно повлиял на жизненный уклад четы Чаушеску, тем более что и Николае и Елена постоянно выискивали, какие исторические достопримечательности и причуды великих людей они могут перенять и ввести в собственный обиход. Немыслимое нагромождение вычурных канделябров во всех зданиях, отделкой которых с 1968 года руководила Елена (в том числе и в особняке Союза румынских писателей), явилось результатом ее посещения мест, подобных Версалю. Один из бывших помощников Чаушеску вспоминал, что Кондукатор чувствовал себя крайне неловко, очутившись на яхте Тито в плотном теплом костюме и тяжелых ботинках; после этого он стал уделять своей внешности гораздо больше внимания, даже отдав на какое-то время дань пристрастию Тито к белым полотняным костюмам и белым туфлям на тонкой подошве. Преображение Елены было столь же радикальным.

В юности и пору ранней зрелости она выглядела «синим чулком» и сознательно поддерживала этот стиль. Но быстро освоившись с новым статусом — жены влиятельнейшего человека в Румынии, она обновила гардероб дорогими и элегантными костюмами и пристрастилась к дорогим украшениям, особенно к золоту. В результате упорной борьбы за фигуру ей удалось сбросить лишний вес и вернуть былую стройность, но она была бессильна изменить свою походку — неуклюжую утиную перевалку на толстых ногах, которую наиболее смелые коллеги передразнивали у нее за спиной.

Потуги Елены играть роль первой дамы порой доходили до абсурда: по словам бывшего дипломата Мирчи Кодряну, во время первого официального визита супругов в США в октябре 1970 года она потребовала, чтобы меню им подавали только на французском языке, хотя ни она, ни Николае французского совсем не знали. Едва вступив на общественное поприще, она быстро обнаружила сугубо хищнические наклонности. Кодряну вспоминал, что тогда же, в октябре 1970 года, запланированный визит в Детройт чуть было не сорвался в последний момент из-за того, что Елена требовала дорогих подарков, на что не соглашалась принимающая сторона. «Я помню, как один из референтов Елены спросил: «Что они собираются ей дарить?» — «Что-то вроде ключа от города — символа вольного Детройта»,— ответил я. «Это не то, ей этого не нужно,— сказал референт,— она хочет какое-нибудь золото — серьги, браслеты...» Президентский самолет был уже на взлетной полосе, а я все еще висел на

телефоне и разговаривал с представителем принимающей стороны. «У вас есть какой-нибудь подарок, что-нибудь золотое?» — спросил я. «Да»,— ответил он. Они уже поняли, чего она хочет, и приготовили ей подарок по вкусу. В этот момент помощник Елены вклинился в разговор: «Спроси, сколько весит подарок». «Я не могу это сделать»,— возразил я. «Ты обязан, она хочет знать». Я не нашел ничего лучшего, как спросить: «Если взвесить подарок на ладони, каково ощущение?» «Ощущение нормальное»,— последовал ответ».

Подарки, по свидетельству Кодряну, предназначались для личного музея Чаушеску, однако алчность, считает он, не была единственной побудительной причиной подобного поведения: «Количеством и великолепием поднесенных им даров они хотели показать румынскому народу, как их любит и чтит весь мир».

Чаушеску к тому времени стал проявлять особый интерес к «третьему», неприсоединившемуся миру. Перед руководством этих стран он старался не козырять коммунистической идеологией, а разыгрывать роль лидера нейтральной страны. Он уже начал развивать идею о том, что Румыния-де гораздо лучше, нежели прочие государства восточноевропейского блока, понимает нужды третьего мира, поскольку она сама стоит перед теми же проблемами — экономическим отставанием и грядущей индустриализацией. Таким образом, полагал Чаушеску, страны третьего мира охотнее пойдут на деловой контакт с Румынией, чем с другими соцстранами, и румынским специалистам будет обеспечен более теплый прием. Подобный маневр, по крайней мере вначале, оказался на редкость успешным.

Другим объектом его неусыпных забот (порожденных маниакальным стремлением выбиться в лидеры международного масштаба) стал Ближний Восток. После 1967 года израильское посольство внутри коммунистического блока сохранилось только в Румынии, что легко объяснялось честолюбивыми притязаниями Чаушеску на роль посредника между Советами и Израилем. Само собой разумеется, данная забота, первоначально продиктованная вполне естественным желанием внести свой посильный вклад в урегулирование конфликта, затронувшего три континента, в дальнейшем превратилась в средство достижения тайной амбициозной мечты стать лауреатом Нобелевской премии мира. С этой целью высокие румынские инстанции год за годом упорно осаждали Нобелевский комитет в Осло, и в газетах часто появлялись сообщения о «выдвижении» Чаушеску на премию. Однако большинству румын было невдомек, что согласно уставу комитета любой парламентский орган имел право выдвигать своего кандидата на соискание Нобелевской премии мира и что избирательный ценз смехотворно низок.

После инцидента с Чехословакией в течение ряда лет Чаушеску в глазах Запада числился рыцарем без страха и упрека. Он был «хорошим коммунистом», единственным подлинным джокером в крапленой восточноевропейской колоде. Истинную суть его натуры западные лидеры прозрели значительно позже, нежели сами румыны. В 1978 году, когда он давным-давно уже выказал все признаки опасной мегаломании (к этому времени его страна была самой тоталитарной в само́м восточном блоке), Чаушеску все еще сочли достойным приглашения в Букингемский дворец в качестве личного гостя королевы Елизаветы. В 1983 году, когда румынская экономика окончательно почила в бозе, Джордж Буш (в то время вице-президент) по-прежнему называл его «хорошим коммунистом». Про-румынские симпатии США несказа́нно усилились после решения Чаушеску игнорировать бойкот Олимпийских игр 1984 года, навязанный сателлитам Советским Союзом.

В действительности самое недвусмысленное намерение стать вторым румынским Кондукатором [1] Чаушеску обнаружил по прошествии всего трех дней после отъезда президента Никсона. 6 августа 1969 года состоял-

[1] «Первым Кондукатором» называли маршала Антонеску, правившего Румынией в 1940—1944 гг. *(Прим. перев.)*

ся X съезд Румынской коммунистической партии, и, не дожидаясь его конца, Чаушеску вновь изменил устав: отныне генеральный секретарь переизбирался не Центральным комитетом, а делегатами съезда, органа не в пример более послушного. Перерыв между съездами увеличивался с четырех до пяти лет. Августовский съезд положил конец и любой потенциальной угрозе со стороны старой гвардии Георгиу-Дежа — ни Апостол, ни Стойка не были вновь избраны в ЦК. Невиданное доселе неистовое идолопоклонство, впервые продемонстрированное съездом по отношению к Чаушеску (что он сам воспринял как должное) тоже не предвещало ничего хорошего. Несколько сотен делегатов в едином порыве вскакивали с мест и подолгу аплодировали ему, беспрестанно скандируя «Чаушеску — народ». На съезде он добавил еще один титул к растущему реестру своих заслуг: он стал председателем Национального совета Фронта демократии и социалистического единства, а вскоре, 14 марта 1969 года, приобрел еще два — председатель Совета обороны и Верховный главнокомандующий вооруженными силами. Культ личности развивался по знакомой схеме. В газете «Скынтейя» стали появляться подробные описания жизни нового Кондукатора в его собственном изложении: «Будучи крестьянским сыном, я изведал гнет помещиков, а с одиннадцати лет и капиталистическую эксплуатацию». Среди прочих славословий в адрес Чаушеску, изобилующих на страницах «Скынтейи», фигурировал также и «большой теоретический и практический вклад в развитие и обогащение политической науки». Увы, он очень быстро поверил этим подхалимским благоглупостям и к 1970 году уже стал видимым образом терять связь с действительностью. «Люди вроде меня,— заявил он в начале 70-х годов министру здравоохранения,— появляются раз в пятьсот лет». Под руководством Чаушеску, сообщалось в одной из статей, румынская экономика «достигла такой степени развития, что вызвала восхищение всего мира».

Движение, действительно, было стремительным, а цифры, выдаваемые официальной статистикой, ошеломляющими. Как старательно вбивал в голову своим подданным во время затяжных речей сам Чаушеску, начиная с 1950 года объем промышленного производства ежегодно увеличивался на 12,9%, темпы промышленного развития — на 13%, производительность труда — более чем на 7%, в то время как производительные силы — на 5%. Окупаемость капиталовложений достигла астрономических цифр — от 17,6% в 1955 году до 34,1% в 1971 году, а с 1976 года — 36,3%. Если исходить только из графиков и цифр, то получалось, что Румыния переживает темпы роста, сравнимые только с Тайванем и Южной Кореей, и, подобно этим странам, готовится к мощному экономическому скачку. Но если зарубежные банкиры до некоторой степени и поддались на приманку, поспешив (на основании официальных данных и с учетом симпатии Запада к храброму «антисоветскому» лидеру) предоставить Румынии кредиты, то ожидаемого скачка так и не получилось. Начиная с 1969 года румынские граждане начали сталкиваться с разного рода трудностями и лишениями, стремительно возраставшими год от года. Разумеется, причина заключалась не столько в неправильном размещении инвестиций, сколько в приверженности Чаушеску принципам сталинской экономики, благодарая чему все льющиеся широкой рекой кредиты лишь усугубляли тяжелое положение Румынии и вели к неизбежной катастрофе.

Возможно, именно недостаток интеллекта, полная неспособность отречься от сталинского багажа, приобретенного полуграмотным подростком в тюремные годы, помешали Чаушеску совладать с окружавшей его экономической реальностью, ибо страна была богата человеческим потенциалом — в 60—70-х годах румынские университеты все еще выпускали экономистов высокой квалификации, а культурные связи с Западом, в том числе в области исторической науки и экономики, еще не были прерваны.

Но Чаушеску, постоянно балансировавший на грани экономической реформы, в последний момент всегда отступал. В конце 1969 года ведущий румынский экономист-реформатор Александру Бырлэдяну был отстранен от работы, и с его уходом рухнули все надежды на рациональную экономическую политику. Его преемники хорошо усвоили, что устойчивость их рабочего кресла и быстрота продвижения по службе зависят от послушного выполнения директив Чаушеску. Будучи неисправимым сталинистом в экономических вопросах, Чаушеску несокрушимо верил в преимущества централизованного планирования, в примат тяжелой индустрии над сельским хозяйством и в экономическую автаркию любой ценой.

Уровень экономической компетентности Чаушеску особенно нагляден в его выступлении 1974 года: «Если некоторые думают, что им дадут свободу тратить наши народные деньги как угодно и на что угодно, то они сильно заблуждаются. У нас в стране плановая экономика. Принцип самоуправления нельзя понимать как право каждого тратить деньги как ему заблагорассудится. Мы даем полную свободу инициативе по выполнению плана. Давайте уясним себе хорошенько: при расчете капиталовложений вся прибыль должна быть учтена в пятилетнем плане, а частности, вытекающие по ходу дела,— в годовом плане. Никто не имеет права строить то, что не предусмотрено планом...»

Иными словами, настоящему предпринимательству не оставлялось ни единой отдушины. Свобода выполнения плана была сродни свободе узника решать свою судьбу, когда дозволено определять режим дня и график работы, но не разрешено покидать тюремный двор. В гротескных декларациях подобного рода недостатка не было, но решения часто принимались (что весьма характерно для диктатуры как таковой) не по соображениям практической целесообразности, но просто по прихоти. Чаушеску мог запросто «подмахнуть» любой дорогостоящий проект, если местный партсекретарь вовремя организовал ему «народную любовь» и воздал вассальские почести, а еще лучше — устроил отличную медвежью охоту. Со временем местные руководители нашли верный путь к сердцу Кондукатора, лежащий через разгульные охотничьи пирушки и благосклонность Елены (последнее, правда, было весьма непросто, ибо с годами ее подозрительность и злопамятность стремительно возрастали).

Узость экономического кругозора Чаушеску и его падкость на лесть уже сами по себе гарантировали катастрофу. Но последствия «независимой» политики и нефтяной кризис 1973 года окончательно погубили Румынию. В тщетной погоне за индустриализацией совершенно не принимались в расчет энергетические затраты, между тем себестоимость продукции многих румынских предприятий была в 3—4 раза дороже западных аналогов. Все это не имело особого значения до той поры, пока мировые цены на нефть были низкими, но с резким скачком цен румынская тяжелая промышленность оказалась в плачевном состоянии. Советский Союз с лихвой отомстил за позерство Чаушеску, лишив Румынию дешевой советской нефти и заставив ее покупать нефть за твердую валюту по мировым ценам. В 1976 году Румыния уже не была нефтеобеспеченной страной, и более того — она неразумно вложила колоссальные средства в громадный и капиталоемкий нефтеперерабатывающий комплекс, так никогда и не введенный в эксплуатацию.

Даже румынский альянс с третьим миром давал сбой. Большинство африканских инвестиций представляло собой «совместные предприятия», в которые Румыния вкладывала валюты больше, нежели получала взамен. Чтобы поддерживать свое реноме в неприсоединившемся мире, Румыния была вынуждена постоянно субсидировать эти предприятия, став после СССР ведущей коммунистической страной по предоставлению помощи развивающимся странам. Подобная роскошь была Румынии явно не по карману, но для Чаушеску это не имело никакого значения, ибо ему с каждым годом все важнее становилась видимость, а не суть, а его

личный престиж был для него в буквальном смысле бесценен. Малопомалу Чаушеску уходил в мир Пиранделло. Как сказал писатель-диссидент Александр Ивасюк, погибший во время землетрясения 1977 года, Румыния — это страна, где «двадцать миллионов человек живет в воображении безумца». Подобно французскому тирану Луи Наполеону Бонапарту (впоследствии Наполеон III), Чаушеску превращался, говоря словами Маркса, «в серьезного шута, теперь уже не всемирную историю считающего комедией, а свою комедию — всемирной историей».

Целуй руку, которую не можешь укусить

Его Величество любил посещать провинции, допускать к себе простой люд, выслушивать его жалобы и утешать его обещаниями, похвалить кротких и трудолюбивых и пожурить праздных и непослушных.

Рышард Капусцинский. «Император»

В 1978 году, в год шестидесятилетнего юбилея Чаушеску, вышла в свет внушительная (664 страницы!) «подарочная» книга, озаглавленная «Омаджиу» [1], и все правоверные румынские коммунисты бросились покупать ее. В ней прославлялись подвиги и достижения Чаушеску, изложенные таким вычурно-раболепным языком, что в любом нормальном обществе это бы вызвало конфузливый смех. Книга в мельчайших подробностях живописала гениальность Кондукатора во всех его ипостасях: семьянина, вождя, творца. Каждый из сорока округов, осчастливленных его официальным визитом, удостоился целого раздела книги с привлечением богатого иллюстративного материала, и все дома, где он жил в детстве и отрочестве, были увековечены в фотографиях. Книга (юбилейный подарок, состряпанный под большим секретом Думитру Попеску вкупе с другими придворными) недвусмысленно ставила Чаушеску в один ряд с маниакально-тщеславными диктаторами типа угандийского Иди Амина, северокорейского Ким Ир Сена, албанского Энвера Ходжи и китайского Мао Цзэдуна.

В английском варианте книги, вышедшей без имени автора в 1983 году в издательстве «Пергамон пресс» и, судя по тяжеловесному языку и приторной почтительности, переведенной с румынского, жизнь вождя прослеживалась до 80-х годов. В книге перечислялись все международные титулы и награды, присвоенные Кондукатору 61 страной, причем звание кавалера Большого Креста ордена Бани гордо соседствовало с мавританским национальным знаком почета — Большим Поясом, а иранский орден Пехлеви на цепи — с титулом почетного доктора университета в Ницце, а также юбилейной медалью общества «Апимондия», подаренной исполнительным комитетом Международной федерации пчеловодческих объединений в честь открытия XXVI Международного конгресса пчеловодов. Вплоть до низвержения диктатора эти сокровища хранились в специально созданном Музее национальной истории, каждодневно посещавшемся умытыми и причесанными румынскими детьми в качестве обязательной части школьной программы. Залы музея, где экспонировались зарубежные подарки и награды, были закрыты 22 декабря 1989 года и больше не открывались. Та же участь постигла и Музей истории румынской коммунистической партии, директор которого, профессор Ион Арделяну, долгие годы стойко сопротивлялся негласному давлению сверху превратить музей в святилище Чаушеску. В музее висел всего-навсего один портрет диктатора, да и тот был снят (на что я обратил внимание, когда через несколько месяцев после смерти Чаушеску директор водил меня по пустынным залам).

---

[1] «Посвящение» *(рум.)*.

Подобно Мао, Энверу Ходже и Ким Ир Сену, румынский Кондукатор представал, по крайней мере на официальных фотографиях, существом, не подвластным законам быстротекущего времени; в «Омаджиу» на его лице нет ни единой морщинки, щеки рдеют нежным, вечноюношеским румянцем.

Протокольный отдел Секуритате зорко следил за тем, чтобы на румынском телевидении Николае выглядел надлежащим образом. Как мне поведала одна из многострадальных телередакторов, в чью обязанность на протяжении 20 лет входило «озвучивание Чаушеску», это выливалось в ежедневный изнурительный многочасовой монтаж фильма, пока Секуритате не давала свое «добро». «Нужно было убирать все невольные паузы, заминки, заикания Чаушеску, и только после этого программа шла в эфир»,— рассказывала она; все вырезанные кадры Секуритате собирала и уничтожала. В последние месяцы правления Чаушеску, отметила она, в его публичных выступлениях заметно усилилось заикание и ухудшилась дикция, что явно указывало на возрастающее стрессовое состояние. Существовали также четкие инструкции, согласно которым при съемке нельзя было подчеркивать маленький рост Чаушеску (167 см). Если приглашенные государственные деятели были ростом выше Кондукатора, то их следовало снимать в таком ракурсе, чтобы разница в росте максимально скрадывалась. Долговязых де Голля и Жискара д'Эстена в хронике никогда не показывали рядом с Чаушеску. В качестве дополнительных мер предосторожности операторов, допущенных до съемки правителя, тоже отбирали по критерию роста. «Все они в обязательном порядке были ниже самого Чаушеску»,— сказала она.

Поток хвалебных книг о Чаушеску, стремительно наводнявших с 1978 года книжный рынок и спешно переводимых на все мыслимые языки, изобиловал отзывами других деятелей «мирового масштаба» — свидетельствами необыкновенных дарований Кондукатора. «Советские трудящиеся,— сказал Леонид Брежнев,— высоко оценивают замечательные достижения румынского рабочего класса». Ким Ир Сен, тонкий знаток дворцового этикета, избрал «высокий штиль»: «Вы, дорогой товарищ Президент, знаменитый лидер румынского народа, выдающийся деятель международного коммунистического и рабочего движения, играете заметную роль на международной арене как борец за мир во всем мире». Цитировались также слова королевы Елизаветы, принимавшей в июне 1978 года Николае и Елену в Букингемском дворце и так никогда до конца и не простившей премьер-министру Джеймсу Каллагэну и министру иностранных дел Дэвиду Оуэну то, что они вынудили ее сделать это; на официальном банкете в честь Чаушеску она якобы сказала, что «в Великобритании все находятся под большим впечатлением от стойкости, проявленной вами в защите независимости. Вследствие этого Румыния занимает четкую позицию и играет заметную роль в международных делах. Ваш авторитет, господин Президент, как государственного деятеля мирового масштаба, ваш богатый жизненный и политический опыт широко признаются мировой общественностью». Маргарет Тэтчер была «под впечатлением от личности президента Чаушеску», и особое впечатление он произвел на нее «как лидер страны, желающей развивать сотрудничество с другими народами». «Благодаря глубокому пониманию первостепенных мировых проблем, президент Чаушеску способен внести и вносит свой вклад в урегулирование острейших глобальных проблем человечества»,— сказал бывший президент Ричард Никсон. «Как глава Румынии президент Чаушеску бесспорно обладает огромным влиянием на международной арене»,— сказал Джералд Форд. «Его авторитет давно перешагнул границы Румынии и Европы»,— сказал президент Джимми Картер. Эрих Хонеккер, президент республики Зимбабве, французский писатель по имени Пьер Параф («Президент Чаушеску хорошо известен общественному мнению Франции; он пользуется там большим уважением. Его вне-

шнеполитический курс предельно выражает желание румынского народа крепить мир и взаимопонимание между разными странами») — все сливались в одном хвалебном, тут же фиксируемом на бумаге хоре.

С середины 1970-х годов одним из основных занятий румынских послов за границей стал сбор «иностранных признаний» величия Чаушеску. Рэзван Теодореску, возглавивший румынское ТВ в послекондукаторскую эпоху, рассказывал, как однажды в программе новостей прозвучало цветистое приветствие от Сиракузской академии, где Чаушеску провозглашался «крупнейшим лидером и мыслителем современности». Через несколько лет, будучи в Неаполе, любознательный Теодореску отыскал «Сиракузскую академию»; она помещалась в скромной неапольской квартирке, а ее основателем и единственным членом оказалась сухонькая старушка, занимавшаяся репетиторством. Она поведала, что к ней обратился румынский дипломат и, используя метод финансового стимулирования, уговорил ее опубликовать сей панегирик, который он сам же и сочинил.

Кем же надо было быть, чтобы купаться в лучах *такой* славы, разрешать печатать *такие* книги и принимать за чистую монету *такую* похвалу? Неужели Николае и Елена не видели, что улыбки их почитателей насквозь фальшивы и что доведенный до отчаяния народ, когда-то исполненный желания целовать его руку, теперь готов яростно укусить ее? Как они могли допустить, что ТВ транслировало (иногда по два часа подряд) их бесконечные церемонии, в то время как простые румыны тщетно пытались согреться перед телевизорами в полутьме 40-свечовых лампочек? Задумывался ли хоть раз Чаушеску, что́ *действительно* думали о нем люди, вынужденные по четыре раза в день простаивать в дорожных «пробках» (иногда до получаса кряду), чтобы Чаушеску в окружении кортежа из девяти машин мог проследовать из Весеннего дворца в центр Бухареста и обратно, тогда как ежемесячная норма бензина была урезана до 30 литров? Что за внутренняя неуверенность снедала супругов Чаушеску, заставляя их столь надрывно убеждать свой народ, что они заслуживают подобного поклонения?

Все культы личности абсурдны, но этот был с особым садомазохистским вывихом, ибо чем хуже становились условия жизни, тем больше и громче приходилось румынам, сгибавшимся под нарастающим бременем лишений, славословить виновников своих бед.

Несмотря на все психологические мотивации и анализы характера Кондукатора, посыпавшиеся после его смерти как из рога изобилия, чувство изумления по-прежнему не покидает румынское общество. Не только абсолютная, но и ограниченная власть развращает человека, и даже в демократических обществах, где политикам вроде бы положено знать об этой опасности, они живут в столь привилегированном мире и так далеки от бренных забот, что невольно забывают об истинных условиях существования прочей части человечества. Но муж и жена Чаушеску превзошли всех: их феодальные замашки поистине воскрешали нравы воевод и времена деспотического правления фанариотов [1] при османском иге.

Один высокопоставленный чиновник американского Государственного департамента, Уильям Х. Льюерс, сопровождавший Чаушеску во время его последнего визита в США в 1977 году (в период правления Картера) и имевший возможность наблюдать Кондукатора вблизи, рассказывал, что весь его облик скорее напоминал латиноамериканского диктатора-каудильо, нежели коммунистического вождя. К этому времени румынскому Кондукатору окончательно изменили некогда свойственные ему и крестьянская хитрость, и здравомыслие простолюдина; в Новом Орлеане во время официального обеда в его честь он вышел из-за стола, потому что присутствующий там кардинал хотел прочесть молитву перед

[1] Фанариоты — представители греческой аристократии в Османской империи, занимавшие высокие посты в турецких наместничествах. *(Прим. перев.)*

началом трапезы. Этот инцидент, получивший шумную и неприятную огласку, с головой выдавал непомерно раздутое самомнение Чаушеску. «Он навязывал всем свои идеи с заносчивым и тупым упорством, без малейшего понятия о такте, который следовало бы проявлять президенту, гостящему в другой стране»,— рассказывал Уильям Льюерс.

Чаушеску совершил также и вторую оплошность, слишком бурно отреагировав на шутливое замечание тогдашнего мэра Нью-Йорка Эдварда Коха, посетившего его в день отлета на родину; накануне группа венгерских эмигрантов устроила демонстрацию у отеля, где жил Чаушеску. «Господин президент,— обратился к нему Кох в качестве извинения,— вчера вечером кое-кто из моих приятелей устроил здесь демонстрацию протеста. Они говорят, что вы не даете венграм, живущим у вас в Трансильвании, свободы вероисповедания и культурного развития. Неужели это правда, господин президент?» По воспоминаниям Льюерса: «Чаушеску побледнел, повернулся ко мне и спросил: «Ну, что на это скажет Госдепартамент? Как он смеет так разговаривать со мной?» Я ответил: «Что ж, у федерального правительства своя политика, а у мэра — свое мнение». Оскорбленный неуважением, якобы проявленным к нему Кохом, Чаушеску приказал всей президентской рати немедленно возвращаться домой, что, однако, сделать не удалось, поскольку Елена Чаушеску прочно обосновалась в салоне Картье, где провела три с половиной часа, т. е. ровно до того момента, когда официальный протокол предписывал им улетать.

Ключ к разгадке феномена культа личности Чаушеску следует, несомненно, искать в историческом прошлом Румынии. Почти 500-летнее владычество турков и фанариотов выпестовало традицию раболепия перед властью; подхалимский стиль газет, воспевавших Чаушеску, казалось, был дословно списан с румынской периодики 1930-х — начала 1940-х годов, столь же тошнотворно славившей короля Кароля II и первого Кондукатора — маршала Антонеску. На заре культа Чаушеску подобные словесные фиоритуры еще пытались смущенно оправдать сильными религиозными настроениями деревенской массы и недостаточной утонченностью новоиспеченной румынской интеллигенции. Однако к 70-м годам нелепые клише типа «Гений Карпат», «Источник нашего света», «Полноводный Дунай разума», «Создатель выдающейся эры в тысячелетней истории румынского народа», «Творец эпохи невиданного обновления», «Кладезь мудрости и святости» — стали уже привычной нормой.

Кочевое наследие румын тоже давало себя знать. Первые политические деятели Румынии (после обретения ею независимости в 1857 году) сочетали обязанности и главы клана и партийного лидера. Стиль руководства этих владык-политиков, многие из которых были потомственными аристократами, больше напоминал замашки вождей ливанских племен, нежели поведение западных парламентских деятелей, и обычай беспрекословного подчинения главе клана пережил и падение монархии, и приход коммунизма. «Мы, румыны,— сказала через несколько месяцев после смерти Чаушеску его племянница, психолог по профессии, Надя Бужор,— всегда тяготели к архетипу Сильного Отца».

Майкл Шафир, отмечая поразивший его факт относительного безразличия румынской «творческой интеллигенции» к культу личности, объяснял его не только «глубоко въевшейся оттоманской традицией лицемерия», но и «укоренившейся привычкой к коррупции, протекционизму и взяточничеству». «Que voulez-vous? — заявил однажды Раймон Пуанкаре, защищавший в румынском суде дело своего клиента.— Nous sommes ici aux portes de l'Orient» [1]. Чинопочитание, лицемерие и конформизм были основными характеристиками (если не считать нескольких отрадных исключений, вроде неустрашимого писателя Пауля Гомы) интеллектуальной

[1] «Чего же вы хотите? Ведь мы живем у врат Востока!» *(франц.)*

жизни чаушескинской эпохи. «И по сей день,— признался Ливиу Турху, бывший сотрудник бывшей Секуритате, в 1987 году эмигрировавший в США,— я не могу взять в толк, как могли все эти высокие интеллектуалы и первоклассные журналисты опуститься до того, чтобы, истощая румынский словарь, соревноваться друг с другом в изобретении немыслимых перлов для прославления Чаушеску».

Даже самые авторитетные румынские ученые оказались в паутине этих культовых ритуалов. Как признался ведущий румынский историк Дан Бериндей: «Чтобы иметь возможность напечататься, я, как все, обязан был в своих трудах цитировать Чаушеску. Приходилось искать окольный путь, например, цитировать что-нибудь нейтральное, типа «тот, кто не знает истории, подобен ребенку, не знавшему своих родителей» или «следует уважать истину даже тогда, когда она нелицеприятна». Если искать прилежно, то в его собрании речей, как и в цитатнике Мао Цзэдуна, всегда можно было найти что-нибудь подходящее». «Цитирование Чаушеску стало своего рода религиозным обрядом»,— рассказывал другой ведущий историк, Михня Георгиу. Специальные отделы ЦК месяцами, а иногда и годами изучали содержание подготовленных к публикации книг, и все знали, что те рукописи, в которых не набиралось обязательного количества цитат, отвергались с ходу. Даже на американского посла в Бухаресте Дэвида Б. Фандерберка, чья докторская диссертация «Политика Великобритании по отношению к Румынии в 1938—1940 гг.» вышла в румынском переводе незадолго до окончания его посольской миссии, неоднократно пытались оказать давление, прося включить в книгу цитаты из трудов Чаушеску и фразы, подтверждающие его величие. Дипломат, однако, отказался. Генеральный секретарь Международного общества по изучению стран Юго-Восточной Европы Вирджил Кындя сообщил мне, что основной приоритет в книгоиздательской деятельности Румынии, полностью монополизированной государством, отводился изданию речей Чаушеску и химических исследований его жены, написанных, разумеется, за нее другими. Вследствие этой политики с 1975 года резко упало общее количество книжных наименований. Из произведений художественной литературы в первую очередь печатались те, в которых совершенно беззастенчиво, без всякой связи с сюжетом, прославлялась боевая юность революционного активиста по имени Николае Чаушеску или хотя бы косвенным образом воздавалась хвала его достижениям; поэтому писатели, чьи книги были «на выходе», цинично помещали в «Скынтейе» и других газетах раболепные статьи о Чаушеску, справедливо полагая, что это ускорит процесс прохождения в печать. Устроители выставки отечественного средневекового искусства добились разрешения на ее открытие только после того, как нашли способ связать тематику экспозиции с Чаушеску: «Мы поместили плакат с изображением Кондукатора, посещающего средневековый монастырь».

Большинство интеллигентов и партийцев предпочитали во имя личного благополучия жить в согласии с системой и не противостоять ей; на борьбу с режимом отваживались лишь одиночки. Как объясняла нам Габриэла Адамештяну, ведущая румынская писательница и член диссидентской «Группы за общественный диалог»: «В стране не было четких цензурных установок. Многое зависело от личной храбрости издателя и известности автора. Чем больше ты был знаменит, тем покладистее становились служители системы». В свои последние годы правления Чаушеску постоянно заявлял, что в Румынии вообще нет цензуры как таковой. В некотором смысле он был прав, хотя и существовал так называемый «культурный комитет» при Министерстве культуры, устанавливавший издательские приоритеты. Весь фокус заключался в самоцензуре, ставшей второй натурой творческой личности в Румынии. Эуджен Ярович, автор книги по искусству фотографии, вспоминал, как Ион Илиеску, в бытность свою директором издательства, снял в его

рукописи несколько абзацев, касающихся создания фотоимиджей и роли фотографии и пропаганды. «Я и не думал возражать»,— признался он.

Трусливость подавляющего большинства издателей и чувство горечи, неизбежно возникавшее у любого деятеля культуры, вынужденного обслуживать личный культ Чаушеску, в итоге привели к расколу интеллектуальных сил Румынии; склоки в научной и писательской среде по ожесточенности и унизительности весьма напоминали распри старшего поколения коммунистических вождей в их тщетной борьбе за выживание. Чаушеску и его мифотворцы хорошо понимали, что губительный процесс подавления творческой индивидуальности во имя сиюминутной выгоды — это идеальная питательная среда для мелкого завистничества и соперничества. В душе любого румынского интеллектуала жива память о каком-нибудь позорном акте сервилизма, совершенном из карьерных соображений, и вокруг полно соседей, коллег и соперников, готовых засвидетельствовать это. Мне, например, не преминули сообщить, что вышеупомянутый Кындя, несмотря на всю свою критику в адрес Чаушеску после 25 декабря 1989 года, раньше был сторожевым псом режима и, по широко распространенному мнению, состоял в весьма тесных отношениях с Секуритате. Когда полуавтобиографическая книга «Остинато» Пауля Гомы бесконечно долго «мариновалась» в типографии (в итоге в 1971 году она вышла во Франции и Германии), Кындя сообщил в интервью французскому ТВ, что дело здесь вовсе не в цензурных санкциях, поскольку «цензуры в Румынии не существует», а просто типографские работники решили эту книгу не набирать. Сходным образом, в июне 1990 года, уже при президенте Илиеску, все те же добродетельные печатники решили не набирать выпуск газеты «Ромыния либерэ», содержавший бескомпромиссную критику современной ситуации.

Даже в стане истинных диссидентов, побывавших в тюрьмах и прошедших застенки Секуритате за неподчинение режиму, и то согласия не было. Так, например, писатель Александр Ивасюк, отсидевший несколько лет за свои убеждения, впоследствии без особых колебаний, по словам его старого друга Пауля Гомы, пошел в осведомители.

«В 1957—1958 годах были мы с ним сокамерниками,— вспоминал Гома,— и наши отношения, казалось бы, гарантировали вечную и нерушимую дружбу. Он был осужден на 5 лет, я — на 2 года. Однако после освобождения наши пути разошлись. Меня отправили в пятилетнюю «внутреннюю ссылку» в провинцию, где мне даже не позволили стать деревенским библиотекарем, поскольку бывший политзаключенный не имел права работать в «идеологической» сфере; в итоге я устроился рабочим на заводе в Брашове. Последующая карьера Ивасюка сложилась совсем иначе. После двухмесячной ссылки ему разрешили вернуться в Бухарест, где и начался его взлет. После краткосрочной работы на заводе он попал в номенклатуру, стал переводчиком в посольстве США в Бухаресте, получил стипендию Фулбрайта и в конце концов оказался секретарем Союза писателей и директором киностудии и издательства. Когда я принес рукопись моего романа, он «заложил» меня властям, утверждая, что роман — это замаскированный пасквиль на Елену Чаушеску и других ведущих деятелей режима».

Назначение на должность переводчика в американское посольство служило для Гомы и его единомышленников неопровержимым свидетельством того, что Ивасюк избрал путь сотрудничества с режимом Чаушеску, поскольку подобная работа могла быть предоставлена румынскому подданному только при обязательном условии информировать соответствующие инстанции о всех своих контактах с американскими коллегами. Случай с Ивасюком — отнюдь не единичное явление. Работа переводчиком в посольствах, любая деятельность в туристических агентствах, требующая контактов с иностранцами, должности в министерстве внешней торговли — все эти места изначально предполагали тесное взаимодейст-

вие с Секуритате. Многие знаменитые интеллектуалы, среди них даже те, кто за свои взгляды и публичные высказывания подверглись в 50-х годах гонениям и тюремному заключению, вступили на путь коллаборационизма, прельстившись хлебными должностями, ибо в Румынии мало кто мог существовать только на литературные заработки. Противостоять соблазну заграничных поездок, доходных мест и просторных квартир оказалось очень трудно. Иностранцев, по свидетельству Гомы, совершенно обескураживала эта неисчерпаемая способность румын к обману и камуфляжу. «Лично для меня,— говорил Гома,— румынская стипендия Фулбрайта автоматически означала штамп Секуритате».

Таким образом, атмосфера недоверия и подозрительности, столь характерная для румынской компартии с момента ее основания, распространилась в эпоху Чаушеску и на писательское сословие.

В Чехословакии Вацлав Гавел был не единичным феноменом, но символом ширящегося интеллектуального сопротивления, группировавшегося вокруг комитета «Хартия —77», созданного во имя защиты прав человека сразу после Хельсинкского совещания 1977 года. К сожалению, в Румынии никакого общественного движения подобного рода организовать не удалось. По воспоминаниям Пауля Гомы, когда он, пытаясь созвать диссидентский форум, начал собирать подписи, то встретил решительный отказ со стороны своих коллег. Тогда он, стремясь привлечь внимание к своей изоляции, пошел на крайний шаг и написал письмо... Чаушеску в Королевский дворец, прося того поставить *свою* подпись под воззванием о необходимости создания собственного румынского «чартистского» движения, «поскольку,— писал он,— мне кажется, во всей стране осталось только два человека, которые не боятся Секуритате: это — Ваше Превосходительство и я. ...Я глубоко убежден, что стоит только Вашему Превосходительству обнародовать подобное письмо-декларацию в защиту «Хартии —77», как миллионы румын немедленно подпишутся под ним». Как потом, уже будучи в Париже, с усмешкой рассказывал Гома, «в письме я упомянул, что поскольку моя жена подписала это письмо вместе со мной, то, возможно, и Ваша жена тоже захочет подписать его, тогда мы предстанем в глазах общественности как две мирные супружеские четы». Этот невероятно смелый, почти на грани безрассудства, поступок Гомы застал Чаушеску врасплох. «Мы все ждали и ждали реакции,— говорил Гома,— но молчание длилось два месяца». В конце концов Гома был зверски избит и поставлен перед выбором: либо тюрьма, либо эмиграция. Он выбрал Париж. Через несколько лет на него и Вирджила Тэнасе (еще одного известного румынского литературного изгнанника) Секуритате организовала крайне неудачное покушение, получившее широкую огласку и покрывшее и Чаушеску и его охранку несмываемым позором.

Вполне естественно, что память об этом периоде все еще сильно влияет на взаимоотношения между небольшой группой писателей и интеллигентов, открыто противопоставивших себя режиму Чаушеску, и пестрым коллаборационистским большинством. Как тонко подметил профессор Дан Бериндей, если до 25 декабря 1989 года невозможно было опубликовать книгу *без* цитат из Чаушеску, то после 25 декабря немыслимо напечатать материал *с* его цитатами. Сам Бериндей для многих румынских интеллектуалов остается весьма противоречивой фигурой, а Гома безапелляционно называет его не иначе, как «оппортунист-коллаборационист». В постчаушескинской Румынии подобное навешивание ярлыков стало нормой поведения.

Я однажды попросил Криса Тау, бывшего румынского подданного, ныне британского кинорежиссера, работавшего до отъезда за рубеж (в 1978 г.) на румынском ТВ, объяснить мне, почему телевизионные боссы сочли необходимым занимать целых два часа лучшего эфирного времени под репортаж о ежедневной деятельности Чаушеску. Он объяснил мне.

что дело обстояло несколько иначе. Вероятно, какой-нибудь чиновник на ТВ предложил ежедневно давать 10-минутное резюме об официальных встречах и занятиях Чаушеску. Другой чиновник, стремясь выслужиться перед начальством, присвоил идею себе и увеличил время трансляции до 30 минут. И пока в верхних эшелонах румынского ТВ один подхалим соперничал с другим по части верности и преданности делу Чаушеску, программа разрослась до двух часов. В эпоху Чаушеску так происходило не только на ТВ, но и во всех сферах государственного планирования. Поскольку каждый горел желанием доказать свою верность и покорность режиму, постольку не было конца трагикомическим казусам.

Дан Петреску вспомнил случай, как однажды поздним летом Чаушеску решил посетить город Яссы, и местные власти распорядились посадить деревья по обеим сторонам дороги, ведущей в город. Деревья посадили слишком рано, и они успели увянуть до приезда Чаушеску. Тогда к дороге срочно пригнали отряд рабочих и заставили их выкрасить листья в зеленый цвет. В отличие от Чехословакии, где самых талантливых писателей либо отправляли в тюрьму, либо обрекали на физический труд, румынских поэтов и писателей государство старалось коварно обольстить и делало это подчас весьма успешно. Адриан Пэунеску, один из самых талантливых молодых поэтов 60-х годов, кончил тем, что стал доверенным лицом Чаушеску, расхвалил его до небес в пресловутой юбилейной книге «Омаджиу» и поставил помпезную карнавальную «мистерию», прославлявшую Кондукатора. Воспоминания об этих унизительных компромиссах все еще очень свежи и лишь подогревают всеобщее недоверие румын друг к другу.

Беспредел рождал беспредел. Николае был начисто лишен чувства юмора и потому совершенно не способен ощущать грань, отделяющую великое от смешного, а Елене было абсолютно неведомо чувство стыда, ибо ее «заимствования» из чужих работ и страсть к почетным степеням (что на языке психологии означает патологический поиск признания) превосходили все пределы.

При всей своей разобщенности и взаимных распрях, румыны единодушно сходятся в одном: Елена Чаушеску была злым гением Николае. Ее бывшие слуги утверждают, что единственные существа, к которым она питала нечто похожее на искреннюю любовь, были ее два лабрадора — Корбу и Шарона. Она беспрестанно брюзжала и занудствовала. По словам их пилота, полковника Малуцана, «что бы неприятного ни происходило, она во всем винила нас: это мы насорили на ковре в вертолете, это мы виноваты в плохой погоде, затруднявшей полет. Она никому не доверяла и всех ненавидела». На публике она еще старалась разыгрывать верную соратницу и подругу своего мужа, но за кулисами ее презрение к роду человеческому не обходило и его. «Ей-богу, он ее боялся,— уверял профессор Ион Арделяну.— Если он опаздывал на встречу с ней или на обед, он начинал поминутно смотреть на часы, заикаться и потеть». По словам другой особы, приближенной к Чаушеску, Елена постоянно пускала в ход два излюбленных приема сварливых жен: «без меня ты был бы никто» и «я — единственная, кому ты можешь доверять».

С 1968 года Елена была членом бухарестского муниципального комитета РКП, но уже в 1972 году она стала членом ЦК, а через год — членом исполнительного комитета. В 1979 году она стала фактически членом кабинета, поскольку являлась председателем Государственного совета по науке и технике; к 1980 году она уже была первым заместителем премьер-министра и самым могущественным после Николае лицом в государстве. Но куда более важным, нежели все эти титулы, было ее назначение на должность председателя Комиссии ЦК по государственным и партийным кадрам, что на деле означало полный контроль над всеми высшими партийными и государственными постами. Она столь же пренебрежительно обращалась с государственными и партийными со-

шками, как прежде с научными кадрами. «Она была вздорной и сварливой,— рассказывал бывший министр здравоохранения Эуджен Прока,— катастрофически бездарной и к тому же подлой; никто на свете не мог убедить ее изменить свое решение. И она была злым демоном Чаушеску. С Николае можно было разговаривать, в нем теплилось что-то человеческое, но Елена была абсолютным воплощением зла. Она была невероятно тщеславной и почти неграмотной. Она казалась смесью Имельды Маркос, Эвиты Перон и Цзян Цин. Вы спросите, как им, черт возьми, удалось пролезть на самый верх? Они обладали упорством и выдержкой, знали, как подбирать людей и контролировать систему».

Свой дурной нрав Елена вымещала на всяком, кто попадался ей под руку, независимо от чинов и званий. Один бывший фотограф рассказывал, что фотографировать Елену было самым страшным испытанием для всех его коллег, поскольку ей невозможно было угодить и она постоянно поносила снимающих. «Почему вы сделали мне такой длинный нос? Мы вам даем дорогую аппаратуру не для того, чтобы вы зря переводили пленку». Ее презрение к людям было беспредельным. Тот, кто имел несчастье ее прогневать, немедленно попадал в черный список и навсегда лишался работы по специальности. Ее язвительность и коварство вошли в поговорку. Она устраивала неожиданные облавы на кухне и затем обыскивала комнаты прислуги, проверяя, не разворовывают ли ее съестные припасы. Ее безмерная подозрительность доходила до того, что когда она посылала сыну Нику в Сибиу специально приготовленный йогурт, то приказывала закрывать крышки бидонов на замок, чтобы никто не мог украсть или отравить содержимое.

«Вернувшись однажды из Греции, она вдруг подарила мне коробочку с десятью турецкими сладостями,— рассказывал ее бывший главный камердинер.— Мне сразу дали понять, что это знак неслыханной милости с ее стороны. Сладости не предназначались для еды, их следовало хранить как священную реликвию».

Стремление Елены принизить всех прочих родственников из клана Чаушеску ярко проявилось во время их визита в США в октябре 1970 года, что засвидетельствовал Мирча Кодряну, работавший в то время сотрудником румынского посольства в Вашингтоне. «Она настойчиво требовала, чтобы ее провели по всем меховым магазинам Манхэттена, а также приказала самым известным ювелирам прийти с образцами своей продукции в ее нью-йоркскую резиденцию»,— рассказывал он. Чуть позже он сопровождал в аналогичной экспедиции одну из сестер Чаушеску. «Это была очень милая, скромная женщина,— сказал Кодряну.— В итоге она купила всего-навсего одно недорогое золотое колечко. Я спросил: «Почему вы не купите что-нибудь подороже?» Она ответила: «Елена не разрешает нам носить вещи, в которых мы выглядим лучше нее».

Ее жадность до международной славы и «иноземных» почестей была еще ненасытней, нежели у ее мужа, и подавляющая часть предварительной работы, проводимой в связи с предстоящим официальным визитом Чаушеску за рубеж, заключалась в добывании для Елены почетных степеней, удостоверяющих ее «ученые заслуги». «Будучи невежественной, необразованной, примитивной женщиной, она искренне полагала, что вереница титулов, сопровождающих ее имя, действительно может изменить ее суть»,— заключил Кодряну, который, кстати, по обвинению в мнимом шпионаже был приговорен к смертной казни и освобожден только после свержения Чаушеску.

Накануне визита высокопоставленной четы в Букингемский дворец румынская подготовительная группа предприняла отчаянную попытку добыть для Елены звание почетного члена Королевского научного общества. Оксфордский и Лондонский университеты также подверглись атаке, но успешно ее отразили, и Елене пришлось довольствоваться почетным членством в Королевском институте химии и почетной степенью

в Центральном лондонском политехническом институте. На торжественном заседании профессор сэр Филип Норман, вице-канцлер Лондонского университета, высоко оценил ее вклад в макромолекулярную экспериментальную химию, особенно в области «стереоспецифической полимеризации изопрена, стабилизации синтетического каучука и сополимеризации». Как рассказывал позднее Мирча Корчовей, один из научных сотрудников Института химических исследований, который был реальным исследователем в этой области: «Нам объявили: ни одна конференция не будет проведена, ни одно исследование не будет опубликовано, если там не будет значиться фамилии Елены. Мы никогда ее не видели, она ни разу не давала о себе знать за все время научных экспериментов и после того. Она даже понятия не имела о нашем существовании. Мы публиковали под ее именем труды, слова в которых она не только не понимала, но не в состоянии была бы даже произнести».

Подобного рода награды и панегирики ведущих западных политиков в адрес Чаушеску должным образом освещались в румынской прессе и по ТВ, способствуя дальнейшей моральной деградации и социальной пассивности творческой интеллигенции. «Всякий раз, когда рапортовали о новой почетной степени,— рассказывал Бериндей,— мы падали духом». В нынешней постреволюционной Румынии как-то не принято вспоминать, что те самые люди, которые теперь яростно критикуют западных лидеров и интеллектуалов за неуемное восхваление Чаушеску, сами во времена оны проявляли постыдное малодушие. Исключение составляла лишь румынская Академия наук, которая до самого конца держала круговую оборону против попыток Елены подмять ее под себя. Будучи с 1974 года ее членом, Елена лелеяла мечту стать ее президентом; мечта, однако, разбивалась о стойкое сопротивление академиков. В конце концов она подорвала влияние Академии наук, создав целую сеть новых академий — по одной на каждую область знания — и нашпиговав их своими выдвиженцами.

Елена и Николае весьма существенно отличались друг от друга по характеру. Как пояснил профессор Георгиу: «Он умел обращаться с людьми, он льстил им. Он мог сказать нечто вроде: «Вы выдающийся хирург, но вы ничего не смыслите в управлении». Он также любил выставлять напоказ своих придворных интеллектуалов перед именитыми иностранными гостями типа Аверелла Гарримана. В таких случаях он обычно говорил: «Вот моя интеллектуальная конница». «Если вы неустанно повторяли, что такая-то идея первоначально исходила от него, то в ряде случаев его можно было склонить к ее осуществлению»,— говорил бывший министр здравоохранения Прока. Но с Еленой Чаушеску любой диалог был бессмыслен. Она шла к цели с помощью угроз и издевательств.

Хвалебные псалмы в честь Елены стали неотъемлемыми религиозными ритуалами румынской жизни. Ведущие поэты соперничали друг с другом в изобретении новых немыслимых гипербол. Так, типичное пиитическое творение в честь 60-летнего юбилея посвящалось «первой женщине страны, гордости всей страны. Подобно звезде, мерцающей подле другой на вековечной небесной тверди, стоит она рядом с Великим мужем и озирает очами победоносный путь Румынии». Средства массовой информации уже давно привычно называли ее не просто товарищем-академиком-доктором-инженером, но «передовым фронтом колоссальной политической активности, сыгравшим решающую роль в становлении румынской науки, образования и культуры». Румыны на всю эту бредятину реагировали с поистине висельным юмором; «Чаушвенцим», «Чаусима», «Паранополис» — так называли они свою страну, распластанную под пятой Чаушеску.

По мере развития культа личности Чаушеску, состав и качество

руководства в средних и верхних эшелонах власти претерпевали драматические изменения. В 1968—1971 годах многие уважающие себя политики еще верили, что игра в пестование гениальности Чаушеску стоит свеч. Даже после 1971 года тех, кто не желал больше мириться с удушающей атмосферой низкопоклонства и угодничества — вплоть до ухода в отставку и даже полного разрыва с режимом,— было весьма немного. В этом отношении довольно показательна судьба нынешнего румынского президента Иона Илиеску. Стартовав с поста первого секретаря румынского комсомола, где он успешно провел операцию по «чистке» студенческой среды, за что и удостоился благосклонности Чаушеску, он сделал молниеносную карьеру и стал членом заветного круга приближенных Кондукатора, где и пребывал до осени 1971 года, покуда не осмелился покритиковать некоторые аспекты культурной политики Чаушеску. В это время он был ключевой фигурой ЦК, ответственным за культурные связи. После 1971 года его понизили в должности и подвинули в сторону. Его дальнейшая карьера включала в себя посты районного партсекретаря в Тимишоаре и других округах, а также второстепенные министерские должности (вроде министра водоснабжения). В декабре 1989 года его назначили директором ведущего издательства технической литературы «Эдитура Техникэ». «Политика Чаушеску в отношении диссидентов была довольно тонкой,— считает Эмануэль Валериу.— У нас на этот счет была поговорка: он оставлял всех плавать в аквариуме с золотыми рыбками».

Несколько рыбок, правда, повыловили, но с течением времени «заветный круг» стал превращаться в ревниво и зорко охраняемый заповедник, доступный лишь родственникам и подхалимам. «Социализм в рамках одной семьи»,— говаривали румыны. Помимо Елены ключевые государственные посты занимали два ее зятя, а также племянник. Георге Петреску, Гогу, в ранней юности прозванный «болваном», стал заместителем премьер-министра, Илие Чаушеску, старший брат Николае,— заместителем министра обороны. Николае-Андруцэ, другой брат, генерал-лейтенантом и ключевой фигурой в министерстве внутренних дел. Несколько родственников стали министрами или членами ЦК. Нику, беспутный младший сын Елены и Николае, возглавил сначала комсомол, стал членом ЦК, а затем — первым секретарем областного комитета партии в Сибиу и кандидатом в члены священного Исполнительного комитета ЦК.

Разумеется, любые упреки в непотизме гневно отвергались. «Знакомство с истинной биографией людей, близких к г-ну Чаушеску, помогает нам понять, как все здесь просто и естественно,— писал анонимный агиограф.— Они сами выбрали свой путь в соответствии с их образованием, склонностями и профессиональными качествами. Некоторые журналисты порой так увлекаются поисками родственников главы государства на ответственных постах, что слепо доверяют ложным цифрам, слухам и сплетням, а также тенденциозным интерпретациям».

«Скажите, пожалуйста,— обратился однажды к румынскому лидеру зарубежный журналист,— как вы оцениваете роль мадам Чаушеску, которая, будучи вашей женой, к тому же является и политическим деятелем?» Ответ Чаушеску, помещенный в анонимной биографии, выпущенной издательством «Пергамон пресс», представляет собою не только классический памятник лицемерия, но и прекрасный образец типично чаушескинской «логореи» (то бишь словоблудия), ибо без невыносимо выспреннего, назидательного и бессмысленного нанизывания словес он был не в состоянии ответить на простейший вопрос: «Чтобы ответить вам, я начну с общей характеристики механизма государственного управления в нашей стране. В румынском социалистическом обществе главенствует принцип коллективного руководства. Это означает, что в различных совещательных органах (кадровых, партийных, государственных) активисты участвуют в принятии решений при опоре на широкие массы трудящихся; такова одна из важнейших особенностей социалистической демократии

в Румынии. Данные совещательные органы имеются на каждом предприятии, во всех экономических и социальных звеньях хозяйства, в которых принимают участие представители рабочего класса и других слоев населения. Все эти органы работают в духе коллективизма, принимают коллективные решения по всем вопросам. Государственное управление опирается на принцип коллективного руководства, а в партии, в период между съездами, Центральной комитет и Исполнительный комитет являются теми органами, которые решают все проблемы, связанные как с внутренним развитием страны, так и с ее внешней политикой. Таким образом, наряду с другими членами правительства, Елена Чаушеску вносит свой посильный вклад в решение вопросов развития нашего общества».

Несмотря на суровый контроль, засилье стукачей и жесточайшую «информационную диету», румыны тем не менее были прекрасно осведомлены о всех домашних неурядицах в священном семействе. Сплетни разносили сведения о разрыве Валентина с семьей, о бурной личной жизни Зои, о женолюбии Нику и его пристрастии к автомобильным гонкам в пьяном виде и дебошам в ночных ресторанах. Отсутствие прямой информации и свободной прессы невольно порождало кривотолки и необоснованно преувеличивало как грехи Нику, так и количество любовных приключений Зои. В свете нынешнего дня можно определенно сказать, что все трое детей Чаушеску были скорее жертвами, нежели баловнями системы. Но культ личности изо всех сил пытался насадить идеалистический образ семейной жизни Чаушеску; например, в «Омаджиу» мы читаем:

«С восхищением и уважением взираем мы на гармонию его [т. е. Чаушеску] семейной жизни. Мы придаем особое этическое значение тому факту, что вся его жизнь — бок о бок с его верной помощницей, бывшей ткачихой, комсомольской активисткой, членом партии с подпольных времен, а ныне Героем социалистического труда, членом Центрального комитета РКП, товарищем Еленой Чаушеску — является образцовым примером судеб двух коммунистов... Трое детей Президента, следуя заветам родителей, как и мы все, трудятся на благо победы социализма в Румынии. Все это свидетельствует о том, что труд и личный пример являются основными заповедями в семье Чаушеску».

При чтении этой ахинеи всеведущие румыны давились от смеха и ярости. Всем было хорошо известно, что жена Валентина Чаушеску — Иордана Борилэ (наполовину еврейка) — была изгнана из «заветного круга», и в результате супруги лишились почти всех номенклатурных привилегий, жили в маленькой двухкомнатной квартире. Валентин, которого в итоге разлучили с Иорданой и сделали членом ЦК, добровольно сдался новообразованному Фронту национального спасения прямо в день бегства своего отца. Его арестовали, но судить, вероятно, не будут, ибо лидеры Фронта, особенно Петре Роман и президент Ион Илиеску, прекрасно знают, что *их* привилегии при жизни Кондукатора были куда большими, нежели у Валентина. Если даже суд состоится, Валентин Чаушеску с полным основанием может утверждать, что его отношения с родителями были крайне напряженными, а его ненависть к Елене — неподдельной. В Институте ядерной физики, где он работал после окончания Лондонского университета, у него осталось много сторонников.

Аналогичным образом складывалась и судьба Зои. Еще будучи студенткой математического факультета, она поняла истинную суть режима, созданного ее родителями, и возненавидела его. В 1974 году она убежала из дома, и все силы Секуритате были брошены на ее поимку. Супруги Чаушеску вызвали к себе на личный допрос Надю Бужор, в девичестве Надю Бэрбулеску (племянницу Николае, дочь его младшей сестры Елены), поскольку они знали, что Зоя и Надя подруги. «Николае осыпал меня проклятиями, кричал, что бросит в тюрьму, если я не скажу, где она,— вспоминала Надя.— Елена действовала хитрее и вкрадчивым

голосом увещевала меня: «Я думала, что ты наш друг». Эта сцена так испугала Надю, что когда Зоя вернулась в лоно семьи, она, страшась за свою жизнь, предложила больше не встречаться. «Жизнь Зои была постоянным кошмаром,— вспоминала Надя.— Она хотела вырваться из «заветного круга», но понимала, что обречена; куда бы она ни скрылась, длинная рука Секуритате все равно настигла бы ее. Она часто с горечью восклицала: «Господи, что же мне делать в этой жизни?»» Николае и Елена были убеждены, что это Надя подбила Зою на мятеж. Надя училась на психологическом факультете Бухарестского университета, и они обвиняли ее в том, что она «подвергла Зою психоанализу».

Неудачный побег Зои обернулся для румынского ученого мира подлинной катастрофой. Зоя работала в весьма престижном математическом институте, и Чаушеску, считая институт главным виновником «богемного мировоззрения» дочери, распустил его, распылив научный состав по многочисленным научно-исследовательским организациям. Вследствие этого, по словам бывшего министра образования Мирчи Малицы, «свыше двухсот первоклассных математиков покинули страну и в итоге осели в США; это была самая масштабная перекачка мозгов в послевоенной истории европейской страны». Используя семейные связи, Зоя помогла многим своим коллегам достать выездные визы, и это еще больше взбесило родителей. В конце концов в 1977 году был закрыт и факультет психологии. Арестованные после смерти их отца, Валентин и Зоя через 8 месяцев были выпущены на свободу.

Из всех детей Чаушеску только младший, Нику, казалось, не тяготился родителями. Он тоже был под неусыпным наблюдением Секуритате, но поскольку он открыто не бунтовал, родители нянчились с ним, прощая и пьянство и «плейбойские» замашки. Правда, получив пост первого партсекретаря в Сибиу за несколько лет до декабрьской революции 1989 года, он неожиданно проявил деловые качества. Во время суда над ним в 1990 году многие очевидцы засвидетельствовали, что он пытался решить продовольственную проблему и хоть как-то улучшить условия жизни в подвластном ему регионе. Во всяком случае большинство леденящих душу историй об изнасилованиях, сексуальных извращениях и садизме Нику (согласно одной популярной байке, он якобы приказал вырвать ногти на руках Нади Команечи в отместку за то, что знаменитая гимнастка отвергла его ухаживания) оказались чистейшей воды выдумкой румынских обывателей, ищущих объяснения тому экономическому и моральному банкротству, в которое погружалась страна. Сходным образом слух о том, что будто бы Чаушеску каждый день менял костюм, а старый уничтожал, символизировал для людей безрассудную расточительность правительства в то время, когда румыны сбивались с ног в попытках найти мало-мальски приличную пару обуви. В 1990 году бывший портной Чаушеску, заведовавший довольно большим, но вполне обычным для главы государства гардеробом Кондукатора, убедительно доказал, что подобный слух столь же необоснован, как и жадно передаваемая из уст в уста (уже после смерти Чаушеску) сказка о том, что ему якобы переливали кровь замученных румынских детей,— история, явно навеянная легендой о Дракуле.

В поразительно уродливом по убранству Весеннем дворце — бухарестской резиденции Чаушеску — три комнаты были специально зарезервированы для их детей, которые, однако, туда не приезжали. По словам одного из дворцовых работников, во время царствования Чаушеску эти стены никогда не видели гостей, даже дети не переступали порога дворца, хотя они иногда тайно навещали бабушку, жившую в отдельном доме слева от главного входа во дворец. 22 декабря ее, ста двух лет от роду и в полном маразме, нашли разгуливающей в одной ночной рубашке по двору и забрали в больницу, где она спустя несколько дней

и скончалась, оставаясь в полном неведении относительно злосчастной судьбы ее сына. Она, по показаниям прислуги, в последние годы тоже не имела почти никакого отношения к Елене и Николае и даже почти не виделась с ними, хотя в целях пропаганды румынская пресса регулярно печатала фотографии Елены со своим престарелым отцом и Николае со своей матерью. По рассказам тех же слуг, в последние годы несчастная старуха недоуменно сокрушалась, почему ее, как пленницу, держат взаперти и почему внуки больше не приезжают к ней.

Начало падения

«Сейчас я выйду вперед и скажу: Царь Царей предпочитал выбирать себе плохих министров. И Царь Царей предпочитал их хорошим, потому что очень любил представать на их фоне в самом выигрышном свете. Как бы он смог подать себя выигрышно, буде он окружен хорошими министрами? Люди были бы сбиты с толку».

Рышард Капусцинский. «Император»

В июне 1971 года, спустя год после первого визита в США, Николае и Елена Чаушеску отправились в другое официальное турне — на этот раз по Китаю, Северной Корее и Вьетнаму. Эта поездка оказалась чреватой бесчисленными драматическими последствиями для Румынии. Супруги всегда были падки до чужих идей, а посему они всерьез восприняли «уроки» пресловутой китайской культурной революции. К этому времени мировое сообщество уже начало осознавать ее невероятные издержки и жестокость, но для непосвященного наблюдателя культурная революция представала грандиозным экспериментом в области социальной инженерии.

На высокопоставленную чету неизгладимое впечатление произвел также прием, устроенный ей в Пхеньяне. Именно здесь, в строго геометрическом разбеге улиц, в бесчисленных анфиладах типовых домов, в монолите ликующей толпы, в восхищении, оказанном им как гостям «божественного» Ким Ир Сена, в сказочно чистых заводах, населенных, по всей видимости, счастливыми, машущими флажками рабочими, и в гудящих, подобно гигантскому улью, индустриальных комплексах, Чаушеску впервые увидел живое воплощение его давней, истинно сталинистской мечты: претворение в действительность «Коммунистического манифеста» Карла Маркса.

Несмотря на умелое манипулирование партийными кадрами, на полное уничтожение потенциальных противников и на искусную тактику «диссидентства» в отношениях с Западом, Чаушеску во многих аспектах оставался очень наивным человеком. Он всецело разделял страстную любовь румынского плебса к карнавалам, парадам и шествиям. Его культурный уровень был чудовищно низок. «Мне ни разу не доводилось поговорить с ним о чем-нибудь, не имевшем прямого отношения к работе,— рассказывал Маурер, бывший с 1962 года и до середины 70-х годов одним из его ближайших помощников.— Не помню случая, чтобы он хоть раз упомянул о литературе или искусстве. Эта сторона жизни для Чаушеску просто не существовала». Его презрительное недоверие к коллегам и соратникам граничило с паранойей, но он до самого конца свято верил, что массовые демонстрации в его честь символизируют некое мистическое единение с народом. С начала 70-х годов он стремительно терял связь с действительностью. По мере того, как он старел, а внутрипартийная борьба практически сошла на нет, он все более укреплялся в мысли, что восторженно-экстатические манифестации суть единственно возможная форма «общения» с народом, хотя этот ритуал давно превратился во всем осточертевшую, отрепетированную принудиловку. Вот почему его так впечатлили парады и представления, устроенные в его честь в Китае

и Северной Корее. Ему даже в голову не приходило, что эти страны могут быть не чем иным, как большими потемкинскими деревнями, созданными для втирания очков впечатлительным иностранным визитерам, хотя эта мысль явно посетила и обеспокоила Иона Илиеску, сопровождавшего Кондукатора в его азиатском турне.

Китайский визит был судьбоносным еще по одной причине: честолюбивая и беспринципная жена Мао, Цзян Цин, прониклась симпатией к Елене Чаушеску. Их судьбы внешне были очень различны. Путь Цзян Цин к вершине власти начался с должности разбитной киностатистки, готовой во имя карьеры спать со всеми шанхайскими киномагнатами, кто клюнул на ее несколько худосочные прелести. Однако карьера не удалась, и она нашла применение своим талантам в другой области, соблазнив Мао и став ему в сексуальном, эмоциональном и профессиональном плане незаменимой партнершей.

Несмотря на разность судеб, обе женщины были одинаково жестоки, необразованны, антиинтеллектуальны, привержены прямолинейным и примитивным идеям, гарантирующим быстрые результаты и не требующим глубокомысленных рассуждений, обе стали незаменимыми спутницами великих мужей. На извращенно-тоталитарный лад Цзян Цин была безусловной феминисткой, невероятно преуспевшей в сугубо мужском мире, и Елена, глядя на нее, воспылала желанием самой стать политически активной фигурой.

«Достижения» китайской культурной революции (с ее упором на «революционное перевоспитание», искоренение индивидуализма и старой символики) произвели глубокое впечатление на супругов Чаушеску. Конечно, проще всего посмеяться над впечатлительной четой, представив ее парочкой недоделанных сталинистов, принявших костюмированный кошмар за социальную революцию. Однако не следует забывать, что Николае и Елена были далеко не единственными странниками, очарованными «Великой китайской культурной революцией». В 1971 году ее восторженными сторонниками оказались не только западные студенты, художники и интеллектуалы, но даже некоторые всемирно известные китайские ученые вкупе с охапкой почтенных гарвардских профессоров.

Китайские впечатления лишь укрепили в Чаушеску его давнишние предрассудки — тот набор марксистско-ленинских мировоззренческих штампов, который, за неимением подходящего термина, можно условно назвать «идеей Чаушеску». Китай также наглядно подтвердил его твердое, но до сей поры тайное убеждение, что марксизм-ленинизм и национал-шовинизм могут идти рука об руку. Китайские достижения пробудили в Николае желание добиться бóльшей экономической самостоятельности Румынии, а также навести больший порядок в этой расхлябанной латинской стране с ее неискоренимым пристрастием к индивидуализму и мудрствованию даже после многолетнего коммунистического управления. Образцы «социальной инженерии», явленные супругам Северной Кореей и Китаем, проливают свет на последующие политические нелепости Чаушеску; уже в который раз Кондукатор безоглядно хватался за чужие «чудодейственные» идеи ради скорейшей победы истинной революции, описанной в «Коммунистическом манифесте». Только с учетом этого азиатского турне 1971 года можно понять смысл его попыток «уравнения» города и деревни, т. е. слияния их в единую безжизненную антиэстетическую «агропромышленную общину», или стремление изменить облик Бухареста, взяв за образец бездушный симметризм Пхеньяна. Чаушеску хорошо помнил свой первый визит в Азию, когда в 1964 году, еще не будучи генсеком, он сопровождал Эмиля Боднэраша, приехавшего в Северную Корею и Китай для закупки оружия. Изменения, которые, по его словам,он наблюдал в Пхеньяне в 1971 году, были столь разительными, что казались почти неправдоподобными. Вот пример общественных преобразова-

ний, который надо взять на вооружение, невзирая ни на какие материальные и людские затраты.

Не успел Чаушеску вернуться в Румынию, как он недвусмысленно дал понять, что с этого момента начинается бесповоротный отход от реформаторских планов à la Дубчек, или, по словам опального в то время лидера Крестьянской партии Иона Рациу, «отступление от Праги». В начале июля Чаушеску провел несколько собраний партийной верхушки, где выдвинул ряд мер, названных в среде самих идеологов РКП «миникультурной революцией». Меры предусматривали более жесткий, централизованный контроль за сферой культуры, образования и средствами информации, перемещение акцента на «массовую агитпропаганду», народные празднества и фестивали с преобладанием патриотической тематики и фольклорных танцев, упрощенные для всеобщего понимания театральные постановки и т. д. Западные «декадентские» формы развлечения — рок-концерты и дискотеки — были либо запрещены, либо урезаны до минимума, как, впрочем, и импорт зарубежных фильмов и книг. Особое внимание теперь уделялось самобытной истории Румынии как «уцелевшей нации», в тяжелой борьбе одолевшей всех иноземных завоевателей.

Вслед за этим последовали более суровые законы о печати. Одним из последствий закручивания «культурных» гаек стало смещение Илиеску с поста секретаря ЦК по культурным связям за его критику нового курса. Вряд ли можно считать простым совпадением и тот факт, что вскоре после возвращения супругов из Азии в «Скынтейе» появилась фотография Елены Чаушеску, в подписи под которой ее впервые называли не просто женой Николае, но «доктором инженерных наук Еленой Чаушеску, директором Центрального института химических исследований».

В последующие несколько месяцев спешно созданный Совет по социалистической культуре и образованию, подчинявшийся непосредственно ЦК, довершил процесс перехода под тотальный контроль партии всех средств массовой информации. Чаушеску и до поездки в Китай всегда пропагандировал популистский взгляд на культуру, неустанно напоминая своей послушной пастве, что в стране, стремящейся к построению «научного социализма», литература и искусство не могут себе позволить роскошь стать эзотерическими. По возвращении с Дальнего Востока он приказал всем театральным и издательским коллективам включать в свой состав «представителей от рабочих и крестьянских организаций». Это гарантировало надежную защиту как от любых авангардистских поползновений, так и от маломальской, даже завуалированной критики Чаушеску. В отличие от Польши и Германии, в Румынии не было мощной традиции сатирических театров-студий и кабаре, но бдительная Секуритате в любом случае в зародыше пресекла бы попытки такого рода.

С каждым годом петля затягивалась все туже. В начале 80-х годов обладателей пишущих машинок обязали зарегистрировать свои «орудия производства» в полиции и получить специальное разрешение на их хранение, иначе машинки конфисковывались без предупреждения и без права возврата. На государственных предприятиях, имевших множительную технику, были введены строжайшие до идиотизма ограничения на ее использование. В отличие от других стран Восточной Европы, Румыния не пережила самиздатовского бума. Индивидуальная закупка большого количества писчей бумаги могла запросто обернуться для покупателя доносом продавца магазина в Секуритате с последующим пристрастным дознанием. Всеобщая запуганность, ужас перед Секуритате обусловили полную покорность населения, под конец переросшую в глубокую апатию. Румыния не явила миру ни своего Сахарова, ни своего Вацлава Гавела, и почти никого из той славной диссидентской гвардии, которая в Польше, Венгрии, Чехословакии и Советском Союзе зажгла и пронесла сквозь темные 60—70-е годы факел духовной и политической свободы. Сказался

также и румынский национальный характер, помноженный на специфические особенности режима Чаушеску, в том числе и на атмосферу всеобщей подозрительности и засилье стукачей. Тирания была всеобъемлющей, но победила она минимальными усилиями, во всяком случае в интеллектуальной среде; «исторический» разрыв между интеллектуальной верхушкой и остальным населением существенно облегчил задачу охранке.

Надо признаться, Чаушеску проявил куда бóльшую изощренность, чем Мао или Ким Ир Сен, в усмирении тех, кто осмелился протестовать против его политики «мини-культурной революции». Хотя, как и следовало ожидать, новая культурная политика разъярила интеллектуальную элиту, Чаушеску весьма успешно погасил волну протестов, избрав — по крайней мере на первых порах — тактику уговоров и отеческой укоризны. По воспоминаниям Пауля Гомы, гнев, охвативший писателей, излился в бурных речах и яростных нападках на сторожевых псов культурной политики Чаушеску — Думитру Попеску, Думитру Гише, Василе Николеску, в чью задачу входило непосредственное осуществление директив Кондукатора. «Мы, как дети, специально проверяли, насколько далеко можно зайти, не получив шлепка,— рассказывал Гома.— Наши собрания в Союзе писателей по буйству и свободе самовыражения доходили почти до карикатурных масштабов. Мы оскорбляли этих шавок, мы обзывали их убийцами, могильщиками культуры, дерьмом. Они смиренно подставляли нам другую щеку. Помню, как после очередного собрания в Союзе, окончившегося чуть ли не потасовкой, я, выходя вместе с Гише, спросил его: «Ну что, вы уже вызвали «воронок»?» — «Отнюдь нет, товарищ,— ответил он.— Очень хорошо, что вы немного повыпускали пар. Внутри Союза можете болтать что угодно, но если вы, ребята, откроете рот за порогом этого здания, все будет совсем-совсем иначе».

Подобный же подход к «заблудшим овцам» распространялся (правда, в несколько меньшей степени) и на саму партию. Внутри ЦК и его подкомитетах негласно действовал принцип «парламентской неприкосновенности». Илиеску был смещен с должности и переведен на худшую работу, но его не арестовывали, не допрашивали и не преследовали. Чаушеску инстинктивно понимал, что такая слегка двусмысленная форма репрессии наиболее эффективна в румынских условиях. Даже в последние годы, когда Кондукатор был в состоянии, близком к клиническому безумию, он все же не терял инстинкта самосохранения. После своего поразительно смелого шага, прямо-таки вызова, брошенного Чаушеску в 1977 году, Гома ожидал карательных мер. Причину сравнительно мягкой реакции Секуритате на его проделку писатель усматривал в нежелании Чаушеску ссориться с Джимми Картером, с которым у него установились теплые отношения и который был убежденным сторонником прав человека. Конечно, годы, предшествовавшие декабрьской революции 1989 года, были отмечены и гнусными расправами, и избиениями, и даже несколькими случаями насильственной депортации мятежных шахтеров и профсоюзных деятелей. Но эти жестокие меры проводились выборочно, с целью посеять страх в душах людей, так сказать «убить цыпленка ради устрашения обезьяны». Репрессивность режима стремительно возрастала, но апологеты Чаушеску не без основания утверждали, что в Румынии политических заключенных куда меньше, чем в Югославии. Как неоднократно повторяли румынские интеллектуалы после декабря 1989 года, «Георгиу-Деж был более жесток и чаще прибегал к лагерям, тюрьмам и военным трибуналам, но Чаушеску пас нас куда лучше».

Еще одна радикальная мера, принятая Кондукатором по возвращении в Румынию в конце июня 1971 года, касалась областной партийной и государственной администрации. С этого момента районные партсекретари и их аппарат были посажены на весьма короткий поводок. Цель была

достигнута посредством неожиданных служебных перемещений, которые следовали столь быстро и непредсказуемо, что ни один чиновник не был уверен, что он просидит в служебном кресле дольше двух-трех месяцев. Чехарда назначений в среднем эшелоне партийной власти напоминала известную басню про квартет и осуществлялась по прихоти Кондукатора, а после 1979 года — его жены. В этой, на первый взгляд, совершенно параноидальной сумятице передвижек, несомненно, присутствовала некая скрытая логика. Чаушеску, очевидно, опасался, что долгое пребывание на одном месте позволит партийному чиновнику создать собственную опору власти и с течением времени больше прислушиваться к нуждам местного населения, нежели к его, Чаушеску, директивам. Подобная кадровая политика принесла, разумеется, не предусмотренные реформатором результаты: по мере углубления экономического кризиса произвол и коррупция местных властей возрастали, ибо краткосрочность владычества лишь разжигала их аппетит.

Закручивание гаек не ограничилось идеологической сферой. На июльском партийном съезде 1972 года Чаушеску стал устанавливать непомерно высокие темпы роста для промышленного и сельскохозяйственного производства. Что еще прискорбней, желаемого предполагалось достичь не путем увеличения капиталовложений, но путем более интенсивного использования уже существующих ресурсов. И опять-таки стимулирование посредством кнута и пряника не носило на первых порах откровенно репрессивного характера; лишь постепенно, с развалом экономики жизненный уровень населения стал угрожающе падать. Введение на предприятиях сдельной оплаты, призванной сократить прогулы и безделье и вознаградить трудолюбивого работника, было сведено на нет дурацкими законами о «распределении прибыли», фактически вводившими в заводскую организацию труда элементы средневекового крепостничества. Рабочие в первые пять лет работы на заводе были, по существу, привязаны к своему месту, поскольку в этот период половина их «доходов» держалась на замороженном банковском счете. Если рабочий уходил с завода, он терял свои сбережения, и в то же время государство в любой момент могло перевести его на другой завод без его согласия и без какой-либо компенсации.

Непреклонная верность Чаушеску принципам сталинской экономики и в высшей степени своеобразное претворение их в жизнь неизбежно повлекли за собой катастрофу. Следует скорее удивляться, как долго ему удавалось скрывать свои промахи. Революция 1989 года произошла бы намного раньше, не будь у Кондукатора двух могущественных покровителей: международных банковских консорциумов и поддержки (до 1979 г.) иранского шаха. Банки буквально сражались друг с другом за честь предоставить кредиты храброй маленькой Румынии, не побоявшейся дать отпор самому Советскому Союзу, а шах преподнес Чаушеску поистине бесценный подарок в виде бартерного соглашения на иранскую нефть по твердым ценам. Но займы, вкладываемые в румынское производство, рождали такую устаревшую и низкокачественную продукцию, что ни одна развитая страна и смотреть на нее не хотела, а низвержение шаха привело к коренному пересмотру иранского договора. С 1979 года Румынии пришлось расплачиваться за нефть валютой по мировым ценам, а заводы, построенные на банковские кредиты, были весьма энергоемкими предприятиями. Один алюминиевый комплекс в Слатине потреблял столько же энергии, сколько весь Бухарест.

Стремление Чаушеску развивать нефтеперерабатывающую промышленность тоже потерпело неудачу: к 1979 году огромные капиталоемкие комбинаты вырабатывали лишь 10% своей мощности. К другим печальным экономическим ошибкам можно приплюсовать и строительство Дунайско-Черноморского канала, в результате оказавшегося ненужной рос-

кошью, а также дорогостоящих автострад, ставших памятниками неосуществившегося материалистического рая, ибо к 80-м годам в связи с жесточайшим топливным кризисом бензин был нормирован, а частные машины почти повсеместно запрещены.

И Оливия Мэннинг в 1939 году, и Айвор Портер в 1944-м отмечали богатство и многочисленность румынских продуктовых рынков, а также изобилие высококачественных и дешевых овощей. Постепенно в Румынии стала сворачиваться и эта отрасль производства, ибо, верный сталинской ортодоксии, Чаушеску ввел твердые государственные цены даже на продукты, выращенные в личном подсобном хозяйстве. Положение ухудшилось до такой степени, что в 1981 году впервые после войны вновь пришлось вводить хлебные карточки, а «утаивание» продуктов стало серьезным уголовным преступлением. Рабочим, жившим в пригородах, запрещалось покупать еду в городе, в котором они работали. Жесточайшая нехватка продуктов, породившая многочасовые очереди и, как следствие этого, прогулы, была сама по себе вещью малоприятной. Но куда более оскорбительными для людей были беспрестанные лекции Чаушеску о сбалансированном диетическом питании и его причитания по поводу того, что «румыны слишком много едят». Если верить бумаге, дела в Румынии обстояли просто превосходно; согласно статистике, в стране наблюдался ежегодный количественный рост всех видов сельскохозяйственной продукции. Официальные цифры были дутыми по многим параметрам, поскольку базировались на количестве произведенного, а не потребляемого продукта, тогда как с конца 70-х годов подавляющая часть высококачественных пищевых товаров экспортировалась за рубеж для покрытия огромных внешних задолженностей Румынии. Статистические данные по пищевой промышленности в своей правдивости соперничали с цифрами покупательского спроса на собрания сочинений Чаушеску. Как чистосердечно поведал после смерти Чаушеску его бывший «культурный цербер» и бывший директор книжного издательства «Хуманитас» Думитру Гише, «все экземпляры собрания сочинений Николае Чаушеску, едва поступив на прилавки, должны были в обязательном порядке быть распроданы». Члены партии, целые заводы и учреждения безоговорочно приобретали книгу в качестве дополнительного подушного налога. «Процент раскупаемости трудов Чаушеску стремительно возрастал с каждым годом, и так продолжалось до 1989 года»,— рассказывал Гише.

Последнее тягчайшее оскорбление народ перенес в 1985 году, когда Чаушеску разработал для него идеальную «научную» диету, согласно которой каждому румыну (по крайней мере, на бумаге) ежегодно полагалось по 54,88 кг мяса, 114 яиц, 20 кг фруктов и овощей, 45,3 кг картофеля, 144,5 кг муки, 14,8 кг сахара, 9,6 кг сливочного и животного масла, 1,1 кг маргарина. Разумеется, действительный рацион был несравненно ниже идеальных цифр, и румыны без особой радости наблюдали по телевидению ломящиеся от яств столы, когда клан Чаушеску праздновал какой-нибудь очередной день рождения.

Сами же супруги Чаушеску с середины 70-х годов были крайне озабочены проблемой калорий. Чувствуя, что полнеет, Елена в начале 70-х годов села на жесткую диету, ее примеру вскоре последовал и Николае, который, к слову сказать, был неприхотлив в еде. Он любил простую крестьянскую пищу, вполне довольствуясь закуской из помидоров, овечьего сыра и зеленого лука. Все продукты для Чаушеску поставлялись со специальной, «органически чистой» фермы, при трапезе обязательно присутствовали диетолог и дегустатор. Даже в зарубежные поездки супруги отправлялись с собственным провиантом, который за сутки до подачи на стол проверялся в лаборатории. Николае и Елена почти всегда завтракали вдвоем, без гостей, и за столом Елена, как обычно, невыносимо занудствовала. Бывший управляющий рассказывал, что она никогда не была довольна принесенной едой. «Когда я сама готовила мужу шпинат,

он был гораздо вкуснее»,— зудела она, а Чаушеску похлопывал ее по руке и бормотал: «Не надо, дорогая, не надо».

Истерики и тиранство Елены по отношению к многочисленной домашней обслуге вошли в легенду. На громадной вилле Фоишор [1], где Чаушеску приказал пристроить 15-тикомнатный флигель, в котором они никогда не жили («потому что Елена не выносила запаха краски»), она запихивала под ковер и в углы шпильки, чтобы проверить, насколько тщательно убираются слуги. Очевидно, Николае все же осознавал, какие муки приходится терпеть обслуживающему персоналу по их вине. Однажды, гостя в Болгарии у Тодора Живкова, он и все тот же управляющий стали свидетелями безобразной сцены, когда дочь Живкова, нещадно матерясь, устроила выволочку одному из слуг. Чаушеску не сдержал своих чувств (что случалось весьма редко) и прошептал на ухо управляющему: «Ну вот, а вы считаете *нас* невыносимыми».

Если воспользоваться ритуальной фразеологией наемных писак, вроде Георге Иордаке или поэта с явным антисемитским душком Корнелиу Вадима Тудора, годы правления Чаушеску были «светоносными годами». Данная фраза стала расхожей шуткой, когда ради экономии топлива урезали нормы расходования электричества и горячей воды, запретили холодильники и пылесосы, квартиры зимой едва отапливали и продавали только 40-ваттовые лампочки (специальные инспекции зорко следили за тем, чтобы соблюдалось правило «одна комната — одна лампочка»).

Ко всем этим неудобствам румыны привыкли и, в общем, смогли бы их как-нибудь пережить. Хуже всего было то, что из-за внезапного отключения электричества шахтерам приходилось в кромешной тьме выезать из шахт по приставной лестнице, а хирургам — отменять в последний момент операцию. Еще ужасней были судьба несчастных младенцев, когда отключалась аппаратура, поддерживающая их жизнь, удел пациентов, когда останавливалось искусственное дыхание, перспективы людей старше 60-ти лет, которым отказывали в серьезном хирургическом лечении и обрекали на смерть, положение беременных женщин, которых подвергали унизительным осмотрам, чтобы не допустить абортов. Разумеется, с теми, кто обладал партийными связями, обращались иначе. Румыны обо всем этом знали, но, как выразилась племянница Чаушеску Надя Бужор, «слова не имели никакой связи с нашей действительностью. Была жизнь, каковой она должна быть, и жизнь как она есть».

Красноречивый пример перерождения РКП в бездумную «клаку» продемонстрировал партийный съезд 1979 года. В последний день его работы председатель призвал к единодушному голосованию за переизбрание Николае Чаушеску на пост генерального секретаря. Тут неожиданно встал тщедушный старичок, 84-летний коммунист с немыслимым стажем Константин Пырвулеску, и закричал, что он уже который раз просит слова, но его намеренно игнорируют. Председатель возразил, ссылаясь на завершение дискуссий, но Чаушеску произнес: «Пусть говорит».

Пырвулеску подошел к трибуне. «Вчера,— произнес он,— вы позволили этому шуту Пэунеску невесть сколько торчать на трибуне. Что я, хуже него, что ли?» И объявил, что будет голосовать против кандидатуры Чаушеску: «Я поражен подготовкой этого съезда. Он был созван лишь для того, чтобы переизбрать Чаушеску. Ни одна из насущных проблем страны здесь не обсуждалась».

По знаку Елены Чаушеску весь съезд единодушно поднялся и принялся неистово аплодировать Кондукатору. Некоторые делегаты выкрики-

[1] Вилла Фоишор может служить наглядным образцом ненасытной страсти Чаушеску к личной собственности: будучи при короле Фердинанде скромным охотничьим домиком и затем переданная в 1947 году королем Михаем государству, при Георгиу-Деже она стала домом творчества художников и писателей. Однако в 1966 году Чаушеску изгнал из виллы творческую элиту и забрал ее себе, затратив огромные средства на перестройку (добавив бассейн, сауну, спортивный зал и дюжину спален, в которых никто никогда не ночевал). Супруги посещали виллу только раз в году. *(Прим. автора)*

вали в адрес Пырвулеску оскорбления, но тот отвечал им убийственным презрением, повторяя: «Я не буду голосовать за Чаушеску». Один из операторов румынского ТВ записал этот эпизод на пленку, но его никогда не транслировали по ЦТ и в официальном отчете о работе съезда даже не упомянули. Смелое одинокое противостояние Пырвулеску было тем более поразительным для многих партийных «реформаторов», что все хорошо помнили его прошлое. Как подчеркнул профессор Арделяну, фигура Пырвулеску всегда ассоциировалась с советским вариантом коммунизма. В 1917—1920 годах Пырвулеску служил добровольцем в Красной Армии, затем в течение долгого времени учился в Советском Союзе. Его откровенно просоветская ориентация обнаружилась в 1958 году, когда он, единственный из всего ЦК, убеждал Георгиу-Дежа *не* просить Хрущева о выводе советских войск из Румынии.

То, что произошло позже, наглядно показывает как степень, так и пределы мстительности Чаушеску. Он изгнал мятежника из большой благоустроенной квартиры и поселил в убогой клетушке в маленьком провинциальном городке, вдобавок посадив его под домашний арест. Когда по западногерманскому телевидению показали позорное поведение делегатов съезда, Чаушеску пришел в ярость. Оператор, на которого пало подозрение в передаче пленки за границу, был уволен и тоже попал под наблюдение Секуритате. Однако неукротимый Пырвулеску остался жив: выступая, вскоре после смерти Чаушеску, по румынскому ТВ, он рассказал, что был чрезвычайно смущен, когда присутствовавший на съезде представитель Советского Союза демонстративно пожал ему руку. Меры, принятые Чаушеску в отношении вероотступника, показывают, что хотя Кондукатор крайне болезненно реагировал на критику, он все-таки предпочитал запугивание уничтожению. Трусость румынского истеблишмента была такова, что Пырвулеску в одночасье превратился в парию; ходили даже слухи (возможно, распространяемые самой Секуритате), что его «пустили в расход». История с Пырвулеску не получила большого международного резонанса: из всех газет, пожалуй, только «Монд» уделила инциденту пристальное внимание. По нашему мнению, гораздо важнее, нежели сам факт показательной расправы Чаушеску с «еретиком», была реакция на это событие политически «просвещенного» класса. В Восточной Германии или Чехословакии Пырвулеску мог стать символом сопротивления, в Румынии он просто канул в небытие.

Политическая пассивность номенклатуры и «спецов» не устает поражать исследователей этой эпохи. «По всем важным государственным проблемам Чаушеску и его жена принимали единоличное решение, без предварительного обсуждения с нашим коллективом (т. е. Исполнительным комитетом),— рассказывал Эмиль Бобу, ныне отбывающий пожизненное заключение.— Они говорили: «Это должно быть так», и не допускали никаких возражений. Человеку, не связанному с ними родственными узами, практически невозможно было переубедить их в чем-нибудь» [1].

Но даже многие члены семьи не находили с ними общего языка. «Временами мне казалось, что единственные, кто осмеливается им возражать, это Нику и я,— рассказывала Зоя Чаушеску после выхода из тюрьмы в 1990 г.— Я тщетно пыталась им втолковать, что в городе стоят огромные очереди за продуктами. Они и слушать меня не хотели».

Об этом же писали Дэвид и Шейла Ротманы в «Нью-Йорк ревью оф букс»: «Мы спросили, выступали ли когда-нибудь ведущие представители румынской медицины против гинекологических проверок или, на худой конец, критиковали ли они жестокие меры, принятые Чаушеску в отношении здравоохранения. Никто не мог припомнить подобных случаев».

Нельзя не поразиться, как долго за рубежом не замечали и культ

---

[1] Интервью, данное автору в тюрьме. *(Прим. автора)*.

личности Чаушеску, и рабское поведение членов РКП, правительства и администрации, и то, как много среди апологетов Кондукатора оказалось западных политиков, бизнесменов, писателей, журналистов, а ведь некоторые из них обладали высокой репутацией. Возможно, тем, кто был связан денежным интересом с Румынией, поневоле приходилось копировать своих румынских партнеров, но оглядываясь назад, небезынтересно понаблюдать, как далеко заходили они ради «сердечных отношений», т. е. коммерческих прибылей. Лорд Гарольд Вильсон, связанный с британской компанией «Линделбурн лтд», которая вела крупные торговые операции с Румынией, не упускал случая поздравить Чаушеску с днем рождения в самых выспренних выражениях. В 1987 г. он направил ему телеграмму, где говорилось, что «только тот, кто сам познал все тяготы руководства, может по достоинству оценить содеянное вами. Вы заставили румынский народ играть исключительную по своей важности роль в мировом сообществе». В 1988 году, когда международная репутация Чаушеску уже упала до предела, Вильсон написал ему, что «с нетерпением ожидает продолжения дружеских отношений». Когда Джон Симпсон, главный редактор Би-би-си по международным делам, впервые (в разгар революции 1989 года) был допущен со съемочной группой в кабинет Чаушеску, ему в качестве назидания вручили дорогостоящую «монблановскую» ручку — дар Кондукатору от британской партии лейбористов. Само собой разумеется, из стана лейбористов сразу же поступило официальное опровержение, что, однако, не произвело должного впечатления на Симпсона, ибо ручка все еще находилась в подарочном пенале с дарственной надписью.

Не было недостатка в апологетах и среди зарубежных писателей и журналистов. В 1983 году, т. е. в период ужасающих лишений для страны, в книге (написанной анонимным английским автором, но субсидированной румынской стороной) под названием «Чаушеску: за мир и единство Европы» утверждалось: «Президента Чаушеску, неустанно пекущегося о благополучии своего народа, заботящегося о снабжении населения всеми необходимыми товарами, об улучшении работы торговли и сферы обслуживания, стремящегося к стабильности цен, можно часто встретить в различных торговых центрах города,— то на открытии нового магазина, то на инспектировании качества рыночных продуктов. Пользуясь случаем, Николае Чаушеску выслушивает жалобы и предложения людей и по возможности принимает экстренные меры для дальнейшего улучшения их жизни. При виде этого каждый честный и здравомыслящий гражданин проникается еще большей уверенностью, что для президента Чаушеску главной и конечной целью построения нового общества в Румынии являются человек и его интересы, удовлетворение его духовных и материальных потребностей, реализация его идеалов прогресса и цивилизации» [1].

А как реагировать на тошнотворно раболепную биографию Чаушеску, написанную журналистом Мишель-Пьером Амле, сотрудником консервативной французской газеты «Фигаро», или на его еще более тошнотворную книгу «Истинная Румыния Чаушеску» (1983 г., изд-во «Нагель», с предисловием президента французского сената Алена Поэра), где со ссылкой на официальную статистику прославляются гармонические взаимоотношения рабочих с государством? Или откроем биографию Чаушеску, выпущенную Робертом Говендером в 1988 г., которая начинается словами:

«В Румынии наблюдается феноменальный прогресс как во внутренних, так и во внешних делах... Это одно из наиболее знаменательных достижений нашего времени... Чаушеску сократил военный бюджет и сэ-

---

[1] Книга была опубликована в 1983 г. некоей организацией международного движения за мир, без имени автора и адреса редакции, с предисловием Жака де Лоне. Книги такого рода печатались во многих странах; они пестрели фотографиями Чаушеску в обществе мировых лидеров и, судя по стилистике, были явными переводами с румынского оригинала. *(Прим. автора.)*

кономленные деньги направил на укрепление детского здравоохранения».

В действительности румынские страховые пособия были самыми низкими в Европе (если не считать Албании), и все румынские министры здравоохранения безуспешно пытались убедить Чаушеску увеличить бюджет на социальные нужды. Прока делал попытки продлить послеродовой отпуск матерям с 3-х до 6 месяцев, но Чаушеску не внял просьбам. Румынские врачи, стремясь помочь пациентам, всеми правдами и неправдами нарушали драконовские законы, и Чаушеску однажды пожаловался Проке, что в больницах существует тайная круговая порука, и врачам удается обойти закон, запрещающий аборты, путем расширения списка болезней, якобы угрожающих жизни будущих матерей. «Это правда,— сказал Прока,— мы, врачи, старались изо всех сил». Но супруги Чаушеску, особенно Елена, были чрезвычайно бдительными. Они считали, что все кругом стремятся их обмануть.

Румыны, продолжает Говендер, «знают, что имеют право на хорошее медицинское обслуживание, право на страховые пособия по болезни, по охране материнства и детства. Это исконные привилегии каждого румынского гражданина... XX век небогат великими и ответственными государственными деятелями, но хорошо, что все же можно найти несколько человек, которые не забыли, что стремление к счастью в условиях безопасности, дружелюбия и процветания является неотъемлемым правом каждого. Вряд ли кто станет возражать против того бесспорного факта, что имя, стоящее в первом ряду этой избранной когорты гигантов международной политики,— Николае Чаушеску».

Цитируя слова Чаушеску о «новой человеческой личности», которую стремится выковать общество, личности, «всецело поглощенной идеей созидания, сочетающей в себе чувство глубокой ответственности за судьбу страны, высокие нравственные качества и богатую духовную жизнь», Говендер поясняет, что румынские средства массовой информации призваны «служить общему делу народа и интересам нации. Нашему обществу, вскормленному на дешевых сенсациях и светских сплетнях, рядящихся под новости, трудно следовать румынскому примеру». Это, однако, без видимого труда удалось Роберту Максвеллу, чье интервью с Чаушеску, помещенное в конце книги, вышедшей в издательстве «Пергамон пресс», начинается вопросом или, скорее, утверждением: «Уважаемый г-н президент, вы занимаете самый высокий политический и государственный пост в Румынии на протяжении почти 18 лет, с чем мы вас искренне поздравляем. Скажите, что, по вашему мнению, обеспечивает вам такую популярность в румынском народе?»

Еще поразительнее было письмо ныне покойного Мервина Стоквуда, в то время епископа Саутворкского, опубликованное в лондонской «Таймс» накануне официального визита Чаушеску в Великобританию в 1978 году. Он писал: «Как бы мы ни относились к коммунистическим принципам экономики, нельзя не заметить явного повышения жизненного уровня с приходом к власти г-на Чаушеску. Налицо очевидные улучшения в жилищном вопросе, образовании и здравоохранении».

Воздав хвалу храбрости Чаушеску, выступившему против советского вторжения в Чехословакию, епископ коснулся щекотливых тем религии и прав человека.

«Начем с прав человека. Да, румын, прежде чем вступить в открытую конфронтацию, семь раз отмерит. Но не следует забывать, что эта страна не обладает многолетней традицией неограниченной свободы. Нынешнее коммунистическое правительство часто использует методы, для нас, британцев, совершенно неприемлемые, которые, однако, мы сами успешно применяли в прошлом... Права человека означают для нас прежде всего свободу передвижения, а для румын получение выездной визы — дело крайне непростое. Когда я поднял этот вопрос в официальных кругах, то

получил следующий ответ: «Вы в Великобритании тратите тысячи фунтов на обучение врачей и хирургов и потом позволяете им уезжать в Соединенные Штаты, где платят лучше. Что ж, дело ваше, но мы не можем себе этого позволить. Мы тратим кучу денег, чтобы профессионалы служили нашей стране, а не США». Даже если признать правоту этих слов, то все равно в Румынии существует еще много ненужных и раздражающих ограничений. Следовало бы, наверно, разрешить западным гражданам, имеющим друзей в Румынии, беспрепятственно гостить у них, и наоборот.

Жесткие меры применяются также и в отношении хулиганства и насилия. «Мы стремимся создать лучшую жизнь для наших людей. Мы не хотим, чтобы эти антисоциальные элементы уничтожали плоды нашего труда». Что же считать правами человека, когда дело касается искоренения или пресечения зла во имя интересов большинства, во имя предотвращения еще большего зла? На этот вопрос нет простого ответа...

Что же касается проблемы религии, то, хотя Румыния и считается марксистским государством, она остается глубоко религиозной страной. Говорят, что половина населения, большинство из которого составляют православные, по воскресеньям посещает церковь. Переполнены не только церкви, но и духовные семинарии. Отношение правительства к религии двойственное: хотя все религии официально отвергаются и в школах прививается атеистический взгляд на мир, государство тем не менее (по английским стандартам) чрезвычайно великодушно к православной церкви и вообще ко всем верованиям. Оно повышает зарплату священникам, оно помогает реставрировать старые храмы и возводить новые».

Тот факт, что в Румынии Рождество было рабочим днем и что румынское МИД настоятельно просило иностранных дипломатов в Бухаресте посылать румынским знакомым и коллегам поздравления только с Новым годом («чтобы не оскорблять президента Чаушеску»), очевидно, прошел мимо сознания епископа Стоквуда. Вдобавок к сомнительным утверждениям и двойной нравственной бухгалтерии Стоквуд оказался не в состоянии разграничить преследования католической церкви в Румынии (не только во времена советской оккупации, но и гораздо позже) и сугубо доверительные, даже интимные отношения Чаушеску с румынской православной церковью. МИД Румынии, ответственное за кадровую и финансовую политику церкви, неизменно выдвигало благонадежных церковников на ключевые посты и использовало их (в союзе с Секуритате) для вербовки сторонников режима Чаушеску в румынских религиозных общинах в США и Канаде. Многие из эмигрировавших православных румынских священников были убежденными антикоммунистами, некоторые из них симпатизировали старой «Железной гвардии» [1], однако и те и другие оказались удивительно легкой добычей для сладкоречивых коллег с родины, восхвалявших Чаушеску до небес и утверждавших, что он националист и «наш человек». Таким способом, подчеркнул Ион Пачепа (шеф румынской иностранной разведки, эмигрировавший в 1978 г.), Секуритате внедрила своих агентов во многие румынские православные общины за рубежом.

Следует отметить, что мощная секретная полиция была характерна и для довоенной Румынии. Георгиу-Деж расширил ее функции, превратив Секуритате в инструмент государственного управления. В то же время он привлек в ее ряды старых коммунистов, многие из которых вышли из среды интеллигентов. По мере обострения проблем внутри страны Чаушеску все больше опирался на Секуритате не только как на сторожевого пса режима, но и как на экономическую силу, способную поддержать бюждет. Жизненный опыт Чаушеску сделал его приверженцем «конс-

[1] «Железная гвардия» — фашистская организация, существовавшая в Румынии в 1931—1944 гг. *(Прим. перев.)*

пиративной теории» исторического развития, и Секуритате успешно подогревала эту параноидальную идею. В глазах простых румын тайная полиция представала всевидящим, всезнающим многоруким монстром, следящим за каждым мигом их жизни. Не нужно, однако, впадать в ошибку, приписывая все зигзаги политики Кондукатора исключительно деятельности Секуритате. Его провалы во внутренней политике лишь потому так долго игнорировались или замалчивались, что на международной арене он обнаружил глубокое понимание расстановки сил. Его мировоззрение было деформированным, отношение к людям крайне презрительным, вера в сталинскую систему незыблемой, но он блистательно эксплуатировал «диссидентский» имидж Румынии, ухитряясь мирно сосуществовать и с арабами, и с израильтянами, обольщать и капиталистов, и новых лидеров третьего мира. И лишь тогда, когда Советский Союз сбросил оковы многолетнего оцепенения, Чаушеску мгновенно и безнадежно устарел.

(Окончание следует)

Рубеж тысячелетий *

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ

ПАНСИОН МАДАМ ГАЙАР, ИЛИ БЕЗУМИЕ РАЗУМА

Проблема тоталитаризма в конце XX века

Американский мыслитель и литературовед Ихаб Хассан обмолвился в одной из своих книг, что человек современного Запада обитает как бы в «комфортабельном концлагере». Вряд ли подобные мысли могли найти полное понимание у позднесоветских и постсоветских читателей в конце XX столетия. Многие из них еще помнили сталинские и брежневские ничуть не комфортабельные концлагеря и психиатрические тюрьмы, и почти все (кроме немногих избранных) жили в столь стесненных обстоятельствах, что соединение понятий «комфорт» и «концлагерь» должно было показаться им безответственной и неуместной игрой ума.

Однако же Хассан был не одинок в своей оценке американской и западноевропейской действительности. У него были сильные союзники, в том числе многие из ведущих писателей, художников и мыслителей конца века.

Доказательством мог бы послужить изданный в 1985 году роман немецкого писателя Патрика Зюскинда «Парфюмер» («Иностранная литература», 1991, № 8), повествующий о том, как появляется на свет, воспитывается и созревает чудовище в человеческом обличье — повелитель людей,— а также о том, как возникает массовое безумие, поклонение Одному, Единственному, Лучшему. Герой книги Зюскинда — что-то вроде нового «крошки Цахеса», который, будучи отвратительным и подлым уродцем, владел магическим секретом внушать людям любовь к себе и необъяснимое поклонение. В отличие от романтика Гофмана с его таинственностью, Зюскинд, как человек научной эпохи и строгого знания, делает вид, будто может объяснить даже необъяснимое.

Герой «Парфюмера», Жан-Батист Гренуй — гений запахов, таинственных, но материальных субстанций, воздействующих на человеческую душу. Невзрачный с виду и гадкий по сути, он обладает реальным средством для власти над окружающими. Природный дар и долгое учение дали ему эту власть. Он умеет воздействовать на подсознание. Составленные им ароматические эссенции могут внушить людям все, что захочет повелитель. Благодаря одной капле из флакона он может оказаться для всех невидимым, а если ему угодно — он станет в глазах всех дороже и любимее самого близкого человека.

Секрет этих веществ мы, конечно, не узнаем из книги Зюскинда, и в этом смысле его «парфюмер» не менее загадочен, чем «крошка Цахес». Но зато мы можем понять, каким образом формируется в его душе сама жажда власти, само желание быть Отцом народа, если угодно — фюрером (если только это слово применимо к персонажу, поселенному во Франции XVIII века).

Жан-Батист Гренуй появляется на свет незаконным младенцем, почти отверженным. Он — всем чужой. Но он имеет счастье — или несчастье — родиться в государстве строгого, неумолимого правопорядка. Не будем сейчас рассуждать о том, в какой степени этот правопорядок соответствует реальному положению дел в эпоху Людовика XV.

---

[1] См. «ИЛ». 1991. № 6. 8.

Зюскинд делает вид, что он — строгий историк и хроникер, но он все-таки прежде всего романист. И, повторяю, он изображает государство строжайшего правопорядка. За попытку бросить своего незаконнорожденного младенца мать героя казнена на Гревской площади. Здесь не шутят с законами. Мы — в царстве Разума. Может быть, это не совсем тот самый разум, идеализованное изображение которого мы находим у Вольтера, затем — у Даламбера и уже на новый лад — у Робеспьера. Скорее, здесь тот самый Разум, о котором спустя 200 лет Мишель Фуко напишет свою беспощадную книгу «История безумия в век Разума». Но об этом — позднее.

Неправильно и незаконно бросать собственных младенцев, от этого будет хаос в государстве и убыток казне. Женщине отрубают голову принародно (ибо Разу́м имеет и педагогические склонности), а младенца отправляют к другим, *правильным* женщинам, которые должны заменить ему мать. Сначала — кормилица, которая добросовестно его выкармливает, хотя суеверно и побаивается странного и подозрительного младенца (он уже не такой, как прочие младенцы). Но ей заплачено и ей приказано. Закон и Разум торжествуют. Окончательное же воспитание юный Жан-Батист проходит в пансионе мадам Гайар, которая является в полном смысле слова воплощением разумности, рассудительности и правильности. Здесь нет излишеств, но нет и нищеты. Распорядок жизни идеален. Честность и благонравие мадам могут служить примером для всех прочих. И — что еще существеннее — никакое нелогичное чувство, никакой нецелесообразный порыв души, никакое неразумие здесь немыслимы.

В этом маленьком, как бы благополучном мирке предельной рассудительности и доходит до своей кондиции враг рода человеческого, который потом захочет власти над миром и будет иметь к тому все предпосылки. К чему он придет в конце своего земного странствия, мы узнаем из последних страниц книги Зюскинда. Гренуй убивает двадцать пять красавиц города Граса, чтобы извлечь из их тел (как парфюмеры добывают из цветов) необходимые гению компоненты эссенций. Здесь он явственным образом становится предшественником тех, кто стал убивать людей ради пользы дела и ради науки, а также использовать тела убитых, в том числе в парфюмерной промышленности. Пойманный наконец преступник появляется на эшафоте с флаконом своего зелья, внушая толпе собравшихся горожан экстатическую любовь к нему, своему повелителю.

Итак, еще один интересный писатель конца XX века занялся проблемой тоталитаризма. Само по себе это не вызвало бы никаких вопросов. Что и говорить, проблема архиважная, как говорил один из светочей этого самого тоталитаризма. Но одно обстоятельство заставляет задуматься.

Появление специфических о́собей, добивающихся неограниченной власти над себе подобными, и масс людей, которые готовы давать избранным эту власть, и поклоняться своим вождям, и помогать им проливать кровь,— это та самая проблема, которую в XX веке часто связывали с проблемой «комплекса неполноценности». Монстры завладевают душами сбитых с толку, отчаявшихся людей. Откуда же монстры?

Вот — обездоленные, растерянные, униженные после Версальского мира немцы, презирающие бестолковую и коррумпированную демократию Веймарской республики и прислушивающиеся к истеричному усатенькому человечку по имени Гитлер, обиженному судьбой, как и все они, и знающему секрет величия Германии. Вот — Владимир Ильич Ленин, крайний случай рационалистического сознания при явно выраженной эмоциональной глухоте. (Судя по многим данным, он тяжело переживал свою чуждость среди неправильных, неразумных людей и, уязвленный своим эмоциональным изгойством, жаждал реванша — и его час пришел тогда, когда Россия была растерзана войной и вместо нормальной жизни царил хаос.) Далее Иосиф Виссарионович Сталин, как будто совсем уж клинический случай. Он тяжко страдает в юности от дикости и грубости отца-сапожника, а затем — уже от собственной неотесанности и тупости рядом с европейски отшлифованными умами соратников-революционеров. Этот монстр и мобилизует взбаламученные потоки люмпенства, дикую нецивилизованную силу, чтобы уничтожить разумный миропорядок и коллективный разум ненавистной ему интеллигенции.

Такова обычная схема: от неблагополучия и озлобленности отдельных личностей, поставленных судьбой вне культуры, вне духовности, вне общества, проводится линия к массовому помрачению умов, которое происходит в годы всеобщих исторических бедствий и переворотов. Отсюда и ведут происхождение нацизм, большевизм, сталинизм. К этой формуле привыкли, и не все замечают, что она неточна, неполна, наконец, может быть, даже неверна. А ведь от формулы тоталитаризма зависит и наше понимание того, что произошло с человеком в XX столетии.

Патрик Зюскинд в своем «Парфюмере» явно предлагает исправить привычную формулу. Его герой, напоминаю, рожден на грязной улице, он — ублюдок, сын детоубийцы, сирота, взятый на попечение обществом. Он — чужой всем, неблагополучный, ненужный, неудачливый пария, отвергнутый судьбой, людьми и Богом и лелеющий мечту о реванше, о власти, о поклонении. У него, так сказать, те же исходные данные, что у Ленина, Сталина и Гитлера, даже в более выраженной форме.

Но он врастает в мир не через хаос, не через помрачение умов. Он проходит через школу правильного, разумного общества, через пансион мадам Гайар. Его растит не злой сапожник, его окружают не бунтующие студенты Казанского университета, третирующие умного, серьезного, бесцветного юношу, который не к месту ни на буйной пирушке, ни в рядах карнавализованной демонстрации. Наконец, его окружение ничуть не похоже и на «взбесившихся мелких буржуа» из мюнхенских пивных. Пансион мадам Гайар — это царство Разума. Здесь не повышают голоса, ибо это неразумно, а за испачканные штанишки дают заслуженную пощечину, но без всякого гнева. Закон есть закон. Выше нет ничего. Все должно быть правильно и разумно.

Видно, не придется нам перейти в XXI век с утверждением, будто «сон разума рождает чудовищ». Придется к нему сделать сноску: неустанное бодрствование разума, вытесняющего все чуждое себе, приводит к тем же результатам, что и беспробудный сон.

Иначе говоря: родиться неудачником, дикарем, тупицей, хамом, душевно глухим, злобным и ничтожным человечком — этого вовсе не достаточно для того, чтобы стать частицей безумной толпы, поклоняющейся кумиру или преследующей своих жертв, как не достаточно и для того, чтобы стать монстром, кумиром этой толпы. Чтобы дозреть до бесспорной кондиции, эмбриону надо пройти через реторту воинствующего Просвещения, через пансион мадам Гайар, где истребляются все признаки неразумия человеческого, где нет ни страстей, ни чувств, ни иронии, ни игры. Это и есть важнейшая, если не решающая стадия развития.

Такова, по-видимому, мысль Патрика Зюскинда, или некая интуиция, излучаемая его романом. И кстати сказать, не только его романом.

Другой писатель, еще более знаменитый и уж никак не менее показательный для нашей эпохи, а именно Умберто Эко описывает в романе «Имя розы» [1] жизнь и тайны средневекового монастыря. Там — полновластие дисциплины и высшего Закона. Чтобы служить Богу, монахи подчиняют себя идеальному распорядку, дисциплине, разуму. Монастырь, как известно,— это по своей идее модель рая, небесного Иерусалима. Но там происходят темные и страшные вещи. В обители порядка и благолепия действуют адские силы, и хотя некоторые тайны проясняются и злодеи к концу разоблачены, беспокойство остается. Откуда в раю Сатана?

Не только у писателей, но и в других пластах художественной культуры стала разрабатываться эта тема. Назовем ее условно темой «парадиза». В качестве «парадиза» может служить любое замкнутое образование: круг друзей, избранное общество, семья и так далее. Заглянув внутрь, мы обнаруживаем насилие, страх, безумие, источаемые обителью порядка и благополучия. Милош Форман, один из крупнейших мастеров кино, показывает в «Полете над гнездом кукушки» жизнь закрытой психиатрической лечебницы. Это — нечто вроде монастыря или пансиона. Здесь порядок и дисциплина, здесь американский комфорт и мировой уровень науки: последнее слово гуманной психиатрии воплощено в этой демократии для больных, руководимой «здоровыми». Но здесь беспощадно — при всей современной гуманности — уничтожают всех чужих, нарушающих правильность устройства

[1] См. «ИЛ», 1988, № 8—10.

этого гуманного общества. В сущности, перед нами — самый настоящий комфортабельный концлагерь, как это ни странно для русского читателя. Впрочем, мы помним дружелюбных, гуманных палачей в «Приглашении на казнь» Владимира Набокова. Он как раз был одним из тех, кто предвосхитил тему «парадиза», где зреет дьявольщина.

Бернардо Бертолуччи в «Последнем императоре» предлагает свой взгляд на проблему «парадиза». Собственно, он изображает два «монастыря», а может быть, два «сумасшедших дома». Один — это экзотический «закрытый город» Пекина, резиденция последнего китайского императора, где сохраняется, на пороге современной эпохи, порядок древнего ритуала и тысячелетний мир конфуцианской мудрости. Но это царство вечного разума — как дурной сон, как концлагерь, и первым заключенным, первой жертвой является сам император. Сквозь это зрелище, однако, все время просвечивает «второе царство разума и справедливости»: допросы свергнутого императора в коммунистической тюрьме, а потом и «перевоспитание эксплуататоров» в коммунистической империи. И здесь тоже — железная логика мадам Гайар. Здесь мучают и убивают не по злобе, не от безумия. Здесь хотят, чтобы все стало правильным и хорошим, чтобы каждый имел свою чашку риса, матерчатые тапочки и любовь к трудовому народу и великому Вождю.

Итак, ближе к концу XX века художники начинают все более уверенно говорить о том, что тоталитарное безумие прошедшей эпохи — это не просто безумие в смысле «потери разума», а скорее какая-то особая форма разума или, быть может, результат разума, употребленного определенными способами. Размышление о безумии разума — это характернейший атрибут художественной культуры Германии в конце XX века: в определенном смысле, предшественниками Зюскинда были и Хайнер Мюллер, и Вернер Херцог. Может быть, самая впечатляющая часть немецкой художественной культуры в это время — не словесные, а визуальные искусства. Их лидеры — Конрад Клапек, Йозеф Бойс, Йорг Иммендорф и другие — занимаются не столько проблемой внеразумно-подсознательного (как, например, сюрреалисты), сколько именно проблемой «безумно-разумного».

Может быть, самый известный художник Германии на пороге XXI века — Ансельм Кифер. Его композиция 1990—1991 годов «Перепись населения» — это громадного размера стальные стеллажи, достигающие высоты двухэтажного коттеджа и расположенные правильным каре. На сверхчеловеческих «полках» стоит огромное количество гигантских по размерам «книг», сделанных из свинцовых листов. Войдя внутрь этой странной «крепости разума» и подойдя ближе к «полкам», можно увидеть, что в каждую страницу вдавлено множество горошин. Они играют роль знаков, они — имена, они — это люди. Всего этих горошин ни много и ни мало — 80 миллионов с небольшим, в точности по числу жителей Германии согласно последней на то время переписи населения. Вероятно, нет необходимости объяснять, каков смысл композиции Кифера и как она воздействует на зрителя. Одного описания уже достаточно.

Чтобы сформулировать гипотезу, не требуется очень много доказательств. Их должно быть оптимальное количество, и они должны быть репрезентативны, то есть представительствовать за множество других фактов, свидетельств, доказательств, оставшихся в тени.

Гипотеза же такова: в конце XX столетия художественная культура Запада, как и прежде, ставит вопрос о тоталитарном человеке и тоталитарном обществе, об отказе личности от себя и о превращении ее в двуногое существо толпы или в повелителя этой толпы. Но направленность поиска изменилась. Причины катастрофы усматривают уже не в отказе от разума, а в появлении особого типа разумности. Искусство и литература изображают не жуткие сцены из ада (хотя и это есть), а прежде всего благополучные ячейки, отсеки, институты, аспекты. Люди создают себе «парадизы». Там гуманным образом лечат больных (Форман), молятся Богу и углубляются в мудрость веков (Эко), воспитывают осиротевших детей (Зюскинд), хранят традиции древней культуры (Бертолуччи), поддерживают Порядок и Закон (Кифер). Перед нами — прямо-таки блаженные острова разума, порядка и цивилизованности, призванные помочь людям.

Но на этих «блаженных» островах уничтожают непокорных и сильных

духом (Форман), там убивают, растлевают и запугивают растерянных людей (Эко), там превращают человека в марионетку (Бертолуччи), там растят монстров и душегубов, доводящих нас до безумия (Зюскинд), и, наконец, придавливают человека-горошину тяжестью многотонных и многоэтажных свинцовых масс (Кифер).

Итак, поставлен вопрос о доверии самому разуму (а не вопрос о бедах неразумия). Эта проблема возникла не случайно, это не мода и не прихоть, у нее есть и своя предыстория, и свой подтекст, и своя перспектива.

* * *

Двадцатый век оставил нам в наследство огромные пласты литературы и искусства, посвященные анализу и разоблачению фашизма, коммунизма и сходных явлений. Здесь и Джордж Оруэлл, и Евгений Замятин, и Роберт Конквест, и Олдос Хаксли. Здесь — Генрих Манн, Бертольт Брехт, Альбер Камю. Гарсиа Маркес и Варгас Льоса изобразили латиноамериканский вариант общей болезни, а Курт Воннегут — воображаемый, но вполне правдоподобный «карибский» островной вариант. Воспоминания и размышления о фашизме и нацизме неотделимы от творчества крупных мастеров кино Италии, Германии, Испании, Польши и самых известных живописцев и скульпторов Западной Европы.

Они изображают безумие, патологию, преступление. Они запечатлевают, по горячим следам страшных событий, приход хаоса, неразумия и кошмара, наступление каких-то чуждых человеку сил и появление среди нас каких-то нелюдей. Об этом говорили Пикассо, Отто Дикс, Микеланджело Антониони. К ним присоединяются в свое время и отступники коммунистического архипелага — Милан Кундера, Анджей Вайда, Тенгиз Абуладзе.

Но примерно с 60-х годов нарастает иная тенденция. Появляются художники, которых не устраивает уже имеющийся портрет тоталитаризма — то есть лик безумия, патологии, нецивилизованности. Они (такие, как Умберто Эко, Милош Форман, Патрик Зюскинд и другие) начинают все внимательнее приглядываться к «правильной» жизни, к «блаженным» островам и «парадизам» порядка, разумности, цивилизованности, организованности. Они подозревают, что беда приходит именно оттуда или созревает до опасных форм и масштабов именно там. Мы уже видели некоторые результаты их размышлений и интуиции. Остается добавить, что и философская мысль о проблемах человека и общества проходит через сходные этапы эволюции.

Социальная мысль первой половины века явно не сомневалась в том, что тоталитаризм — это какой-то скандал истории, уродство развития, помрачение ума, массовый психоз. Одним словом, хаос вместо порядка, безумие вместо разума. «Теория хаоса» могла иметь не только негативную окраску, но и позитивную.

Освальд Шпенглер, издавший в 1922 году второй том «Заката Европы», предвидел и приветствовал в этой книге приход нового строя, нового общества, где проклятый рассудок европейцев, доведший, по мнению Шпенглера, до глубокого кризиса нашу цивилизацию, растворится в потоках нового, экстатического неразумия. Наука, поэзия и религия — издавна фатально разделенные и рассеченные окаянным разумом — должны будут слиться в экстазе и забыть о своих различиях. Как именно произошло это экстатическое слияние в Германии и что из этого получилось, всем хорошо известно. Шпенглер поддержал нацистов в 30-е годы.

Насчет глубины и серьезности его мысли с самого начала высказывались серьезные сомнения; Шпенглера считали в свое время скорее сенсационным публицистом от философии, нежели настоящим мыслителем. Но вряд ли можно было когда-либо сомневаться в том, что настоящим мыслителем-социологом был Макс Вебер. Его социальная теория достаточно определенно утверждает, что общество в своем развитии движется к «разволшебствлению» (Entzauberung). Иначе говоря, иррационально-мифологические начала все меньше управляют поведением людей, и в современном обществе побеждает «рационализация» действий, мотивов и отношений. Вебер вовсе не был таким простаком, чтобы петь дифирамбы «рационализации». Он видел странности и опасности процесса. Но он в духе классического рационализма противопоставлял рациональный по-

рядок общественных отношений до-разумному или вне-разумному мистицизму.

В начале XX века преобладала уверенность в том, что человек вскоре сумеет своим умом, освобожденным от мрака невежества и достигшим небывалых высот, обеспечить благополучие для всех и повести людей в светлое будущее. Можно было подумать, что пессимизм Ницше и Константина Леонтьева по поводу человека и культуры был преувеличен. Потом выяснилось, что он был сильно приуменьшен. Какой-то бес вышел из преисподней. Первая половина века оказалась, по всей видимости, самой жестокой и кровавой в истории человечества эпохой. Так какая же сила сделала все это?

Пока был жив и крепок тоталитаризм, о нем говорили главным образом как о враге человечества, о безумии, одичании, болезни. Классическим примером остается известная работа Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма» [1]. Рассматривая появление и развитие большевизма в России и нацизма в Германии, Арендт повествует о наступлении тьмы и хаоса. Она говорит о разрушении нормальных и разумных социальных структур, об ослаблении семейных уз, религиозных конгрегаций, экономических объединений и прочего. Одинокий, растерянный, сбитый с толку человеческий атом, утративший чувство принадлежности к организованному целому, к понятному для ума космосу, остается один на один с озверевшим монстром идеологии, с непостижимым кумиром власти. Маленький человек превращается в дикаря. Он поклоняется идолам и сбивается в орды, опасные для цивилизованного мира. Примерно такую картину рисует Ханна Арендт.

Так думали о возникновении и сущности тоталитаризма, и многие продолжают думать так и теперь: достаточно вспомнить основные постулаты советской «перестроечной» прессы. Она перенимает представления, символами которых являются Збигнев Бжезинский, Фридрих Хайек, Маргарет Тэтчер, то есть политики и сильно политизированные ученые второй половины XX века, ориентированные на политический рационализм первой половины XX века и на социальный позитивизм. Для них не было сомнений в том, что главный герой новой истории — Человек (с большой буквы) — строит свое царство разума: рыночную экономику, демократию, информационное общество и прочее, тогда как силы неразумия, обмана и дикости увлекают некоторых на пагубную колею коммунистических заблуждений. Забавно, что для большинства советских журналистов эпохи «гласности» эти патриархальные теории выглядели, по-видимому, как «последнее слово» западной мысли, то есть как истина. И показательно, что идеи Герберта Маркузе, Мишеля Фуко и всех прочих, стоявших на иных позициях, в России почти не обсуждались.

Эти иные позиции в подходе к проблемам разума, насилия, свободы, тоталитаризма явственно обозначились в мысли и культуре Западной Европы где-то около 60-го года — быть может, чуть раньше или чуть позже. Именно с тех пор все пристальнее рассматривается вопрос: а уж не разумный ли миропорядок просвещенного, рационального, рыночного, демократичного общества наилучшим образом устроен для того, чтобы вынашивать в себе эмбрионы насилия, несвободы, массового помешательства? Естественно, что эта постановка вопроса приводила и приводит в ужас гуманистов, рационалистов и либералов и навлекает на себя тяжкие подозрения. Здесь — один из тех немногих пунктов, где сдержанность, терпимость, цивилизованность Запада подвергаются серьезным испытаниям и возникает атмосфера подозрительности и ожесточения, истеричности и агрессивности.

В 60-е годы выходит книга Теодора Адорно «Minima Moralia», где отразились размышления изгнанника, эмигранта-европейца, долгие годы прожившего в США. Адорно пишет об американской свободе, предприимчивости, об американской организованности и практичности, о богатстве и потребительстве, о гласности и открытости. В отличие от многих критиков современного общества, Адорно не склонен к морализму и обличению скверн и язв. Но знаменательно, что одним из лейтмотивов его книги становится насилие над человеком и утрата им человечности. Его самого его собственные наблюдения пугают или, по меньшей мере, коробят. Разумнейший

[1] См. «ИЛ», 1990, № 4.

миропорядок, ничего правильнее и умнее человечество и придумать не могло, как устроить Новый Свет. Но почему этот миропорядок производит так много марионеток, оборотней, хищников и человеческих амеб — спрашивал Адорно, и с беспокойством ощущал, что пережитые им в нацистской Германии ужас и недоверие к человеку возвращаются к нему при виде американского «парадиза».

Конечно, можно сослаться на тяжелое душевное состояние изгнанника, да к тому же Адорно имел обычную для академически-университетского мира тех времен склонность к романтизованному неомарксизму, а проще сказать, испытывал инстинктивное отчуждение от капитализма и буржуазии. Может быть, подобные же упреки — если только это упреки — можно адресовать и соратнику Адорно по Франкфуртской школе социологии и философии — Герберту Маркузе.

В «Эросе и цивилизации» (эта книга написана еще в 50-е годы) Маркузе сформулировал свои претензии западному демократическому обществу, основанному на самом эффективном способе хозяйствования. Западная демократия устраняет из жизни людей прямое насилие над волей личности. Нет более того авторитаризма, который был обязательным атрибутом монархических, аристократических, теократических и патриархальных систем прошлого. Новый мир провозгласил Свободу, Разум и Закон — и все это для всех, и взаправду, а не для обмана.

Однако же, как это ни странно, сумма репрессивности в этом обществе не уменьшается. Демократическое устройство, с его рыночным фундаментом, создает скрытые и косвенные формы насилия над человеком. Его не заставляют делать то, чего он не хочет. Он делает, что хочет. А хочет он того, что требуется. Он уже над своим «Я» не властен. Человек отчужден уже не только от продуктов своего труда, как утверждал Маркс, но и от собственного сознания.

Рассуждения Герберта Маркузе о том, что при видимом освобождении человека от прямого принуждения он остается порабощенным, ибо несвободно уже само его сознание, вызывали всегда глухое беспокойство официальных властей Советского Союза. Признать своим союзником этого разоблачителя тайн западной демократии московские идеологи не захотели, и они были правы по-своему. Франкфуртский теоретик говорил о «прибавочной репрессивности» зрелого капитализма и постиндустриального общества, но раскрывал секрет всемирного стратегического значения — как можно властвовать над умами, не мучая людей физически, не запугивая и не заставляя их делать что-то насильственно.

Когда же советская коммунистическая идеология полностью обанкротилась и рухнула, возникшая на ее месте аллергия на «левизну» и на все марксовидное снова преградила путь Маркузе и всем мыслителям Франкфуртской школы в Россию — теперь уже как будто по другим причинам. А именно, у российских антикоммунистов и почитателей западного капитализма были в чести традиционалисты-консерваторы Запада, тогда как другие части обширной шкалы мысли и творчества Европы и Америки казались странными, опасными и сомнительными.

Реформистские власти и идеологи России жаждали порядка и разумного устройства жизни — то есть демократии, рыночного хозяйства и полновластия законов вместо произвола, иррациональности и рабства «реального социализма». А Герберт Маркузе (как, впрочем, и другие социальные теоретики) толковал о том, что европейско-американская цивилизация последнего образца, где было все то, чего не хватало в России, есть не что иное, как увеличенный до атлантических масштабов пансион мадам Гайар, где неусыпный Разум понемногу пестует чудовищ, где власть над человеком превращается из внешней во внутреннюю и где манипулирование сознанием создает миллионы благополучных «зомби», по которым никак не скажешь, что они несчастны или несвободны. И тем не менее их сознание — это уже не совсем личностное, не совсем человеческое сознание.

Антропологический кризис, странную мутацию человека в мире потребления, информации, порядка и демократии не прекращали обсуждать и после Герберта Маркузе, Эриха Фромма, Дэвида Рисмена, то есть социальных мыслителей и исследователей середины XX века, которые предвосхитили многие идеи следующих десятилетий. Пожалуй, тема

«бегства от свободы» (название известной книги Э. Фромма) сохранила свою притягательность для конца XX века, причем акценты становились все более ясными. От свободы и разума бегут не потому, что не хватает ума жить в условиях «осознанной необходимости» и правильно организованного космоса. Рассудительная гуманистическая утопия, эксперимент по созданию «парадиза» — вот путь в насилие, в незаметное озверение человека.

Пожалуй, самым основательным исследователем этой проблемы оказался Мишель Фуко. Его знаменитая «История безумия в век Разума» вышла во Франции еще в 60-е годы. Дотошный аналитик исторических фактов, счастливо наделенный еще и талантом синтезировать их, Фуко сумел показать, что в эпоху воцарения гуманизма, антропоцентризма и рационализма — то есть в эпоху, именуемую «современной»,— происходит массовое организованное избавление «правильного» общества от людей, чуждых идеалам этого общества, чуждых идеальному образу «гармоничного» и «разумного» человека. Нищие, бродяги, юродивые, сумасшедшие, преступники, еретики, инакомыслящие и все прочие, кто придавал совершенно особый вид и оттенок панораме жизни древности, средних веков и даже Возрождения, начиная с XVII века (и чем дальше, тем больше) изымаются из «нормальной» жизни и отправляются в закрытые учреждения нового типа — в тюрьму, больницу, работный дом, сумасшедший дом, а потом и в концлагерь.

Торжествующий Разум и культ Человека (с большой буквы), переходя от мыслителей и поэтов к министрам, мэрам, столоначальникам, депутатам и всем прочим, не желали смиряться с тем, что присутствие «неправильных» людей на каждом шагу опровергает их триумф. Торжество гуманизма, антропоцентризма и рационализма означало не только движение к демократии, не только приближение к эпохе науки, разума, благосостояния. Оно еще означало наступление тех времен, когда насильственно и в массовом порядке изолируются от общества все ненужные и опасные для него люди — все те, кто решительно не соответствует типу просвещенного и разумного европейца, признанному правильным и нормальным. История новоевропейской цивилизации, с точки зрения Фуко, может быть понята, среди прочего, как история насильственного устранения из общественного обихода всех тех, кто не вписывается в рамки разумно организованного социального космоса.

Эта сторона поведения разумного общества в изображении Фуко — ну просто вылитая мадам Гайар, увеличенная до континентального масштаба. Идеал всеобщего блага и создание «парадиза» на земле посредством предусмотрительного, рачительного хозяйствования, когда ничто не пропадает даром, когда каждая минута используется с пользой и каждый сантим идет в ход и когда просто уже нет дела до чего-либо другого (то есть страстей, движений сердца, фантазий ума и причуд души),— это она, бессмертная мадам, она же новая и новейшая Европа. Именно от ее ясного рассудка и произрастают такие светлые идеи, как разумное решение еврейского вопроса посредством уничтожения неудобной, «неправильной» нации или решение социальных проблем посредством уничтожения «эксплуататорских» классов.

Сам Фуко этого никогда не говорил. Он играл роль скромного, погруженного в архивные изыскания «археолога цивилизации» и подчеркивал не-идеологичность своих исследований.

Но его мысль имеет свою логику, и в перспективе этой логики само существование коммунистического мира выглядело, конечно, не как отпадение от европейской цивилизации. Советский «социализм» выглядел в этой перспективе пусть гротескным и пародийным, но тем более многозначительным вариантом развития рационализма, гуманизма и антропоцентризма.

С усердием неофитов, с фанатизмом сектантов советские коммунисты реализовали коренной принцип новоевропейской цивилизации, почти в точности по Фуко. Человек с большой буквы, кузнец своего счастья и поборник справедливости, разума и «правды», вознесся на самый высокий пьедестал в истории. Все неправильные люди, все сомнительные элементы и отклоняющиеся компоненты рода человеческого при этом просто обязаны быть отправлены подальше, и лучше всего — либо в небытие, либо за решетку и колючую проволоку.

И естественно, что в своем не-европейском, то есть неистово радикальном, исполнении этот принцип должен был привести к тому, что неправильными, опасными, сомнительными элементами оказались практически все до единого. Да и то сказать, где же найдешь реального человека, который вполне соответствовал бы гуманистическому, рациональному, просветительскому, социалистическому идеалу?

Итак, ограничению свободы выбора своей жизнедеятельности подвергаются практически все до единого, кроме самых высших жрецов иерархии. Вся гигантская страна превращается в закрытую зону, где каждый живет на положении заключенного или пациента, то есть располагать собой не может. Те самые «закрытые заведения», которые привлекли внимание Фуко, увидевшего в них важный симптом определенных процессов европейской цивилизации, в данном конкретном случае разрослись до размеров всего общества. Если так смотреть на вещи, то «реальный социализм» — это не просто монстр, явившийся неизвестно откуда, а свой, родной, старательно выпестованный в реторте просвещения и рационализма монстр, явленный миру вместе с техническими достижениями и социальными благами современной цивилизации.

Идеи, догадки, намеки Фуко имели колоссальный резонанс. Его воззрения были свободны и от левацких фраз, и от пошлого подыгрывания «истеблишменту». Интеллектуальный и артистический мир Запада с тех пор неотделим от внушений этой «Истории безумия...» и этой антропологии. Фуко никого не оправдывал, никого не обвинял, ничего не пропагандировал. Он говорил о том самом, что остро ощущали младшие поколения. Речь шла о цене прогресса и цивилизации и о возрастании этой цены. Речь шла о том, что утопии, осуществляясь, жестоко наказывают тех, кто их осуществил, и что достигнутое «кузнецами своего счастья» благо порождает большое зло. Притом разделить их нельзя. Выбрать из благ и обещаний новой европейской цивилизации (цивилизации разума, справедливости и т. д.) только все «хорошее» и избежать всего «дурного» — это очередная утопия, за которую опять придется платить. А цены на этом странном рынке только растут и никогда не падают.

Продолжатели основоположника и классика Мишеля Фуко стали особо пристально заниматься проблемами постиндустриального информационного общества, его, так сказать, сюрпризами и «подарками» человечеству.

В то время как многоголовая конформистская профессура по всему миру праздновала триумфы новых технологий знания и информации (видя в них прежде всего инструмент разума, порядка, закона и демократии), Жан-Франсуа Лиотар и Жан Бодрийар — самые, вероятно, известные социальные мыслители следующего после Фуко поколения — заговорили о другом. Их главной заботой стали парадоксы нового знания, ловушки разума, теневые стороны новых систем информации и коммуникации. Но их логика в известном смысле напоминала логику Фуко. Он провел линию от идеалов разума и просвещения к «работным домам», «идеальным тюрьмам» и прочим закрытым заведениям для сомнительных элементов, нарушающих искомую гармонию создаваемого энтузиастами «парадиза». Лиотар и Бодрийар, как и другие мыслители, эстетики, литературоведы, критики, стали проводить линию от «общества информации и коммуникации» к новым странным симптомам поведения и сознания.

О том, что человек ощущает себя расщепленным, запутавшимся в лабиринте, вообще потерявшимся в светлом мире вышедшего на простор технологического разума, говорят постоянно. Американская художница Дженни Хольцер прославилась своими странными надписями, помещаемыми в неожиданных местах; на самом большом световом табло Лас-Вегаса однажды загорелась надпись, ставшая известной на весь мир,— «Спасите меня от того, чего я хочу». Один из обзоров венецианской бьеннале 1991 года был озаглавлен «Веселый апокалипсис». Все такого рода формулы, характеризующие западную культуру конца XX века, тесно связаны с новой философской антропологией Лиотара и Бодрийара. Это они заговорили о «хаотическом сознании», об утрате смыслового центра и фундамента мышления и сознания, об исчезновении с горизонтов современной культуры самой про-

блемы ценности и истины. Их герой — человек ошеломленный, для которого реальный мир становится сомнительным, а вопрос об истине и лжи (в религии, науке, искусстве) вообще снимается с повестки дня. В этом — смысл известнейшего постулата Бодрийара, цитировавшегося много раз и ставшего уже ходячей истиной: конец XX века есть время агонии самой реальности.

Речь идет о том, что человек эпохи компьютеров, видеоэлектроники, потребительского изобилия и «мировой деревни» живет как бы в трансе, как бы под своеобразным гипнозом. Он не является уже прежним человеком, который мог рассчитывать на свободу воли и на нахождение какой-то истины о реальном мире — будь она религиозной, научной или просто обывательской. Теперь не то. Рождается сомнамбулический мутант, который фактически управляется извне, из каких-то находящихся вне его центров власти и влияния. Причем эта управляемость настолько скрыта, что доказать ее с помощью «юридических» аргументов практически невозможно. Нет ни тирании, ни бедности. Налицо рациональнейшее за всю историю устройство жизни, самая что ни на есть правильная и справедливая демократия, идеальная связь и средства информации, которые организуют реальность самым наиразумнейшим образом — от Чикаго до Токио.

И вот из недр этого планетарного «парадиза» появляются художники и мыслители, которые говорят о человеке запутавшемся, безумном, опасном, ошеломленном, теряющем все человеческое, превращающем апокалипсис в забаву и призывающем нас (то ли всерьез, то ли иронично) спасать его от того, чего он хочет. И он приходит не из чужого измерения, не из темного прошлого. Он — дитя эпохи закона, порядка, всесильного разума, справедливости; он, если угодно, тоже из числа воспитанников мадам Гайар.

Если Фуко заставляет взглянуть новыми глазами — в перспективе европейской цивилизации — на общество лагерей и массовых репрессий, то Лиотар и Бодрийар побуждают нас обратить внимание на проблему «ошеломленного человека». Цивилизация разума пришла, по их мнению, к той стадии, когда человек превращается в хаос. Дезорганизованность личности как результат рациональнейшей организации общества — это тоже небезынтересно для исследователей тоталитаризма, не «жесткого» тоталитаризма прежних лет, а мягкого, гуманного тоталитаризма с человеческим лицом, развившегося к концу XX века и увенчанного лавровым венком «перестройки». Распад личности и ошеломленность ума — эти предпосылки управления массовым обществом — наблюдаются не только в мире изобилия, закона, порядка и компьютера. Грубее, но дешевле получается нечто очень похожее, если создать общество дефицитов и ограничений. Здесь уже нет варварского истребления миллионов людей, все это в прошлом, а налицо скорее полная перекрытость путей и возможностей жизнедеятельности: одного не достать, другого не получить, третьего никогда не добиться. Стояние в очередях за хлебом, жизнь впятером на десяти квадратных метрах и невозможность добиться исполнения закона без взятки должностному лицу ошеломляют людей, превращают их в сомнамбул и мутантов, наверное, не хуже, чем более гуманный и мягкий способ. Западный мутант куда бодрее и жизнерадостнее, советский — астеничен и маниакально-депрессивен, но это внешние признаки, а суть в том, что оба находятся в состоянии ошеломления и, что называется, глазам своим не верят и не пытаются разобраться, что вообще происходит, и голова у них совсем кругом идет, хотя и по разным причинам. Они — заколдованная толпа, которой можно легко манипулировать, словно имея в кармане флакон удивительной эссенции.

Новый взгляд на человека вызывает многочисленные и решительные протесты. Иначе и быть не может. Нелегко убедить людей в том, что гуманизм и культ разума вовсе не являются залогом благополучия людей. Новая философия хочет доказать, что безумие — не противоположность разума, а его же порождение при определенных условиях, а тоталитарное насилие над человеком и манипулирование человеком — это производное от порядка и закона, доведенных до вершины. Романисту Зюскинду такие вольности прощают, но когда философ, социолог, культуролог произносят то же самое открытым текстом, без ауры искусства,

раздается возмущенный хор. Так что искусство в очередной раз доказывает свою необходимость...

Люди в конце XX века не готовы примириться с мыслью о том, что тот самый Человек (с большой буквы), который создал цивилизацию, демократию, науку, общественный порядок и материальный достаток, является подлинным создателем комфортабельных и некомфортабельных концлагерей; и это только хитрость, только маневр — перекладывать ответственность на каких-то выродков рода человеческого и помрачение умов. Точнее, помрачение-то есть, но ведь оно и от света бывает. Количественно, разумеется, преобладают оптимисты по убеждению или по служебным обязанностям, а также деловые люди, которым положено видеть впереди Золотой Век всеобщего расцвета, чтобы вести в том направлении корабль своего бизнеса.

Мысль о человеке и обществе занята в конце XX столетия опасным делом или, может быть, вторгается в опасную тайну. Эта мысль не отрицает, что человек вполне способен решить свои проблемы своим умом и даже может выбрать путь к Золотому Веку вместо пути к Апокалипсису (пути, впрочем, также вполне реального). Человек, возможно, даже сумеет пройти правильно избранный им путь. Но вся загвоздка в том — напоминает нам вредная, ехидная мысль,— что цивилизация разума до сих пор неизменно наказывала сама же себя своими же собственными успехами. Главные утопии человечества оказались осуществленными в XX веке — и сама их реализация стала наказанием для осуществителей.

И потому вряд ли можно думать, будто благополучно достигнутый Золотой Век, этот всеобщий «парадиз» порядка, закона и благополучия, будет сильно отличаться от прочих заповедников и островов разумного, доброго и вечного, когда-либо учрежденных людьми.

Из бесед в редакции

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, КАРЕН СТЕПАНЯН

ПРОЗА КОНЦА ВЕКА: РОССИЯ И ЗАПАД

Попытка прогноза

Едва ли не привычным стало разделять читателей на любителей зарубежной литературы и на тех, кто отдаёт предпочтение отечественной. Больше того, и сегодняшнюю русскую литературу чаще всего стали рассматривать таким образом, словно происходящее в ней почти не связано с новейшими веяниями в других культурах — европейской, американской. На деле же ситуация много сложнее и в чем-то даже не лишена оттенков драматизма. Гораздо более активный, чем прежде, диалог отечественной словесности с мировой, быстрое стирание «белых пятен» и, как следствие, знакомство наших читателей с многочисленными, ранее недоступными явлениями искусства XX века — все это заставляет по-новому задуматься как о характере читательского восприятия произведений, не привычных по проблематике и по изобразительности, так и об истинных — или мнимых — ценностях нашего художественного опыта. Таков сюжет беседы критиков Алексея Зверева и Карена Степаняна.

КАРЕН СТЕПАНЯН. Советская литература в мировом литературном контексте — такова была в нашем далеком недавнем прошлом тема многих работ, где преимущественно показывалось, в какой степени те или иные зарубежные авторы, несмотря на заметные художественные достижения, не доросли до социалистического реализма. Затем, по мере увеличения нашей изоляции от остального мира, тема «сама собой» исчезла.

И вот впервые появилась возможность вернуться к этой теме в условиях свободного, не предзаданного в своих выводах разговора. Хотя о соцреализме мы уже успели забыть (так и не попытавшись понять, что ж это такое было), уникальность бытования литературы в нашей стране не вызывает у меня, да и у других людей, сомнений. Однако нынешнее сверхскоростное возвращение в мировое сообщество порождает интенсивнейшие перемены и в материальной, и в духовной сферах жизни. Немалому числу наблюдателей и аналитиков происходящее кажется крахом того типа культуры, который складывался здесь веками.

В последнее время довелось познакомиться со многими статьями и выступлениями западных славистов, в которых анализируются происходящие в нашей литературе процессы. Вкратце их можно резюмировать следующим образом. Наконец-то русская литература, освободившись от пафоса учительства — пафоса варварского, ибо литература не должна выполнять подобных функций в цивилизованном обществе,— переходит к чисто эстетическим задачам, становится нормальной литературой, включается в общеевропейский и американский литературные процессы: это выглядит возвращением варваров в культурное общество. Побрились, сняли шкуры, оделись и вошли, наконец, в клуб нормальных людей. Многие десятилетия,— пишут они,— в этой стране (то есть у нас) господствовала иллюзия, будто можно совместить две вещи: литературу как властительницу дум всей страны и полные прилавки магазинов, демократическую, цивилизованную, богатую жизнь. Но сие невозможно. И сейчас в России, наконец, в этом убедились. Либо люди живут впроголодь, в тоталитарном обществе, читают книги и спорят о них бесконечно, либо они живут нормальной жизнью, в которой литература занимает

свою, вполне определенную нишу, на бóльшее не претендуя.

Безусловно, перемены — и весьма важные — происходят.

Буквально на днях пришлось читать статью одного из наших наиболее популярных критиков — то была обзорная, итоговая статья. В ней он называет лучшие произведения за минувший год (примерно дюжину), из которых половину я просто не читал. Не могу себе представить, чтобы такое могло произойти еще года два назад. На протяжении последних десятилетий — с начала «оттепели» — наиболее заметные новые произведения читала вся страна. Выходил «Дом» Абрамова, или очередной роман Айтматова, или «У последней черты» Пикуля — их читали все. Академики и домохозяйки, старики и молодежь, утонченные интеллектуалы и алкаши у пивного ларька — восторгаясь, негодуя, споря до хрипоты,— обсуждали эти книги. Обычно обсуждали какое-то одно, общее для всех произведение.

Сейчас читательская аудитория заметно расслаивается. Нет главных произведений, нет главных писателей. Одни читают Алешковского, другие продолжают читать Проханова, третьи — Набокова, четвертые — авангардистов. Большинство перестает читать совсем. Люди занялись обустройством собственных дел (от добывания пакета молока до организации бирж и акционерных компаний). Раньше верили в сверхъестественное могущество литературы: литература поможет нам узнать истину о жизни — и с ее помощью мы переделаем жизнь к лучшему. Но вот уже, казалось бы, узнали все — однако жизнь лучше не стала, стала много хуже. Доверие к литературе утрачено. Действительно, литература перестает быть властительницей дум: она становится развлечением для большинства, эстетическим отдыхом — для немногих. Долгие годы при встречах с иностранцами мы с немалым удовольствием отмечали — а они с некоторым ужасом или восхищением выслушивали,— какие у наших «толстых» литературных журналов тиражи, невиданные по сравнению с *их* журналами. Теперь мы убеждаемся, что тиражи имеют тенденцию стать такими же, как и в других странах.

Итак, статус литературы у нас как будто бы меняется. Хорошо это или плохо? С моей точки зрения, плохо. Позже попробую объяснить почему. Но прежде мне хотелось бы узнать, согласны ли вы с моим наблюдением, Алексей Матвеевич, и если согласны, то считаете ли, что тем самым мы входим в семью цивилизованных народов, и что это хорошо.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ. Вы ставите вопросы, на которые только очень самонадеянный человек ответит безоговорочным «да» или «нет». Не уклоняясь от необходимости ответа, постараюсь избежать категоричности.

Прежде всего — об учительном пафосе как коренном свойстве русской традиции. Абсолютизировать этот пафос, по-моему, не следует. И считать его сугубо русской особенностью — тоже. Сколько ни ищи, не найти никакого морализаторства ни в петербургских повестях Гоголя, ни в поэзии Фета, ни в чеховских «Трех сестрах» или «Скучной истории», и пусть кто-нибудь мне докажет, что все это только периферия нашего художественного опыта. С другой стороны, попробовали бы помянутые вами американские слависты подступиться со своим требованием «чисто эстетических задач» хотя бы к Руссо или Гёте, которые иначе, чем учителями жизни, себя не мыслили. Что же, по этой причине исключить «Исповедь» и «Фауста» из числа великих памятников литературы?

Но сама проблема, конечно, реальна, и подтверждением ее невымышленности действительно служат не только высказывания наблюдателей со стороны, усердно нам рекомендующих покончить с варварской привычкой назидать, вместо того чтобы просто созидать,— многое в том же духе говорится и нашей критикой, особенно молодой.

К. С. Мне интересно было бы ваше мнение об этих публикациях.

А. З. Пожалуйста. Вот один из лидеров молодой критики не так давно учинил новый суд над отечественной классикой, укоряя ее небрежением к собственнно литературе, которой жертвуют, желая вещать и поучать,— наверняка вы читали нашумевшую статью Александра Агеева «Конспект о кризисе»[1]. Вслед за тем Михаил Золотоносов[2] объявил, что и поныне существуют два типа писателей, условно го-

[1] «Литературное обозрение», 1991, № 3.
[2] «Московские новости», 1991, № 4.

воря, Солженицын и Синявский: первый — традиционно российский («нудное морализаторство... расстановка неприкосновенных святынь, музеефикация мира, страх ошибок и кощунств»), второй — скорее западный, во всяком случае современный («...относительность, игровое или артистическое начало, маски... ирония, которой охвачено все, в том числе и любой авторитет»).

Золотоносов желает выяснить, кто напишет русского «Доктора Фаустуса» (странный, кстати, выбор. Томас Манн явно не годится в поборники тотальной относительности и небоязни кощунств). И устанавливает: сделать это сумеет лишь писатель, принадлежащий ко второму типу.

Я думаю, русского «Доктора Фаустуса» не напишет никто, поскольку «Доктор Фаустус» уже написан, хотя и по-немецки. Кроме того, я совсем не уверен, что «книгу века» непременно создаст литературный сторонник Андрея Донатовича, а не приверженец Александра Исаевича. Но я понимаю, что подобные противопоставления (довольно прямолинейные, хотя в эмигрантской критике они давно стали общим местом) определенные основания под собой имеют. И эти основания созданы не классикой нашей, а всей практикой советского периода, когда учительная миссия искусства, как характеризовал ее в своем трактате Толстой, не только была объявлена обязательной и непререкаемой, но еще и теснейшим образом увязана с проповедью казенной идеологии, то есть извращена до неузнаваемости.

Совершенно естественно, что, едва начали ослабевать путы этой идеологии, тут же стала — причем агрессивно, с явными перехлестами, с тенденциозностью, сопутствующей всякому акту ниспровержения окаменевших догм,— пробивать себе дорогу мысль, что литература и самодостаточна, и самоценна.

Сегодня, кажется, последнее, что не в дефиците,— это насаждаемая Золотоносовым ирония, которая не щадит никого. Уже и Толстой нам плох, и Достоевский сомнителен, а Щедрин так вовсе не угоден. И все оттого, что артистическому началу предпочитали учительное. Стало быть, писатели несут свою долю ответственности за то, что, получив приказание сделаться «частью общепартийного дела», литература не очень-то и сопротивлялась. Ведь ее задолго до Ленина приучали воспитывать, наставлять, талдычить о нравственности, развенчивать ставрогиных, идеализировать каратаевых, словом, заниматься не тем, чем следовало бы. А следовало бы как зеницу ока беречь свой эгоцентризм, который в ней существует изначально и вековечно.

Я ничуть не утрирую, просто по возможности лапидарно излагаю сердечное убеждение сегодняшних воителей за чистую литературу. Разделить его не могу по своей старомодности и еще оттого, что мне эта позиция кажется столь же скособоченной, сколь и пародируемые ее сторонниками призывы к тесной связи искусства с жизнью народа и прочий официозный вздор. Тем не менее, меня не надо убеждать, что такие взгляды должны были у нас появиться с неизбежностью и высказываться безоглядно, категорично.

К. С. Но разве предыдущие поколения — у нас и за рубежом — никогда не задумывались над этой дилеммой: искусство самодостаточно, не служит никому и ничему; а с другой стороны, высшей целью искусства не может не быть духовное просвещение людей, поиск истины, разгадка тайны бытия?

А. З. Конечно, если чуть умерить запал полемики, станет видно, что ничего нового в перепалке «морализаторов» и «артистов» нет, поскольку спор этот очень давний и вряд ли когда-нибудь будет окончательно решен — в ту ли, иную ли сторону. Причем замечу, что для действительно крупных художников он никогда не обладал тем едва ли не сакральным смыслом, каким вдруг наполнился у нас. Разделение поэзии на «наивную» и «сентиментальную» (то бишь, по-современному говоря, просто изображающую мир или стремящуюся его усовершенствовать) восходит, как известно, к Шиллеру, которому без усилий удавалось быть и сентиментальным, и наивным. Гёте, прекрасно зная, что каждому его слову внимают как откровению, преспокойно утверждал следующее: «Вполне возможно, что произведение искусства имеет нравственные последствия, но требовать от художника, чтобы он ставил перед собой какие-то нравственные цели и задачи,— это значит портить его работу». И примеров

такого рода — сотни, в том числе в русской классике.

К. С. А в то же время разве не ставили своей целью улучшение общественных нравов Бальзак, Голсуорси, Виктор Гюго, Фолкнер, Ремарк?

А. З. Увы, нам сегодня невозможно с олимпийским бесстрастием относиться к подобным материям, хотя бесстрастие, думаю, в данном случае означает просто-напросто здравый смысл. На Западе он возобладал в общем-то давно. Последняя памятная дискуссия, где основной темой было нравственное и собственно художественное содержание искусства, происходила там еще на заре века. Спорили Генри Джеймс и Уэллс; тогда преимущество осталось за Уэллсом, настаивавшим, что художник обязан обладать определенным пониманием морали и открыто его высказывать. Однако окончательное слово принадлежало все-таки Джеймсу. Время это продемонстрировало с наглядностью, сделав художника, который, по терминологии Золотоносова, хочет «расставлять неприкосновенные святыни», фигурой, по меньшей мере, эксцентричной на общем фоне. Такие устремления мало свойственны даже писателям, которые были прямо связаны с какими-то философскими школами, допустим, с экзистенциализмом, как Камю.

Мы же отстали от века и в этом смысле — к сожалению ли, к счастью, пусть каждый решает сам, но отстали несомненно, а теперь пытаемся одним махом такое положение переменить. Да вот не очень-то получается. По-моему, явно торопятся, констатируя, что с морализаторством в русской литературе покончено. Полноте! А Солженицын, уверенно объясняющий, как надлежит обустроить Россию, причем не только в публицистике, в «Красном колесе» тоже. Или, взяв пример из другого ряда,— Эдуард Лимонов. Он же собой не налюбуется, растолковывая нам, недотепам, что такое хорошо и что такое плохо на его, очень мягко скажу, самобытный взгляд.

По существу ничего тут не изменилось, просто назидания взамен искусства стали преподноситься не всегда с серьезной интонацией — случается, и с ёрнической, эпатажной. Другой вопрос, что к назиданиям, пусть даже они исходят от Солженицына, перестали относиться с благоговейным трепетом. Вы не обратили внимания, как резко упал рейтинг публицистов, всего два-три года назад ходивших в наставниках и спасителях нации? Теперь со скепсисом выслушивают любого вещателя конечных истин — будь он супердемократ или махровый консерватор.

Господствует скепсис. Разумеется, ему сильно способствовал быт, который все больше напоминает иллюстрацию на первых страницах нашего школьного учебника истории: там существа в шкурах палками забивают мамонта. Кстати, этот быт очень убедительно опроверг стародавние мифы, будто духовность растет, когда на прилавках нет ни дрожжей, ни хлеба. Думаю, дело не только в блистательных итогах нашего социалистического выбора, который так горячо обсуждают в многочасовых очередях за буханкой.

Дело скорее в том, что наконец-то и нас настигла усталость от идеологии, которую Запад почувствовал много раньше — по крайней мере, на исходе 60-х, когда отшумела молодежная революция. Рано или поздно это и в России должно было случиться, даже независимо от разрухи: в конце концов, мы часть европейской цивилизации, как ни старались от нее отречься. Крах режима подтолкнул и резко ускорил давно вызревавший процесс охлаждения к идеологии, не обязательно коммунистической — всякой. Август 1991-го показал, что, вопреки расхожим мнениям, отнюдь не всем все равно. Но у Белого дома защищали не идеологию, а право жить не под дулами автоматов и не под контролем КГБ. Если это и была революция, то никак не схожая с идеологическим переворотом вроде Октябрьского, а революция гражданского самосознания.

К. С. Да, это было в первую очередь сопротивление, противостояние лживой, мертвенной идеологии (десятилетиями паразитировавшей на человеческих стремлениях к добру и счастью) — идеологии, столь долго, подобно серому бетонному забору, стоявшей между нами и подлинной жизнью.

А. З. Но лучше оставим историкам подыскивать точные определения. Я же ограничусь констатацией, что идеология сегодня мертвеет у нас на глазах, и для культуры это имеет очень глубокие последствия. Я согласен, что всеми признанных авторитетов теперь нет —

в культуре и, думаю, в обществе тоже. Их и не может быть: не оттого, что все измельчало, а оттого, что слишком многое изменилось вокруг нас, изменив нас самих. На чем, скажем, держался авторитет Твардовского в 60-е годы? Далеко не все любили его как поэта. Но он был символом противостояния официозу, и при тогдашнем размежевании к нему нельзя было относиться безразлично: либо принимали просто за позицию, либо за нее же отвергали — практически без полутонов. В нашей университетской компании постоянно заходил разговор о «Новом мире», и многое в нем не нравилось: стихи — почти сплошь, или, скажем, очерк Твардовского о Бунине, однако никому и в голову не приходило сказать об этом публично, а не в своем кругу. Потому что это значило бы тут же попасть в противоположный стан: октябристов, кочетовцев.

Или: отчего в ту пору безоговорочным был авторитет Солженицына? Никто из моих сверстников не забудет потрясения от «Ивана Денисовича». А уже «Раковый корпус», гулявший в самиздате, оставлял впечатление двойственное. И «В круге первом» тоже. И тем более «Август Четырнадцатого». Как литература эти книги не вполне оправдали ожидания, может, оттого, что ожидания были сверх меры большими. Но никто и полусловом об этом не обмолвился. Ведь Солженицын был тоже символом противостояния — и сталинизму, и всей системе, втайне ненавидимой многими. И взгляд на Солженицына не его литературным значением определялся, во всяком случае, не им в первую очередь.

Вот вам и ответ, почему тогда были книги, которые читали все, а теперь их нет. Не сами книги, а общественные репутации тут были главным. Вы вспомнили романы Абрамова, Айтматова. Думаю, и сегодня появляются произведения, по художественному качеству, мне кажется, не уступающие ни «Дому», ни «Буранному полустанку». Например, «Капитан Дикштейн» Кураева. Или «Псалом» Горенштейна.

Но ситуация другая: нет официоза и нет оппозиции официозу, нет символов и олицетворений, есть просто литература. И мы читаем упомянутые мною книги просто как литературу, как художественные тексты, которые вовсе не рассчитаны стать неким событием в просторном мире, лежащем за пределами литературы. Кому-то они нравятся, кому-то нет, это естественно. Прозаики, которых я назвал,— по-моему, лучшие сегодня русские прозаики,— совсем и не притязают стать чем-то бóльшим, чем мастерами прозы, не претендуют вдохновлять массы, что-то собою знаменовать в области политики, идей и т. п. Они только писатели: не больше, но и не меньше. Теперь наконец-то появляются возможности свободного читательского выбора в соответствии с чисто литературными пристрастиями. И думаю, очень хорошо, что существуют, открыты читателю и Алешковский, и Маканин, и Горенштейн, что печатаются и «Год великого перелома» Белова, и «Это я, Эдичка» Лимонова, хотя «Эдичка», по-моему,— антиискусство. Хорошо, что есть реальный плюрализм. Без него литература задыхается. Или, во всяком случае, выдыхается.

Мне бы очень хотелось надеяться, что в конце концов этот плюрализм создаст атмосферу, действительно помогающую окрепнуть настоящей литературе. Пока этого не происходит, во всяком случае, подразумевая написанное авторами, не покинувшими Россию. Отчего не происходит — вопрос особый. Моему собеседнику, читающему отечественных писателей больше, чем я, причины, наверное, виднее.

К. С. Действительно, пока этого не происходит — здесь я согласен с моим собеседником. Но вот в объяснении того, почему не происходит, мы, наверное, не сойдемся. Да, в последние годы —. когда с писателей, казалось бы, снято большинство прежних цензурных оков, почти не существует прессинга официальной власти, когда вокруг происходят такие глубочайшие изменения, преобразующие, кажется, самые основы нашего бытия — отечественная литература не только не ответила адекватным взлетом художественных достижений (как то опять-таки было в годы «оттепели»), но более того: налицо явное оскудение (говорю здесь только о прозе — и той прозе, которая хоть где-то опубликована). Из прочитанного за последние год-полтора в наших журналах подлинное художественное потрясение я испытал лишь после маленького романа Амоса Оза «До самой смерти» («Знамя», № 8, 1991) и повести Фридриха Горенштейна «Искупление» («Юность», №№ 11-12, 1990).

Можно назвать еще последние вещи Маканина и Кураева, Петрушевской и Татьяны Толстой, изящную маленькую повесть Елены Шварц «Взрывы и гомункулусы» («Волга», № 5, 1991). Но и все. Не мало ли (учитывая, что Оз — писатель израильский, а Горенштейн уже много лет живет в эмиграции, да и повесть эта написана давно)?

В чем причина?

Конечно, литература менее всего поддается планированию, конечно, художественное осмысление происходящих событий требует немалого времени, но, мне кажется, причина еще и в ином. Здесь я хотел бы вернуться к началу нашей беседы и объяснить, почему мне не нравятся те изменения в статусе литературы, которые происходят ныне.

Они ведь только с одной стороны вызваны изменениями в читательской психологии. Да и сами эти изменения, может быть, лишь реакция на то, что происходило в отношении к литературе самих писателей.

Вкратце об этом можно сказать так. Создатели русской классики — Гоголь, Достоевский, Толстой, в меньшей степени Чехов и Салтыков-Щедрин, но в общем это сознание было присуще всем — ощущали ответственность за идейное, нравственное состояние душ современников. Потом, в советское время, в этом статусе ощущали себя и творцы советской официозной литературы (с какой степенью искренности, правда, теперь уже не узнаем) и те, кто противостоял раздавливающей людей системе, кто был долгие десятилетия, по существу, хранителем народной души, народной нравственности (и, в общем-то, осознавал это) — Ахматова, Пастернак, Булгаков.

Рассуждая с позиции отвлеченной, эстетической, общетеоретической, конечно: литература не должна выполнять не свойственных ей задач. Конечно, самоценность литературы для нас, литераторов, профессионалов, должна быть превыше всего. Но разве такие произведения, как «Реквием» Ахматовой, «Мастер и Маргарита», «Архипелаг ГУЛАГ» были ценны только как литература? Разве не было первое их прочтение для нас важнейшим жизненным этапом, во многом определявшим дальнейший путь, порой не менее важным, чем подлинные события в жизни, брак, дружба, рождение детей? Разве все это не свидетельствует о том, что русская литература имеет некоторую специфику, вследствие которой она может подниматься до художественных высот именно в том своем состоянии, от которого мы сейчас пытаемся откреститься, говоря, что мы преодолели этот этап, что он был всего лишь искривлением пути естественного литературного развития?

В пределах данного диалога невозможны более или менее глубокие экскурсы в историю, скажу лишь в самых общих словах. Русская литературная традиция издавна складывалась так, что конечной целью всякого литературного произведения (далеко не всегда достигавшейся, бесспорно) было постижение истины о Вселенной и месте человека в ней. Именно в такой последовательности. Если западное сознание постигает истину через индивида, исследуя Вселенную в человеке (и соответственно так же ориентирована по преимуществу и западная литература), то русское сознание постигает в первую очередь человека во Вселенной. Процесс постижения истины означает внутреннее совершенствование человека, обóжение его, и процесс этот, писал отец Павел Флоренский, есть Красота. Поэтому понимание прекрасного, эстетическая основа западной литературы и литературы русской существенно различны. И то, что мы называем учительным пафосом русской литературы, есть — в своем не фальшивом, не «соцреалистическом» исполнении — именно ее надличностный пафос (вернее, так: поиск основ подлинной свободы личности в добровольном слиянии со вселенским Добром). Именно он составлял и составляет жизненную основу русской литературы, подобно тому как жизненную основу западной литературы составляет пафос личностный. Так сложилось в результате многовекового процесса развития, и в этом есть, видимо, некая высшая мудрость — как в наличии у мозга человека правого и левого полушарий. Поэтому же столь вторичными, нежизненными выглядят «надличностные», «учительные» произведения в западной литературе и «личностные», замкнутые на индивидуальном мире героя — в русской («надличностными» — только очень по-особому — являются и лучшие романы Набокова). Но надо добавить, что прямое учительство — «сверху

вниз» — русской литературой и русским обществом в конечном счете всегда отвергалось, даже когда в роли учителей выступали Гоголь или Лев Толстой.

Однако для того чтобы помогать современникам в постижении истины, писатель должен сам обнимать мыслью весь мир, быть на уровне подобной задачи. И наши писатели, вплоть до Макании, Битова, Искандера, Абрамова, Распутина, Белова, Пикуля — каждый по-своему — это делали. Теперь от этого отказались. Почему? Связано ли это с общим кризисом идеологии, о котором вы говорите, Алексей Матвеевич? Может быть — но лишь отчасти. Главным же образом связано это с тем, что писатели поколения Ахматовой, Пастернака и Булгакова сохранили еще традицию философского осмысления мира, в то время как у последующих поколений все силы уходили на борьбу с режимом, политическое противостояние. Теперь же общество, человек вновь встали перед последними вопросами бытия, и писатели оказались к этому не готовы. Осмыслить нынешний мир большинство из них не может. А без этого нет отечественной литературы.

Но... но, может быть, то, о чем я говорю, является лишь выводом из прошлого опыта, а в будущем нас ожидает повторение многих процессов, которые происходили и происходят на Западе? Там ведь все чаще констатируют: «У писателей уже нет прежнего авторитета. Их книги более не влияют на формирование читателей в моральном и интеллектуальном плане». (Это слова из интервью влиятельного американского критика Альфреда Кейзина французскому журналу «Магазин литтерер».)

А. З. Опять-таки проблема не из тех, которые предполагают однозначное решение. И свое понимание этой проблемы я охотно признаю дискуссионным. Я хочу вернуться к мысли о том, что названные вами произведения создавались в условиях тоталитарного общества. Положение литературы в таком обществе совершенно особое: если это настоящая литература, создается она без надежд на публикацию, зато и без оглядки на цензуру, и ведет существование на грани риска. Я знаю людей, получивших высылку за чтение Солженицына. А что происходило с ним самим, пока он жил в СССР, знают все.

Разумеется, было бы в высшей степени странным, если бы, погружаясь в «Реквием», мы думали не о времени, в нем воссозданном, не о гражданском подвиге Ахматовой, а о том, скажем, как эта поэма соотносится с пушкинской традицией в русской лирике XX века. Но согласитесь, о «Реквиеме» как явлении высочайшей поэзии, а не только документе эпохи, тоже следовало бы задуматься. И, может быть, прежде всего — если бы не та ненормальная ситуация, когда стихи пишутся «в стол», а читаются полушепотом при выключенном телефоне с возможным подслушивающим устройством.

Теперь все это, слава Богу, в прошлом. Но ведь восприятие Ахматовой, и Булгакова, и Мандельштама, и Платонова — массовое восприятие — осталось в общем-то прежним, т. е. густо оснащенным идеологическими и политическими обертонами. Можно счесть подобный характер восприятия одним из фундаментальных следствий отечественной традиции, с Белинского начиная приучавшей любой художественный текст прочитывать едва ли не исключительно как социальное обобщение, аргумент в идейной полемике и т. п. Но скорее тут все-таки надо сказать о следствиях духовного воспитания, полученного нами за советское семидесятилетие.

Это воспитание по сей день поминутно о себе напоминает, а в том, как мы читаем,— даже особенно выразительно. Вот характерный пример — возвращение Набокова. Ведь свой, русский писатель, насквозь пропитанный Пушкиным, Гоголем, но — сужу по многочисленным читательским свидетельствам — никак не удается ухватить в нем что-то сокровенно близкое. Всячески стараются вычитать у него прямой общественный смысл, как бы сведя всего Набокова к «Приглашению на казнь». А лишь только обозначится истинный набоковский космос, к которому не подступишься с мерками, для нас традиционными,— добро, зло, положительное и отрицательное, четко прописанные этические категории,— читатель в растерянности, поскольку подобным интерпретациям текст сопротивляется каждой клеточкой. И все время слышишь, что Набоков, конечно, мастер, но какой-то холодный, формальный, чужой, внешне блестящий, однако мало что дающий сердцу и уму.

Что уж тогда говорить о нашем восприятии западных классиков XX века? Тут просто недоумение, то и дело переходящее в агрессивность отрицания при очевидном непонимании: так обстояло дело с Джойсом, с Вирджинией Вулф, Бютором, Беллоу, Голдингом — почта «Иностранной литературы», печатавшей их всех, предоставит обильные подтверждения сказанному. И удивляться нечему: какая обличительность в «Улиссе»? Какой самоочевидный общественный пафос в «Миссис Дэллоуэй» или «Комнате Джейкоба»? А без этого литература для нас не вполне литература. Или вообще не литература.

К. С. По-моему, вы преувеличиваете.

А. З. Ничуть не преувеличиваю. Вы бы почитали почту «ИЛ». Она очень выразительно говорит о состоянии умов. Мы теперь стараемся стать свободным обществом, но чтобы старания не пропали впустую, переделывать придется и социальные порядки, и самих себя. Не скрою: Набоков мне в последнее время становится ближе писателей, по-своему не менее значительных, однако пронизанных идеологией, подобно Мережковскому. Я верю, что в идеологических подпорках литература не нуждается, поскольку ее возможности как искусства уникальны. И в свободном обществе они должны выявиться.

Хотя это произойдет, конечно, не автоматически. Есть разные точки зрения на судьбы русской литературы после пережитого нами перелома. Нью-йоркские критики, бывшие рижане, Петр Вайль и Александр Генис считают, что у нас вот-вот начнется эпоха массовой культуры. И она будет благотворной, потому что, оказавшись на перепутье, почти выдохшись, серьезная культура не выживет, если не освоит формы, пока что находящиеся у нас в рудиментарном состоянии, и сам язык поп-искусства.

К. С. Эпоха массовой культуры у нас началась. Если еще год назад (как и все последние годы) большинство людей, читающих в метро, держали в руках журналы (соответственно с публикациями Пастернака, Гроссмана, Булгакова, Кураева, Рыбакова, Горенштейна, Макании-на), то теперь — только детективы. Массовая литература вышла на поверхность, ее везде много, и хотя она не стала слишком уж доступна (по цене), кажется, именно она-то и нужна была нашему читателю, а прежний интерес к серьезной литературе был обусловлен отсутствием хорошего развлекательного чтива. Издатели (и государственные, и кооперативные) чутко уловили спрос и, поскольку теперь никто никому ничего приказать не может, быстро перешли к массовому изданию ширпотреба. Сейчас в ходу Чейз, Кристи, Семенов и масса их бездарных последователей, местных и импортных. «Серьезные» книги сиротливо лежат на лотках и постепенно понижаются в цене (может быть, единственное понижение цен в наше время!).

«Каково общество, таковы и бестселлеры»,— заявил недавно один из издателей. Значит ли это, что нынешнее наше общество хуже общества 70—80-х годов, когда бестселлерами были Булгаков и Трифонов, Пастернак и Гроссман?

Нет, конечно. Просто советского читателя никто по-настоящему не изучал, довольствуясь мифами о нем, как справедливо писала недавно в одном из наших журналов австрийская славистка Энгель. А он в большинстве своем (как и в других странах) обращается к книге за развлечением, отдыхом, а также в поисках «закрытой» информации (именно последнее обстоятельство и обусловливало у многих интерес к «возвращенной», «подпольной» и эмигрантской литературе).

Но я, в отличие от многих, не вижу в происходящем большой беды. Настоящая литература у нас не исчезнет, мы не станем, как предрекают некоторые, одной из самых нечитающих стран мира. Наша жизнь столь неразрывно связана со словом (хорошо это или плохо — другой вопрос, я думаю — хорошо), что, во-первых, без книги не проживем, во-вторых, усталость от эрзац-литературы наступит довольно быстро (даже у самых «неопытных» читателей), захочется более жизненного, поддерживающего и просветляющего дух чтения. С другой же стороны, многие серьезные писатели поймут, что без завлекательных «приманок», позволяющих получать удовольствие от чтения, рядового читателя не привлечешь (это хорошо понимали классики), и научатся учитывать это в своей работе.

А. З. Применительно к западной культуре в точности то же говорил лет двадцать назад американский критик Лесли Фидлер. «Чем была литерату-

ра?» — спрашивал он заглавием своей произведшей фурор книжки и отвечал: чтением для нормальных людей. А чем стала? — закодированным текстом, который предназначен для армии диссертантов, выискивающих в нем потаенные смыслы, отголоски мифов, реминисценции из Шекспира, отзвуки Фрейда и т. п. Если она хочет живого общения с читателем, ей необходимо отправиться за опытом к массовой культуре, наиболее органично выражающей и реальность, и духовный мир рядового человека. В противном случае претенциозная «большая литература» просто умрет.

Она, однако же, по сей день не скончалась, что не мешает приверженцам воззрений, родственных фидлеровским, снова и снова тянуть свою песню. Летом 1990-го в несколько измененной аранжировке эту песню услышали от Стэнли Элкина, не очень известного американского романиста, который опубликовал в книжном приложении к «Нью-Йорк таймс» статью, называющуюся «Будущее романа». Это будущее зависит, по мнению Элкина, от того, сумеют ли романисты рассказывать истории, представляющие более или менее широкий интерес, то есть, попросту говоря, зависит оно от элемента занимательности. Все иные пути представляются Элкину ведущими в тупик. Человек, вздумавший сегодня написать что-нибудь напоминающее «Улисса», совершил бы литературное харакири.

Любопытно, что свою идею Элкин аргументирует отсылками к литературам Восточной Европы, значит, отчасти и к нашей. Так вот, в этих литературах возобладал «эмблематический символизм», проза окуталась «густыми слоями аллегории», романы превратились в «крипто-солипсические тексты»,— Элкин явно целит в Милана Кундеру, видимо, не зная о существовании Битова и Маканина. А что в итоге? В итоге — восторги профессоров-семиотиков и безразличие публики. (Последнее неверно. Такие романы Кундеры, как «Невыносимая легкость бытия» или «Книга смеха и забвения», стали бестселлерами и в Европе и в США.)

В общем, Элкин находит, что дарования вроде кундеровского растрачены попусту, так как неверной была избранная литературная ориентация. Извинить ошибку можно лишь тем, что при тоталитаризме не существовало другой возможности выразить неофициозную мысль. Но тоталитаризм рухнул, и теперь все переменится. С «умничаньем» будет покончено,— потоком хлынут восточноевропейские мелодрамы, вестерны, комиксы, и рефлектирующих интеллигентов сменят советские дракулы и чешские тарзаны, и восторжествует примитив, а об экзистенциальных проблемах в такой прозе перестанут рассуждать вообще — разве что с единственной целью как-то заполнить интервал между половыми актами.

Не знаю, как другим, а мне подобное будущее кажется ужасающим, тем более что вовсе его исключить нельзя,— почитайте хоть кое-что из отечественного «андерграунда», теперь активно выдвигаемого на авансцену. И все-таки хочу думать, что такой опасности удастся избежать,— пусть не без потерь. Мне кажется, в нынешней молодой литературе, кокетничающей своей вульгарностью и грубостью, все еще велик накал сопротивления казенному оптимизму, непререкаемым запретам и табу, мертворожденным клише соцреализма и т. п., хотя бунтовать уже незачем — противник капитулировал. То есть эта молодая литература, по сути,— чистейшей воды продукт того самого тоталитаризма, который она так старательно эпатирует и ниспровергает.

Да, времена тоталитарного режима кончились, и когда мы в полной мере наконец уразумеем, что избавились от его удушающих объятий, исчезнет всякий повод для эпатажа. Зато откроются возможности, которыми пренебрегали по сей день, и будет по-настоящему понято, что важен сегодняшней нашей литературе опыт Набокова, и вместо поверхностных подражаний Хармсу появится его школа...

Впрочем, все это литературные метания, не больше.

К. С. Хотелось бы с теоретических высот спуститься на реальную почву литературной конкретики. Сейчас в нашей прозе, насколько я могу судить, существуют три направления (помимо тех ярких авторов, которых я называл выше и которые, как и полагается, существуют сами по себе). Высокий учительный пафос почти исчез, превратившись в душегрейно-назидательное морализаторство, представленное в основном созданиями

тех «патриотов», которые совсем недавно все надежды на возрождение России связывали с КПСС и армией, а теперь переключились на монархизм и православие, в ужасающем смешении с шовинизмом, восхвалениями Саддама Хусейна и агрессивной ксенофобией. Сусальное воспевание патриархальных русских добродетелей (среди которых, впрочем, напрочь забыты спокойная уверенность в своей духовной силе и братская любовь к другим нациям) — противопоставляемое тотальному аморализму «демократов» и инородцев. Нередко подобные произведения обильно сдобрены дилетантским заигрыванием с мифологизмом, парапсихологией, магией. Все это, впрочем, и высокого звания прозы недостойно.

Второе направление представлено в основном в творчестве молодых и связано как с кризисом учительства в нашей литературе, так и с кризисом литературной условности, литературы воображения и переходом к литературе документа, к документальной прозе или физиологическому очерку: это явление носит, по-моему, универсальный характер,— просто на Западе оно началось двумятремя десятилетиями раньше. Здесь наиболее заметные имена — рано умерший, к сожалению, Юрий Стефанович, Марина Палей и петербургский прозаик Николай Иовлев с его романом о наркоманах «Художник шприц».

Но в основном душевное потрясение, вызываемое подобной прозой, обусловлено невероятным ужасом нашей действительности, довольно верно передаваемым здесь.

На самом деле оказывается, что ни в какой документальной, физиологической прозе не удается отечественным писателям уйти от «идеологии», от попыток понять мир и дать читателю некую духовную опору. А некоторые — Александр Терехов, Белла Улановская — просто «открытые» романтики. Объективный мир, в котором не явлено никакого смысла,— это для нашего сознания уже хаос, а любой настоящий художник сопротивляется хаосу как может.

И, наконец, наша литература авангарда — постмодернизм, «в котором» мы очутились, по существу, так и не пережив (на практике) модернистской эры. Это третье направление в нынешней прозе, а специфика его связана опять же с тем, что авторы нашей постмодернистской прозы, старающиеся избавиться, уйти от того, что теоретики постмодернизма называют «метаповествованием» (т. е. некоей идейной «нагрузки», «надстройки» над «чистым» повествованием), уйти в сторону беспримесной языковой игры, уничтожения всякой этической и эстетической иерархии,— этого-то они и не могут. Либо они действительно «уходят», но старание слишком заметно, произведения их, в большинстве случаев, обречены на вторичность по сравнению с западными образцами, либо они не насилуют себя, и тогда, грубо говоря, общественная проблематика так или иначе врывается в их тексты. Наиболее очевидные примеры здесь — проза Виктора Ерофеева и Владимира Сорокина, но это происходит и с Николаем Верниковым, Евгением Харитоновым и с другими. Если русский писатель добьется в творчестве полной свободы от истины, моральной ответственности, самости и глубины (как того требуют теоретики постмодернизма) — он перестанет быть русским писателем, а следовательно, перестанет быть писателем вообще. Пожалуй, наиболее активно проявляется на нашей почве лишь то качество постмодернизма, которое связано с разрушением старой культуры и попыткой созидания, на расчищенной почве, некоей культуры новой, как говорят, «энергийной». Иное дело, что в большинстве случаев постмодернистскую прозу не станешь читать для души — она требует читателя с карандашом в руке (занятие для филологов), она «сделана» и с удовольствием демонстрирует это.

Помимо всего, существует еще очень мощная, набирающая силу сатирическая проза, опять же сугубо социальная. Да, противостояние режиму ушло, но борьба с «совковостью» еще потребует многих усилий.

Как же обстоят дела ныне в Европе, в США? Такие же направления — или для них это пройденный этап?

А. З. Да, этот этап там давно уже пройден. Нет никаких проповедников в обличье писателей — последним, кто более или менее органичен в такой роли, был Сартр, и то когда оставил художественное творчество. И физиологический очерк, шокирующий достоверностью деталей, которые доносят кошмар

будничности, тоже достояние уже далекой истории, 30-х годов.

Почти ничего значительного в этом жанре, кстати, и не было создано. Вспоминаются разве что книги Луи Фердинана Селина, особенно «Смерть в кредит» (1936) — жестокое, даже с элементами садизма изображение «дна», социальных отбросов, люмпенской психологии и морали. Но Селин, как к нему ни относиться,— настоящий художник, а на смену ему пришли, по большей части, журналисты, только делавшие вид, будто пишут не фактографические очерки, а романы.

С авангардом сложнее в том смысле, что точки соприкосновения, несомненно, есть. Не могу похвалиться хорошим знанием нашего авангарда, но то, что довелось прочитать, действительно оставляет впечатление вторичности (к примеру, «Желток яйца» Аксенова, если это, конечно, авангард, а не паралитература, пустое жонглирование приемами). Вторичности и следовало ожидать — у нас ведь авангард был под запретом, а теперь лихорадочно наверстывает упущенное, принимая за последнее слово Запада вещи, давно уже отшумевшие,— то абсурдизм, то «черный» юмор.

Парадокс, однако, в том, что многие откровения западного авангарда имеют как раз русскую родословную. Перечитывая сегодня прозу Андрея Белого, творения Хлебникова или стихи Хармса, убеждаешься в этом с несомненностью. Из-за ненормальностей отечественного литературного развития все это пролежало под спудом, а теперь возвращается опосредованным западными версиями и выглядит унылым подражанием обветшавшим европейским и американским образцам.

На Западе авангард давным-давно завоевал престиж. Никаких желтых кофт или инспирированных скандалов, которые так милы нашим колумбам, там и представить себе невозможно. Сегодня, когда там завершается история постмодернизма как литературного направления (у нас только начавшаяся), состояние авангарда довольно плачевное. Бесконечное травестирование и пародирование всего на свете, похоже, исчерпало себя. Критики не без причины пишут об усталости авангарда, расстерянности и кризисности.

При всем том какие-то новые веяния тоже чувствуются. Упомяну нескольких американских прозаиков, выдвинувшихся в последние годы,— Пол Остер, Пит Декстер, Бобби Энн Мейсон. Надеюсь, будет возможность познакомить с ними нашу аудиторию. Это очень небанальная литература, создают ее люди, для которых ни в постмодернизме, ни в структурализме, ни в прочих «измах» нет никаких тайн, но, владея новейшим инструментарием, они стараются по возможности преодолеть всегда свойственную авангарду замкнутость в собственном эксперименте и непосредственно коснуться действительности. По внешним контурам их книги почти жизнеподобны, там есть фабула, герои, отголоски злободневных проблем, но вместе с тем повествование образует мир, подчиненный только законам собственного внутреннего движения, ни в чем не корректируемого ни социологией, ни идеологией. Поэтому невозможно интерпретировать эти книги, скажем, как романы о молодежи, о преступности, о войне во Вьетнаме. Хотя и вовсе игнорировать все эти «внетекстовые» моменты читающий Мейсон или Остера тоже не сможет.

Любопытный синтез. Думаю, пошумев и пониспровергав, наш авангард двинется примерно по тому же пути. Но кто знает.

К. С. Недавно мне довелось беседовать с Татьяной Толстой, которая уже достаточно долгое время живет в Америке. В числе одной из тех особенностей тамошнего образа жизни, к которым ей довольно трудно привыкнуть, она назвала присущий большинству критиков и литературоведов жестко социологизированный подход к литературе: это вот феминистская проза, та — посвящена проблемам негритянского движения, проблемам сексуальных меньшинств и так далее. Именно под таким углом зрения литература прочитывается, анализируется, интерпретируется. Попытки же взглянуть на произведение с некоей высшей, всеобъемлющей точки зрения, как на художественное откровение о человеке вообще, отвергаются как непрофессиональный подход.

Для нас это звучит достаточно неожиданно, ведь мы привыкли считать вульгарную социологизацию литературы своей болезнью в противоположность чисто эстетическим критериям на

Западе. Между тем, встречи с американскими коллегами здесь вроде бы подтверждают подобное наблюдение. Если так, не свидетельствует ли это о том, что чисто эстетический подход к литературе в течение более или менее длительного времени невозможен, и сейчас на Западе имеет место своеобразная реакция? Не свидетельствует ли это, далее, что в самой природе литературы, в отличие, может быть, от других искусств, лежит выход за чисто эстетические рамки и категории? И, наконец, если *они* действительно опережают нас в культурном развитии — в чем я, однако, далеко не уверен,— не означает ли это, что и мы, пройдя увлечение чистой эстетикой, придем к тому же?

А. З. Свои наблюдения Татьяна Толстая изложила в интервью «Московским новостям». Это типичный взгляд неофита, еще не освоившегося в американской литературной ситуации. Лежащее на поверхности она принимает за самое существенное, а всерьез литературу не так уж и затронуло все, что ею подмечено. Социологический подход, по счастью, возобладал только в профессорской среде. Там он действительно господствует.

Чтобы не быть голословным: летом прошлого года у нас в Москве состоялась дискуссия с американскими филологами о принципах подхода к литературной истории. И от них мы услышали, что историю литературы нужно строить, приняв во внимание три главных фактора: класс, расу, пол. То есть не суть важно, велико ли художественное значение созданного писателем, а важно, был он черным или белым, пролетарием или плантатором, мужчиной (стало быть, непременно «шовинистом») или дамой (следовательно, гонимой и отверженной). На практике получается, что безнадежно забытая очеркистка, которая в середине прошлого века, обливаясь слезами, описывала бедствия фабричных рабочих, среди которых было много негров, для литературной истории значит побольше, чем, например, Марк Твен.

Мы возражали, говоря об абсолютных эстетических ценностях, и слышали в ответ: их не существует. Позвольте, а Шекспир? Он тоже не абсолютен и не универсален. Если он вправду универсален, обитающий в джунглях пигмей, которому прочтут «Гамлета», должен задуматься, «быть или не быть». Поскольку такого пока не наблюдалось, абсолютное значение Шекспира — миф.

Я ничуть не преувеличиваю, цитирую почти дословно. Нам такие выкладки знакомы до боли. Мы ведь еще не позабыли лихие времена, когда по тем же рецептам (правда, пол как-то недоучитывался) выпекались выдающиеся классики — Говард Фаст, например, а настоящие классики, хотя бы Фолкнер, затаптывались в грязь.

Отчего этот рецидив вульгарного социологизма в Америке конца века? Думаю, от перепроизводства в литературоведении. Скучно, а может, и невозможно сочинять 2569-ю интерпретацию «Моби Дика». Куда более интригующе объявить: Мелвилл попу-
сту захвален, потому как был мало того что мужчина и белый, вдобавок еще и купеческого рода. Стало быть, ничего выдающегося создать не мог, что называется, по определению.

К реальной жизни литературы в Америке эти интересные новации почти неприложимы. Если Тони Моррисон — выдающаяся романистка, то вовсе не по той причине, что родилась негритянкой.

Назвав Моррисон, я попробую ответить и на другой вопрос моего собеседника. У нас знают только одну книгу Моррисон — «Песнь Соломонова»; жаль, что ее лучший роман «Любимая» пока не переведен. А вот он-то, исключительно сложно построенный — накладывающиеся друг на друга «голоса» персонажей, огромный пласт негритянского фольклора и мифологии, постоянная смена времени событий, внутренние монологи с сохранением всех неправильностей и всей поэтичности негритянской речи,— позволил бы конкретно поговорить о том, что такое, собственно, эстетические функции литературы. Книга эта о Гражданской войне, а когда о таком событии говорит черный писатель, формализм попросту исключается. Да и нет его, формализма, в любом по-настоящему значительном произведении. Есть — и у Моррисон это проявилось очень впечатляюще — способность воссоздавать жизнь средствами, которые специфичны для литературы. Именно для литературы, а не вообще для печатного слова.

Но нас точно преследует какое-то недоверие к возможностям литературы как искусства. С детства затвердив, что

поэтом можно не быть, но гражданином — обязательно, мы в этом-то преобладании гражданина над поэтом видим свою заповедную особенность. А ведь если уж договаривать до конца, вряд ли что нанесло русскому художественному гению такой ущерб, как подобная установка. И не только художественному гению.

Недавно я перечитал «Окаянные дни» Бунина, книгу просто обжигающей актуальности. Я не о том, как Бунин описывает ужасы гражданской войны, тут у него есть достойные соревнователи, хотя бы Иван Шмелев, автор «Солнца мертвых». Вспомните, как показывает Бунин, чем реально обернулись доктрины русского мужика-страдальца, русского народа-богоносца и многое иное, чем напитана наша идеологизированная словесность прошлого века. К какому же смещению понятий привели эти идейные рыдания и кабинетные вдохновения. Какой абсолютной неспособностью предвидеть будущее и както противостоять ему они увенчались.

Мы часто повторяем: литература есть народознание и в этом тоже видим свою национальную специфику, потому что в Европе о литературе так думали разве что братья Гримм, собиравшие сказки. Но уж если нам угодно считать свою литературу народознанием, то давайте уточним: истинным, то есть объективным, познанием народа она станет лишь при условии, что будет выполнять свойственные ей функции, не замещая их другими. Или же давайте удовлетворимся «Красным колесом», потому что бóльшего на этом пути все равно никто не достигнет.

Вы спрашиваете, будем ли мы повторять западный опыт? Думаю, нет, ведь это значило бы обречь себя на подражательство. Оно и сейчас на виду: почитайте того же Аксенова. Все, что к нам приходило из послевоенной американской прозы, тут же перекочевывало на его страницы то приемом, то целой системой повествования: и Фолкнер, и Сэлинджер, и Доктороу. Помня об этом, особенно интересно читать в его интервью, что американскую литературу наш мэтр считает глубоко провинциальной.

Повторять, конечно, не нужно, а вот усвоить какие-то важные уроки нелишне. И если у нас, как давно уже стало нормой на Западе, поэт сделается просто поэтом, оставив свои гражданские волнения для внелитературной жизни, я думаю, это было бы благом. А за нашу специфичность опасаться напрасно — она укоренена сильно. Даже чересчур.

К. С. Можно согласиться с тем, что некоторые идеологические клише русской литературы сыграли не самую лучшую роль в истории, воспитывая героев с горящими глазами, убежденных, что все несчастья на земле — от эксплуататоров, героев, рвавшихся переделывать мир, невзирая ни на какие жертвы. Некоторые незаурядные умы XX столетия даже утверждали, что именно русская классика породила революцию 1917 года, в ходе которой (и после нее) народ вроде бы и показал, что является далеко не богоносцем.

О русском народе-богоносце классики писали в 60—70-е годы прошлого века, а за миновавшие затем, до революции, полстолетия, в народе, под влиянием быстрого развития буржуазных отношений и революционной пропаганды (явлений, в общем, сходных, ориентировавших человека в первую очередь на достижение материального благосостояния для обретения счастья), произошли достаточно резкие изменения в худшую сторону. Но главное в другом. В каждом жизненном явлении, в человеке, в народе есть внешняя реальность и — идеальный образ, внутренняя правда, сущность. Эту сущность понять, увидеть можно, только полюбив. Мое мнение о человеке, которого я не люблю, может, и будет «объективно» верным, но в глубинном, бытийном смысле оно таковым не будет. То же относится и к народу.

Где же народ-богоносец, восклицал Горький,— «русскому народу исключительно — так же исключительно, как англичанину чувство юмора — свойственно чувство особенной жестокости,— хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения и боли» («Заметки о русском крестьянстве»). Может быть, Достоевский был настолько близорук, что всего этого не видел (хотя на самом деле видел прекрасно и писал об этом)? А мне представляется, что близорук был Горький, утверждавший, что русский человек по своей природе садист и похабник. Свою светлую духовную основу русский народ проявлял не раз в кризисные моменты истории, ведь не будь подобной несокрушимой основы, чудовищный монстр большевизма,

угробивший десятки миллионов, растаптывавший целые поколения — сломал бы хребет народу. Но нет, вышло иначе — он сам оказался побежден, именно на этой земле.

Или вспомним знаменитое письмо Белинского Гоголю. Белинский пишет, что русский человек по природе своей нерелигиозен, ибо говорит о Боге, почесывая себе одно место. Для Белинского, лишенного, к сожалению, любовного понимания веры, это и было показателем нерелигиозности. В то время как в действительности нерелигиозен именно человек, вытягивающийся перед иконой в струнку и принимающий благостный вид — ибо он пребывает не в вере, а в страхе, подчиняется лишь установлениям и закону. Для человека же, имеющего Бога в сердце своем, нет необходимости внешне демонстрировать, как он чтит Его.

Может показаться, что мы немного отвлеклись, но на самом деле все это помогает понять происходившее и происходящее сейчас в нашей литературе. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой не занимались насаждением иллюзий, они просто видели много глубже своих современников (и большинства потомков). Но лженаследница классики, советская официозная литература, занималась именно насаждением ложных, иллюзорных представлений и догм, чем и подорвала вообще доверие к литературе у многих и многих — к литературе, осмысляющей мир, а не ограничивающей себя отражением «объективной реальности» (такой реальности вообще не бывает, справедливо утверждал Достоевский). Занимаются подобной подменой многие отечественные писатели и сегодня и, опять же, выдавая себя за последователей Пушкина и Достоевского, кричат об уникальности русского народа. То, что у классиков было духовным откровением, радостью, но и великой мукой, превращается в одномерный пропагандистский лозунг.

Между тем, подлинный учительный пафос в нашу литературу вернется, я убежден, и вернется скоро. Только учить читателя она будет тому — это сейчас вопрос вопросов,— что в духе нет ни эллина, ни иудея; что, как мудро отметил в начале века публицист и философ Сергей Михайлович Волконский, «Христос сказал апостолам: шедше, научите вся языки, а не сказал: шедше, научите русский народ», что подлинная духовная свобода несовместима с любым злом, ненавистью и жестокостью.

Обретут люди — каждый на своем пути — эту свободу, и литература, возможно, станет тогда какой-то совершенно иной. И у нас, и в других странах.

Курьер «ИЛ»

Германия

ЧИТАЙ — НЕ ХОЧУ

Отныне любой немецкоязычный читатель, желающий приобщиться к сокровищнице мировой литературы, имеет неплохое подспорье в виде «Словаря литературных персонажей иноязычных литератур», вышедшего в издательстве «Альфред Крёнер» (Штутгарт).

Это попытка дать обзор имен, с которыми несведущий читатель может столкнуться, путешествуя по книжному морю, и о которых захочет быстро получить короткую справку. Принцип отбора таков: прежде всего, в словарь включены персонажи книг, переведенных на немецкий, далее — те персонажи, которые являются сейчас или были в прошлом предметом литературных споров, а также те, что оказали влияние на немецкоязычную литературу. В результате наиболее широко в словаре представлена английская литература и довольно значительно — русская и французская. В статьи словаря (их около четырех тысяч) вошли также исторические фигуры и имена, ставшие известными из устного народного творчества и только потом попавшие в число героев тех или иных книг. Новый словарь является хорошим дополнением к уже вышедшему два года назад в том же издательстве «Словарю литературных персонажей немецкоязычной литературы». Оба справочника составили супруги, преподаватели и доктора наук Аннемари и Вольфганг фон Ринзум.

НА ТРИБУНЕ — ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Известные эссеисты, ученые и литераторы стали создателями нового журнала «Транзит». «Европейское ревю». С помощью него они намерены способствовать «интеллектуальному обмену» между Восточной и Западной Европой, который десятилетиями насильно прерывался. Первый номер «Транзита» вышел во франкфуртском издательстве «Нойе критик». Журнальную книжку уверенно и со знанием дела открывает англичанин Тимоти Гэртон — своей обзорной статьей о новой Восточной и Центральной Европе. Немецкий социолог Ральф Дарендорф и французский историк Франсуа Фурэ классифицируют революции 1989 года, отводя им соответствующее место в интеллектуальной жизни и политической истории Европы. Авторы отдельных статей — ученые из Венгрии и Югославии, бывший польский диссидент Адам Михник — анализируют положение в своих странах; конспективно документируются горячие дискуссии о демократизации, рыночной экономике и новом национализме. На личном жизненном опыте строится колеблющееся между скепсисом и надеждой эссе венгерского писателя Георга Далоша об объединенной Германии.

Ливан

ИСКУССТВО ЛЮБВИ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Генеральный директорат общественной безопасности Ливана распорядился конфисковать все экземпляры книги «Душистый сад в развлечениях мысли», опубликованной лондонским издательством «Рияд ар-Рейис», которое выпускает литературу на арабском языке. Эта книга, известная также под названим «Освещение долин в познании искусства совокупления», была написана в начале XV века тунисским судьей по брачным делам шейхом Абу Али Омаром Ибн Мухаммедом ан-Нафзави. В 1850 г. в Алжире вышел французский перевод «Душистого сада», который несколько раз переиздавался во второй половине XIX и в XX веке. Книга шейха ан-Нафзави была переведена также на английский и немецкий языки. По словам обозревателя журнала «Аль-Джадид», «Душистый сад», одна из старейших эротических книг, получившая распространение во всем мире, кроме арабских стран,— часть арабского культурного наследия, и ее запрет не делает чести арабам.

США

МАРЛОН БРАНДО ВСЕ РАССКАЖЕТ САМ

Известный американский актер Марлон Брандо собирается написать автобиографию, что само по себе уже сенсация, ибо Брандо ведет довольно скрытный — для кинозвезды — образ жизни и редко балует широкую публику своим вниманием. В результате о нем сложилось множество мифов и легенд, и, возможно, автобиография поможет как-то развеять их.

Марлон Брандо

(журнал «Паблишерс уикли»)

Неудивительно, что за право опубликовать подобную книгу вступили в борьбу сразу несколько солидных издательств, и в конце концов, уплатив три с половиной миллиона долларов, победило «Рэндом хаус». Впрочем, сам Брандо за барышами не гнался и даже отклонил более выгодные в денежном отношении предложения, поскольку главное для него — как будет представлена книга. По той же причине на роль литературного посредника М. Брандо выбрал своего старого друга — Джорджа Ингланда: еще в 1963 году они вместе работали над фильмом «Гадкий американец».

«Я собираюсь подробно рассказать о своей жизни,— говорит М. Брандо,— о политических взглядах, об актерской карьере, о семейных делах». Как объявлено, автобиографию — которую, кстати, украсит множество фотографий — Брандо будет писать исключительно сам. И у него это должно неплохо получиться, считает один из издателей: «Я познакомился с господином Брандо; по-моему, он обаятельный и умный человек, причем с оригинальным складом ума. Мы уже обсудили возможность совместной работы над следующей книгой — на сей раз об истории Америки».

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН В ДЕДУШКИНОМ ЧЕМОДАНЕ

Найдена рукопись первой части «Приключений Гекльберри Финна», которая с 1884 года (год выхода романа) считалась утерянной. Как известно, Марк Твен переписывался с Джеймсом Фрезером Глюком, ставшим одним из первых коллекционеров рукописей американских писателей. Внучка этого Глюка, библиотекарша из Голливуда, роясь в чемоданах покойного дедушки, обнаружила листы, испещренные многочисленными поправками, замечаниями и пометами, оказавшиеся первой частью «Приключений Гекльберри Финна». Эта рукопись сильно отличается от общеизвестного варианта романа, и Гекльберри Финн, над приключениями которого Марк Твен работал с 1876 по 1883 год, предстает перед нами в новом свете.

СПИЛБЕРГ ПОПАЛСЯ НА КРЮЧОК

Известный американский режиссер Стивен Спилберг воплотил весьма соблазнительную, по его словам, идею: он снял фильм о Питере Пене под названием «Крюк». Сюжет оригинала претерпел некоторые изменения: Питер Пен превратился во

Кадр из фильма С. Спилберга «Крюк»

(Журнал «Тайм»)

взрослого скупщика ценных бумаг, который ради спасения своих детей должен вернуть утраченную юность. «Атмосфера чудес настолько захватила меня, что я сразу попался на этот крючок»,— признается режиссер.

Его увлеченность сказкой разделили и занятые в съемках актеры, составившие великолепный ансамбль: Робин Уильямс, Дастин Хоффман и Джулия Робертс. «Это просто невероятный полет фантазии»,— говорит Р. Уильямс; Д. Хоффману давно хотелось сняться в таком фильме, который порадовал бы его собственных детей; а двадцатичетырехлетняя Дж. Робертс сама, точно непослушный ребенок, доставила немало хлопот Спилбергу и его коллегам: бросила жениха накануне свадьбы, тут же стала появляться всюду с другим ухажером, причем широкая публика была в курсе всех этих личных драм; да и последний фильм, в котором она снялась — «Умереть молодой»,— не принес ожидаемого успеха.

Впрочем, можно надеяться, что у экранизации Спилберга будет иная судьба — по крайней мере площадка в Голливуде, где проходили съемки, в этом сезоне пользовалась у посетителей огромной популярностью.

НОРМАН МЕЙЛЕР СЕРДИТСЯ

Нью-йоркское издательство «Рэндом хаус» выпустило новый роман Нормана Мейлера «Призрак Харлота» — первое произведение писателя за шесть лет, прошедших после публикации его детектива «Крепкие ребята не танцуют» (см. «ИЛ», 1984, № 11). В последние годы прозаик тяготеет к монументальным опусам-фрескам: том «Призрака Харлота» насчитывает 1300 страниц. Текст книги представляет собой соединение трех неравновеликих повествовательных блоков, каждый из которых написан в различной стилистике.

Роман открывается текстом «Омега» — воспоминаниями секретного агента ЦРУ Херрика (Гарри) Хаббарда об одном дождливом мартовском дне 1983 года, когда он возвращался домой к жене Киттеридж после свидания с любовницей. Когда-то Киттеридж была замужем за Хью Монтегю, крестным отцом Гарри и его многолетним наставником по работе в разведке. В ту же ночь Хью Монтегю, или Харлот — это было его кодовое имя,— был найден мертвым в волнах морского прибоя. Было это убийство или самоубийство, или он просто инсценировал свою гибель и скрылся для осуществления какого-то тайного замысла? Оставляя читателей в неведении относительно тайны гибели Хью Монтегю, Мейлер резко меняет тему и стиль повествования. Далее на протяжении нескольких сот страниц перед читательским взором разворачивается еще один автобиографический текст Гарри Хаббарда, озаглавленный «Альфа» — его записки о своей жизни и службе в ЦРУ,— вымышленная история Центрального разведывательного управления, с которым Хаббард был связан всю свою сознательную жизнь и потому знал о подоплеке многих тайных операций американской разведки в различных «горячих точках» мира. По мнению

рецензента «Таймс литерари саплмент», этот «узел» сюжета стилизует прозу шпионских романов Джона Ле Карре.

Наконец, третий пласт повествования, выдержанный в характерном для Мейлера 70-х годов «новожурналистском» фактографическом ключе, описывает работу Хаббарда в Майами в начале 60-х годов, где он оказывается вовлеченным в подготовку десанта на Кубу.

Что же до загадки смерти Хью Монтегю, то она так и остается неразрешенной, хотя «призрак Харлота» постоянно маячит в воображении читателя, тщетно ожидающего развязки тайны...

Широко разрекламированный в прессе еще до выхода в свет, роман получил весьма неоднозначные оценки у первых рецензентов. Критики иногда выражали свое разочарование романом в довольно резкой форме, из-за чего даже разразился небольшой скандал. После того, как обозреватель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Джон Саймон позволил себе в рецензии несколько весьма колких отзывов о писателе, Мейлер был настолько уязвлен, что потребовал от издателей еженедельника дать ему возможность опубликовать гневную отповедь рецензенту — случай в истории американской литературной жизни беспрецедентный.

Франция

ЛЮБОВНИКИ НА ЭКРАНЕ

Известная французская писательница Маргерит Дюрас создала новый вариант повести «Любовник», удостоенной Гонкуровской премии (см. «ИЛ», 1990, № 6). На сей раз события излагаются не от первого, а от третьего лица, как бы со стороны, и в кратком предисловии М. Дюрас сама поясняет причину такой смены точки зрения. Новый вариант, получивший название «Любовник из Северного Китая», написан на основе сценария фильма, который снимает во Вьетнаме и Франции Жан-Жак Анн. Экранизацию «Любовника» намечалось завершить к концу 1991 года.

У КАЖДОГО СВОИ ПРИЧУДЫ

Где, когда и как писатели создают свои книги? Любопытные сведения на этот счет приводит газета «Фигаро». Анри Труайя, например, лишь в последнее время иногда садится за письменный стол, а раньше почти всегда работал стоя (как и Виктор Гюго), пользуясь пюпитром. Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар в качестве рабочего места предпочитали столик в кафе — как и Натали Саррот. А Доминик де Ру лучше всего пишет в купе поезда. Эжен Ионеско и Марсель Пруст любили работать лежа или полулежа, а Франсуаза Саган пишет только лежа, только в ученических тетрадях и только после полуночи, «так как днем в Париже слишком шумно». Оноре де Бальзак терпеть не мог солнечный свет и даже днем закрывал ставни и зажигал свечи; за работой он с удовольствием пил кофе, а Артюр Рембо — и вовсе полынную водку. Поль Валери и Андре Мальро не расставались с сигаретой, Жорж Санд признавалась: «Если я три часа кряду не курю, я тупею и совершенно не могу писать». Андре Бретон пользовался исключительно зелеными чернилами и лишь изредка — синими или черными. Жан Д'Ормессон всегда пишет простым карандашом, загорая на солнце. Жан-Мари-Гюстав Леклезио не приемлет набросков, черновиков или исправлений: книга должна полностью «созреть» у него в голове. Жорж Сименон, в свою очередь, утверждал, что непосредственно пишет всего 54 дня в году — остальное время уходит на обдумывание. Если Марсель Жуандо следовал правилу «ни дня без строчки», то Андре Жид, напротив, мог неделями и даже месяцами не писать ничего. И наконец, еще два антипода: Барби Д'Орвийи, прежде чем сесть за письменный стол, всякий раз непременно брился, одеколонился и надевал строгий костюм с галстуком, а вот Патрик Бессон всегда пишет в футбольных трусах и спортивной обуви. Поистине — у каждого свои причуды...

ЖАН ЖЕНЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ВРАГА

Долгое время считалось, что за последние двадцать пять лет жизни известный французский прозаик и драматург Жан Жене не написал ничего существенного. Однако появляющиеся одна за другой посмертные книги опровергают это (см. «ИЛ», 1987, № 5 и 1989, № 10). Среди них и «Объявленный враг» — сборник статей, автобиографических очерков, интервью, многие из которых были ранее малодоступны читателям, а некоторые публикуются впервые. В том, что сборник вышел в свет, большая заслуга Альбера Диши — составителя и автора подробнейшего комментария.

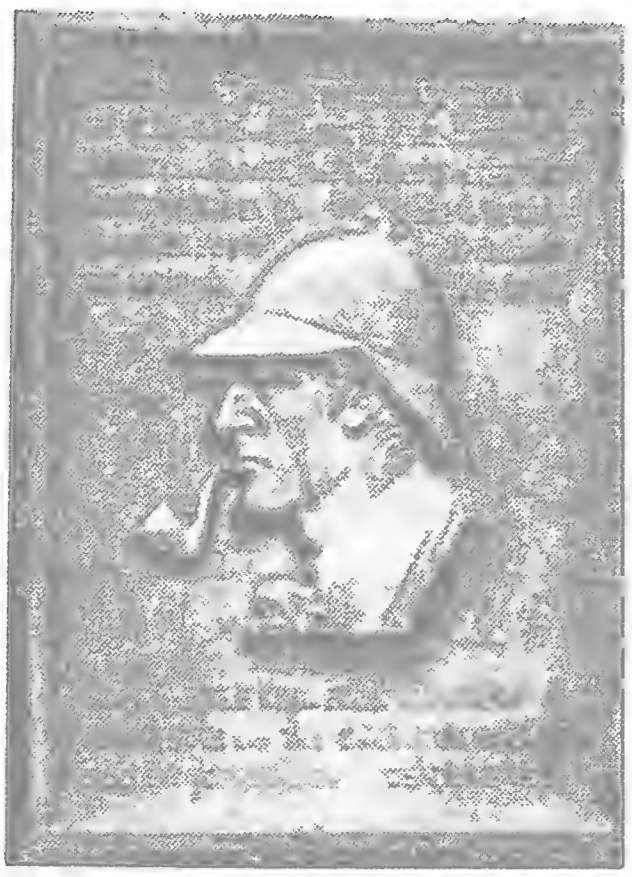
Основная тема книги — политика и отношение к ней Жана Жене. Его позиция, ярко и резко декларируемая, отличалась крайним своеобразием: считая существующий порядок жестоким и несправедливым, он оправдывал любые, вплоть до терроризма, действия бунтующих и часто выступал в их защиту, будь то палестинцы, «черные пантеры», рабочие-иммигранты или подпольные левацкие группировки в Европе. Его привлекали не цели (они у всех, безусловно, разные), а борьба как таковая: «Когда, скажем, палестинцы добьются собственной государственности, я перестану их поддерживать». Подобная вовлеченность писателя в общественно-политическую борьбу имеет и личные причины. После самоубийства в 1964 году близкого друга Ж. Жене надолго оставил творчество, а три года спустя и сам предпринял попытку покончить с собой. Тогда политика вернула его к жизни, ибо она вызывала у него гнев, который, в свою очередь, побуждал его писать и жить. Как следует из материалов сборника, Жан Жене внес в понятие «политизированный литератор» новые черты, поскольку рассматривал проблемы общества и власти то страстно, то иронично, то во взаимосвязи с эстетикой и красотой.

Япония

«СПРАВЕДЛИВЫЕ ЯПОНЦЫ» ПРИКИПЕЛИ СЕРДЦЕМ К ХОЛМСУ

Райхенбахский водопад. На самом его краю сцепились в смертельной схватке двое: «профессор преступного мира» Мориарти и великий сыщик Шерлок Холмс. Рев воды заглушает их крики. Рывок, бросок — и оба летят в пропасть...

Эту кульминационную сцену из знаменитой эпопеи Конан Дойла в сентябре прошлого года наблюдала масса зрителей, среди которых была и семидесятилетняя дочь писателя, леди Джин Конан Дойл. Все они были приглашены на костюмированное представление, которым «шерлоки-



Сагико Мурасэ и Ричард Гир в фильме «Августовская рапсодия»

(Газета «Джапан таймс уикли»)

анцы» решили отпраздновать столетие со дня «смерти» своего любимого героя. Разумеется, на дно настоящего водопада полетели не английский адвокат, сыгравший роль Мориарти, и не сотрудник автомобильного журнала, перевоплотившийся в Холмса, а всего лишь манекены. «Но вышло очень натурально»,— утверждает токийский психиатр Цукаса Кобаяси — один из ста участников спектакля, специально приехавший в Швейцарию. Персонаж, которого представлял Кобаяси, довольно необычен, ибо его имя не упоминается ни в одном из шестидесяти рассказов; а между тем, пожалуй, именно его — и, естественно, находчивого автора — читатели должны благодарить за «воскресение» Холмса. Этим персонажем является учитель японской борьбы «барицу», у которого Холмс брал уроки и, мастерски овладев этим боевым искусством, впоследствии победил в схватке с Мориарти.

Ц. Кобаяси известен среди «шерлокианцев» как основатель японского общества «Шерлок Холмс» и автор более тридцати книг о феномене с Бейкер-стрит. Невероятную мировую популярность этого литературного героя исследователь объясняет так: «По теории Карла Юнга, некоторые художественные произведения содержат в себе ключ к замку коллективного бессознательного. И рассказы о Холмсе — из их числа».

Легендарного сыщика знают все, но немногие народы воспринимают его так глубоко, как японцы. «Дело в том, что у нас сильно развито чувство справедливости. А ведь именно оно определяет натуру Холмса»,— говорит Кобаяси. Примечательно, что в Японии рассказы Конан Дойла были опубликованы уже через семь лет после их выхода в Англии и за прошедшее столетие переводились на японский более шестидесяти раз. Однако все они, по мнению Ц. Кобаяси, грешат неточностями, в частности, сглаживанием сексуального содержания: последнее связано с тем, что они предназначались исключительно детям. Поэтому японский «шерлокианец» работает сейчас над новым переводом детективной эпопеи.

«АВГУСТОВСКАЯ РАПСОДИЯ» МАЭСТРО КУРОСАВЫ

Двадцать восьмая по счету кинолента прославленного режиссера, снятая по роману Киёко Мураты «В котле», вызвала горячие споры среди критиков. «Они не уловили сути моего фильма,— сетует Акира Куросава.— «Августовская рапсодия» — не просто история об атомной бомбардировке Нагасаки». Стержнем картины являются отношения между восьмидесятилетней женщиной (ее роль сыграла Сатико Мурасэ) и четырьмя ее внуками, которые летом приехали погостить к ней, в дом под Нагасаки. История бомбардировки города, поведанная бабушкой в воспоминаниях о погибших дорогих ей людях, круто меняет эти взаимоотношения. Юное поколение открывает для себя простую истину: последствия трагедии сказываются и четыре десятилетия спустя.

«Первоначально тему атомной катастрофы я видел как второстепенную,— поясняет режиссер.— Но по мере работы над сценарием она становилась все весомее; причем не по моей воле, а естественным образом». Так, один из членов съемочной группы был поражен, узнав, что среди памятников нагасакского парка Мира нет американского. И в фильме появился эпизод, в котором внуки посещают парк Мира, и младший из них спрашивает, почему американцы, в отличие от многих других народов, не соорудили мемориала погибшим, а старшая сестра ему отвечает: «Потому что они-то и сбросили бомбу».

«Глубоко ошибаются те, кто называет фильм «антиамериканским»,— говорит А. Куросава.— Я не собирался изображать американцев исключительно варварами и убийцами, а японцев — только жертвами: ведь воевали и те, и другие. Всякая война — зло, но повинны в нем не народы, а их вожди». Символическим является эпизод примирения главной героини с ее американским племянником (на эту роль Куросава впервые пригласил «звезду» из Голливуда Ричарда Гира): он как представитель одной стороны просит прощения, она как представитель другой — прощает.

По материалам журналов «Культур-кроник», «Паблишерс уикли», «Тайм», газет «Джапан таймс уикли», «Фигаро», и сообщениям наших корреспондентов.

Авторы этого номера

РОБЕРТ МУЗИЛЬ (ROBERT MUSIL; 1880—1942) — австрийский писатель. Участник первой мировой войны. Был журналистом и театральным критиком. После оккупации Гитлером Австрии эмигрировал в Швейцарию. Автор новелл, включенных в сборники «Объединения» («Die Vereinigungen, 1911), «Три женщины» («Drei Frauen», 1924), драмы «Мечтатели» («Die Schwärmer», 1921), неоконченного философско-сатирического романа «Человек без свойств» («Der Mann ohne Eigenschaften» Bd. 1—3; 1930—1943; фрагмент этого романа напечатан в «ИЛ», 1983, № 9). В «ИЛ» напечатана также повесть Р. Музиля «Тонка» (1970, № 3). Книга «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» впервые была опубликована в 1906 г. Перевод выполнен по изданию Robert Musil. Die Verwirrungen des Zöglings Törless. Hamburg, Rowohlt, 1969.

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ (KAZIMIERA ILLAKOWICZÓWNA; 1892—1983) — польская поэтесса, автор книг стихов и мемуарной прозы, переводчик. Лауреат Государственных премий Польши 1935 и 1976 гг. Ее первая книга стихов вышла в 1912 г.
В русских переводах стихи К. Иллакович печатались в «Иностранной литературе» (1974, № 12) и антологии «Польские поэты» (М., «Художественная литература», 1978).
Публикуемые стихи печатаются по изданиям: «Собрание стихотворений» («Wiersze zebrane». Warszawa, PIW, 1971, tt. 1—2), «Стихотворения 1912—1959» («Wiersze 1912—1959», PIW, 1976) и публикациям в польской периодике 1969—1989 гг.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСОН (CHARLES JOHNSON; род. в 1948 г.)— американский писатель. Автор романов «Вера в доброе» («Faith and the Good Thing» 1974), «Пасторальная история» («Oxherding Tale», 1982) «Переход через Атлантику» («Middle Passage», 1990), книги «Раса и бытие: негритянская литература после 1970 г.» («Being and Race: Black Writing Since 1970», 1988), многих телевизионных сериалов, пьес, критических статей. Лауреат премии Гильдии американских писателей и Пулицеровской премии 1991 года.
Рассказы «Зверинец» и «Китай» взяты из сборника Ч. Джонсона «Ученик волшебника» («The Sorcerer's Apprentice», New York, Viking Penguin Books, 1987).

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ (ESTERHÁZY PÉTER; род. в 1950 г.) — венгерский прозаик. Печататься начал в середине 70-х годов. Автор книг: «Фанчико и Пинта» («Fancsikó és Pinta», 1976; рус. пер. в сб. «Посвящение», М., 1990), «Производственный роман» («Termelésiregény», 1979), «Дэзи» («Daisy», 1984], «Краткая Венгерская порнография» («Kis Magyar Pornografia», 1984), «Книга Грабала» («Hrabal könyve», 1987) и др.
Рассказы «Вечер трудного дня» («Egy nehéz nap éjszakája») и «Место, где мы находимся» («A hely ahol most vagyunk») взяты из сборника «Введение в художественную литературу» («Bevezeté a szépirodalomba», 1986), рассказ «Знамя» («A zászló») — из сборника «В папских водах не пиратствуй!» («Pápai vizeken ne kalözkodj!», 1977), эссе «Да будем» («Legyunk»), «слова, слова, слова... дальнейшее — молчанье» («szo, szo — a tobbi, nema csend») — из сборника «Чучело лебедя» («A kitömött hattyú», 1988).

ДЖОРДЖО МАНГАНЕЛЛИ (GIORGIO MANGANELLI; 1922—1990) — итальянский писатель, литературовед, эссеист. Автор книг «Развеселая трагедия» («Hilarotragoedia», 1964), «Китай и прочие Востоки» («Cina e altri Orienti», 1974), «Околесица» («Sconclusione», 1976), «Разговор о тени и гербе» («Discorso dell'ombra e dello stemma», 1982), «Из ада» («Dall'inferno», 1985), «Все ошибки» («Tutti gli errori», 1986), «Панегирик тирану» («Encomio del tiranno», 1990), сборника эссе «Литература как ложь» («Letteratura come menzogna», 1967), собрания предисловий к произведениям литературной классики «Тревоги о стиле» («Angosce di stile», 1981) и др. произведений. Читателям предлагаются подборки из книг «Импровизации для пишущей машинки» («Improvvisi per macchina da scrivere», Milano, «Leonardo», 1989), куда вош-

ли эссе, опубликованные в крупнейших итальянских газетах в 1973—1986 гг.) и «Центурия: сто крошечных романов» («Centuria: cento piccoli romanzi fiume», Milano, Rizzoli, 1979).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — литературный критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный, солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985), «Дворец на острие иглы» (1989) и многих статей в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

СТЕПАНЯН КАРЕН АШОТОВИЧ (род. в 1952 г.) — литературовед и критик, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по американской, русской классической и современной литературе, а также сравнительному изучению творчества Ф. Достоевского, У. Фолкнера, по теории перевода. Член правления Всероссийского общества Ф. М. Достоевского.

ЯКИМОВИЧ АЛЕКСАНДР КЛАВДИАНОВИЧ (род. в 1947 г.) — культуролог, кандидат искусствоведения. Автор книг «Шарден и французское Просвещение» (1980), «Диего Веласкес и культура Испании» (1990), «Дебюты молодых художников восьмидесятых годов» (1991) и статей, публиковавшихся в периодике.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.) — литературовед, переводчик. Автор книг «Томас Манн» (М., 1972, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (1980). В его переводе издавались трагедии Эсхила, романы «Иосиф и его братья» Томаса Манна, «Степной Волк» («ИЛ», 1977, № 4—5) и «Игра в бисер» Г. Гессе, «Человек без свойств» Р. Музиля, пьесы Б. Брехта и др.

АСТАФЬЕВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА — поэт и переводчик с польского. Автор книг стихов «Девчата» (1959), «Кумачовый платок» (1965), «В ритме природы» (1977), «Заветы» (1989) и др. В «ИЛ» публиковались ее переводы стихов К. Иллакович, Я. Ивашкевича, Х. Посвятовской, В. Слободника, А. Свирщиньской, Е. Харасымовича. За переводы польской литературы на русский язык Н. Астафьевой присуждена польская премия ЗАИКС.

СТАМ ИННА СОЛОМОНОВНА — филолог и лингвист, кандидат филологических наук, автор ряда работ в области лингвистики, современного английского языка. Переводила рассказы английских и американских авторов. В «ИЛ» (1991, № 3) в ее переводе напечатана повесть Сью Таунсенд «Ковентри возрождается».

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — литературный критик, доктор филологических наук, переводчик с венгерского. В его переводах изданы романы Пала Сабо «Пядь земли», Ласло Немета «Вина» и «Милосердие», Магды Сабо «Старомодная история», Шандора Шомоди-Тота «Пророк на час», повесть Дёрдя Конрада «Тяжелый день» («ИЛ», 1991, № 4) и др.

СЕРЕДА ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (род. в 1931 г.) — литературовед и переводчик. Автор статей о современной венгерской литературе, предисловий к изданиям произведений венгерских писателей на русском языке.

СТАВРОВСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с итальянского языка. В ее переводах издавались повести В. Черами «Маленький человек», С. Бенни «Комики, напуганные воины» (обе совместно с К. Молочковской), Л. Шаши «Исчезновение Майораны», «Ведьма и капитан», «Рыцарь и смерть», рассказы Г. Паризе, А. Табукки («ИЛ», 1991, № 5), материалы сборника «Лукино Висконти» и др.

AN HANS LIECHTI 30.V.74 F.A.

Цена по подписке 3 р. 75 к. ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1992, № 4 1—256

7Д71